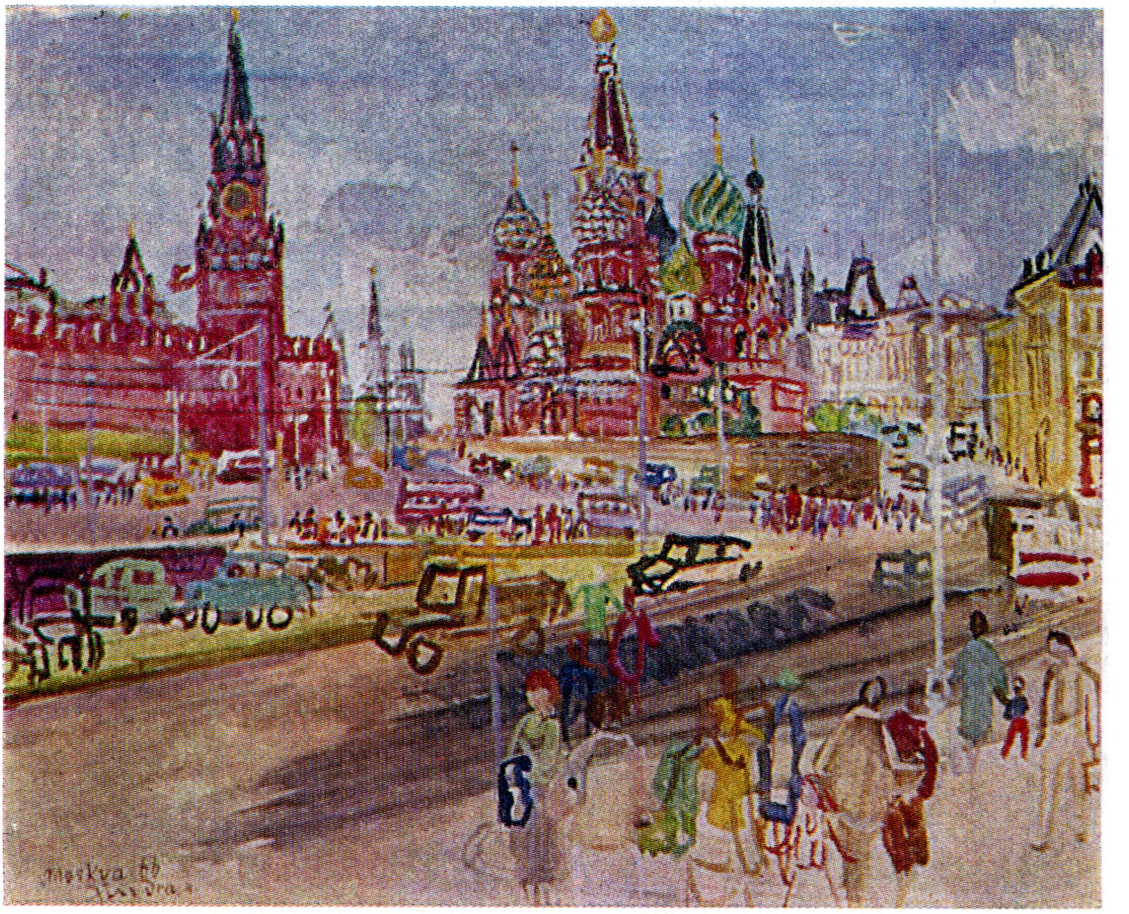
ISSN 0130 – 6545

12. 1982

Иностранная литература



С. КИНТИЛЭ (Румыния). Героизм рабочего класса. Фрагмент мозаики.

Леонид Ильич
БРЕЖНЕВ

ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР

к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел верный продолжатель великого дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся революционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современности Леонид Ильич Брежнев.

Вся многогранная деятельность, личная судьба Л. И. Брежнева неотделимы от важнейших этапов в истории Страны Советов. Коллективизация и индустриализация, Великая Отечественная война и послевоенное возрождение, освоение целины и организация исследований космоса — это и вехи биографии славного сына рабочего класса Леонида Ильича Брежнева. Всюду, куда бы ни направляла его партия, Леонид Ильич беззаветно, с присущими ему энергией и настойчивостью, смелостью и принципиальностью боролся за ее великие идеалы.

С именем товарища Брежнева, с его неутомимой работой на постах Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР советские люди, наши друзья во всем мире справедливо связывают последовательное утверждение ленинских норм партийной и государственной жизни, совершенствование социалистической демократии. Он мудро направлял деятельность ленинского штаба партии — ее Центрального Комитета, Политбюро ЦК, показывая образец умелой организации дружной коллективной работы. Ему принадлежит выдающаяся роль в выработке и осуществлении экономической и социально-политической стратегии партии на этапе развитого социализма, в определении и реализации курса на подъем народного благосостояния, в дальнейшем укреплении экономического и оборонного могущества нашей страны.

Непреходящи заслуги Леонида Ильича Брежнева в формировании и проведении политики нашей партии на международной арене — политики мира и мирного сотрудничества, разрядки и разоружения, решительного отпора агрессивным происка империализма, предотвращения ядерной катастрофы. Велик его вклад в сплочение мирового социалистического содружества, в развитие международного коммунистического движения.

Пока билось сердце Леонида Ильича, его помыслы и дела были всецело подчинены интересам людей труда. С массами трудящихся его всегда связывали кровные, неразрывные узы. В сознании коммунистов, сотен миллионов людей на всех континентах он был и останется воплощением ленинской идейности, последовательного интернационализма, революционного оптимизма и гуманизма.

Тяжела понесенная нами утрата, глубока наша скорбь. В этот горестный час коммунисты, все трудящиеся Советского Союза еще теснее сплачиваются вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС, его руководящего ядра, сложившегося под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Народ верит в партию, ее могучий коллективный разум и волю, всем сердцем поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику. Советские люди хорошо знают: знамя Ленина, знамя Октября, под которым одержаны всемирно-исторические победы,— в надежных руках.

Партия и народ вооружены величественной программой коммунистического созидания, разработанной XXIII—XXVI съездами КПСС. Эта программа неуклонно претворяется в жизнь. Партия будет и впредь делать все для подъема народного благосостояния на основе интенсификации производства, повышения его эффективности и качества работы, выполнения Продовольственной программы СССР. Партия и впредь будет проявлять всемерную заботу об упрочении союза рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, об укреплении социально-политического и идейного единства советского общества, братской дружбы народов СССР, об идеологической закалке трудящихся в духе марксизма-ленинизма и пролетарского, социалистического интернационализма.

Неизменна воля советского народа к миру. Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих материальных и духовных богатств, а упрочение мира — вот путеводная нить в завтрашний день. Эта благородная идея пронизывает Программу мира на 80-е годы, всю внешнеполитическую деятельность партии и Советского государства.

Мы видим всю сложность международной обстановки, попытки агрессивных кругов империализма подорвать мирное сосуществование, столкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации. Но это не может поколебать нашу

решимость отстоять мир. Мы будем делать все необходимое, чтобы любители военных авантюр не застали Советскую страну врасплох, чтобы потенциальный агрессор знал: его неминуемо ждет сокрушительный ответный удар.

Опираясь на свою мощь, проявляя величайшую бдительность и выдержку, сохраняя неизменную верность миролюбивым принципам и целям своей внешней политики, Советский Союз будет упорно бороться за то, чтобы отвратить от человечества угрозу ядерной войны, за разрядку, за разоружение.

В этой борьбе с нами братские страны социализма, борцы за национальное и социальное освобождение, миролюбивые страны всех континентов, все честные люди земли. Политика мира выражает коренные жизненные интересы человечества, и поэтому за такой политикой — будущее.

Советский народ видит в партии своего испытанного коллективного вождя, мудрого руководителя и организатора. В служении рабочему классу, трудовому народу — высшая цель и смысл всей деятельности партии. Непоколебимое единство партии и народа было и остается источником несокрушимой силы советского общества. КПСС свято дорожит доверием трудящихся, постоянно укрепляет свои связи с массами. Народ на практике убедился, что наша партия при любом повороте событий, при любых испытаниях остается на высоте своей исторической миссии. Внутренняя и внешняя политика КПСС, разработанная под руководством Леонида Ильича Брежнева, будет и далее проводиться последовательно и целеустремленно.

Жизнь и деятельность Л. И. Брежнева будет всегда вдохновляющим примером верного служения Коммунистической партии и советскому народу.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают уверенность в том, что коммунисты, все советские люди проявят высокую сознательность и организованность, своим самоотверженным творческим трудом под руководством ленинской партии обеспечат выполнение планов коммунистического строительства, дальнейший расцвет нашей социалистической Родины.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

12 ноября 1982 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл и выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева члены Пленума ЦК почтили память Леонида Ильича Брежнева минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия, советский народ, все прогрессивное человечество понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел выдающийся деятель Коммунистической партии, Советского государства, международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, пламенный борец за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленинской Коммунистической партии более 50 лет, из них 18 лет на посту ее руководителя, внес огромный вклад в укрепление монолитности ее рядов, политического, социально-экономического и оборонного могущества Советского Союза. Исключительно велика его роль в укреплении мира и международной безопасности. Имя Леонида Ильича Брежнева, с которым непосредственно связаны великие свершения в жизни нашей страны — индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне, послевоенное восстановление народного хозяйства нашей Родины, исследование космоса, все успехи в развитии экономики, науки и культуры Советского государства, навсегда вошло в историю Коммунистической партии Советского Союза, нашей великой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Андропова Юрия Владимировича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. Он выразил сердечную благодарность Пленуму ЦК за оказанное высокое доверие — избрание его на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. В. заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения начертанной в решениях XXVI съезда КПСС программы коммунистического строительства, обеспечения преемственности в решении задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении всей ленинской внутренней и внешней политики, проводившейся при Л. И. Брежневе.

На этом Пленум закончил свою работу.

Речь товарища Ю. В. АНДРОПОВА

Товарищи!

Наша партия и страна, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Перестало биться сердце руководителя Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения, пламенного коммуниста, верного сына советского народа — Леонида Ильича Брежнева.

Из жизни ушел крупнейший политический деятель современности. Ушел наш товарищ и друг, человек большой души и большого сердца, чуткий и доброжелательный, отзывчивый и глубоко гуманный. Беззаветная преданность делу, бескомпромиссная требовательность к себе и другим, мудрая осмотрительность в принятии ответственных решений, принципиальность и смелость на крутых поворотах истории, неизменные уважение, чуткость и внимание к людям — вот те замечательные качества, за которые ценили и любили Леонида Ильича в партии и в народе.

Прошу почтить светлую память Леонида Ильича Брежнева минутой молчания.

Леонид Ильич говорил, что каждый день его жизни неотделим от тех дел, которыми живут Коммунистическая партия Советского Союза, вся Советская страна. И это было действительно так.

Индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства, Великая Отечественная война и послевоенное

восстановление, освоение целины и исследование космоса — все это великие вехи на пути труда и борьбы советского народа и в то же время — вехи биографии коммуниста Леонида Ильича Брежнева.

С именем и делами Леонида Ильича неразрывно связаны рост могущества и углубление всестороннего сотрудничества стран великого социалистического содружества, активное участие мирового коммунистического движения в решении исторических задач, стоящих перед человечеством в нашу эпоху, укрепление солидарности всех сил национального освобождения и социального прогресса на земле.

Леонид Ильич Брежнев навсегда останется в памяти благодарного человечества как последовательный страстный и неутомимый борец за мир и безопасность народов, за устранение нависшей над человечеством угрозы мировой ядерной войны.

Мы хорошо знаем, что мир у империалистов не выпросишь. Его можно отстоять, только опираясь на несокрушимую мощь Советских Вооруженных Сил. Как руководитель партии и государства, как Председатель Совета Обороны СССР Леонид Ильич постоянно уделял внимание тому, чтобы обороноспособность страны находилась на уровне современных требований.

Здесь, в этом зале, собрались те, кто входит в штаб нашей партии, который восемнадцать лет бессменно возглавлял Леонид Ильич. Каждый из нас знает, сколько сил и души вложил он в организацию дружной, коллективной работы, в то, чтобы этот штаб прокладывал верный ленинский курс. Каждый из нас знает, какой неоценимый вклад внес Леонид Ильич в создание той здоровой морально-политической атмосферы, которая характеризует сегодня жизнь и деятельность нашей партии.

С именем Леонида Ильича связаны принципиальная борьба нашей партии в защиту марксизма-ленинизма, разработка теории развитого социализма, путей решения самых актуальных задач коммунистического строительства. Его деятельность в мировом коммунистическом движении по праву получила высочайшую оценку братских партий, наших зарубежных братьев по классу, товарищей по борьбе за социализм, против гнета капитала, за торжество великих коммунистических идеалов.

Жизнь Леонида Ильича Брежнева оборвалась, когда его мысли, усилия обращены были на решение крупнейших задач экономического, социального и культурного развития, определенных XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами ЦК. Осуществление этих задач, последовательное проведение в жизнь внутреннего и внешнеполитического курса нашей партии и Советского государства, который был вы-

работан под руководством Леонида Ильича Брежнева,— наш первостепенный долг. И это будет наша лучшая дань светлой памяти ушедшего от нас руководителя.

Велика наша скорбь. Тяжела утрата, которую мы понесли.

В этой обстановке долг каждого из нас, долг каждого коммуниста еще теснее сомкнуть наши ряды, еще крепче сплотиться вокруг Центрального Комитета партии, сделать на своем посту, в своей жизни как можно больше для блага советского народа, для укрепления мира, для торжества коммунизма.

Советский народ безгранично доверяет своей Коммунистической партии. Доверяет потому, что для нее не было и нет иных интересов, чем кровные интересы советских людей. Оправдать это доверие — значит идти вперед по пути коммунистического строительства, добиваться дальнейшего расцвета нашей социалистической Родины.

У нас, товарищи, есть такая сила, которая помогала и помогает нам в самые тяжелые моменты, которая позволяет нам решать самые сложные задачи. Эта сила — единство наших партийных рядов, эта сила — коллективная мудрость партии, ее коллективное руководство, эта сила — единство партии и народа.

Наш Пленум собрался сегодня для того, чтобы почтить память Леонида Ильича Брежнева и обеспечить продолжение дела, которому он отдал свою жизнь.

Пленуму предстоит решить вопрос об избрании Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Прошу товарищей высказаться по этому вопросу.

Речь товарища К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!

Политбюро поручило мне выступить перед участниками настоящего внеочередного Пленума ЦК.

Наш внеочередной Пленум ЦК носит действительно чрезвычайный характер. Страна и партия в глубоком трауре. Ушел из жизни Леонид Ильич Брежнев.

Советский народ потерял выдающегося руководителя, который почти два десятилетия стоял во главе партии и государства, отдавая все свои силы и огромные способности

во имя счастья советских людей, во имя дела коммунистического строительства в нашей стране. Мы можем сказать, что человечество потеряло великого, поистине неутомимого борца за идеалы мира, свободы и социального прогресса. Мы, советские коммунисты, наши братья в социалистических странах, наши соратники в мировом коммунистическом движении потеряли талантливого продолжателя ленинского дела, человека, у которого учились беззаветной верности интересам трудящихся.

Слова бессильны выразить всю горечь нашей утраты, но в эти скорбные дни великой помощью всем нам служат уроки жизни дорогого всем нам Леонида Ильича.

Леонид Ильич в полной мере обладал даром целиком жить интересами общества, интересами народа. Так было всегда, начиная с юношеских лет и до последнего дня жизни.

Леонид Ильич хорошо знал, что одни благие пожелания — это пустой звук. Мало высказать правильные мысли, нужно подкрепить их четкой организаторской работой, сделать понятными и доступными широким массам трудящихся. Он любил людей. Он умел доверять людям.

Леонид Ильич был человеком исключительного мужества. Он доказал это не только в Великую Отечественную, которую прошел от первого до последнего дня. Мужество не изменяло ему на всем жизненном пути. И он высоко, очень высоко ценил в каждом товарище смелость, принципиальность, стойкость при любых испытаниях.

Быть рядом с Леонидом Ильичом, слушать его, воочию ощущать остроту ума, находчивость, жизнелюбие — это была школа для всех нас, кому выпало счастье работать с ним рука об руку.

Леонид Ильич Брежнев оставляет нам драгоценное наследство. Наша 18-миллионная партия едина и сплочена. Советский народ беззаветно верит в мудрость партии. Нормами нашей жизни стали требовательность и уважение к кадрам, нерушимая дисциплина и поддержка смелых полезных инициатив, нетерпимость к любым проявлениям бюрократизма и постоянная забота о развитии связей с массами, о подлинном демократизме советского общества.

Беречь и развивать этот стиль руководства, дорожить всем, что завещал нам своим словом и делом Леонид Ильич,— наш долг перед его памятью, наш долг перед партией и страной. Прочным залогом того, что так будет, служит руководящее ядро партии, ее Центральный Комитет, Политбюро, сформировавшееся при решающем участии Леонида Ильича.

От имени Политбюро я хочу выразить глубочайшую убежденность, что наш Пленум продемонстрирует перед

всей страной, перед всем миром, что партия твердо пойдет дальше ленинским курсом, который на современном этапе четко и полно выражен в решениях XXIII—XXVI съездов КПСС. Внутренняя и внешняя политика нашей партии, в разработку и осуществление которой громадный вклад внес Леонид Ильич Брежнев, будет проводиться уверенно, последовательно и целеустремленно.

Нашими ориентирами были, есть и будут благо народа и сохранение мира на земле.

У нас есть развернутая, хорошо взвешенная социально-экономическая программа. Экономика должна быть экономной. Такова установка партии. А это означает техническое перевооружение индустриального и аграрного секторов, совершенствование управления и, конечно, улучшение организации труда, рост его производительности. На этой базе будет неуклонно развиваться экономика нашего государства, повышаться благосостояние народа. На этой же базе будет крепнуть обороноспособность страны.

У нас есть широкая, конкретная Программа мира для восьмидесятых годов. Она отвечает чаяниям народа. Разрядка, разоружение, преодоление конфликтных ситуаций, устранение угрозы ядерной войны — вот задачи, которые мы ставим перед собой. Мы хотим надежной безопасности для себя, для своих друзей, для всех народов мира.

Дорогие товарищи!

Все мы, очевидно, сознаем, что крайне трудно восполнить урон, который причинила нам кончина Леонида Ильича. Сейчас вдвойне, втройне важно вести дела в партии коллективно. Дружная, совместная работа во всех партийных органах обеспечит дальнейшие успехи как в коммунистическом строительстве, так и в нашей деятельности на международной арене.

Политбюро ЦК КПСС, обсудив создавшееся положение, поручило мне предложить Пленуму избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Андропова Юрия Владимировича. Думаю, нет нужды рассказывать его биографию. Юрий Владимирович хорошо известен в партии и стране как самоотверженный, преданный делу ленинской партии коммунист, как ближайший соратник Леонида Ильича.

За плечами у Юрия Владимировича разносторонняя деятельность в области внутренней и внешней политики, идеологии. Был он и комсомольским вожаком, и крупным партийным работником, и дипломатом. Немало труда им вложено в укрепление социалистического содружества, в обеспечение безопасности нашего государства.

Леонид Ильич высоко ценил марксистско-ленинскую убежденность, партийность, широкий кругозор, его выдаю-

щиеся деловые и человеческие качества. Все члены Политбюро считают, что Юрий Владимирович хорошо воспринял брежневский стиль руководства, брежневскую заботу об интересах народа, брежневское отношение к кадрам, решимость всеми силами противостоять происка агрессоров, беречь и укреплять мир.

Юрию Владимировичу присущи партийная скромность, уважение к мнению других товарищей и, можно сказать, пристрастие к коллективной работе. Политбюро единодушно считает: товарищ Андропов достоин доверия Центрального Комитета, доверия партии.

Дорогие товарищи! Склоняя свои головы перед светлой памятью Леонида Ильича, мы торжественно обещаем, что будем неустанно продолжать нашу созидательную работу. Все, что не успел совершить Леонид Ильич, что наметила под его руководством партия, будет сделано.

Генеральный секретарь ЦК КПСС
Юрий Владимирович
АНДРОПОВ

Юрий Владимирович
АНДРОПОВ

Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 года в семье железнодорожника на станции Нагутская Ставропольского края. Образование высшее. Член КПСС с 1939 года.

Шестнадцатилетним комсомольцем Ю. В. Андропов был рабочим в г. Моздок Северо-Осетинской АССР. Затем его трудовая биография продолжилась на судах Волжского пароходства, где он работал матросом.

С 1936 года Ю. В. Андропов — на комсомольской работе.

Он был избран освобожденным секретарем комсомольской организации техникума водного транспорта в г. Рыбинске Ярославской области. Вскоре его выдвинули на должность комсорга ЦК ВЛКСМ судоверфи им. Володарского в г. Рыбинске. В 1938 году комсомольцы Ярославской области избирают Ю. В. Андропова первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. В 1940 году Ю. В. Андропов избирается первым секретарем ЦК ЛКСМ Карелии.

С первых дней Великой Отечественной войны Ю. В. Андропов — активный участник партизанского движения в Карелии. После освобождения в 1944 году города Петрозаводска от фашистских захватчиков Ю. В. Андропов — на партийной работе. Он избирается вторым секретарем Петрозаводского горкома партии, а в 1947 году — вторым секретарем ЦК Компартии Карелии.

В 1951 году Ю. В. Андропов по решению ЦК КПСС переводится в аппарат ЦК КПСС и назначается инспектором, а затем заведующим подотделом ЦК КПСС.

В 1953 году партия направляет Ю. В. Андропова на дипломатическую работу. Несколько лет он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Венгерской Народной Республике.

В 1957 году Ю. В. Андропов был выдвинут заведующим отделом ЦК КПСС.

На XXII и последующих съездах партии Ю. В. Андропов избирается членом Центрального Комитета КПСС.

В 1962 году Ю. В. Андропов избирается секретарем ЦК КПСС.

В мае 1967 года Ю. В. Андропов назначается председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В июне того же года он избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В мае 1982 года Ю. В. Андропов был избран секретарем ЦК КПСС.

С апреля 1973 года Ю. В. Андропов — член Политбюро ЦК КПСС.

Юрий Владимирович Андропов — депутат Верховного Совета СССР ряда созывов.

На всех постах, где по воле партии трудился Ю. В. Андропов, проявлялась его преданность великому делу Ленина, партии. Он отдает все свои силы, знания и опыт претворению в жизнь решений партии, борьбе за торжество коммунистических идей.

За большие заслуги перед Родиной Ю. В. Андропову — видному деятелю Коммунистической партии и Советского государства — в 1974 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 *декабрь*

1982

Содержание

К 60-летию СССР

Несколько штрихов к портрету времени

Зарубежные писатели о Советском Союзе

АУГУСТ ЦЕСАРЕЦ (Югославия) — Встреча с В. И. Лениным. В стране марийцев. На Урале. На Волге *(Перевод с сербскохорватского Александра Романенко)* 3

БХИШАМ САХНИ (Индия) — Духовное родство *(Перевод с английского М. Загота)* 9

ЖУЖА РАБ (Венгрия) — В стране огня *(Фрагменты книги. Перевод с венгерского Т. Воронкиной)* 11

РАУЛЬ ЛАРРА (Аргентина) — По следам Ермака *(Перевод с испанского Н. Булгаковой)* 13

РАЙМОН ЖАН (Франция) — Размышляя о примере Советского Союза. АНДРЕ СТИЛЬ — Впечатления юбилейного года *(Перевод с французского Л. Токарева)* 16

НАТАША МАНОЛОВА (Болгария) — Сентиментальные мемуары *(Отрывок из книги. Перевод с болгарского О. Басовой)* 17

ЭЛИО ФИЛИППО АККРОККА — Стихи *(Перевод с итальянского Евг. Солоновича)* 22

НГУЕН МИНЬ ТЯУ — Выжженный край *(Главы из романа. Перевод с вьетнамского И. Зимониной. Вступление Нгуен Динь Тхи)* 24

ГАССАН КАНАФАНИ — Умм Саад *(Повесть. Перевод с арабского И. Ермакова)* 77

Литературное наследие

СУБРАМАНЬЯ БАРАДИ — Стихи *(К 100-летию со дня рождения. Перевод с тамильского С. Северцева. Вступление Вит. Фурники)* 99

ЖАН КЕЙРОЛЬ — История одного дома *(Роман. Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой)* 105

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Эмманюэль Роблес, Дюла Чак, Картар Сингх Дуггал, Леопольд Седар Сенгор, Ален Боске, Лисандро Отеро, Джон Монтегю, Войцех Жукровский, Адольф Мушг, Тонино Гуэрра, Чамил Сиярич, Хосе Алькантара Альмансар, Люче д'Эрамо, Отто Штайгер, Хоакин Гутьеррес, Андре Стиль, Айи Квеи Арма, Мануэл Феррейра, Рауль Ларра, Жан Бриер и Анхель Аухьер.)* 204

Говорят участники V встречи советских и американских писателей. ИРВИНГ СТОУН: «Функция искусства — сделать жизнь осмысленной...». СТАДС ТЕРКЕЛ: «В выявлении ранее скрытого и заключается смысл литературы» *(Беседы вела И. Зорина)* 221

САВВА ДАНГУЛОВ — «В коротком путешествии, имя которому жизнь...» (Художник. Творчество. Время) 226

Среди книг

Издано в СССР

С. Николаева — Увидеть непривычное в привычном ✦ А. Бочаров — Бунт против повседневности 235

Издано за рубежом

Карло Бенедетти: о Сибири и сибиряках *(Беседу вела Н. Попова)* ✦ Лев Токарев — Гимн единству ✦ Шарль Арош — Историческая память народа 238

Из месяца в месяц 245

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1982 год, № 1—12 251

На 1-й странице обложки — ЯРОМИР ЙИНДРА (Чехословакия). Красная площадь. Темпера

© «Иностранная литература», 1982.

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ ВРЕМЕНИ

Зарубежные писатели о Советском Союзе

Действительность первого на земле социалистического государства не раз представала на страницах «Иностранной литературы» в зеркале мирового общественного мнения: многие наши друзья, известные писатели, в разные годы посетившие СССР, в очерках, дневниках, статьях делились своими впечатлениями и мыслями об увиденном, о прочитанном в книгах советских авторов.

Постоянные читатели журнала, вероятно, вспомнят посвященный 50-летию Октября специальный номер «Иностранной литературы», целиком составленный из такого рода свидетельств в жанре документальной прозы и художественной публицистики, обширный цикл публикаций 1977 года под рубрикой «Я видел будущее» — к 60-летию Октября, вспомнят номера, выпущенные к 100-летию и 110-летию со дня рождения В. И. Ленина, некоторые другие свидетельства о жизни и культуре советского народа, чаще появлявшиеся в ноябрьских книжках журнала — в связи с очередной годовщиной Октябрьской революции.

Подборка из нескольких очерков, статей и высказываний зарубежных писателей, открывающая этот номер, приурочена к нашей сегодняшней большой праздничной дате — 60-летию провозглашения Союза Советских Социалистических Республик. Наряду с отрывками из книг, увидевших свет за последние два года, таких, как очерки венгерской писательницы Жужи Раб или болгарской — Наташи Маноловой, сюда вошли и материалы, написанные по заказу редакции специально для этого номера.

Первые ее страницы — фрагменты из книг крупного югославского хорватского прозаика-коммуниста, верного друга нашей страны Аугуста Цесареца, расстрелянного фашистами в 1941 году.

АУГУСТ ЦЕСАРЕЦ (Югославия)

ВСТРЕЧА С В. И. ЛЕНИНЫМ [1]

Было это 13 ноября 1922 года на IV конгрессе Коммунистического Интернационала. Великолепный Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца казался храмом, в котором предстояло какое-то торжество. Но какое торжество могло состояться сегодня, когда для нас, здесь собравшихся, все бывшие святыни царского дворца были мертвы? Безусловно, это не будет торжество, подобное тем церемониям окостеневшего этикета, что происходили здесь некогда,— нет, какое-то иное торжество, к которому присутствующие готовятся всем сердцем. Это заметно по лицам, на них — улыбка, радость, напряженное ожидание. Сегодня здесь, можно сказать, собрались все. Земной шар представлен всеми расами, делегаты перемешались и теснятся к сцене, на которой за красным столом уже собрался президиум...

Звучит «Интернационал» на всех языках, но как-то приглушенно, люди сдерживают свои чувства, словно бы сберегая их для чего-то более значительного и важного. Этой минуты все мы ожидали уже несколько дней, пожалуй даже месяцев, но о том, что она наступит сегодня, узнали лишь вчера вечером: на конгресс должен прийти ЛЕНИН.

Он хворал несколько месяцев и впервые после болезни снова появится перед общественностью. Все мы воспринимаем это как доказательство того, что он надолго возвращается в строй...

Я стою возле окна, мой взгляд тщетно пытается пробиться сквозь волны людей. Внезапно эти волны заколыхались, взметнулись ввысь руки, все аплодируют — кажется, это сотни чаек машут белыми крыльями над черными волнами... Сотни соб-

[1] Очерк «Встреча с В. И. Лениным» был опубликован в 1924 году газетой «Борба», печатается по тексту журнала «Современник» (Белград, 1957, № 9), выпущенного к 40-летию Октября.

равшихся здесь — тех, кому нужен переводчик для того, чтобы понять друг друга, сейчас объединило одно слово, понятное всем: Ленин, Ленин!

Он появился на трибуне, пройдя сквозь толпу,— вынырнул из темной пучины на ослепительный свет — и с точки зрения истории именно так можно было бы выразиться. Под мышкой у него бумаги, он улыбается, успокаивая нас свободной рукой. Но даже ему не удается унять этот шквал. В зале звучит мелодия «Интернационала». Поют на всех языках, а Владимир Ильич склонился над трибуной, листает конспекты, раскладывает их... Спокойствие, абсолютное спокойствие олицетворяет сейчас этот человек...

Я весь превратился в зрение. Смотрю на него, боясь пропустить малейшую деталь... Вряд ли найдется человек, не знакомый с его портретом... Он невысок, на нем будничный костюм — военный френч с мягким белым подворотничком...

Отзвучал последний куплет «Интернационала», и на мгновение воцаряется тишина... Слово предоставляется Ильичу. Он начинает говорить. В голосе его нет ничего необыкновенного. Речь течет естественно, просто, словно поток струится по откосу... Он улыбается... говорит негромко, но слушающие впитывают его слова, как губка воду, и отзываются на них, как резонатор.

Говорит он по-немецки. На случай, если вдруг не хватит слов, посадил возле себя переводчика. Иногда это случается, и тогда Ленин улыбается, поднимает руку, помогая себе жестом, подыскивает точное словечко... С энтузиазмом подсказывают из толпы немцы, предлагает свой вариант и переводчик; Ильич выбирает самое точное и с видимым удовольствием, словно поймал прекрасную птицу, включает его в трезвую диалектику своих фраз... В каждом его движении, в каждом слове и взгляде видны убежденность в правоте своей идеи и своего дела, и очень часто — ирония по отношению к противнику... Основное впечатление, для которого я долго подыскивал слова, а найдя их, глубоко убежден, что именно они способны передать главное,— это детская чистота души, отеческая доброта Ленина. Словно отец, он полтора часа беседовал с нами...

А потом снова разразилась буря приветствий, и снова под золочеными сводами императорского зала разнесся «Интернационал». Зал стал пустеть, меня кто-то позвал, но я на секунду задержался: на сцене президиум окружил Ленина. Он по-прежнему улыбался — таким, выйдя на минуту, я его и оставил. Когда я вернулся, его уже не было. Опустело место, где он стоял, и в душе моей тоже словно поселилась пустота, какая-то боль...

Несомненно, это была одна из самых высоких минут моей жизни — мне довелось увидеть и услышать великого человека, Ленина... Это было его последнее публичное выступление...

В СТРАНЕ МАРИЙЦЕВ[1]

Знакомство с композитором Эшпаем привело меня из Москвы к марийцам. Я проехал по белой, еще покрытой снегом русской равнине, миновал земли Чувашской Автономной Республики, добрался до Волги. «Эй, ухнем!» — этой славной песни некогда существовавших волжских бурлаков услышать я не мог: прошли времена их тяжкого труда. Реку сковала тяжелая корка льда... Вместо того чтобы двигаться дальше на восток, к близкой Казани, главному городу Татарской Автономной Республики, я повернул на север и оказался в Йошкар-Оле, столице автономной республики марийцев.

Мари-эль, страна мари — кто еще совсем недавно знал об этой стране, об этом народе под его истинным названием? Разве что редкие филологи!..

До первой мировой войны Йошкар-Ола была городишком, насчитывавшим 1700 человек,— сегодня, в 30-х годах, их 17 тысяч. Тогда она была полностью отрезана от мира — с 1931 года ее соединяет железнодорожная ветка с дорогой на Казань и дальше, в Сибирь. Город раскинулся на равнине, его широкие улицы, напоминающие настоящие бульвары, под прямым углом пересекают друг друга. Вдоль деревянных тротуаров повсюду высажены рядами деревья, а помимо этого в городе еще пять парков (один даже с летним театром). Дома в большинстве тоже деревянные, одно- и двухэтажные, но попадаются и высокие, кирпичные. Здесь тоже много строят, особенно школьные здания.

Прежде в этом городе неграмотных существовала лишь одна неполная средняя школа, теперь — несколько десятилеток и еще медицинский, музыкальный и театральный техникумы. Это помимо научно-исследовательского марийского института (куда меня еще в Москве направил Эшпай и где я уже побывал) и трех других: педагогического, лесоводческого и Марксистской академии с рабочим факультетом, рабфаком.

Как бывший учитель, я захотел ознакомиться с некоторыми из этих учебных заведений... Я разговаривал с ребятами в школах, на переменах и в классах. В один из них меня затащили почти силой, чтобы я рассказал о своей стране... Потом я осмотрел и политехническое отделение этой школы, побывал в двух мастерских: сле-

[1] Очерки «В стране марийцев» и последующие «На Урале» и «На Волге», вышедшие в свет в Загребе в 1940 году отдельными брошюрами, переведены по тексту книги «Путешествие по Советскому Союзу» (Загреб, 1964).

сарной и столярной... Побывал в женской трудовой школе имени 8 Марта. Здесь под руководством скромной, приветливой марийской женщины Афанасьевой готовят национальные кадры для работы на селе. Ученицы — сплошь девушки-марийки, в основном из колхозов. В этом училище они учатся шить, ткать и вязать, с тем чтобы полученные знания потом передавать другим женщинам в родном селе... Кроме того, эти ученицы, будущие реформаторы, изучают математику, химию, историю, социологию, географию, технологию производства. Обучение бесплатное, и также бесплатно предоставляется жилье и питание. Мастерские просторны, несколько теснее в спальнях, но повсюду я видел безукоризненный порядок, а на складах готовых изделий — изумительные работы, особенно вышивки...

Прогресс в Йошкар-Оле заметен почти во всем. Кроме уже упоминавшихся институтских библиотек в городе существует и Центральная областная библиотека, обслуживающая не только сам город, но и всю область. Основана эта библиотека была в 1922 году, но после этого она дважды горела. Тем не менее в этом, третьем по счету, ее здании сейчас 65 тысяч книг. Постоянных абонентов — 3700, и люди пользуются книгами совершенно бесплатно... Старый библиотекарь познакомил меня со статистическими данными роста бюджета. В 1930 году библиотека располагала 10 690 рублями, в 1933-м — 50 000, в 1934-м — 60 576, а в 1935-м она имела уже 81 500 рублей.

Библиотека столицы трехсоттысячного народа, культурная жизнь которой со времен Октября умещалась лишь в два десятилетия, располагала куда большим бюджетом, нежели иные библиотеки многомиллионных народов с куда более древней культурой!..

Два читальных зала — для детей и для взрослых... В уголке, рядом с окном, сидел какой-то старик, в зимнем пальто и меховой шапке, погруженный в чтение. Я подошел к нему, бросил взгляд на газетный лист и спросил:

— «Правду» читаете?

Он держал в руках экземпляр газеты «Правда», центрального органа большевистской партии. Старик поднял голову и с добродушной улыбкой ответил:

— Да, «Правду».

— Каждый день читаете?

— Да, ради нее я ежедневно прихожу сюда.

— А кто вы?

Это был 57-летний дровосек. В день зарабатывал по пять-шесть рублей и твердо сказал мне:

— Мне этого вполне хватает! Достаточно!

— Значит, вы всем довольны?

— А почему бы мне не быть довольным?

— Вы член партии?

— Беспартийный!

И скорее невольно, нежели с умыслом, у меня вырвалось:

— А вы не против советской власти?

Он поднял в изумлении свои седые брови, удивленно на меня посмотрел, но по-прежнему с добродушной улыбкой ответил:

— Как же можно! Ведь это же мы сами!

Меня поразил этот краткий, точный ответ старого лесоруба. Я попросил у него извинения за свой вопрос, и когда отошел, он вновь погрузился в свою газету. Тихо шелестели страницы в руках читателей. Сотрудница библиотеки за своим столом что-то советовала молодому рабочему. Стояла тишина, как всегда в публичной библиотеке, а у меня в ушах продолжал долго звучать ответ старого человека:

— Как же можно! Ведь это же мы сами!

...В Йошкар-Оле есть и свой — первый в истории! — марийский музей. Скромным было его начало, скромно он и размещается в двух-трех помещениях, некогда принадлежавших Государственному казначейству. В одной из этих комнат меня встретил заместитель директора, бывший марийский учитель Королев.

Первым делом он показал мне картины марийских художников. Картины вообще первых марийских художников. Какой-нибудь год назад почти все они были крестьянами, а некоторые и продолжают жить в деревне в своих колхозах. Полотна эти носили характер фольклорных документов, позволяющих познакомиться с тем, как революция прошла в этой стране. Вот несколько названий этих полотен: «Митинг по случаю пятой годовщины смерти Ленина», «Изба-читальня», «Сельсовет», «Встреча первого трактора», «Встреча первого поезда»...

Весьма оригинальны марийские художественные промыслы. Особенно керамика и резьба по дереву.

Побывал я и в театре Йошкар-Олы. История этого опять-таки вообще первого марийского театра восходит к 1928 году. Актеры — тоже в основном бывшие крестьяне, половина их уже стала профессионалами, остальные учатся в театральном техникуме. Они ставили уже отдельные марийские пьесы и произведения русской классики; в тот вечер была премьера спектакля «Акпатыр» марийского автора Чавайна с музыкой Эшпая.

Я познакомился с Чавайном. По сути дела он является родоначальником марийской литературы. Был учителем, начал писать еще до войны, но бросил и ничего

не создавал до самой революции, поскольку печатать свои рассказы на марийском языке ему было негде. Он рассказывал мне, что «Акпатыр» — это историческая драма о вожде крестьянского восстания марийцев в XVIII веке, почти одновременного с восстанием Пугачева. Он хотел показать в этой драме давнюю борьбу марийцев за свое национальное и социальное освобождение.

Драма в духе романтизма — так в Западной Европе писали еще в первой половине прошлого века, хотя присутствовали и заметные реалистические моменты. Актеры своей игрой подчеркивали их. Играли они с вдохновением и даже немалым талантом. Видно было, что эти бывшие крестьяне уже привыкли к сцене...

Музыка Эшпая еще более подчеркивала характер романтической мелодрамы. Но сам по себе, в целом, со всеми своими фольклорными мотивами, спектакль был чрезвычайно интересен.

На другой день после этой премьеры у меня состоялся долгий разговор о марийской литературе с одним молодым критиком. По его словам, молодые марийские писатели чаще обращаются к современной проблематике, создана национальная секция в Союзе советских писателей. Она состоит из девяти действительных членов и шести кандидатов. Заявления вначале подало более пятидесяти человек, но приняли лишь тех, у кого уже вышла хотя бы одна книга.

Меня интересовало, как обстоит у марийцев дело с журналами. Оказалось, что у них пять ежемесячных журналов, со средним тиражом в 1000 экземпляров (средний тираж книг — от 3000 до 5000...).

И все это принадлежало народу с населением около 300 000 человек, который до революции насчитывал не более трех интеллигентов с высшим образованием, а литературы, если не считать нескольких церковных изданий и календарей, вообще не существовало! Сейчас, спустя более полутора десятилетий после революции, вы на каждом шагу встретите специалиста если не с высшим, то непременно со средним образованием, а сотни и тысячи других готовились получить или то, или другое! Неграмотность, как мне рассказывали в научно-исследовательском институте, уменьшилась на 86—88% у мужчин и на 98% у женщин...

Уже в Москве я познакомился с брошюрой о Марийской Республике и увидел, как стремительно росли показатели во всех областях жизни... В чем же заключалась причина такого движения вперед?

Многие марийцы дали мне на это сами простой и ясный ответ. Причина лежала в правильно проводимой национальной политике СССР... Для всех народов, входящих в СССР, равным образом гарантировано право на национальное, экономическое, социальное и культурное развитие. И в том, что это право не осталось пустым словом на бумаге, но превратилось в реальность, я убедился на примере далекой Марийской Автономной Республики, на примере счастливой Мари-эль.

НА УРАЛЕ

Бескрайняя равнина. Неоглядный зеленый бильярдный стол. Только вместо красного или белого шара по нему катится черная металлическая лента скорого поезда. Она промчалась по территории нескольких автономных республик: чувашей, марийцев, татар, удмуртов, башкир. Оставила позади Волгу, Вятку, Каму. Пробилась через горы, березовые и сосновые леса и поздним вечером на второй день пути доставила меня из Москвы к цели — в город Свердловск. Это было на Урале, пограничном горном хребте между двумя континентами. И вот я на этом рубеже, на стыке Европы и Азии.

Ничего «азиатского» не заметил я в этом городе. Должно быть, давно, когда он еще назывался Екатеринбургом, что-нибудь да было, когда его описывал знаменитый летописец царской каторги американец Кеннан. Он писал тогда о Екатеринбурге как о городе деревянных домишек.

Вместо этих лачуг я мог видеть сейчас новые, широкие, современные улицы и площади с воздвигнутыми из бетона, металла и стекла зданиями. Новый город, который за последние десять — пятнадцать лет вырос более чем в семь раз, сегодня насчитывал более полумиллиона жителей.

Он является центром Свердловской области, которая по своей территории еще на одну Хорватию больше всей Югославии. Председатель исполкома области — бывший рабочий-металлист. Пожилой человек, с простым открытым лицом, с руками, которые на сверкающей поверхности стола в его рабочем кабинете лежат точно два молота. Теперь его подпись скрепляет сотни решений, важных для развития области и всего Советского государства. С нескрываемой гордостью он ведет свой рассказ:

— Да, мы развиваемся, идем вперед. Урал сегодня совсем иной, чем он был даже несколько лет назад. Еще до первой пятилетки здешние заводы, в основном металлургические, больше напоминали старые демидовские времена, нежели нынешние. В качестве топлива использовали древесный уголь, сегодня у нас все электрифицировано. Как жили прежде рабочие, об этом вы у них спросите сами. Хотите познакомиться с нашим Уралмашем? Пожалуйста, смотрите, сами делайте выводы.

Меня снабдили гидом, и я осмотрел в Свердловске все, что меня интересовало. И прежде всего Уралмаш, огромный новый завод тяжелого машиностроения. Он располагался за городской чертой, у реки Исеть. А вокруг него возник самостоятельный город со своими жилыми домами, школами, детскими садами, кинотеатрами и прочими культурными и социальными учреждениями. Около двадцати пяти тысяч рабочих трудилось здесь.

Светлые, полные воздуха, просторные цеха. Шум машин, стук молотов, оглушительная песня металла. Созданные руками человека, машины сами создают другие машины, творят их под руководством своих хозяев, но не рабов. «Товарищ, товарищ» — эти слова я слышу со всех сторон. Так рабочий называет инженера и директора, так инженер и директор обращаются к рабочему. Другого обращения в СССР нет, разве что более холодное, обобщенное: гражданин. Но с этим словом как-то неловко обратиться даже к постовому милиционеру.

На Уралмаше, как и на других заводах СССР, преобладает молодое поколение рабочих и работниц, которые в значительной своей части выходцы из деревни. Но если раньше в России, говоря в целом, не существовало давней рабочей традиции, как в более старых промышленных странах, например, в Германии или Англии, то сейчас эта традиция создается в энергичном, по сути дела юношески вдохновенном темпе, и это стало возможным с самого начала, ибо труд на этих заводах теперь основан на совершенно новых предпосылках. «Я — хозяин своей машины»,— так однажды сказал мне о себе молодой рабочий парень, вчерашний крестьянин, на московском шарикоподшипниковом заводе.

Во фрезерном цехе Уралмаша я услышал и другой важный ответ:

— Мы работаем семь часов в день,— сказал мне рабочий в завязавшемся между нами разговоре,— но будь даже все двадцать четыре, это было бы для нас, для нас самих! — За ударную работу и рационализаторские усовершенствования в своем станке он получил в подарок от дирекции завода премию — автомобиль!

И здесь, как и повсюду в СССР, много учатся: существуют разного рода специальные курсы, где рабочий может пополнить свое общее и специальное образование, «повысить свою квалификацию».

Я осмотрел также школы, детские сады, прекрасный спортивный стадион, квартиры рабочих Уралмаша. В одной из семилетних школ меня познакомили с тринадцатилетним мальчиком, получившим патент на усовершенствование — не знаю уж, какой именно — сельскохозяйственной машины. Детский сад, кажется на двести мест, имел в своем распоряжении более двадцати помещений. За скромную плату женщины могли оставлять здесь на день или на ночь своих детишек. А спортивный стадион построило для рабочих само предприятие.

В одной из жилых квартир хозяин ее, только что получивший диплом молодой инженер, занимался обучением своего отца, старого мастера из Златоуста, толковал ему о каком-то новом способе получения бог ведает какого сплава.

— Что поделаешь? — словно оправдывался передо мною старик.— Все учатся, надо и мне! Такое сейчас время!

— А как было прежде? — спросил я.

— Как было прежде... хм... — И, лишь презрительно махнув рукой, добавил на манер какого-нибудь горьковского философа: — Нечего и говорить! В полной темноте жили!

Он занимал с женой и сыном две довольно хорошо обставленные комнаты, с неизбежной радиотарелкой на стене и патефоном. За эти две комнаты с кухней и ванной он платил примерно одну двадцатую часть своей зарплаты.

Я вернулся с Уралмаша в Свердловск и здесь осмотрел еще одно предприятие — очень старую, по сути дела екатерининских времен, фабрику шлифовки драгоценных камней. В дни моего пребывания тут занимались огранкой драгоценных камней для огромных звезд, которым вскоре предстояло заменить столетних позолоченных царских орлов на башнях московского Кремля, резиденции советского правительства.

Вообще же здесь продолжали, как и прежде, производить сделанные с большим вкусом ожерелья, перстни, броши, портсигары и прочие аналогичные предметы для широкого потребления. И хотя у власти стояли бывшие бедняки, вкус к украшению жизни вовсе не исчез, расширилась лишь его основа. Многие предметы предназначались на экспорт.

Названный в честь покойного президента Советского Союза Якова Свердлова город превратился в первоклассный культурный центр. В нем существует своя опера, несколько драматических театров, целый ряд высших, особенно технических, учебных заведений, множество кинотеатров, рабочих клубов, дворцов культуры, Дом печати, Дом литературы и искусства. Немало важного, интересного и прекрасного увидел я в этих домах и учреждениях...

Из Свердловска я переехал в центр другой области Урала — Челябинск. Председатель облисполкома здесь, подобно своему свердловскому коллеге, тоже раньше был рабочим-металлистом, и в его области также было немало важных металлургических предприятий. Среди них в самом городе — большой тракторный завод.

Посадить советскую власть на автомобиль, а мужика на трактор — таков был лозунг, который проводил в жизнь и этот челябинский тракторный завод.

На первый взгляд снаружи казалось, будто это вовсе и не завод. Представительный вход с колоннадой и статуями. Внутри со всех сторон однообразные, но

очень ладные здания со множеством стеклянных окон. Между ними широкие, чистые, асфальтированные проезды. Или даже настоящие парки-скверы с аллеями недавно посаженных деревьев и кустарников. Стояла ранняя осень, цвели азалии, и их нежные лиловые лепестки впитывали в себя покуда теплое солнце, подобно тому как я впитывал в себя эту чудесную картину промышленного предприятия, украшенного стоявшим впереди зданием заводоуправления, которое напоминало с большим вкусом воздвигнутую виллу.

...На этом месте, рассказывали мне, раньше были глухие заросли, где челябинские рабочие устраивали свои нелегальные собрания. Теперь же здесь они построили свой завод, который, наряду со сталинградским тракторным, принадлежал к числу крупнейших в мире. Здесь выпускали гусеничные тракторы — несколько сот тысяч этих машин уже работало на полях Советского Союза.

Длинными поездами их тут же отправляли вдаль, в безграничные пространства страны, которая с нетерпением ожидала их, стремясь к переменам, к преображению советского села.

...Строительство новых предприятий, увеличение возможностей уже построенных и переоборудованных старых — все это стало здесь обычным явлением. Правда, иногда имели место заторы. И тоже по несколько необычным для нас причинам. Об одной из таких трудностей мне довелось услышать из уст директора челябинской электростанции. Это было крупное предприятие, снабжавшее энергией не только заводы Челябинска, но и соседней Свердловской области. Но станцию надо было расширить, а рабочих для этого не хватало. И директор ее, показывая мне размах начатых работ, не сумел удержаться от горестного вздоха:

— Я бы сейчас пять лет жизни отдал за две сотни рабочих, которые закончили бы все это!

Рабочих рук не хватало — и в городе, и в деревне. Даже на селе ощущался недостаток рабочей силы... И все же самые, казалось бы, фантастические планы удалось осуществить: создать огромные комбинаты, проложить новые каналы, железные дороги, создать московское метро...

Но еще большее впечатление, чем города, заводы, каналы, сами по себе величественные, вызывающие восторг и восхищение, на меня производили примеры строительства иного рода, примеры перестройки самого человека, его психологии, того, что в СССР называют «переделкой человеческих душ»...

НА ВОЛГЕ

Из Магнитогорска я направился в Самару, нынешний волжский город Куйбышев. Дорога по Уралу, по южной его границе, оказалась незабываемо прекрасной. Поезд петлял между высокими горами, покрытыми березовыми и сосновыми лесами. Но пожелтела уже березовая листва, а поскольку стоял ясный, хрустально-синий, солнечный день, она казалась еще более желтой, словно покрытой позолотой. Необыкновенно белыми были стволы этих берез, они выглядели тысячами свечей, огоньки которых, вспыхнув, слились в одно-единственное бесконечное пламя. Бесконечное, лишь местами угасающее, с пятнами пожарищ, которыми в этом березовом море казались темные острова сосен и елей. Целыми часами длилось это волшебство природы. На мгновение над составом, распластав, подобно самолету, крылья, воспарил большой горный орел. Он словно сопутствовал нашему поезду, как бы изучая этого огромного черного металлического змея, безостановочно и стремительно скользившего под ним. А потом, будто презрев его и всех нас, пассажиров, в его утробе, взмыл еще выше и исчез за другим склоном.

И когда погас этот огромный уральский светильник и вместо берез кругом воцарились сосны, дорога по-прежнему оставалась интересной, пейзажи великолепными. По сути дела это был сплошной калейдоскоп пейзажей, своего рода бесконечная лента, которая в дальнем пограничном краю между Европой и Азией напоминала мне родные пейзажи... В глубине ущелий словно вдруг раскрывались створки, где сверкал быстрый поток. Или сквозь сосновую поросль проглядывало сельцо с домами из камня и черепичными крышами. Казалось, будто поезд несет меня по нашему Горскому Котару. А потом менее резкими становились контуры, на горах появлялись лиственные деревца, невысокие, чахлые, но зато у сельских домов были более высокие кровли. И возникал главный город Башкирской Республики — Уфа — с высоким минаретом городской мечети поверх крыш; мне казалось, будто я в Боснии. Потом вовсе успокаивалась природа, выравнивалась земная поверхность, и поезд вновь вырывался на бескрайнюю равнину. Справа и слева тянулись дубовые леса, вспаханные поля и луга со стогами сена; мне казалось, будто я в Посавье. Только стога эти выглядели непривычно: огороженные низким плетнем, они походили на большие шапки с узенькими лентами...

В конце концов и это исчезло. Осталась одна степь, укрытая ночной тьмою, под покровом которой я и добрался до Куйбышева. Нынешнее название он получил в память о скончавшемся недавно наркоме, здесь родившемся. Это был центр большой области, как говорили раньше губернии, одной из самых крупных в Поволжье. Здесь

когда-то в качестве юного помощника присяжного поверенного сделал свои первые шаги в историю Ленин, уроженец бывшего Симбирска. Здесь же, почти одновременно, стал также входить в историю, историю литературы, его литературный Диоскур Максим Горький. Под необычным и вызывающим псевдонимом Иегудиил Хламида он помещал в здешней газете свои фельетоны, и в этом же городе он сложил и свою славную «Песню о Соколе»...

Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!..

Перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

БХИШАМ САХНИ (Индия)

ДУХОВНОЕ РОДСТВО[1]

К Советскому Союзу и его людям в Индии давно относятся с теплотой и неподдельным восхищением. Недавно в отдельных периодических изданиях появились исследования о периоде Великой Октябрьской социалистической революции, из которых явствует, что индийский народ встретил это историческое событие с энтузиазмом, хотя британское правительство не скупилось на ложь и яростную антисоветскую пропаганду. Ввоз литературы из Советского Союза был запрещен, но книги некоторых революционных писателей, в частности Максима Горького, нашли дорогу в Индию, проникали даже в тюрьмы, где ими зачитывались молодые патриоты. Ведь в книгах Горького были выражены самые сокровенные чаяния и надежды миллионов людей.

Теперь, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что между индийским и советским народами всегда существовала общность взглядов по многим вопросам, взаимная симпатия. И не случайно в 1906 году в своем журнале «Индиан опиньон» Махатма Ганди писал о Максиме Горьком: «Между народами Индии и России есть определенное сходство. Русские, как и мы, бедны... Недавно в России произошла революция. Одним из активнейших ее участников был человек по имени Максим Горький. Он вырос в ужасающей нищете... Задача всех его сочинений состояла в том, чтобы поднять народ против несправедливости, на борьбу за свои права. Во всей Европе Горький — единственный писатель, который сражается за права людей».

В обеих странах, стремившихся освободиться от гнета эксплуатации и социальной несправедливости, появились писатели, которые не мыслили себя вне своего народа и вместе с простыми людьми боролись за претворение их чаяний в жизнь. Они были гуманистами до мозга костей, жаждавшими перестройки общества. Своими произведениями они хотели пробудить народное сознание, ибо без этого невозможна никакая переделка общества. И вовсе не простое совпадение, что Премчанд и Горький были современниками и оба выступали в защиту угнетенной бедноты, сделав образ борющегося бедняка центральным в литературе. Известие о смерти Горького (Горький умер за несколько месяцев до него, в 1936 году) настолько взволновало тяжело больного Премчанда, что он нашел в себе силы встать с постели и написать статью о русском писателе. Презрев недуг, Премчанд почел своим долгом присутствовать на траурном митинге, посвященном памяти Горького, где его статью зачитал кто-то из присутствовавших: у писателя не было сил даже стоять. «Я не мог остаться дома,— сказал Премчанд жене.— Смерть Горького — это огромная утрата».

Помимо духовного родства наших стран во многом совпадает их подход к вопросам искусства и литературы. С давних времен в Индии считается, что «чистого» искусства быть не может. Цель литературы — приносить пользу человеку и обществу, эта идея всегда лежала в основе гуманизма, дошедшего до нас из глубины веков. В индийской литературе, несомненно, много идеализма, иногда ей присущи излишний фатализм и чрезмерная сентиментальность, но она неизменно исповедует любовь ко всему хорошему в человеке и отношениях между людьми, любовь к самой жизни, воспевает красоту вселенной и природы. Она раскрывает стремление человека сделать жизнь лучше и стоит на трех китах — «правдивое, доброе и прекрасное».

На мой взгляд, в СССР литературное произведение оценивают, исходя из того, насколько оно делает людей лучше и чище, позволяя им глубже понимать друг друга, вдохновляя на благородные мысли и поступки. Индийских писателей тоже трудно обвинить в формализме, хотя в нашей литературе предпринимались и предпринимаются попытки насадить так называемые «модернистские» эстетические теории, ориентированные на Запад. Суть их сводится к тому, чтобы привить художнику субъективный взгляд на жизнь, лишить его оптимистического восприятия мира, заразив отрицанием всех ценностей, убежденностью в том, что личность по самой природе своей одинока и не связана с обществом. Однако эти попытки в большинстве слу-

[1] Статья получена в рукописи.

чаев не имеют успеха. Подобная эстетика не может пустить корни на индийской почве из-за богатых гуманистических традиций нашего народа. Мы признаем литературу, которая создает правдивую картину жизни со всеми ее противоречиями и не уходит от действительности.

Я думаю, что именно так подходят к литературе и в СССР, поэтому нам с советскими писателями легко понять друг друга, что для нас крайне важно.

Касаясь моего путешествия по бескрайним просторам советской литературы, хотелось бы сказать о наиболее значительных вехах, встреченных в пути. Я был неплохо знаком с творчеством русских классиков XIX века, читал А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, писателей предреволюционного периода: А. Чехова, А. Куприна, В. Короленко, некоторые книги Максима Горького. Но когда я взялся за произведения, написанные после Великого Октября, и прочитал «Как закалялась сталь» Николая Островского, то понял: советская литература — это нечто совершенно новое. Я словно глотнул свежего воздуха. Беззаветная преданность великой цели, решимость отдать ради ее достижения всю свою энергию без остатка, высшая радость от участия в общем деле строительства социализма — все это невероятно меня взволновало. Книга поразила меня еще и потому, что автор, испытывая тяжелые физические страдания, умирал мученической смертью. В Индии таких людей называют «святыми».

Произведения советской литературы позволяли увидеть страну, охваченную гигантской работой, людей, которые вели грандиозное строительство. Преодолевая тяжелое наследие прошлого, они создавали новую цивилизацию, новый общественный порядок. Вдохновленные высокими идеалами и глубоким чувством преданности социализму, они самоотверженно открывали новую эру в истории человечества. И еще я заметил, что советской литературе присуща масштабность. Особенно это относится к романам — раздвинулись их горизонты, возросла широта охвата жизни, чувствовалось движение народных масс. Очень ярко это проявилось в произведениях Шолохова. Этот художник — замечательный мастер: у него великолепно разработаны характеры, яркая живопись словом, на каждой странице пульсирует жизнь.

Во время войны на долю советского народа выпали новые тяжкие испытания. И очень скоро стали появляться книги, в которых звучал гимн героизму. Вскоре после войны мне довелось прочитать «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Бурю» Ильи Эренбурга. Это были подлинные свидетельства гигантской битвы, которую вела страна, воспевающие несгибаемость человеческого духа и высокое чувство ответственности перед родиной.

Война опустошила страну, принеся неслыханные разрушения, но страшнее руин оказались раны в сердцах миллионов людей. Советский Союз выстоял и спас человечество от фашизма, хотя победа досталась тяжелой ценой. В послевоенный период поднялась мощная волна произведений о минувшей войне, появились глубоко эмоциональные рассказы («Судьба человека» Михаила Шолохова) и кинофильмы («Баллада о солдате»). От этих и подобных им произведений веяло щемящей сердце грустью, но вместе с тем они излучали любовь к жизни и человеку. В них не было даже намека на безысходность, наоборот, ощущалась страстная надежда, что на земле восторжествует мир.

Разгром фашизма ознаменовал наступление новой эпохи, заметно возросла роль Советского Союза в борьбе за мир во всем мире, он начал оказывать все большую моральную и материальную поддержку странам так называемого «третьего мира», которые сражались за независимость или отстаивали свою самостоятельность. По всему Советскому Союзу велись гигантские восстановительные работы, разрабатывались и уверенно претворялись в жизнь грандиозные планы развития страны.

Эти годы выдвинули на авансцену новое поколение писателей. Приметой времени стало появление во многих республиках Советского Союза выдающихся, талантливых писателей, многие из которых получили всемирное признание. Это свидетельствует о росте культуры в тех районах страны, что до революции оставались отсталыми. Я переполнен восхищением и чувством гордости за достижения социалистической системы. Писатели из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других республик прочно вошли в яркий мир советской литературы. Появились новые имена: Мирзо Турсун-заде, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов и другие. С большим удовольствием я знакомился с их произведениями. Часто эти книги носили характер воспоминаний, авторы рассказывали о замечательных преобразованиях в своих родных краях, радуясь этим переменам. Мне самому довелось переводить на хинди «Первого учителя» Чингиза Айтматова — бесхитростный, написанный от всего сердца рассказ о деревне, которая пробуждается к новой жизни. И в «Моем Дагестане» Расула Гамзатова, хотя и написанном в личном, лирическом ключе, также звучит гимн происшедшим преобразованиям.

Советская литература открывает новые горизонты, разрабатывает новые формы и способы художественного выражения, ведет неустанный творческий поиск. Она исследует проблемы и конфликты, поставленные сегодняшним днем, усложнившиеся нравственные отношения между людьми в современном обществе, отстаивает мир во всем мире. В ней неизменно ощущается интерес писателей к непреходящим ценностям, ее стержнем является гуманизм. Подлинная литература никогда не оставалась в стороне от вопросов, которые ставит жизнь, и это в полной мере относится к литературе советской.

Перевод с английского М. ЗАГОТА

ЖУЖА РАБ (Венгрия)

В СТРАНЕ ОГНЯ

Фрагменты книги

Атропатена — Страна огня: так называли древние греки современный Азербайджан. Паломники из индийских сект огнепоклонников воздавали на этой земле хвалу таинственному божеству, которое возникало у них на глазах в виде огненных столбов, пышных вееров пламени или самовозгорающихся факелов. У этих природных костров обогревались средневековые караваны. Позднее бог огня облачился в золотую личину: с середины прошлого столетия в нефтеносный край со всех концов мира хлынули лавины предпринимателей. А о современном значении этого края можно бы писать целые тома.

Есть нечто символическое в том, что именно здесь, в стране огня, собрались писатели и поэты из советских республик и братских стран на празднование Дней советской литературы. Следует сказать, что подобного рода «передвижные выставки» вообще довольно распространены в Советском Союзе: ежегодно то в одной, то в другой республике сходятся и знакомятся друг с другом писатели и читатели, народы и литературы, истории народов и национальные кухни, стихотворные формы и заздравные тосты. А в конечном итоге — люди.

Первый день — день прибытия — гостям из других стран предоставили для акклиматизации, и в этом действительно была необходимость. Домашний уют новой шестнадцатиэтажной гостиницы на берегу моря всячески способствовал вживанию в новую среду, и все же поначалу мы никак не могли приноровиться к погоде, жаркой и холодной одновременно. Ветер то налетал резкими порывами, то нежными прикосновениями поглаживал кожу; ночь была по-южному теплой и в то же время свежей, и даже от моря исходили попеременные волны прогретого воздуха и влажной прохлады.

Но на следующий день мы сами превратились в гостеприимных хозяев, отправившись в аэропорт встречать делегацию советских писателей. По трапу самолета спускалась словно ожившая антология. Как выразился мой венгерский коллега, он впервые встретился в действительности «со школьным и вузовским хрестоматийным материалом по советской литературе». Николай Тихонов, Валентин Катаев, Георгий Марков, Евгений Винокуров, Григол Абашидзе, Геворк Эмин, Олжас Сулейменов, Лев Гинзбург, Виталий Коротич, Иван Шесталов, Кайсын Кулиев, Михаил Луконин, Борис Полевой (чтобы упомянуть лишь некоторые из сразу узнанных мною лиц) из кондиционированной прохлады самолетной кабины сразу попали в жаркую атмосферу сердечного и по-восточному красочного приема. Маленькие девчушки в национальных костюмах танцевальным строем двинулись навстречу гостям под аккомпанемент барабана и зурны, звучащих в руках столь же юных музыкантов. Стройные девы в кисейных накидках — точно сошедшие с иллюстраций к «Тысяче и одной ночи» — оделяли каждого корзинами фруктов, потчевали медовым шербетом. Вдоль многокилометрового шоссе по направлению к городу нескончаемыми шеренгами выстроились взрослые и дети с цветами в руках.

Так вошел в столицу Азербайджана праздник. Но чествовали на этот раз не людей, а нечто более хрупкое и более непреходящее: писательское слово. Здесь я почувствовала по-настоящему, как велика наша ответственность.

Некоторое время я не могла понять, отчего к вечеру чувствую себя смертельно усталой, хотя на каждом шагу окружена всевозможными удобствами и покоем, все идет как по маслу, любое, даже невысказанное мое пожелание тотчас исполняется, и всех забот — знай держи в руках охапки цветов, которыми нас щедро засыпают повсюду, смотри по сторонам, любуйся красотами, обменивайся рукопожатиями, отвечай на обращенные к тебе теплые слова.

Устаешь именно от этого. Я давно подозревала — а там догадка моя подтвердилась,— что существует не только физическое и умственное, но и эмоциональное переутомление. У меня уставало сердце, но не в биологическом смысле, а от наплыва переживаний.

Ведь десять дней, проведенных в Баку и его окрестностях, не только вобрали в себя незабываемые впечатления знакомства с новым краем и его людьми, но и послужили непрекращающейся дружеской встречей, дав мне возможность вновь повидать своих друзей — писателей из братских советских республик. Я встретилась с авторами, чьи книги стопой лежат дома, на моем письменном столе, с теми поэтами, чьи стихи в этот момент набираются, печатаются в типографии, брошюруются переплетаются, чтобы в самое ближайшее время обрести новую жизнь — на венгерском языке — в антологии, которую я составила из новинок советской поэзии.

К семье давних друзей прибавились и новые.

© Rab Zsuzsa, 1981.

Однажды в оживленном вестибюле гостиницы ко мне подошла какая-то женщина средних лет со строгими чертами лица: «обменяться родственным словом», как она выразилась. Халимат Байрамукову, поэтессу карачаевской народности, интересовало, занимались ли наши ученые проблемой родственных связей карачаевцев и мадьяр. К стыду своему, я не могла ответить на ее вопрос, зато узнала, что у них в республике вышли научные публикации по этой теме.

Возвратясь на родину, я первым делом попыталась собрать хоть какие-то сведения о карачаевцах. В необычайно полезном справочнике, выпущенном издательством имени Кошута, «Народы Советского Союза», я прочла следующее: «Карачаевцы и балкарцы вперемежку друг с другом населяют горные местности в окрестностях Эльбруса. Литературный язык у них общий, однако горы мешают их тесному соприкосновению... По данным лингвистики, в формировании северокавказских тюркских народов важную роль играли племена кунов (куманцев)». В формировании этой этнической группы большую роль сыграли и аланы (ныне именуемые осетинцами, или ясами). Так вот оно что! Если дать волю фантазии, то можно себе представить, что на северных склонах Кавказа здравствуют и процветают тысячи и тысячи людей, которые сродни уроженцам наших областей Куншаг и Ясшаг.

Есть ли такой ученый, кто мог бы точно сказать, в родстве ли мы с азербайджанским народом и по какой линии, в каком колене, в какой степени и почему? Как дробились, крошились и перемешивались наши предки в ступе переселения народов и племенных войн?

Тот из нас, кто попадает в те края, и без каких бы то ни было научных аргументов четко ощущает это родство. Я лично никогда не воспринимала родным человека или народ на основе только кровного или языкового родства. Ведь помимо этих нитей существуют и иные, более существенные — правда, не всегда уловимые, но тем более прочные.

В Азербайджане, в пяти тысячах километров от моей родины, все было для меня знакомым. В особенности люди.

Сторож одной из мечетей, где я побывала, подвел к нам, когда мы выходили, невысокого, сухонького, жилистого старичка со смуглым лицом. «Маджарстан»,— представляет он нас старичку. Тот долго молча разглядывает нас, затем спрашивает на ломаном русском языке: «Что, мосты ваши восстановлены уже?».

Теперь мы замолкаем в растерянности. Старичок после взволнованной паузы подтверждает нашу догадку: «Я сражался в Будапеште. С самого начала и до конца, почти два месяца. Восстановлен ли город?»

Живет в Баку старый человек — и наверняка не он один, а еще многие другие старые и пожилые мужчины,— в чьей памяти навеки запечатлелся Будапешт последних месяцев войны с его рухнувшими в Дунай мостами, обвалившимися стенами и покореженными людскими судьбами, дымящимися руинами и зияющими ранами.

Ко множеству моих упущений в жизни прибавилось и это: я не записала ни имени, ни адреса старого солдата, чтобы послать ему альбом с видами нынешнего Будапешта.

На Нефтяных Камнях

Земля огня, огонь земли, огонь воды... Мы видели и такое.

Мощный морской теплоход везет нас на Нефтяные Камни. После четырехчасового пути на горизонте возникает ажурно-синий от леса буровых вышек современный город-сказка.

Из порта выруливают катера и, выстреливая струи воды наподобие китов, приветствуют наш теплоход.

В порту нас ожидает традиционный прием с музыкой, танцами, цветами, живописными корзинами фруктов. Однако цветы и фрукты здесь представляют особую ценность, не такую, как в любом другом месте; я сообразила это позднее, когда наконец усвоила разумом: здесь каждая горсть земли, каждое цветочное семя, рассада — все привезено с суши. Эти цветы и фрукты — собственного урожая, взращены в теплице, которая составляет предмет гордости и нежной опеки обитателей острова.

«По-рабочему», то бишь на небольших грузовиках, нас катают по всем дорогам острова, протянувшимся над стальными сваями на сто семьдесят пять километров. Предусмотрительные хозяева позаботились и о том, чтобы в каждой машине оказалось по местному жителю в качестве гида, и пока караван автомобилей движется медленным ходом, добровольный экскурсовод комментирует увиденное. Асфальтированные площади современной планировки, многоэтажные жилые дома, служебные здания, клуб, дом культуры, общежития для рабочих. То тут, то там вертолеты — в бездействии, но наготове: во время шторма попасть на остров можно только с помощью вертолетов. На «главной площади» установлена трибуна, гости произносят приветственные слова, читают стихи, выступают певцы, сам собою возникает праздничный концерт. Вокруг всей площади — столы с прохладительными напитками. На острове объявлен «сухой закон», спиртные напитки находятся под запретом. Я не без страха закуриваю сигарету, но меня успокаивают: добываемая нефть подается в цистерны герметически, достаточно взглянуть на море, чтобы убедиться — нигде на поверхности воды не увидишь радужных пятен, да и запаха газа не чувствуется.

Я иду вдоль по дороге — ее скорее назовешь полоской бесконечно тянущегося мола,— подсаживаюсь на скамейку к двоим рабочим, поговорить. Скамейка находится возле рабочего общежития, по обе стороны от входа — старые олеандры в больших кадках. Я бросаю взгляд вниз и... не верю своим глазам: на дороге красуются два хохлатых жаворонка. «Откуда они здесь взялись?» — «С суши привезли». Привезенное с суши — это определение относится здесь ко всему, за исключением моря, нефти и скал.

Во второй половине дня мы возвращаемся обратно, жители острова прощаются с нами в порту. Собственно говоря, жителями их и не назовешь: после восьмидневной трудовой смены они восемь дней отдыхают на суше. Выразить благодарность — свою, личную — некому. Я прохожу в толпе мимо двух приветливо улыбающихся работниц и к ним обращаю свои слова: «Спасибо за все». — «Вам спасибо,— отвечают они. — Приезжайте еще! Всего вам доброго!» Что ответить им на это? Что могу пожелать таким людям я?

Сведения о новом укладе жизни — достоверные, из первоисточника — я получила от трех молодых девушек. Я подчеркиваю «из первоисточника» потому, что до сих пор на литературных вечерах или дружеских встречах мне приходилось встречаться с «молодежью» вообще. Я лишь принимала от них цветы и отвечала на их приветствия, а вот сесть рядом и потолковать по душам времени не было.

С этими девушками я познакомилась на прибрежной аллее. Я присела к ним на скамейку: мне хотелось закурить, а дымить на ходу — как я успела заметить — в этих краях считается неприличным. Девушки помнили меня по телепередаче, когда транслировался торжественный вечер открытия литературного праздника; кратким выступлением на этом вечере я представляла свою страну. Начала знакомство я, а они продолжили, угостив меня сладостями.

Девушки оказались студентками третьего курса медицинского института и проводили в тенистом прибрежном парке «окно» между лекциями. Они сами вызвались показать мне красивейшие уголки парка: бакинскую Венецию. Под сенью южных сосен и плакучих ив протянулась сеть узких каналов, сверкающий водный лабиринт, а над ним самые причудливые мостики, от выгнутых дугой до висячих. Я с удовольствием бродила с ними. Их юная свежесть, умные, приятные речи стряхнули с меня усталость прошедших напряженных дней. Девушки — одну из них звали Себда, что значит «любовь», а две другие случайно носили одинаковое имя Фарида — были буквально влюблены в свой город. Я понимала их любовь, а в особенности когда они заманили меня на гигантское колесо обзора в парке и я из вращающейся подвесной корзины смогла окинуть взглядом город, полукружьем охватывающий бухту залива.

Девушки рассказывали о своей повседневной жизни, о нелегких годах учебы, восторженно расписывали будущее. Выспрашивали о жизни венгерских студентов: хорошо бы познакомиться с ними! Вот получат диплом, станут сами себе хозяева, смогут и к нам тогда приехать, утешила я их. «Не так все просто,— ответили они, чуть поостынув.— Сейчас из-за учебы не вырвешься, а потом как муж на это посмотрит».

На прощание я пожелала каждой из них диплом с отличием и мужа, который будет не «повелителем», но союзником и другом...

(Из книги «Сказочные пиры», 1981)

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

РАУЛЬ ЛАРРА (Аргентина)

ПО СЛЕДАМ ЕРМАКА [1]

Впервые я приехал в Советский Союз в составе делегации аргентинских деятелей культуры в конце апреля 1956 года. После беглого знакомства с Москвой и Ленинградом, пробыв несколько дней в Узбекистане, мы вылетели в Китай. По пути самолет сделал короткие остановки в Омске и Иркутске. И первое, о чем подумалось тогда: как здесь все похоже на природу Патагонии!

Поэтому, когда спустя четверть века издательство «Прогресс» предложило мне написать книгу «Мои впечатления об СССР» в серии, предназначенной для Латинской Америки, и позволило самому выбрать сюжет, никаких сомнений не оставалось: конечно же буду писать о Сибири! Не зря столько раз возвращались мои мысли к тому перелету через Сибирь в 1956 году. Зная о бурном развитии этого безбрежного края, я хотел попутно показать отсталость юга Аргентины — Патагонии, парализованной отжившим общественным режимом, при котором царят латифундисты.

И вот я снова в Москве — позади 35 дней путешествия по Западной и Восточной Сибири, самые отдаленные ее уголки удалось посетить.

Первым пунктом оказалась Улан-Удэ — столица Бурятской Автономной Республики. Идет проливной дождь; нам он причиняет немало беспокойства, но местные жители его благословляют: пришел конец длительной засухе.

[1] Путевые заметки получены в рукописи.

Под дождем мы отправляемся в этнографический музей, развернутый под открытым небом. Там выставлены избы бедных и богатых крестьян, которые в середине прошлого века из-за разногласий с православной церковью перебрались сюда из Европейской части России. Разница между богатыми и бедными домами сразу бросается в глаза. Детально воспроизведены обстановка, деревянная посуда, полати, где спали дети, будничная и праздничная одежда, зимние бараньи тулупы. Здесь же можно видеть юрты из оленьих шкур, принадлежащие эвенкам, их племена кочевали в этих краях.

Буддийский центр: посреди главного храма огромный Будда в окружении более тысячи маленьких раззолоченных будд, составляющих его свиту, словно торжественно председательствует на религиозных церемониях. Этот участок земли местные власти предоставили буддистам, и здесь стоят странноприимные дома, где находят себе приют многочисленные паломники, приезжающие сюда из других областей Советского Союза. Однажды это место посетил даже тибетский далай-лама.

Буддийский центр возник в 1946 году, когда малые буддийские общины приняли решение объединиться. Его существование (он управляется совершенно независимо и содержится на средства верующих) — самое красноречивое доказательство, что в Советском Союзе никоим образом не запрещено отправление религиозных культов. Отделенная от государства церковь содержит себя сама.

Площадь Бурятской Республики около 350 000 квадратных километров, население 1 миллион человек, из которых 35% — коренные буряты, а остальные представляют 70 различных национальностей Советского Союза.

Как равные среди равных живут буряты — а их около 400 000 только в Читинской области,— бережно храня свои обычаи, традиции собственного языка и культуры. Немало бурятов среди представителей официальных организаций, местных советов, руководящих партийных органов, руководителей Полиграфического института, работающего в Улан-Удэ Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Не так уж трудно встретить их в числе руководителей научно-исследовательских институтов, докторов или кандидатов наук. Однако все это не помешало продажным, клевещущим на советскую действительность американским журналистам, которым была дана возможность посетить Бурятскую Республику, увидеть ее людей, побеседовать с ее руководителями, написать в «Нью-Йорк таймс», будто буряты истреблены в Советском Союзе. А ведь достаточно быть мало-мальски объективным наблюдателем, чтобы опровергнуть эти измышления.

Как и в Москве, в Бурятии, за 20 000 километров от моей родины, меня встретили чувствами горячей симпатии к Аргентине. В ту пору начиналась война за Мальвинские острова, моя страна, как известно, приняла на себя прямой удар англо-американского империализма. Повсюду я убеждался, что нам не просто сочувствуют, что на нашей стороне стоят не одни лишь официальные деятели, но и самые обыкновенные рядовые труженики.

Небольшой древний городок Нижнеангарск. Аэродром с летным полем, вымощенным каменными плитами. На вездеходе, ныряя в ухабы, карабкаясь на откосы и сползая по крутым обрывам, через час добираемся до Северобайкальска. Это, можно сказать, самое сердце Бурятской Автономной Республики. На какое-то мгновение открывающиеся передо мной пейзажи вызывают в памяти виды Патагонии — кажется, что я путешествую по родной земле.

Мы прибываем на участок, где возводят самый трудный отрезок Байкало-Амурской магистрали. Прокладывать пути в краю вечной мерзлоты, по каменистой, усеянной валунами почве, через сумрачную тайгу, высверливая десятки километров туннелей,— этот подвиг свершить способна лишь молодежь, вдохновляемая великим идеалом. Пройдено уже 260 километров, то есть половина. 25 000 человек творят эту эпопею, 20 000 из них — комсомольцы и молодые коммунисты. Представители многих десятков национальностей работают здесь: буряты, эстонцы, латыши, белорусы, русские. Наряду с экономическими преобразованиями, которые несет с собой строительство этого участка БАМа, здесь развивается и культура: построены кинотеатр, библиотека, школа искусств, дом культуры, жилища, детские сады.

Зимой температура здесь достигает 50 градусов ниже нуля, а ритм работ не снижается. Да, иначе как подвигом не назовешь этот труд. Мысли мои снова возвращаются к Патагонии. Много лет тому назад было принято решение провести Северо-Патагонскую железную дорогу, и до сих пор еще не проложено ни одного рельса. Короче говоря, Северобайкальск — это социализм в действии, а там, у нас на юге Аргентины,— царство отсталости, скудных, запущенных, пустынных земель...

В музее БАМа выставлены документы истории грандиозного патриотического деяния. Начало ему было положено еще в тридцатые годы, когда социализм только набирал силу. Работы тогда пришлось прервать — вскоре разразилась Великая Отечественная война. И вот в 1967 году сюда снова снаряжаются разведывательные экспедиции и 14 июня 1974 года приступают к осуществлению грандиозного проекта. С тех пор прошло 8 лет. Полное завершение строительства пути, который на 4300 километров протянется от Байкала к Амуру, к Тихому океану, планируется на 1984 год. Представляю себе, каким же праздником станет этот день не только для Советского Союза, но и для всего прогрессивного мира!

БАМ, который соединится — на отдельных участках уже соединен — с Транссибирской магистралью, повлечет за собой развитие этого обширного края, в чьих недрах скрыты неисчислимые минеральные богатства.

Мы беседуем с бригадой рельсоукладчиков, поднимаемся на паровоз, бегущий по временному пути вдоль берега Байкала, разговариваем с рабочими-механиками и молодыми комсомольцами из отряда имени XXVI съезда КПСС, приехавшими из самых различных уголков страны: их отбирали по специальностям, и они обслуживают три железнодорожные станции. В отряде 216 человек, половина из них — женщины, и здесь уже образовалось немало молодых семей. С чувством радости и гордости рассказывают они о своих успехах.

БАМ — прекрасная мечта, которую лелеяли поколения. Она смогла стать действительностью лишь благодаря могуществу советской системы, героизму, самоотверженности и патриотизму тысяч молодых, превративших, отвечая на призыв Коммунистической партии, в свое кровное дело это великое национальное начинание. Беседуем с одним из бригадиров — Владиславом Бритиковым. Ему 26 лет, из них шесть он провел здесь. С родившимся в Иркутске 33-летним звеньевым Николаем Лейковским, с рабочим Александром Григославиллем, работающим на БАМе 7 лет. Они приехали из разных концов Советского Союза, и всем им работа на БАМе приносит радость и удовлетворение, всех их можно назвать настоящими энтузиастами. А потом мне предоставляют возможность посмотреть документальный фильм о первых успехах строительства, запечатлевший, например, момент соединения двух бригад, встречным методом прокладывавших туннель. Вот они пожимают друг другу руки, смеются, кричат, чокаются шампанским посреди туннеля, а остальные там, снаружи, приветствуют их громкими аплодисментами.

Все увиденное оставляет огромное впечатление, но еще больше впечатляют беседы с героями этой величественной современной эпопеи. Лишь народ, вдохновленный на великие дела, способен сделать явью подобное чудо.

Из Северобайкальска на теплоходе за 10 часов покрываем путь до Иркутска. Как жаль, что на озеро пал туман и нам дано насладиться видом только одного — крутого, скалистого, изрытого водой берега. Теплоход принял на борт 110 пассажиров; целые семьи со всеми своими пожитками, словно они перебираются на новые места, едут в отпуск или навестить родственников. И повсюду дети, дети, дети...

Люди всех возрастов бороздят Байкал, как бороздят они и небеса — я это видел — на «АН-24», на «ЯКах», на «Ильюшине-86», знаменитом аэробусе, вмещающем 350 пассажиров.

Да, я шел по следам легендарного казака Ермака. И вдруг в Иркутске словно прикоснулся к сердцу революционной истории: мы посетили музей декабристов, рассказывающий о небольшой группе представителей русского дворянства, подлинных предтечей будущей революции, еще в 1825 году мечтавших об установлении конституционной монархии и отмене крепостничества. Именно у поэта-декабриста взял В. И. Ленин свой девиз для первой партийной газеты: «Из искры возгорится пламя!»

Мы посетили здесь множество мест, и я воочию убедился, как стирается грань между городом и деревней. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, на бескрайних сибирских просторах проведено электричество; в дома пришло цветное телевидение, воспроизводящее московские программы; возведены дома культуры, работают библиотеки.

Я был поражен красотой каскадов гидроэлектростанций, от плотины Братской ГЭС до Саяно-Шушенской. Директор Саянской ГЭС сказал мне: «Капиталовложения столь велики, что нам приходится строить по каскадам, мы не можем позволить себе роскошь задержать пуск».

Побывал я и в Кемерово. Расположенный в Западной Сибири город вполне можно назвать столицей Кузбасса. Во всем чувствуется мощь и сила, ощущается непрерывный ритм развития.

В Сибири с головокружительной быстротой растут новые города. Например, население Междуреченска за 25 лет достигло 100 000 человек. Есть там угольная шахта «Распадская», где все работы полностью автоматизированы. Это одна из ведущих во всем Советском Союзе шахт по добыче коксующихся углей. В одной из шахт близ Новокузнецка я опускался на глубину в 350 метров. Ее заложили после оккупации нацистами Донбасса, и она выдала первый уголь на-гора́ в 1946 году. По первоначальному плану шахта должна была производить 600 000 тонн, но сегодня ее продукция превосходит 2,5 миллиона тонн. Своими глазами я убедился, на каком высоком уровне здесь техника безопасности труда, с каким тщанием охраняется здоровье горняков; я посетил их места отдыха, санатории, профилактории, дворцы культуры. Взволнованно стоял перед монументом воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

С трепетом сердца осматривал я село Шушенское — ныне прекрасный поселок на 15 000 жителей,— побывал в доме, где несколько лет провел в ссылке В. И. Ленин, где он начертал основные принципы создания большевистской партии и написал свой основополагающий труд «Развитие капитализма в России». Потрогал руками лампу, озарявшую его бессонные ночи, взглянул на коньки, на которых он, к удивлению окрестных крестьян, катался по замерзшей реке, видел его стол, его неутомимое перо, ружье, с которым он выходил в тайгу на охоту, полку с книгами, счеты. Обстановка спартанца — впрочем, всю свою жизнь вождь революции и был спартанцем.

Меня поразил Дворец изобразительных искусств Новокузнецка, металлургические заводы, Дворец культуры в Белово с его стенами, расписанными мастерами Палеха на сюжеты сказок Пушкина и Горького.

В Новосибирске, фактически ставшем столицей Западной Сибири, я беседовал с писателями, издающими журнал «Сибирские огни».

Короче, вся эта 35-дневная поездка была насыщена незабываемыми впечатлениями. Каждый день приносил что-нибудь новое, еще более поразительное: мощный Кузбасс, Новосибирск с его Академическим городком, столь способствующим развитию Сибири, с его строящимся метро...

Волнение мое достигло кульминационной точки, когда после спектакля в большом прекрасном театре оперы и балета я узнал, что первое представление в нем состоялось в мае 1945 года — спустя несколько дней после падения Берлина. Давали оперу Глинки «Иван Сусанин».

В разгар страшной войны, когда мужчины шли на битву, а женщины и подростки занимали их места на шахтах и металлургических заводах, народ своим трудом доказал любовь к культуре, возведя это великолепное здание.

Но прежде всего бросается в глаза, что комсомольские бригады занимали и продолжают занимать передовые позиции в этой, еще не завершенной, грандиозной эпопее. Вот почему смело можно утверждать: Сибирь — край молодых!

Сибирь — монументальна. Новостройки, плотины, величавые реки, бескрайняя тайга. И наряду с этим — множество домов культуры, клубов, библиотек, институтов и других учреждений культуры...

Перевод с испанского Н. БУЛГАКОВОЙ

РАЙМОН ЖАН (Франция)

РАЗМЫШЛЯЯ О ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА [1]

Для французского писателя, которого заботит вопрос «децентрализации» в сфере культуры его страны, пример Советского Союза, безусловно, являет собой источник для плодотворных раздумий. Эта необъятная страна сумела разрешить проблему множества в единстве. Множество различных культур, литератур, языков — и соответственно многообразие образов жизни, образов мышления, склада характеров, специфики творчества, способов самовыражения. При полном уважении к самобытности каждого региона.

Осуществить этот эксперимент на столь обширной территории, в масштабах поражающего воображение географического пространства, по всей видимости, было далеко не просто. И однако, он, безусловно, удался, оставив истории богатейший, поучительнейший материал для всех тех, кто полагает, что культурную и литературную жизнь страны не следует ограничивать (вернее, замыкать) рамками какого-либо одного «центра» — она должна расцвечивать всю живую ткань бытия народов красками их родных земель, где покоятся их предки, их горизонтов, их пейзажей, переливающихся разными тонами и оттенками их повседневного существования.

Советский Союз стремился отыскать этот путь к многообразию, множественности — в цельности, в единстве общества. Пример этот — со всеми его успехами, равно как и с трудностями, чрезвычайно для всех нас важен.

Хотелось бы мне, чтобы и мы у себя во Франции поразмыслили над ним в духе родства, близости, обмена опытом. Юг Франции, где так настоятельно заявляют сегодня о себе проблемы децентрализации, созрел для этих совместных раздумий — недаром ведь Марсель и Одессу называют породненными городами.

АНДРЕ СТИЛЬ (Франция)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА [2]

В Киеве я пробыл лишь один день и не мог познакомиться со всем многообразием жизни города. Но в этот свой приезд — последний раз я был в СССР семь лет назад — я по нескольку дней провел в других республиках, где меня более всего поразило бурное развитие столичных городов, размах коммунального и жилищного строительства (новой приметой его является, на мой взгляд, стремление строить современно и красиво). Особенно поразили меня Ташкент и курортный комплекс на Пицунде.

Сильное впечатление на меня также произвели самобытность и сплоченность народов СССР, их глубокое взаимоуважение и дружба. В год празднования 60-летия образования СССР зримо видишь: чем больше различий в образе жизни республик

[1] Получено в рукописи.
[2] Перепечатывается из журнала «Всесвіт», 1982, № 12.

Советского Союза, с тем большим пониманием и братством они относятся друг к другу. Как француз, я должен отметить, что такие же цели преследует и внешняя политика Советского Союза: французский космонавт на борту советского космического корабля, естественно, вызывает в памяти эскадрилью «Нормандия — Неман», когда летчики Франции плечом к плечу с советскими пилотами сражались против фашизма. О сотрудничестве и доброй воле свидетельствует и строительство газопровода «Сибирь — Западная Европа». Приверженность Советского Союза делу мира, его неустанное стремление сохранить и упрочить мир не вызывают сомнений: антивоенные лозунги написаны здесь не только на стенах зданий, они вписаны в сердца людей.

Нельзя, наконец, не восхищаться всем тем, что сделано и делается в СССР в области культуры. Сохранение художественного наследия — будь то мечети и медресе Бухары и Самарканда, будь то дворцы и церкви Киева, живая жизнь народных традиций (какой чудесный вечер подарил нам ансамбль украинской народной песни и танца из города Черкассы!), уважение, с каким чтут память великих мыслителей, писателей и художников (в киевском музее Т. Г. Шевченко, где собраны его картины и рукописи, мы словно наяву слышим гневный голос этого непокоренного бунтаря)— все свидетельствует о высоком духовном уровне советских людей. Нельзя также не отметить, что Советский Союз — страна, где больше всего в мире переводится произведений классической и современной французской литературы.

Трудности и недостатки в Советском Союзе существуют, руководящие советские деятели, с которыми мне приходилось беседовать, их не скрывают, но прежде всего их внимание сосредоточено на усилиях, которые надо приложить, чтобы преодолеть их.

Что же до собственно туристских впечатлений от этой поездки, то я уезжаю на родину, увозя в памяти яркие краски, серебристо-золотистые блики Киева, море цветов, пышную, торжествующую зелень киевского лета. Ведь любовь к природе — это всегда и любовь к людям, это утверждение жизни.

Киев, 19 августа 1982.
Перевод с французского Л. ТОКАРЕВА

НАТАША МАНОЛОВА (Болгария)

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ

Отрывок из книги

Пожалуй, это самая трудная рукопись, за которую я когда-либо принималась. Кажется, я пишу ее два десятилетия подряд, пишу во сне и наяву, страница за страницей, чуть усталой походкой проходя сквозь годы, неповторимые для меня, но ставшие столь привычными для многих болгарских студентов, которые учатся в СССР. Все нетерпеливей и настойчивей сотнями невидимых дорог память возвращает меня к тому времени.

Московский период моей жизни живет в ней как начало чего-то значительного и прекрасного, присутствующего во всех моих последующих днях. Годы эти принадлежали не только мне, не одна я испытываю сердечную благодарность к университетам нашей юности — советским университетам,— потому я и решаюсь сегодня попробовать восстановить хотя бы некоторые их штрихи.

С календаря опадали последние листки сентября 1949 года, а порыжевшая листва впитывала в себя тепло солнца, когда грохочущий и ужасно медлительный, но праздничный поезд тронулся с прокопченного Софийского вокзала. Самый счастливый доселе миг в моей жизни! Наши матери продолжали плакать на перроне, руки отцов крепко сжимали их задеревенелые локти, сестренки считали на пальцах вагоны проходящего мимо состава и, спотыкаясь, пробирались вслед за ним сквозь толпу провожающих, а мы уже жили новой, еще неизведанной жизнью.

В вагонах пахло Болгарией, родным домом: сваренными только что перед отъездом золотистыми цыплятами, фаршированным перцем и овощными голубцами, яйцами вкрутую и поджаристыми котлетами, домашними пирогами и печеньем, с поблескивающей на нем глазурью желтка... И брынзой, чудесной овечьей брынзой, которой позднее нам так не хватало. Она лоснилась от влаги на наших коленях, белела среди мокрых полотенец, оберточной бумаги и отсырелых газет — самая любимая еда, словно грустное напоминание о доме...

Когда мы не ели, то пели. Пели русские песни и одну болгарскую — «Эй, поле широкое». Наш репертуар начинался с «Хороша страна Болгария» и завершался — «Помирать нам рановато»... Может, я запамятовала некоторые из самых любимых песен, но точно помню: после очередного «концерта» голос у меня садился, во рту пересыхало и начинало болеть горло. Петь как можно громче считалось чуть ли не делом чести, и каждое купе старалось перекричать остальные: мы с подругой Теменугой Димитровой оспаривали первые места. Тогда это происходило именно так — силой голоса хотели выразить силу своих чувств...

© Наташа Манолова, 1981, c/o. Jusautor, Sofia.

Песен хватило до самой Москвы, до Киевского вокзала, который оказался ни новым, ни красивым, ни современным. Но именно он поразил меня больше, чем десятилетия спустя ультрасовременный аэропорт в Монреале, повергший в изумление в 1978 году моих спутников. Вот и Москва!

Романтическое представление о Советском Союзе, сложившееся в сознании благодаря книгам, фильмам, рассказам родителей-коммунистов, подготовило меня к тому, чтобы восхищаться всем в этой стране, и я восхищалась. Бескрайним, монотонным пейзажем, простиравшимся вдоль нескончаемого железнодорожного полотна с широкими рельсами; изнуряющим грохотом огромного города, вместившего в себя население всей Болгарии; стареньким, но представительным студенческим общежитием на Стромынке, 32, и прежде всего сердечностью окружавших нас людей.

Даже невзрачная, грязная Яуза, лениво текущая мимо нашего общежития, обезличенная серым цементным ложем, казалась нам величественной благодаря своей былой славе: ведь именно здесь, на этой речушке, под руководством Петра I делались первые шаги по созданию флота российского.

В Москве нам в самом деле нравилось все. Даже непривычные для вкуса окрошка, винегрет, гречневая каша незаметно становились обычными блюдами, хотя мы, конечно же, еще тосковали по густой, пахнущей мятой фасоли, по кисловатой чечевице с плавающими в ней дольками чеснока...

Раем показалось и переполненное университетское общежитие на Стромынке, 32, и комната, где поселились вместе с Валей Гаврюниной, Люсей Руновой, Женей Типикиной, Таней Свистуновой, Любой Соколовой и Башарат Рафиковой.

Сейчас я возмущаюсь, не получив в гостинице отдельный номер. Осенью сорок девятого года семь железных поскрипывающих и порядком искореженных кроватей в моем первом пристанище под номером 567 заполняли небольшое пространство, вмещавшее в себя также стол, стулья, ночные тумбочки и огороженный простынями не первой свежести угол, отведенный для кухни.

Именно в этой комнате мы читали, когда было лень спускаться в читалку, ели неизменную жареную картошку, когда кончались деньги; именно здесь принимали по вечерам гостей, здесь спали, и каждая из нас по-своему вздыхала во сне. И чувствовали мы себя прекрасно!

Вспоминаю коридоры общежития — самую достопримечательную часть прямоугольного здания на Стромынке: длинные сумрачные проходы, похожие на темные аллеи, опоясывающие наши комнаты и наши дни, предэкзаменационную лихорадку, сердечные треволнения... Коридоры эти были нашим «пятачком», излюбленным местом для вечернего променада. Подобно тем главным улицам в провинциальных городках, каждая прогулка по которым связана с острыми переживаниями.

Не все свидания в коридорах на Стромынке были радостными, но без этих темных «аллей» в ярко освещенном общежитии наша жизнь, несомненно, была бы не столь колоритна. А после прогулок тебя ожидала 567-я или 537-я комната, где ты находила все, или почти все, что тебе было нужно в данный момент. Кроме уединения и покоя, конечно. И прежде всего — кроме тишины. Именно их не будет хватать тебе потом, на четвертом и пятом курсах, пока, наконец, не отстроят новое здание университета на Ленинских горах и ты не получишь отдельную комнату с собственным душем.

Но в первые годы самостоятельной жизни такое в буквальном смысле слова слияние с большим коллективом неоценимо.

В результате частого повторения слова утрачивают свою изначальную силу. Подобной участи не избежало и понятие «дух коллективизма». Я до сих пор вспоминаю о нем, потому что именно в духе коллективизма так естественно и методически воспитывались многолюдное советское студенчество. Думаю и об удивительном чувстве духовной близости, которое согревало нас и в праздники, и в будни.

Но, может быть, общежитие заглушало в нас самобытность, утратой грозило индивидуальности? Вовсе нет. На семи кроватях и одной раскладушке в комнате 537, с которой связаны целых три года студенческой жизни, спали и бодрствовали восемь непохожих друг на друга девушек шести национальностей, каждая из них — со своей родиной в сердце, со своим языком, с характерным только для нее душевным складом.

Именно общежитию удалось сплавить воедино страстную пылкость испанки Ирены и холодную рассудочность чешки Алены, обаяние туркменки Милы Кулиевой, упорство казашки Дины Нурманбетовой, восточное долготерпение женственной кабардинки и неистощимый оптимизм двух болгарок, чьи кровати стояли у самой двери — рядом с раскладушкой студентки с филологического факультета, нашедшей приют в тесном гнездышке историчек...

Иностранным студентам разрешалось работать в научном зале Ленинской библиотеки. Занимались там и мы с моей подругой Теменугой Димитровой: она — своей филологией, а я — историей.

Приходили обычно не рано, кругом уже все работали, а мы с недовольством разглядывали номерки с указанными на них нашими местами, которые, разумеется, оказывались не рядом. Мы суетливо усаживались, потом наклонялись к соседу: «Вы не могли бы поменяться местами с моей подругой, вон там, в том ряду?» Глядя на нас, сосед улыбался понимающе и начинал собирать свои книги.

Странно, но за пять лет нам ни разу не отказали. Постоянные посетители зала на втором этаже — как правило, научные работники, люди в возрасте — привыкли связывать наше появление с неизбежным для них перемещением и безропотно подо-

двигали поближе к себе рукописи. А мы садились, успокоенные и довольные, и нам даже не приходила в голову мысль о собственной, мягко говоря, инфантильности — на самом деле она заслуживала более сильных синонимов...

Сейчас я понимаю, что мы дольше обычного оставались детьми, и наши советские хозяева видели это и прощали нас. Участники страшной войны, перенесшие много горя и страданий, потерявшие близких, измученные послевоенными тяготами, они желали, чтобы мы подольше не расставались с детством. Таков еще один урок, вынесенный мною из советского общежития.

Скромное, мрачноватое, с виду далекое от уютности наше жилище на Стромынке до сих пор остается для меня прекрасной школой человеческих добродетелей.

Чтобы не впадать в излишнюю самокритичность, скажу, что многие из слабостей, которые не украшают мой зрелый возраст или, по крайней мере, не свидетельствуют о приобретенной с годами мудрости, были верно подмечены именно там, в интернациональном коллективе.. Правда, мне не говорили о них в открытую, но зато адресовали деликатные упреки, которые по сей день я воспринимаю как похвалу...

Я говорю себе: нигде человек не поддается столь благотворному воздействию, как в коллективе, где не существует ни искусственно воздвигаемых между людьми преград, ни служебной иерархии, ни чинопочитания...

Таков еще один из самых главных уроков советского общежития. Именно с него начался первый, принесший свои плоды год студенческой жизни в Москве.

Помню и первый урок, который я заслуженно получила от советских коллег по университету.

Я приехала учиться не тому, о чем мечтала. Среди многих сверстников, увлеченных историей, я не скрывала своего равнодушия к тайнам столетий, особенно археологическим. Они не будоражили мое воображение, если не сказать, что вообще меня не интересовали.

Мои сокурсники дотемна просиживали в читалке, расположенной в цокольной части здания на Стромынке, над прелюбопытными историческими фолиантами, а я, лежа в своей «божественной» кровати, проглатывала книгу за книгой самых различных писателей. И заполняла тетради не конспектами по истории Древнего Рима, а цитатами мудрых авторов. Руководство нашего землячества это не трогало — почти все экзамены я сдавала на «отлично», на факультете меня хвалили.

В общежитии же, где не существовало никаких тайн, меня удивленно спрашивали: «Почему ты выбрала историю?» И в недоуменном тоне моих приятелей явственно слышался упрек...

Но я не выбирала истории: меня так распределили.

...Я явилась на конкурс, обрадовалась счастливому билету — мне попался вопрос о Сентябрьском восстании,— густо исписала двадцать страниц, отклонившись, естественно, от темы, и... беспечно уехала в стройотряд. Мы уже второй год прокладывали автостраду «Витоша», и самым важным делом на свете я считала эту государственную стройку.

Спустя дней двадцать ко мне в лагерь, располагавшийся на «Золотых мостах», приехали родители — оба молодые, красивые,— отозвали меня в сторону и, не успев еще отдышаться после долгой ходьбы (в ту пору до «Витоши» не ходили автобусы и автомашины, ведь шоссе не было), сообщили мне то, в чем я по причине природного легкомыслия ни на минуту не сомневалась: «Ты едешь в Советский Союз»

Новость, что я буду изучать историю, а не литературу, как мне хотелось, по причине того же легкомыслия не смутила меня. Самое главное — я еду туда!

Начиная с пятого класса гимназии, я часто повсюду и всем твердила, что буду учиться в Москве, и действительно привыкла к этой мысли. Даже мои вечно неудовлетворительные оценки по математике, грозившие отразиться на общем балле, не поколебали моей убежденности, я продолжала верить: буду учиться в СССР, и только там!

Когда подруги с недоумением спрашивали меня, зачем я изменяю своему подлинному призванию — литературе, я решительно отвечала: в СССР я готова и математику учить!

Советский Союз, Москва!.. Они затмевали все в мои семнадцать, восемнадцать, двадцать лет... И нужно ли говорить, что ничто не смогло их затмить и в последующие годы. Любовь эту я пронесла через всю жизнь.

В Советском Союзе на удивление хорошо знают и любят литературу, не случайно Москва — самый читающий город в мире.

...Шуршат перелистываемые страницы библиотечных книг, стулья в читальных залах сохраняют тепло посетителей, сидевших на них.

Люди читают в поезде, читают в трамвае, в метро, читают везде..

Входишь в метро, стряхиваешь с озябшей непокрытой головы снег и сразу же забываешь, что на улице тридцатиградусный мороз, что минуту назад ветер швырял тебе в лицо колючий, как песок, снег и раздувал полы твоего короткого полушубка. Стоя на эскалаторе, достаешь книгу и погружаешься в чтение.

...Сегодня твой выбор падает на одну из самых глубоких подземных станций метрополитена — «Маяковскую». Ступаешь на эскалатор и начинаешь считать, сколько человек, спускающихся вниз по лестнице, читают. Вот девушка в пуховой вязаной шапочке, а вот старушка — точно в такой же. Юноши — в ушанках, мужчины — в кепках, модницы — в сдвинутых на одно ухо беретах, домашние хозяйки с тяжелыми, оттягивающими руки хозяйственными сумками — каждый второй или третий держит раскрытую книгу. И она не обязательно тоненькая, удобная для чтения в пути. Про-

сто ее начали читать еще дома, при уютном свете лампы с шелковым абажуром, а в метро раскрыли на отмеченной странице...

В те годы я боготворила русские дома. Вспоминаю, как мы появлялись в квартирах наших сокурсниц, которые жили дома, а к нам в общежитие забегали лишь в гости...

Угрюмый подъезд, неподалеку от станции метро «Красные ворота». Лестницы, длинный коридор без окон, первая дверь направо, ведущая в единственную комнату, в которой обитала вся семья Людмилы — курносой рыжеволосой заочницы с нашего факультета и почетного донора (об этом домашние ее, естественно, и ведать не ведали, считая ее болезненной).

Встречала нас Люсина мама — Мария Ивановна, приятная полноватая женщина в вызывающем для лютой зимы наряде. На ней было свободного покроя платье из тонкого пестрого крепдешина, с фалдами, сборками, широкими рукавами — как яркое, воздушное напоминание об отдыхе в предвоенные годы на курорте в Сочи.

Ослепив нас нарядом и оставшись довольной произведенным эффектом, она принималась накрывать на стол.

В этом доме жили скромно, но, глядя на распахнутые дверцы буфета, мы понимали, что из него достали все, что только было можно. Особенно меня трогал крохотный кусочек масла в громадной масленке и ломтик просвечивающегося, с большими дырками сыра, он еще не успел зачерстветь и чуть загнуться по краям.

Хозяев не смущала скромность их трапезы, они настойчиво угощали нас, пододвигая то одну, то другую разнокалиберную фарфоровую тарелочку, и странное дело — тарелки эти не пустели. Люсина бабушка откуда-то доставала блестящие маринованные грибочки, сосед деликатно, через дверь, подавал селедку, украшенную колечками лука, а Мария Ивановна вносила большую супницу с вареной картошкой, политой сверху топленым маслом и посыпанной мелко порезанным укропом...

Мы не поднимались из-за стола до самого вечера. И поскольку эта старая квартира была истинно московской, то нас оставляли в ней ночевать.

Ничто не обошло стороной эту московскую квартиру: ни война, с которой так и не вернулся Люсин отец, ни лишения, ни страдания. Особенно мне запомнились рассказы Люсиной бабушки, которая вместе с ополченцами рыла своими крохотными распухшими ручками окопы на подступах к Москве. Ничего не бросалось в глаза в ее облике: редкие волосы, закрученные в маленький пучок, ситцевая, в горошек блузка, юбка, домашние войлочные тапочки. И серый оренбургский платок, тепло укутывавший плечи...

Тогда еще не появились писатели поколения Валентина Распутина, создавшие прекрасный образ — символ старой русской женщины. Но нам такие старушки встречались ежедневно, в любое время года — и в нашем общежитии, где они убирали, присматривали за общими кухнями, и на улицах, и в московских домах, оказывая нам приют в своем скромном жилище.

Вряд ли кто-нибудь имеет право утверждать, что он знает Россию, если не был близко знаком с этими чудесными старушками, отзывчивыми ко всему, что происходит в их подъезде, дворе или в мире,— отзывчивости их нет предела.

Неповторимые московские старушки интересуются всем, у них свое мнение по поводу любого факта или события на земном шаре, они обладают непритупляющейся живой реакцией, чутко отзываясь на несправедливость, безошибочно угадывая хорошего человека. Изумителен их русский язык — богатый, мелодичный...

В одном стихотворении из парижского цикла «Знакомство при прощании» болгарский поэт Димитр Методиев утверждает, будто свои блеск и изящество французский язык наполовину сохранил благодаря пенсионерам.

Я тоже не могу себе представить ничего более колоритного и запоминающегося, чем беседа со старой русской женщиной. Она — не только прекрасный рассказчик, но и умеет насытить повествование образами, настроениями, сделать тебя сопричастным к своему миру, в котором тесно переплетаются воспоминания и действительность...

Моим советским друзьям

Когда ты, дорогой читатель, познакомишься с небольшим отрывком из моей последней книги, твоя великая Родина будет отмечать 60-ю годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик. С праздником!

С праздником! Так мы поздравляли друг друга в те, теперь уже далекие, времена, когда Советский Союз праздновал 30-летие. Молодые болгарские студенты, мы чувствовали себя в Москве счастливыми и совсем своими в теплом кругу гостеприимных хозяев, посреди волнующей атмосферы всенародного праздника. В этой стране, в этом прекрасном городе мы были и остались «своими». Это бесценный дар нам, который мы пронесли через всю жизнь!

Сегодня вослед нам идут наши дети. Университет, где я училась, носит имя Михаила Васильевича Ломоносова, мой сын учится сейчас в университете, носящем имя Сергея Мироновича Кирова. Мое общежитие располагалось на Стромынке, 32; сын живет в Баку, на улице Авакяна, 36. Порой я задаю себе вопрос: до конца ли осознает мой взрослый ребенок, какими неразрывными узами он будет навсегда связан с этим городом, с этими людьми и какая огромная любовь войдет в его серд-

це? Эта любовь будет подобна неослабевающей связи нашего поколения с советской страной, с ее дерзкой молодостью и прекрасной зрелостью. В ней тоже воплотится духовная близость с Россией многих поколений болгар.

Я, пожалуй, даже немного завидую сыну — светлой, доброй материнской завистью. Ведь он учится в стране, где училась и я, его университеты были и моими университетами. Постоянно я возвращаюсь в мыслях к ним, когда думаю о сыне, жду от него писем, открываю его студенческую книжку, в очередной раз провожаю или встречаю его...

До сих пор я не могу забыть шумную компанию моих московских сверстников и не устаю повторять: «Да, это со мной было, было с моим поколением, к счастью, так будет и с нашими детьми!»

Когда мы, семнадцатилетние юнцы, совсем породнились с землей, о которой мечтали с детства, Страна Советов готовилась праздновать через два месяца свою 27-ю годовщину. Какими неискушенными были мы в ту пору, а эта страна уже перенесла так много! Страшно вспомнить об испытаниях, которые легли на плечи Советского Союза, не успевшего окрепнуть после войны, представшего перед нами во всем своем величии — с его свершениями и начинаниями, во всеоружии своего опыта и закалки. Нечто удивительное и непостижимое!

Страна делала все возможное, чтобы нам жилось в ней счастливо и безмятежно: распахнула перед нами двери общежитий и аудиторий, театров и музеев, познакомила нас с замечательными людьми, с преподавателями, которых мы боготворили, крепко сдружила нас с ровесниками ста национальностей...

Советский Союз не скрывал от нас своих трудностей — ведь для него мы были не только иностранными гостями, простыми туристами, приехавшими посетить образцовое предприятие или передовой колхоз, посмотреть новый спектакль во МХАТе или посетить Третьяковскую галерею... Мы приехали сюда надолго и оставили здесь свои сердца навечно. И ничто не утаилось от нашего пытливого взора: ни раны, оставленные войной, ни титанические усилия народа-победителя как можно скорее их залечить, ни скорбь, царившая в семьях погибших, ни тяжелый быт послевоенных лет. Но над всеми невзгодами высоко в небе птицей парила радость завоеванной победы, и на каждом шагу нас поражали живые свидетельства победившего человеческого братства.

Москва подружила нас с русскими и грузинами, с чехами и поляками, с румынами и венграми, с белорусами и азербайджанцами, с узбеками и украинцами, с детьми испанских эмигрантов и узкоглазыми сынами Чукотки... И эта наша дружба бесконечна, хотя мы давно не виделись и не получали друг от друга вестей. Пусть судьба разбросала нас по свету, нас всех, говорящих на самых разных языках, роднит и объединяет общий язык — русский. Живя в Советском Союзе, в студенческих общежитиях, мы, естественно, грустили по своей родине, с большим нетерпением ожидая летних каникул, но стоило нам вернуться под родительский кров, как на нас обрушивалась тоска по московским друзьям, по России...

Что же произошло со мной потом? Жизнь на колесах... и так пять, десять лет, не одно десятилетие. Но я не желала бы иной участи; как прекрасно, когда тебя согревает любовь к двум родинам — маленькой Болгарии и великому Советскому Союзу, когда испытываешь щемящую боль при очередном с ними расставании...

Мы не считали себя чужими в стране, сумевшей собрать в прекрасный букет столько национальностей, давшей каждому человеку гордое имя — «гражданин СССР». Она приобщила нас к своим будням и праздникам, по-матерински приласкала. Мы гордились этой страной и, живя в столице, ощущали себя коренными москвичами. И подобное самочувствие объяснялось не только нашей молодостью. Разве ты сумеешь быть столь уверенным и смелым в другом обществе, которому ты чужд и безразличен, где ты похож на песчинку, затерявшуюся в огромной пустыне?

Москва не осталась к нам равнодушной. Она казалась неприветливой из-за зимних холодов, суровой из-за послевоенных невзгод, но равнодушной не была никогда. За это мы платим ей преданностью и любовью.

В течение долгого времени я с большим пристрастием слежу за тем, что пишут об СССР писатели и журналисты из зарубежных стран.

И меня прежде всего интересует, правдивы ли их рассказы о прежней молодости и сегодняшней зрелости этой страны, о нашей проведенной здесь юности. К чему расхваливать русскую икру и шоколадное масло, если самым любимым твоим блюдом в студенческие годы была жареная картошка с луком? Зачем описывать неудобства ветхого общежития на Стромынке, если оно было для тебя самым роскошным и уютным жилищем? Советскую действительность излишне как приукрашивать, так и принижать. Ибо и в тридцать, и в шестьдесят лет СССР является воплощением всего самого лучшего, что заложено в советском человеке,— воплощением обаяния, отваги, величия этого самого мирного труженика, самого преданного интернационалиста и самого смелого мечтателя на нашей планете!

С праздником! И на многие лета, как говорят в Болгарии.

Перевод с болгарского О. БАСОВОЙ

■

Текст обращения «Моим советским друзьям» написан специально для «Иностранной литературы».

ЭЛИО ФИЛИППО АККРОККА

■

Перевод с итальянского ЕВГ. СОЛОНОВИЧА

Златоглавый Киев

Москва — мост в будущее. мозг страны,
а Киев — древняя душа.
глубины памяти дыханье. сердце,
разлив Днепра в голубоватой дымке
равнин простершихся от новостроек
до горизонта сколько хватит глаз...

Священными холмами куполами,
музеями глядятся в Днепр
столетья славы — златоглавый Киев,
и юг сгущает синеву над городом,
над крышами его, над площадями
и набережными. над Бабьим Яром,
взывающим травой, цветами снегом
к неравнодушью новых поколений...

...В красных отсветах луны,
в стакане спирта от проводника
двум итальянцам связанным корнями
с железными дорогами Европы,
под стук колес теперь уж на обратном
пути когда улавливает память
живые интонации Шевченко
и на прощанье машет украинка —
янтарный лебедь городских прудов,
гордячка статью
существом гордячка...

Киев, 15 марта 1979

ЭЛИО ФИЛИППО АККРОККА — ELIO FILIPPO ACCROCCA (род. в 1923 г.).

Итальянский поэт. Автор поэтических книг «Портоначчо» («Portonaccio», 1949), «Возвращение в Портоначчо» («Ritorno a Portonaccio» 1959) «Мы есть, мы не есть» («Siamo non siamo» 1974) «Лишний» («L' superfluo» 1980) и др Составитель известного сборника «Поэтическая антология итальянского Сопротивления» (1955).
Публикуемые стихи получены редакцией в рукописи.

Божья коровка на пальце

...докапываться до очевидного?
Ум чересчур бесстрастен,
следует черпать дальше — за ним...

Противотанковые ежи («здесь остановили немцев»)
мобилизуют сознание, ржавчина оседает
в глубинах прошлого, но заслон
остается, предостереженье Европе,
глава истории, памятник
минувшему, и останется навсегда
приговор, гневное слово,
след мучительной раны, чувствительный шрам...

Быть на уровне,
перемахни магический частокол — ЗАУМЬ,
с головой окунись, не бойся,
в сегодняшний день...

...«Чайку» сменяет такси,
гололед на дорогах диктует скорость,
«на оттепель не похоже», осторожно
улицу переходи под прямым углом,
срезать не рекомендуется.
Слышал про невровещизм?..
«Моравиа — да, Моравиа — нет»: надо бы различать
экс, секс, кекс,
представляешь, как здорово — запрещено сорить
в скверах, где скамейка занята
мыслями о движении времени, белизну
делает ярче свет из вечерних окон,
сверхстолица постепенно отходит ко сну
на всем протяжении — от запада до востока,
растворяется в неуловимой иронии,
как трифоновский персонаж,
как строка Вознесенского...

...а ведь ирония — дело серьезное
тут и дачные кошки
и пес на цепи
и монеты в кармане
и в петлице значок
и витраж на калитке
и снег на ресницах и божья коровка на пальце
частичка Европы без мифов
без личин
когда звучит:
«Одумайся, континент...»

Москва, март 1979

■

НГУЕН МИНЬ ТЯУ

Выжженный край

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с вьетнамского И. ЗИМОНИНОЙ

Страна наша Вьетнам, если посмотреть на карту, похожа на коромысло с корзинами риса. Корзины риса — две плодородные долины: Красной реки на севере и Девяти Драконов (Меконга) на юге. А коромысло — Долгие горы (Чыонгшон), бегущие через всю страну, и узкая полоска земли между горами и морем.

Словно острый нож легла на это коромысло на многие годы 17-я параллель. Каждый вьетнамец понимал: переломится коромысло — перевернутся корзины, и все пойдет прахом. Другими словами: в этом месте ударить — все равно что страну пополам разрубить...

Земля, по которой проходит 17-я параллель, в самом центре Вьетнама. Здесь люди издавна сражались с песком да камнем, с ураганными ветрами, сражались за каждую пядь земли, чтоб сделать ее годной для посева. Люди, что живут в этих краях, бедны, но зато они не робкого десятка, они воплотили в себе то упорство и стойкость, какими славна моя страна.

На узкую полоску земли американский империализм обрушил всю разрушительную мощь своей гигантской военной машины. Дивизии морской пехоты, «воздушной кавалерии», коммандос, стратегические бомбардировщики «Б-52», корабли Седьмого флота «умиротворяли», обстреливали ее, превращая в «белую зону», распыляли гербициды, уничтожая самую жизнь, парализуя человеческую волю. Но земля эта стала кошмаром для самих же американских солдат, засела гвоздем в головах американских генералов. Это здесь целых двадцать лет мои соотечественники мерялись силами с агрессором — боролись не на жизнь, а на смерть. О том, каков результат этого поединка, теперь знают все.

По каждой семье, по каждому человеку более двадцати лет били мощные волны этой битвы. Невиданным испытаниям, ежедневным, ежечасным, подвергались здесь люди. Были среди них и предатели, и заблудшие, и те, кто просто плыл по течению, и те, кто предпочитал прятать голову под крыло, и те, кто искал выхода, но не в силах был выбраться из лабиринта противоречий. Задача состояла не только в том, чтобы разбить врага, нет, нужно было еще разрубить путы, сковавшие людей.

Главы из романа «Выжженный край», публикуемые журналом «Иностранная литература», вновь знакомят советского читателя с Нгуен Минь Тяу, нашим талантливым романистом, расскажут о гуманизме, дарованном революцией его героям, о людских судьбах. Мне не хотелось быть многословным, и я решил на этом и закончить свое вступление, но тут мне показалось, что я слышу веселые детские голоса, смех и песню. Я словно воочию увидел, как бегут в школу ребята с тетрадками и учебниками под мышкой, бегут по деревенским улицам того края, что был выжженным целых двадцать лет. Да, сегодня у наших детей есть и мирное небо, и земля, которая принадлежит им. И путь их — к широким горизонтам завтрашнего дня.

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

НГУЕН МИНЬ ТЯУ (род в 1930 г.) Вьетнамский писатель. Начал печататься в конце пятидесятых годов. Автор повести «Устье» (1967), книги рассказов «Разное небо» (1970), романов «След солдата» (1972) «Огонь в каждом доме» (1977) «Те, кто вышел из джунглей» (1982).

На русский язык переведен роман «След солдата»; рассказы печатались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Роман «Выжженный край», главы из которого предлагаются вниманию читателей, был издан в Ханое издательством «Куандой нянзан» в 1977 г.

Гарнизон и военно-морская база были погружены во мрак и тишину, изредка нарушаемую доносящимися сюда с юга разрывами артиллерийских снарядов. Гул разрывов только подстегивал нетерпение Хьена. Там, вдоль берега моря, в поселках и городах, лежащих южнее, разворачивалась ожесточенная схватка с врагом, а он застрял на этом пятачке, топчется здесь, как ему казалось, уже бог знает сколько времени.

На самом деле Хьен и его подразделение только сегодня утром разбили укрепления врага у моста. После того как политрук Хонг дал новое задание, ротный Нгиа и комиссар Хьен, собрав бойцов, совершили своеобразный марафон. А как только преодолели тридцатикилометровый участок песчаного берега, Нгиа и Хьен подняли солдат в атаку.

К тому времени вся огромная — вместе с гражданскими постройками — военная зона лишь отдаленно напоминала оборонные укрепления: теперь она скорее была похожа на гигантский постоялый двор. Командный состав, да и многие солдаты, расквартированные на базе несколько дней назад, побросав все, ушли на кораблях в море, захватив с собой и семьи. Гарнизон, портовая и складская зоны, клуб, семейные казармы, офицерские коттеджи были забиты офицерами и солдатами, стекавшимися сюда, — море, только оно одно оставляло возможность побега.

— Наша задача — зажать их здесь, не дать им улизнуть, — сказал Хьен.

Ротный и комиссар обсудили план операции. На серьезное сопротивление неприятеля они натолкнулись, только когда уже была занята добрая половина базы: теперь каждую постройку надо было брать с боем. К наступлению сумерек, однако, все было закончено.

И вот, когда на широком дворе базы уже собралось несколько сотен пленных, а Нгиа и Хьен, пристроившись на крыльце, готовили донесение на командный пункт, со второго этажа одного из домов раздалась автоматная очередь...

— Почему К-2 нет? Пора передавать им сектор и пленных. Который час? — нетерпеливо спросил Хьен.

Малыш Тханг фонариком посветил на часы:

— Ноль пятнадцать.

— Выходит, рано еще. А где мальчишка?

— Кто?

— Мальчишка, говорю!

— А, отродье! Да там он.

На этот раз луч карманного фонарика скользнул через окно внутрь помещения, пробежал по окрашенной светло-зеленой масляной краской стене и спустился вниз, к полу. На красных, как кровь кафельных плитках пола валялись груды брошенного обмундирования кипы бумаг, открытки с улыбающимися кинозвездами, пулеметные ленты, обрывки магнитофонных лент. У стены стоял низкий стул с плетенным из узких полосок пластика сиденьем. Увидев пустой стул, Тханг крикнул:

— Ты где, чертово отродье?!

— Я зде-е-есь!.. — отозвался дрожащий детский голосок. Из темного угла возле дверей ведущих в соседнюю комнату, навстречу им поплыла гимнастерка Казалось, она шла сама по себе длинные ее рукава подрагивали и с шумом волочились по раскиданным на полу бумагам и одежде. Маленький мальчик неуверенно пробирался среди царящего хаоса, вот он вошел из темноты в круг, высвечиваемый карманным фонариком, и робко присел на стул с нейлоновым плетением.

— Тебе где было сказано сидеть? — строго спросил Тханг. — Где велено, там и сиди, ясно?

Мальчик, не выдержав слепящего света фонарика, низко, точно изобличенный преступник, наклонил голову.

— Я с кем разговариваю? Ты что, ответить не можешь? — снова раздался строгий голос Тханга.

— Могу-у-у.

Тханг резким щелчком погасил фонарик. Комната — раньше здесь помещалось гарнизонное управление — снова погрузилась в темноту. Хьен почувствовал колющую боль в раненой руке и в груди. А здоровой рукой он сжимал что-то твердое — сухой паек, который вручил ему Малыш Тханг. «А ведь мальчишка наверняка голоден», — подумал Хьен. Он обогнул веранду и вошел в комнату. Но, увидев пухлое, холеное лицо мальчишки, невольно почувствовал к нему неприязнь. Сколько радости, родительской заботы и ласки, всего того, чего были лишены сейчас другие дети, выпало на долю этого ребенка. И, борясь с самим собой, стараясь хоть немного смягчить свой голос, Хьен позвал:

— Мальчик!

— Что?

— Ты, наверное, не спал?

— Нет, не спал...

— А тебе не холодно? — Хьен поднял с пола еще одну гимнастерку. — Надень-ка и эту, согреешься!

— Я... я боюсь!.. — Мальчик, уловив теплоту в голосе Хьена, сделался чуточку смелее.

Хьен здоровой рукой погладил его по голове — в волосах было полно земли, песка — и нащупал большую шишку у виска.

— Не надо бояться. Разве тебя кто-нибудь обидел?

— А где мои папа и мама? — спросил мальчик, поднимая глаза, полные слез.

«Твои папа и мама! Убийцы подлые, вот кто они!» — хотелось выкрикнуть Хьену, но он сдержал себя.

— Завтра мы найдем их. Ты есть хочешь?

— Хочу...

— Вот возьми... — Хьен разорвал здоровой рукой полиэтиленовый пакетик с сухим пайком и протянул мальчику. Мальчик, жадно жуя, с любопытством поглядывал на незнакомца, на забинтованную руку. Как много здесь сразу появилось чужих людей!

Хьен тоже следил за каждым движением мальчика, думая о том, как трудно будет отучить этого ребенка бояться.

— Ты бы хоть немного поспал, Хьен, — снова начал Малыш Тханг, как-никак он санинструктор и в конце концов имеет право настоять на своем. — Ты что, сухой паек ему отдал?

— Я не хочу есть, — тихо сказал Хьен.

— Кажется, из К-2 приехали! — воскликнул Тханг.

Свет фар выхватил из темноты кусок дороги, арку перед въездом в гарнизон, проволочные заграждения.

Джип замер возле пагоды в углу песчаного двора. Хьен выбежал из дома и бросился к машине.

— Товарищ командир!

— Это ты, Хьен? — раздался из джипа обрадованный голос политрука Хонга.

— А мы думали, это из К-2 прибыли принимать сектор!

Хонг спрыгнул с сиденья и улыбнулся.

— Из К-2 никого не будет, и вам надо оставаться здесь до нового распоряжения. Сегодня во второй половине дня наши освободили Хюэ и отрезали порты Тхуанан и Тыхьен...

— Вот здорово! Наши вошли в Хюэ?! Это точно?

— Тебе это кажется таким невероятным?

Они сжали друг друга в крепком объятии. После долгих и трудных лет схватки с врагом пришла радость, от нее захватывало дух. Все вокруг — и земля и небо — изменило цвет, стало ярче, шире, просторней. Хонг вынул сигареты и протянул Хьену. Оба с наслаждением затянулись. Штабист, приехавший вместе с политруком, отправился осматривать двор.

— Нгиа скорее всего уже не выкарабкаться... — помолчав, сказал Хонг.

— Когда вы его навещали, он был в сознании?

— Бредил. Сейчас, наверное, его уже оперируют.

На той стороне протоки, сразу за мостиком, был хорошо виден двухэтажный офицерский коттедж и красивый балкон, идущий вдоль всего второго этажа. Остальные дома, чуть подальше, уже погрузились в темноту и безмолвие, не нарушаемые ни единым бликом света, ни единым звуком.

— Мы с Нгиа стояли на крыльце,— начал рассказывать Хьен.— Рядом Лам склонился над передатчиком, настраиваясь на волну.

— Похоже, стреляли из окна второго этажа?

— Так точно, со второго этажа, из одного из центральных окон.

— Ничего не скажешь, место выбрали удобное!

— А твоя радиограмма точная, вы действительно видели двоих, мужчину и женщину? — спросил штабист.

— Да, и еще мальчишку.

— Когда это было?

— Ровно в восемнадцать сорок три. Уже почти стемнело. Нами были уничтожены все огневые точки на этой стороне. По всей зоне прекратили огонь. Во дворе уже было полным-полно пленных. В основном те, кто драпанул сюда, причем не только офицеры, но и многие солдаты прибыли с «прицепом» — притащили за собой жен и детей. Мы с Нгиа обсуждали, как доложить обстановку, и тут... тут это и случилось.

А случилось все так: спрятавшийся на втором этаже коттеджа офицер выпустил по ним, когда они с Нгиа стояли на крыльце, длинную очередь. Лам, радист, погиб, Нгиа и Хьен были ранены. Среди пленных тоже оказалось около десятка убитых и раненых.

Малыш Тханг — он вместе с бойцами санитарного дозора проверял колодец у мостика — видел, как мужчина и женщина вбежали в коттедж и по лестнице слева поднялись на второй этаж. Они быстро проскочили в самый конец балкона.

Хьен тут же поднял целый взвод, чтобы обыскать все офицерские коттеджи, все ожидавшие ремонта машины. Однако тех двоих нигде не нашли. Нашли только мальчика.

— Как же все-таки им удалось ускользнуть? — задал вопрос Хонг.

— Взвод потом обнаружил траншею, соединяющую офицерские коттеджи с авторемонтной площадкой, — ответил Хьен. — Мы думаем, те двое воспользовались траншеей, но где бы они сейчас ни прятались, им далеко не уйти.

— Итак, вчерашнюю операцию вы провели успешно, хотя на последнем этапе возникли осложнения, — подытожил Хонг. — Ну а что же этот мальчишка, пленный, где он?

— Здесь, в доме, — ответил Хьен. — Хотите на него взглянуть?

— Да нет, зачем. Сколько ему?

— Года три-четыре, не больше!

— Ну и как же вы думаете с ним поступить?

— Не знаем еще, — ответил Хьен. — Пока что я поручил Тхангу, нашему санинструктору, присмотреть за ним.

Горы, шоссе, город, разрушенные селения, военная база — все здесь, на этой земле, раскинувшейся под мартовским небом тысяча

девятьсот семьдесят пятого года, носило следы поспешного отступления, бегства марионеточной армии. Паника и хаос охватили, словно эпидемия, и горные джунгли, и город, и всю округу. Те вьетнамцы, кто по своей, а кто и не по своей воле пошел когда-то за американцами, кинулись теперь к своему последнему прибежищу.

Десятки километров песчаного берега у портов Тхуанан и Тыхьен были забиты людьми: штатскими — сгибавшимися под тяжестью багажа — и военными разных званий и родов войск, во всем разнообразии воинской амуниции. Генерал ли, солдат ли, богач ли, бедняк — они сейчас были уравнены в одном: каждый шагал на своих двоих, ибо все какие ни есть машины и любые другие средства передвижения пришлось бросить на той стороне лагуны.

У самой кромки берега собралась толпа солдат. Одни были по пояс голыми, без всякого оружия, в руках крепко зажаты кошельки. Другие — еще при оружии и в гимнастерках, превратившихся в грязные лохмотья. Изможденные лица, глубоко запавшие, мутные, почти безумные глаза, грязные, слипшиеся волосы. Площадная брань, грубые крики, вопли, истеричный смех, очереди карабинов. Кулаки, с угрозой машущие в сторону моря, и рядом еще дымящиеся стволы карабинов. И головы — все как одна повернувшиеся к кораблю.

— ...Мать вашу! Если через пять минут не причалите, отправим прямиком в преисподнюю!

— ...Эй вы! Территориальные! Слезайте-ка, оставайтесь в своем сучьем Читхиене!..

— Причаливай давай! Слышишь? Нечего резину тянуть!

— Открывай огонь! Отправить их к чертям собачьим!

Корабль высился над водой подобно гигантской корзине с цветами — его помещения и палубы, от нижней до верхней, были до отказа забиты людьми — мужчинами в военной форме, женщинами, детьми. На леерах гроздьями висели люди. Время от времени со стороны открытого моря набегала большая волна, и корабль, слегка покачнувшись, казалось, оседал еще глубже в воду.

В большинстве своем пассажирами корабля были солдаты Первой дивизии или же беженцы из города — сюда открыли доступ только самым богатым. Люди на корабле безжалостно теснили, давили, топтали друг друга. Тут было то же самое, что и на берегу,— раздирающие душу крики, грубая брань, кого-то грабили, кого-то хватали за горло. На нижней палубе уже завязалась драка. Толпа полуголых солдат, размахивая кулаками, набросилась на женщину лет тридцати, очень красивую, одетую в дорогое платье. Она сопротивлялась изо всех сил: отталкивала наседавшую солдатню, яростно отбивалась, дралась, царапалась, в глазах ее, гневно сверкавших под густо накрашенными ресницами, не было ни тени страха. Солдат же только раззадоривало ее яростное сопротивление. Теперь уж они непременно свернут шею «птичке феникс» — кричали одни, другие предлагали бросить ее прямо в море, третьи гоготали, хлопали себя по заду, приплясывали, а потом они все вместе кинулись на женщину, стали выкручивать ей руки, щипать. В конце концов славные вояки одержали победу: женщине скрутили руки и, сорвав одежду, оставили в чем мать родила.

На муже ее — даже беглый взгляд сразу признал бы в нем офицера — была солдатская форма. Длинный серый шарф обматывал его шею поверх незастегнутой старой пятнистой гимнастерки, концы шарфа были завязаны узлом на голой груди. Еще несколько минут назад он тихо разговаривал с женой, тонкие губы то и дело сжимались в горькую усмешку. А теперь он походил на разъяренного тигра. Волосы взлохмачены, злобные, помутневшие от гнева глаза. Сжав челюсти до зубовного скрежета, он бросался на глухую стену голых, обожженных солнцем, вонючих и мокрых от пота спин, молотил по ним кулаками.

И вдруг все палубы огласились дикими воплями и визгом.

Морские пехотинцы, остававшиеся на берегу, открыли огонь из автоматов и пулеметов прямо по кораблю. До этого они лишь предупреждающе постреливали в воздух.

Какой-то солдат, висевший на леере, — за его голой спиной болтался тощий вещмешок — вдруг полетел вниз головой в воду, поднимая фонтан брызг. Люди на корабле видели, как мелькнули в воздухе его багровая спина и зад, туго обтянутый зелеными форменными брюками, затем волны сомкнулись над ним — навсегда.

Следующей жертвой стала женщина, держащая большой сверток. Она падала вниз, раскинув руки, сверток — цветастое одеяло — раскрылся, и из него выскользнул ребенок. Голенькое белое тельце летело вниз в море вслед за матерью: казалось, младенец парит в воздухе.

Затем в воду упал целый клубок тел — трое или четверо крепко сцепившихся людей, и так, гроздью, они и полетели в воду.

«Корзине с цветами» пришлось пришвартоваться к берегу. Одни возносили молитвы господу, другие на чем свет поносили американцев и Тхиеу[1], многие просто обезумели от страха.

То, что случилось потом, могло привидеться только в самом кошмарном сне: на корабль ворвались сотни «бешеных буйволов»[2], до этого, как стая голодных волков, метавшихся по берегу. Тут-то и началась расправа со всеми, кто, попав на корабль, собирался отплыть подальше от этих мест.

Мужчина с шарфом, он уже был без гимнастерки, стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока, стараясь заслонить собой жену, сидевшую на корточках за бухтой каната и грудой сваленных железных стульев. Гимнастерка, которую он набросил ей на плечи, не могла прикрыть наготы.

Едва возле них появились морские пехотинцы, один, длинноволосый, в разодранных снизу и развевающихся как знамена брюках, двинулся прямо на мужчину. За ним шли остальные. Длинноволосый повелительным жестом простер свою длань в сторону берега.

— Слазь! — приказал он.

Мужчина с шарфом не шелохнулся. Воцарилось зловещее молчание. Первым не выдержал мужчина и визгливым голосом, в котором слышались и мольба, и возмущение одновременно, крикнул:

— Я... я в частях особого назначения! Мне необходимо уехать!

Один из солдат в черной рубахе — его шея и руки были не светлее — задрал рубаху и, почесывая бледное брюхо, с явной издевкой спросил:

— Сам-то откуда будешь?

Мужчина растерянно схватился за конец шарфа, словно боясь, что шарф этот арканом затянут на его шее.

— Я... из...

— Ну отвечай же, откуда?

— Из города...

— Из Хюэ, значит? Солдат или штатский? — допрашивал тот, что был в черной рубахе.

— Я офицер, и вы не имеете права...

Длинноволосому только это и нужно было, в ту же секунду он подскочил к мужчине с шарфом.

— Офицерская крыса, — завопил он, — вперед солдат прошмыг-

[1] Нгуен Ван Тхиеу — глава марионеточного режима в Южном Вьетнаме, был свергнут в 1975 г. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] «Бешеные буйволы» — название одной из частей особого назначения в южновьетнамской марионеточной армии.

нуть хочешь?! Чего же ты не сражаешься «до последней капли крови»? Небось солдат своих к этому призывал?!

— Всыпь ему как следует!

— Так, чтоб от него только мокрое место осталось.

— Вышвырни его отсюда!

Морские пехотинцы окружили его плотным кольцом. Наконец-то представился подходящий случай расквитаться с офицерством за все, что им пришлось вынести на этой земле, в этом выжженном, мертвом краю, где даже искушенные в воинском деле десантники и морские пехотинцы столько лет попусту проливали свою кровь и откуда сейчас никак не могли унести ноги.

«Бешеные буйволы» бросились на мужчину, схватили за руки и за ноги — длинноволосый ухватился за шарф. Их жертва яростно отбивалась, но любое сопротивление озверевшей солдатне было бесполезно. Когда мужчину уже подтащили к самому борту, «бешеные буйволы» вдруг разразились оглушительным хохотом: на них бесстрашно кинулась голая женщина с искаженным от злобы лицом, одной рукой она придерживала на груди пятнистую гимнастерку, другой колотила по солдатским спинам.

Они хохотали до изнеможения, до икоты и, захлебываясь от смеха, подняли мужчину с шарфом, раскачали и швырнули в воду. Он успел только услышать истошный вопль жены и новый взрыв хохота.

Прибрежные волны приняли его, опустили на дно, потом подняли и осторожно вынесли на берег.

Он долго лежал лицом вниз, уткнувшись в мокрый песок. Волны, набегая одна за другой, покрывали его тело белыми пенными гребешками. Мужчина медленно приходил в себя. Потом он сел, откинул со лба волосы, чтобы соленая вода не заливала глаза. Горечь и злоба переполняли его. Он закрыл лицо шарфом и зарыдал. Соленые слезы смешивались с соленой и горькой морской водой.

Солдат и офицеров марионеточной армии, взятых в плен во время боев или же сдавшихся позже, собрали вместе, до отказа забив ими два здания — начальной школы и таможни.

Для бывших старших офицеров отвели классные комнаты, где от прежней мебели осталось всего несколько парт. Всюду на цементном полу были грудами навалены вещи беженцев, которые останавливались здесь раньше. В одном из классов на стене висела черная доска, и на ней мелом изящным женским почерком было выведено: «2 марта 1975 года. Естествознание». Внизу были нарисованы огромные, занявшие половину доски легкие человека.

Мужчина с шарфом, тот самый, кого «бешеные буйволы» бросили в воду, вошел в класс, еле передвигая тяжелые, точно к ним гири подвесили, ноги. Столь решительный там, на корабле, сейчас он выглядел растерянным, подавленным. Перед тем как пойти в народно-революционный комитет на регистрацию бывших офицеров, откуда он и попал сюда, он своими руками похоронил два безобразно распухших от многодневного пребывания в воде трупа — двух своих дочерей. Это были его дети от первой жены, обе школьницы. Они бежали из города, и лодка, на которой они пересекали лагуну, опрокинулась и затонула.

Он никогда не узнал бы о том, что его девочки погибли, если бы не одна случайная встреча. Вчера он сидел на траве у обочины шоссе, ведущего в город, и вдруг увидел, что к нему, сильно хромая, направляется какой-то парень.

— Привет, майор, — сказал, подойдя, этот парень, быстрым движением поднял брошенный кем-то из беженцев у дороги пластмассовый стул и протянул его мужчине. — Присаживайтесь, прошу!

— Спасибо, мне и так хорошо.

— Брюки испачкаете, майор!

Мужчина с шарфом опасливо скользнул взглядом по красной нарукавной повязке незнакомца, неведомо откуда знавшего его чин, чутье подсказало, что разговор будет не из приятных. Парень был несомненно горожанин, может быть, студент, его худощавое загорелое лицо было даже красивым. Он стоял перед мужчиной, засунув одну руку в карман брюк, а другой нервно похлопывал по больной ноге, чуть отставленной в сторону.

— Простите... — начал было мужчина.

— Простите?! Разве вы сами когда-либо кого-нибудь прощали? — Парень, хотя и прервал его, говорил очень учтиво. — Но не станем сейчас об этом. Мне только хотелось бы вместе с вами немного вспомнить прошлое. Вы, видимо, меня забыли?

— Признаться честно, действительно не помню...

— Вот так всегда, майор! Мы стараемся изгнать из своей памяти тех, кому мы доставили страдания, кого погубили. Однако те, кто страдал по нашей вине, нас помнят. Об убитых помнят их отцы, матери, жены, наконец, дети. Я служил в роте, что была у вас под началом, тогда вы были еще лейтенантом. Первая штрафная рота, припоминаете?

— Ну, так только говорилось — рота, на самом деле там было гораздо больше солдат, так что моя забывчивость извинительна...

— Заткнись! — зло оборвал его парень. — Небось свою «птицу феникс», шлюху и шпионку, нынешнюю свою жену, не забыл. Помнишь, как ты перед ней красовался: выхватил пистолет и прострелил ногу одному из штрафников! Как же, ведь тот осмелился утверждать, что он тоже человек! Да, это я, тот самый, наголо обритый солдат с намалеванными на спине «ш» и «р»! Ты сейчас очень вежлив: «моя забывчивость извинительна»! Так вот я, которого ты сделал тогда инвалидом, тебя не прощаю!

Мужчина побледнел.

— Я страшно виноват перед вами...

— Ах, что вы, майор, какие пустяки! Просто захотелось предаться воспоминаниям! Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. У меня теперь есть дела поважнее, — парень показал на свою красную повязку. — Да и вам сейчас будет чем заняться: берите-ка лодку и поезжайте вдоль этого берега лагуны, в сторону моря, метров семьсот — восемьсот отсюда. Там весь берег в трупах, но на них вы можете не обращать внимания. А вот когда увидите дерево почти у самой воды, а рядом снова целую груду трупов, тогда подгребайте. Там ваши дочери, да, да, обе. Сегодня утром мне сказал об этом один мой приятель, он знал их, они каждый день ходили в школу мимо его дома. Да, нечаянная у нас с вами получилась встреча, майор. Ну же, поторапливайтесь! Если нет денег на лодку, придется вам топать пешком, по бережку. Правда, путь неблизкий... достанется вам, к тому же сплошные болота, да и...

Терзающая душу боль и физическая усталость, накопившаяся за эти дни, сломили майора. Другие пленные не отходили от забора, надеясь увидеть кого-либо из близких или друзей, а он сразу лег и уснул, проспав целый день и еще целую ночь.

А когда проснулся, увидел рядом с собой чье-то свирепое лицо, настоящую пиратскую рожу — огромная голова и шея, наверное, весили не менее пятидесяти килограммов. Человек со столь устрашающей физиономией заговорщицки улыбнулся майору, по-дружески кивнул и отвернулся.

Эта заговорщицкая улыбка встревожила майора. Как попал сюда этот человек? Он был в форме офицера десантных войск, а насколько майору известно, в Читхиен десантников последнее время

не присылали. Спрашивать же ему ни о чем не хотелось. Потом он вспомнил, что летом семьдесят второго батальон, которым он командовал, должен был вместе со вторым десантным батальоном прорвать линию фронта на юго-западе от крепостных сооружений Куангчи. Там он и встретился с этим «пиратом», попав в его объятия в развалинах одного из домов. Знакомство, которым при других обстоятельствах можно было бы гордиться, сейчас оборачивалось издевкой.

Им нечего было сказать друг другу, ситуация говорила сама за себя. Да и лучше пока состорожничать, притаиться. «Вот оно, главное правило, которого мне в новой жизни предстоит придерживаться,— подумал майор,— притаиться». Все, что раньше делал, всех, с кем был знаком и встречался, все, что когда-то говорил и о чем думал,— все это теперь предстояло спрятать глубоко в себе.

Целый день эти двое пролежали бок о бок и за все время обменялись лишь несколькими словами — о дебоше, учиненном морскими пехотинцами; первым об этом заговорил десантник. А потом он вынул из грязного вещмешка, сейчас служившего ему подушкой, кожаную куртку вишневого цвета и протянул майору. После купания в море майору приходилось рядиться в тряпье, которое бросали беженцы.

В кожаной куртке он почувствовал себя куда увереннее, она словно надежно упрятала от постороннего взора не только его тело, но и душу. Так, в «гражданской» куртке, обмотав вокруг шеи шарф, он вместе со своим приятелем-десантником в первый раз вышел на прогулку по школьному двору. Десантник размышлял, у кого бы раздобыть курева. Солдатня курила «Джоб» — самые дешевые, на редкость вонючие сигареты, офицеры обычно брезгливо морщились от их запаха, но теперь, раздобыв по сигарете, оба с наслаждением затянулись.

— Скоро нас отсюда увезут, — сказал десантник. — На перевоспитание, так они это называют.

— Слышал. Тех, кто сидел в таможенном управлении, еще вчера увезли в Куангчи.

— Ну а нас это ждет завтра или послезавтра. Уже и харч на дорогу привезли — сушеный рис. Что ж, надо проверить копыта. Как ваши ботинки, ничего? Ботинки ваши, говорю, до Куангчи выдержат? — повторил десантник и, не услышав ответа, взглянул на своего спутника. Тот замер, уставившись в одну точку: его била дрожь.

— Что с вами?!

— Ничего... Тяжесть какая-то вдруг навалилась...

— Давайте я провожу вас в дом!

— Нет-нет, не надо, дойду один. Не говорите никому, что я... заболел, скажите — просто слабость.

«Шинь! Шинь!» — тихонько постанывал он, возвращаясь к себе, в отведенный для них класс. Он не ошибся — только что он видел своего сына. Все в тех же чернильного цвета суконных бриджах и зеленой рубашке. Лицо мальчика было таким же пухлым и розовым, но в глазах появилось что-то новое, решимость, что ли. Майору вспомнилось, как он мчался, перепрыгивая через несколько ступеней, вниз по лестнице, как споткнулся, упал и уронил сына. Прямо над головой, на верхнем пролете лестницы, уже раздавался топот преследователей, и времени оставалось только на то, чтобы кубарем скатиться со ступенек и раствориться в темноте.

Но как его сын оказался здесь? Шиня держал за руку маленького роста вьетконг[1] в старой заношенной форме, с автоматом и

[1] Вьетконг — букв.: «вьетнамский коммунист», так называли участников освободительного движения американцы и приверженцы марионеточного южновьетнамского режима.

санитарной сумкой через плечо. Они вошли в школьные ворота и направились прямо к небольшому строению, в котором раньше была канцелярия, а теперь помещалась комендатура. Спустя минуту Шинь выбежал оттуда один и принялся во что-то играть на крыльце, украшенном двумя симметрично поставленными вазами, в которых цвели «тигриные язычки».

По-видимому, вьетконг, который привел сюда мальчика, оказался в комендатуре не случайно. Разбирательство того дела началось, и вьетконги теперь разыскивают виновного.

Однако тревожное чувство, вызванное угрозой разоблачения, не могло отогнать мысли о сыне. С первой же минуты своего появления на свет Шинь стал нежно любимым ребенком. Его единственное сокровище, его жемчужинка, его радость — сын! Майору вспомнилось, как четыре года назад он примчался на джипе в больницу. Знакомый врач встретил его, как встречают счастливейшего из смертных. Их подразделение принимало участие в операции по очистке района Асо[1], когда он получил радиограмму о том, что жена родила сына. Прямо как был, не сменив одежды, небритый и грязный, помчался он в город. Рывком толкнул створку белоснежной больничной двери и бросился к жене. Он так напугал ее, что она чуть не потеряла сознание. Такой красивой он ее еще никогда не видел. На сына ему позволили взглянуть лишь издали, метров за пять, а потом жена прогнала его, так как боялась микробов.

И вот его сокровище, которое, казалось, было навсегда утрачено, теперь здесь, едва ли не на расстоянии вытянутой руки. Шинь, его сын, сейчас прыгает на крыльце перед комендатурой, и майору надо только встать, сделать несколько шагов... После всех утрат, унижений и мук захотелось протянуть к сыну руки, обнять его, прижать к себе его тепленькое душистое тельце. Или просто хотя бы взять за руку, погладить шелковистые блестящие волосы, сказать что-нибудь ласковое.

Обо всем этом теперь можно было только мечтать. Нет, выдавать себя нельзя ни в коем случае. Он попытался не думать больше о мальчике. И все же что он сейчас там делает? Майор выглянул в окно. Играет? Подбирает сухие листья? Почему он не уходит? Майор почувствовал, что больше не в силах оставаться в помещении. Он вскочил и вышел во двор. Прошел прямо к колючей проволоке, поскорее бы затеряться в толпе пленных, которые тоскливо вглядывались в густые зеленые деревья, окружавшие школу, надеясь увидеть там лица родных и близких.

Стоя у колючей проволоки, майор вдруг понял, что решение добровольно явиться на регистрационный пункт было страшной ошибкой. Надо что-то немедленно предпринимать.

На следующий день, рано утром, пленным приказали выйти во двор и построиться — предстоял переход в Куангчи, — и майор снова увидел Шиня. На этот раз рядом с мальчиком кроме вчерашнего низкорослого парня с санитарной сумкой стоял еще один вьетконг, высокий, с перебинтованной рукой и с кобурой на боку. «Не я ли тогда его ранил, — подумал майор. — Во всяком случае нужно быть начеку, сейчас может погубить малейшая оплошность».

Спрятавшись за широкую спину десантника, он не слушал коменданта, разъяснявшего порядок перехода, а лихорадочно думал только об одном: если Шинь подойдет ближе и узнает его — все будет кончено.

И до чего же он непоседлив! Носится по двору, шныряет среди пленных. Похоже, он что-то ищет. «А может, он ищет меня?» — мелькнула у майора мысль. Тут он увидел, как мальчик наклонил-

[1] Асо — высота на западе Куангчи, место, где велись ожесточенные бои.

ся, подобрал что-то с земли, озорная мордочка его была очень довольной. Сердце майора, только что сжимавшееся от страха, забилось ровнее — Шинь, видимо, подбирал упавшие на землю листья.

Вдруг мальчик, вытянув шею, стал во что-то пристально всматриваться. Майору показалось, что сын смотрит как раз туда, где стоял он с десантником, и поспешно отвернулся. «Конец! Он увидел меня. Сейчас он закричит «папа», подбежит и схватит меня за руку!» А мальчик уже пробрался через два первых ряда пленных, потоптался секунду, а потом вдруг решительно подскочил к десантнику и, задрав голову, молча уставился на его физиономию.

— Дядя, отдай! — наконец попросил он.

— Что? — Десантник недоуменно глядел на малыша.

— Вот это!

Майор глянул десантнику под ноги — пуля, трассирующая пуля с красной головкой! «Так вот почему он бегал,— пробормотал он машинально, — собирал пули!»

Хьен задержался с минуту на крыльце, украшенном вазами с цветущими «тигриными язычками», и, окинув беглым взглядом группы пленных — темные лица, грязная, с сероватым налетом пыли одежда, — невольно подумал: пепелище, остатки большого пожара, но где-то в глубине все еще тлеет, прячется огонь. Он взял за руку мальчика и пошел, не глядя, мимо этих серых шеренг. Он чувствовал на себе многочисленные любопытные взгляды. А что, если среди этих людей сейчас и тот, кто с особым вниманием следит за каждым движением, каждым жестом и его, Хьена, и идущего рядом с ним ребенка? И если этот человек действительно здесь, то какие его одолевают мысли и какие планы мести он вынашивает?

Рота Хьена получила приказ вернуться в расположение батальона принявшего на себя управление городом. Сегодня они с Малышом Тхангом вышли пораньше, им надо было осмотреть большой участок широкого песчаного берега, отбитого несколько дней назад, потом они собирались еще заскочить в военно-полевой госпиталь на другом берегу лагуны. Нгиа оперировали, но положение его оставалось тяжелым.

Ведя с собой мальчика, они вышли на берег. Было очень рано. Песок еще был сырой, крупные с сероватым отливом капли росы поблескивали на росших возле пляжа деревьях, за ними тянулись лачуги рыбаков, сколоченные из листового железа. В поселке было безлюдно. Рыбаки всегда держали наготове свои лодки, и, спасаясь от солдат марионеточной армии, в первые же дни «эвакуировались» в море, и по сей день еще их плавучие дома не пристали к берегу.

У росы был свой запах, острый и горьковатый, чем-то напоминающий дым очага. Этот запах напомнил Хьену о многом. Он даже огляделся ища среди песков яму с пресной водой, из которой они с Нгиа прямо под носом «черных орлов»[1] не раз с риском для жизни брали воду. Было это в семьдесят втором, в самый разгар большого наступления, когда одно из наших регулярных воинских подразделений форсировало реку Тхатьхан и заняло город Куангчи. Хьен и Нгиа вместе с разведгруппой этого подразделения получили задание изучить район второго этапа операции: перехода водного рубежа Митянь и нанесения удара по Тхыатхиену и Хюэ. Разведчикам, действовавшим в тылу врага, днем приходилось зарываться в горячий песок, наружу выбирались с наступлением темноты.

[1] «Черные орлы» — название одной из частей особого назначения в марионеточной армии.

Только пережив дни колоссального напряжения всех сил, когда десантные батальоны, морская пехота, самолеты «Б-52», канонерки, танки вели одну атаку за другой, чтобы вернуть утраченные позиции, когда и люди и собаки-ищейки прочесывали вдоль и поперек песчаный берег, вынюхивая и выслеживая вьетконгов, только пережив это, можно было во всей полноте ощутить нынешнюю победу. В роте Хьена вот уже несколько дней люди просто не отходили от транзистора, затаив дыхание слушали сводки — куда отступил враг, какие провинции, какие города и порты он оставил. Совсем недавно невероятным казалось взятие Куангчи — город в семьдесят втором дважды переходил из рук в руки, и от него оставались лишь руины да траншеи в тростниковых зарослях, а теперь уже настал черед Хюэ, древнего города, о красоте которого слагались легенды. Бойцы настаивали, чтобы Хьен обратился к командованию с просьбой дать роте возможность принять участие в боевых операциях, идущих в южных провинциях.

Хьен перебрал в памяти своих однополчан. Из тех, кто пришел в армию одновременно с ним, почти все погибли до семьдесят третьего.

Именно здесь, на этих мертвых землях, пронесся всесокрушающий ураган. Им удалось не только сломить сопротивление, но и обратить в бегство сто тысяч солдат и офицеров марионеточной армии.

Хьену приходилось идти медленно, чтобы мальчик не отставал. Позади, шагах в пяти, держа наготове автомат, шел Малыш Тханг, за плечами у него болтались вещмешок и санитарная сумка. Навстречу им попадались невесть куда бредущие солдаты марионеточной армии. Большинство их успело переодеться в гражданское, но Хьену и Тхангу достаточно было и беглого взгляда, чтобы безошибочно определить, кто перед ними.

Мальчику очень хотелось удрать. Он смутно чувствовал, что находится под стражей. И родители куда-то подевались — сразу же после того, как он упал и больно ушибся. Он не знал еще слова «смерть» и думал, что все на свете вечно. Конечно, что-то может сломаться или потеряться, но ведь потерянное можно найти. Сейчас он зорко вглядывался в бредущих навстречу людей — они тоже были какие-то странные, у них тоже что-то сломалось? Может, если пойти с ними, он увидит папу и маму, сестренок, найдет свой дом, у него снова будет и вкусное фо[1], и мороженое, и можно будет не таясь, в открытую собирать на песке пули.

Он нарочно начал замедлять шаг. Хьен и Тханг остановились, поджидая его. Хьен поманил его рукой.

— Чертово отродье, — сердито, точно споря с Хьеном, пробормотал Тханг. — Я же говорил, отдать его первому, кто попросит!

Он повесил автомат на плечо, еще раз обернулся. Мальчик сразу же вприпрыжку помчался к ним.

— Иди нормально, нечего скакать,— прикрикнул Тханг.

Теперь Тханг шагал позади мальчика. Дуло автомата покачивалось прямо над разлетавшимися под ветром короткими волосенками. «Не ровен час, толкнет сзади какая-нибудь бандюга, прямо в голову мальчишке попаду», — подумал Тханг и поспешно перетянул ремень автомата.

— Шинь! Шинь!..

Раздраженный голос Тханга раздавался где-то у самой воды. В ответ, однако, слышался только далекий рев открытого моря да

[1] Фо — национальное блюдо, похлебка из лапши с мясом и перцем.

мерный, чем-то похожий на гул дальнобойных орудий рокот плещущих о песок волн.

За дюной мелькнула коротко остриженная голова. Хьен увидел недовольное лицо своего санинструктора.

— Вот ведь только на секунду отвлекся, а его уже и след простыл.

Тханг был явно расстроен.

— Заигрался где-нибудь, сейчас вернется, — успокоил его Хьен.

— Нет, он удрал, я точно знаю, но я его из-под земли достану!

— Да, постарайся найти,— сказал Хьен.— Отца ты уже упустил, надо бы, чтоб с сыном этого не случилось!

Хьен посмотрел вслед убегающему Тхангу и обвел взглядом всю широкую полосу песчаного берега. Солнце уже поднялось. Круглое и бледное, еще не отбрасывающее лучей, оно тихонько плыло под глухой рокот волн среди серого однообразия дремлющего небосвода. По всему берегу, от кромки воды и до деревьев, валялись брошенные винтовки, пулеметные ленты, солдатское обмундирование, башмаки и всякая всячина — расчески, зеркальца, дамские танкетки, игрушки, искусственные цветы... Беженцы прямо здесь, на пляже, готовили еду, разбирали, перекладывали свой нехитрый багаж, готовились в путь — теперь уже в обратный, в освобожденный город или село.

Тощий, как цапля, сгорбленный старик с седым венчиком волос и аскетическим лицом, одетый в кимоно цвета сливок, стоял спиной к морю, обеими руками тяжело опираясь на палку. Рядом с ним — девушка лет восемнадцати в лиловых джинсах и ярко-желтой маечке. Ласковым движением девушка коснулась его рукава.

— Отец, послушайтесь меня, пойдемте обратно в город.

— Ну, конечно, дитя мое, я туда вернусь!

— Но вы все стоите здесь, под открытым небом, непременно простудитесь и захвораете.

— Благодарю тебя, дитя мое, но я чувствую в этом острую необходимость, мне надо лично присутствовать при всем, что здесь происходит!

Хьен вдруг заметил в толпе людей маленького мальчика в зеленой рубашке, издали очень похожего на их беглеца.

— Шинь!

Мальчик в зеленой рубашке не оглянулся на его зов, зато старик в кимоно встрепенулся и поднял голову. Девушка тоже посмотрела на Хьена, но тут же смутилась и поспешно отвернулась.

Старик не отводил взгляда от Хьена, как будто даже залюбовался им, и, немного поколебавшись, решительно двинулся навстречу Хьену.

— Приветствую вас!

— Здравствуйте, уважаемый, — вежливо ответил Хьен.

— Вы позволите мне поговорить с вами?

— Пожалуйста, — сказал Хьен, недоумевая, о чем собирается говорить с ним этот человек, — только прошу меня заранее извинить, времени у меня немного.

— Да-да, конечно, я понимаю, вы сейчас очень заняты, у всех у вас сейчас много неотложных дел. Не помню точно, в который раз мне доводится встречаться с вашими, я хотел сказать — с коммунистами. Не обессудьте, что не зову вас так, как теперь принято, — бойцы Освобождения.

Старик ощупью отыскал руку Хьена и пожал ее, аскетичное лицо его выражало страдание и муку.

— Это место, где мы с вами стоим,— продолжал он,— стало свидетелем таких страшных картин, люди здесь только что не ели друг друга. Слышал я, так же было и в Дананге, и войди вы туда на несколько дней позже, как знать, может быть, там и до людоедства

бы дело дошло.— Старик поднял голову.— Человек, потерявший лицо человеческое, кто он, как не дикий зверь? Спасибо вам, вот вы стоите рядом, и я уже чувствую себя не так одиноко. Простите, вы, очевидно, думаете: вот болтливый, сумасшедший старик?

— Нет, — горячо возразил Хьен и порывисто сжал худую руку старика, — я хорошо понимаю вас.

Девушка осторожно тронула старика за рукав.

— Отец!

— Что, Тху Лан? Моя дочь опасается, что я скажу что-нибудь не так, допущу какую-нибудь оплошность в разговоре с вами. Она о вас мало знает и многое воспринимает неверно. Бытует, знаете ли, такое мнение — коммунисты целиком поглощены идеей, им чуждо все человеческое. Я всего лишь один из тех интеллигентов, кого называют истинными патриотами. Я, разумеется, не коммунист, однако уверен твердо, что не сегодня завтра коммунисты должны будут взять на себя переустройство нашей страны, родного для нас с вами уголка земли, который столько пережил. Голод, отсталость и разруха, которые принесла война! Но они-то как раз на виду, и справиться с ними оттого несравненно легче, чем с тем глубинным, что притаилось в человеке за долгие годы раздора. И раны будут еще долго болеть, и ненависть еще долго не иссякнет. Так позвольте же полюбопытствовать, что собираетесь предпринять вы, коммунисты? Какие меры, неординарные, продиктованные великодушием, могут быть здесь приемлемы, как распутать этот клубок?

— Ваша тревога, ваши опасения... мне очень понятны, — задумчиво сказал Хьен. — Хотелось бы напомнить только об одном, — Хьен пристально посмотрел на старика. — Действительно многие по-прежнему думают, что мы, те, кого здесь привыкли называть «вьетконгами», обделены или даже вовсе лишены чувства сострадания, снисхождения к людям. Нас выставляют бессердечными людьми, которым ведома только ненависть, более того, кое-кто считает, что вьетконги только потому и идут от победы к победе, что умело подогревают слепую ненависть масс. Иными словами, нас обвиняют в отсутствии гуманных чувств... Но ведь в любой деревне вам расскажут о карателях и о коммандос, о «черных орлах» и «бешеных буйволах»... Целый общественный слой, в руках которого сосредоточилась вся власть, утратил человеческое лицо. Попробуйте задаться вопросом: можем ли мы быть к этим людям снисходительными? И могли ли мы не поднимать людей на борьбу с ними?..

«Какой, однако, непростительной глупостью, — думал майор, — было самому являться на регистрацию. Как можно было поступить так, наивно полагая, что это лучший способ избегнуть уготованной кары». В том, что двое военных привели Шиня в лагерь, майор увидел перст судьбы. Сейчас каждую минуту нужно было быть начеку.

Но выдержка изменила ему, дальше притворяться спокойным и равнодушным он уже не мог. Майор подозревал, что десантник давно раскусил его. В таком случае не будет ли лучше открыться: ведь они оба все равно что в клетке — оба в руках у вьетконгов.

И вот когда их очередной раз вывели на работу — уборку территории, — он, взяв с десантника клятву, рискнул открыть ему кое-какие свои планы. А выговорившись, спросил:

— А вы как оцениваете ситуацию? Что нас ждет?

— Полный провал.

— Ну нет, я настроен более оптимистично. Вы собираетесь смириться со своим положением?

— А вы можете предложить что-нибудь иное?

— Я вижу два выхода. Один — это самому распорядиться своей жизнью.

— Даже так?

— Да, если ничего другого не останется...

— Ну а второй?

— Второй...

Майор сжал кулаки, глаза его блеснули, он весь подобрался, почувствовав в себе то возбуждение, ту жажду действия и мщения, которые обуревали его, когда он лежал, сжимая в руках автомат, рядом — жена, подававшая патроны, и он нажимал на спуск, пока автомат не захлебнулся.

— Нет, — тихонько воскликнул он, — я ни за что со всем этим не примирюсь! Я верю, что наше дело не будет проиграно так бездарно, да еще кому — этим невеждам и тупицам!

— И никакого иного выхода вы не видите? — хладнокровно спросил десантник.

— Иного? — Майор пристально посмотрел на него, начиная догадываться, куда он клонит.

— Я считаю, мы должны примириться с ходом истории.

— Ах, вот как! — вскрикнул майор, едва сдерживаясь, чтобы не ударить собеседника. — Вот, значит, какой вы путь выбрали?

— Это, кстати, и ваш путь, и многих других...

— И это говорите вы, офицер авиадесанта... — горько сказал майор.

— А я последнее время там не служил. Мне отказали в доверии и перевели в другую часть.

— Почему?

— Потому что... Словом, я сам во всем виноват. Потерял вкус к драке! Баста, достаточно я им послужил. Кстати, не слышали последних сводок? Думайте обо мне что хотите, но такие, как вы, потерпят фиаско. Нечего и пытаться раздувать потухший огонь.

— Значит, по-вашему, я должен прийти с повинной? Да вы смеетесь надо мной!

— Нисколько не смеюсь. Этим вы в какой-то мере смягчите свою вину.

Они замолчали. Молчание было тяжелым, напряженным.

— Я все продумал, — наконец сказал майор. — Отчасти и сами обстоятельства меня к этому вынуждают, — он внимательно наблюдал за пиратской физиономией бывшего десантника, точно ждал хоть немного сочувствия, поддержки. — Мне небезынтересно и ваше мнение.

— Считаю, что выбор — это ваше право. Как говорится, право последнего поступка. Только вы один можете принять такое решение.

— Поймите же меня, не могу больше этого выносить!

— Ну тогда я вам так отвечу: чувство мести вас может завести далеко, очень легко наделать непоправимых ошибок.

— Выходит, вы считаете, что я должен покончить с собой?!

— Я всего лишь хочу предостеречь вас. Крови и так уже пролито более чем достаточно!

— Пойдете на меня доносить? — побагровел майор.

— Я все сказал,— тихо ответил бывший десантник,— а там как сами рассудите.

— Мальчишку в зеленой рубашке, простоволосого, не видели, не пробегал здесь? — Малыш Гханг остановился возле группы беженцев.

— Столько детей беспризорных развелось,— удрученно вздохнул мужчина склонившийся над чемоданом из искусственной крокодиловой кожи,— и когда только все это кончится.

— В зеленой рубашечке? Как же, был такой,— сказала женщина,— я его заприметила, проходил здесь с каким-то солдатом.

— Да, у того солдата жена и двое детишек утонули,— добавил мужчина.

— А кто он вам, этот мальчик? — полюбопытствовала женщина.

— Он...— начал было Тханг, но женщина торопливо перебила его:

— Вам бы лучше поторопиться, тот солдат, похоже, совсем с горя рехнулся!..

У Тханга словно гора с плеч свалилась, когда ему удалось наконец разыскать мальчика. Да и Хьен облегченно вздохнул, увидев, что «отродье» отыскалось. Но вот куда им девать малыша, когда они пойдут в госпиталь проведать Нгиа? И вообще, как быть с ним дальше? Хьену не хотелось оставлять его в роте. Лучше всего было бы найти какую-нибудь подходящую семью и оставить мальчика там, ничего не рассказывая о нем, а может, просто отдать его в детский дом.

— Ума не приложу, куда нам его девать, не вести же к Нгиа?— задумчиво сказал Хьен.

— Ну на время-то куда хочешь пристроим,— ответил Тханг.— Только вот потом что, снова его в часть тащить? По мне, так кому бы ни отдать, лишь бы с рук сбыть!

— Да кто же теперь возьмет ребенка? — сказал Хьен.— Сейчас всем трудно!

— Как сказать. Вот есть одна...

— Кто есть?

— Да одна женщина есть, говорю...

— Выходит, ты... ты уже искал, кому его отдать, и даже нашел?

— Да нет, случайно с ней встретились...

— Так что же, она сама, что ли, предложила?

— Ну да, попросила. Ты как на это дело смотришь?

Хьен обернулся, ища взглядом мальчика, тот стоял на песке, засунув руки в карманы, и пристально смотрел куда-то в море. Мальчик никогда не видел такого красного, похожего на мяч солнца. А вдруг люди выстрелят в солнце и этот красный мяч упадет вниз? «У всех есть винтовки, но никто не стреляет в солнце, потому что, если оно упадет, все сгорит, кругом будет кромешная тьма и отовсюду поползут черти»,— это сказал солдат, за которым он увязался...

— Где же эта женщина? — спросил Хьен у Тханга.

— Во-он в той стороне. Видишь, где гора одежды навалена, это морские пехотинцы все с себя сбросили, когда драпали. Она беженка, возвращается на родину. Можем мальчишку насовсем отдать, а хочешь, договоримся, что потом заберем.

— Ладно, пошли, поговорим с ней,— решил Хьен.

— Шинь! — окликнул Тханг.

Мальчик обернулся. На лице был написан страх. Красное солнце, так похожее на мяч, на глазах из багрового сделалось медным, а затем исчезло, зато теперь этот край неба слепил глаза. Тысячи трепещущих огненных лучей упали на море и песок, на серые рыбачьи хибары из старого листового железа, на темно-зеленые верхушки деревьев, с которых сошел туман, и земля сразу стала светлее и шире. Но чем выше поднималось солнце, тем громче становился голос волн. Жестокая ссора, разыгравшаяся в океане между водой и ветром, уже достигала материка, но от лазурного неба по-прежнему веяло безмятежностью и покоем.

Шинь то и дело оглядывался, потом не выдержал и, наконец, спросил:

— А вы меня домой... сейчас отведете?

— Да,— ответил Тханг.

— А солнце скоро совсем сгорит. И черти выползут...

— Что ты болтаешь? — удивился Тханг.

— Кто тебе это сказал? — спросил Хьен.

— Дядя-солдат...

— Чушь какая-то! — воскликнул Хьен и вдруг впервые отчетливо понял: перед ним всего лишь малое дитя.

«А что, если и Тханг тоже понял это? — подумал он, идя за Тхангом вдоль моря.— Почему мы с ним так торопимся сбыть мальчишку с рук, почему спешим избавиться от него?»

Они продолжали свой путь. Посреди пустынного светлого пляжа темнели груды брошенной одежды: брюки, гимнастерки, башмаки, даже носки. Нетрудно было догадаться, что здесь останавливалось ненадолго целое подразделение, солдаты скинули с себя форму и тут же все бросили.

У одной из груд мальчик чуть не упал, зацепившись за что-то сначала одной, а потом и другой ногой. Глядя на маленькую беспомощную фигурку, запутавшуюся в ворохах этих ненужных больше тряпок, Хьен ощутил смутное беспокойство, даже волнение. Словно сама прежняя жизнь, еще недавно нокаутировавшая солдат, чья ненужная теперь амуниция валялась здесь, сейчас тянула свои щупальца к мальчику, пытаясь завладеть им. Мальчик упал, споткнувшись о большой башмак, но тут же поднялся, снова двинулся, спотыкаясь, вперед...

Хьен, точно неведомая сила подтолкнула его, бросился к ребенку, схватил его, словно вырвал из мира тьмы, посадил на здоровую руку и, осторожно придерживая другой, раненой, прижал к груди.

— Пошли обратно, — сказал он Тхангу. — Давай быстрее к лагуне!

— Ты что?!

— Кончено с этим. Никому мальчишку не отдадим, сами вырастим.

У Хьена, когда он взял мальчика на руки, словно тяжелый груз с души свалился. Он почувствовал, как поднимается, переполняя его, тихая радость. «С чего это я? — спросил он себя. — Что изменилось? Ведь все осталось как было — и солнце, и песок, и я, и Малыш Тханг, и мальчик...»

С начала апреля, то есть с тех пор, когда из Читхиена был выбит враг, прошло совсем немного, но сколько всего случилось за этот короткий период в жизни Хьена: смерть Нгиа, первые трудные дни в городе, и, наконец, Шинь, и все заботы, с ним связанные.

Вот уже больше месяца Шинь жил в их роте, ставшей ему отныне новой семьей. Нельзя сказать, чтобы тут все с первых шагов шло гладко. Рота поначалу не хотела оставлять мальчика. Но Хьен ни в чем не обвинял ребят, ведь в конце концов раньше он и сам так же думал, как они. Никто, кроме Малыша Тханга, не поддержал его. Особенно остро он ощущал всеобщее недовольство в дни, когда отмечали траур по Нгиа.

Хьен уже успел получше приглядеться к Шиню. Тот оказался живым, смышленым, наделенным богатым воображением ребенком, но как все дети, родившиеся в обеспеченных, благополучных семьях, был избалован, и это раздражало Хьена. Чуть что не по нраву — и лицо мальчика сразу делалось злым, капризным. Иногда в нем проявлялась даже какая-то жестокость. Однажды Хьен из окна второго этажа увидел, как Шинь закатил оплеуху девчушке, которая была гораздо старше его. Хьен тут же заставил его попросить у девочки прощения и позвал к себе.

— За что ты ее ударил?

— А чего она не дала мне пол-яблока, да еще сказала, что я попрошайка!

Когда их расквартировывали в городе, Хьен позаботился о том, чтобы Шинь жил вместе с Малышом Тхангом, и устроил их в угловой комнате одноэтажного флигеля — самой отдаленной от зда-

ния комендатуры постройке. Каждый вечер, проверив посты на обоих берегах реки Чать, их новый ротный непременно заглядывал на минутку проведать мальчика.

В комнате санинструктора, заставленной всевозможными бутылями и пузырьками, всегда пахло камфорой и спиртом. Башмаки ротного, подбитые подковками, дробно стучали по кафельному полу, и, едва заслышав в коридоре эти знакомые звуки, мальчик бежал встречать его. Уходя, ротный непременно доставал из кармана и совал Шиню в руку конфету или какую-нибудь игрушку.

Тханг не чувствовал никакой неприязни к этому ребенку, но держался с ним строго и порой довольно сурово, бывало даже, что мальчику здорово от него доставалось. Тем не менее Шинь очень привязался к Тхангу. Но и привязанность его тоже проявлялась своеобразно. Он никогда не ластился к Тхангу, не заискивал перед ним и, казалось бы, никак не выделял его среди остальных. Не было случая, чтобы эти двое разговаривали подолгу, даже когда мальчик болел и Тханг ночи напролет просиживал у его постели.

— Вот лекарство, выпей, — говорил он.

— Горькое...

— Ну и что, все равно принять нужно.

И мальчик сам брал из рук Тханга похожие на пуговки маленькие белые таблетки и, чуть поморщившись, глотал. Тханг дожидался, пока он запьет лекарство, и тщательно укутывал его одеялом. И хотя Тханг не старался подбодрить мальчика, не говорил ему ласковых, утешительных слов, однако лицо его все еще выражало озабоченность и тревогу.

Хьен внимательно присматривался к тому, как бойцы обращались с мальчиком, раздумывал и над собственным решением: не было ли оно продиктовано всего лишь минутным порывом. Человек сугубо рационалистичный, он обычно подвергал сомнению поступки, вызванные одними эмоциями. Но сейчас внутренний голос говорил ему, что он поступил правильно и что решение оставить мальчика было единственно верным. И не только для мальчика это было хорошо, это было хорошо и для него самого, и для всех остальных бойцов.

Ребенок есть ребенок, так и надо к нему относиться, чей бы он ни был. Но должна кончиться война, и пройдет еще немало времени, прежде чем его друзья-однополчане и он сам до конца усвоят эту простую истину.

И, даже усвоив ее, им нелегко будет полюбить такого, как Шинь, видеть в нем просто ребенка, вырванного войной из родительских рук, нелегко будет найти в себе столько доброты, чтобы вырастить, воспитать из него хорошего человека.

Хьен скреб голову, взбивая высокую шапку белой пены. Мыло щипало глаза, Хьен жмурился, а едва приоткрывал прищуренный глаз, видел новый, неведомый ранее мир: рекламы, вывески, длинные улицы, лотки с самыми разнообразными товарами, толпы людей, вереницы машин, белые, лиловые, пестрые наряды женщин. Люди и машины непрерывно перемешались, двигались под доводящий до одури шум моторов. Казалось, у человека тут отняли все отпущенное ему природой спокойствие, превратив его в суетливого, раздраженного, загнанного хлопотуна. Нет, совсем не таким представлял себе Хьен этот город, когда думал о нем. Воображение прежде всего рисовало старую крепость, древние усыпальницы королей, да и все остальное, по его мнению, должно было здесь быть овеяно дымкой поэзии и красоты.

Хьен наклонил голову ниже. Река Ароматная была зеленой, как свежие листья, но вода вокруг него сделалась бурой. Это бурое с островками мыльной пены пятно все расплывалось, и Хьен ужаснулся: что же о нем подумал парикмахер у рынка Донгба, когда орудовал над его головой ножницами и машинкой. Волосы были густые, грязные, в голове полно песку. Но ведь у Хьена и минуты свободной не было, где уж тут стричься или мыть голову. Кто мог предположить, что в освобожденном городе у них будет столько забот и неотложных дел. Все, с чем пришлось здесь столкнуться, было внове не только ему, Хьену, но и многим его товарищам. Что ж, теперь после сегодняшнего «очищения», озорно подумалось Хьену, если и запорошит снова его волосы пылью, то это будет пыль совсем другая, пыль иных дорог. И Хьен едва ли не с сожалением поглядел на бурые потоки, стекающие с него. Он отплыл саженками подальше от берега, с наслаждением нырнул раздругой, а когда, вынырнув, вновь оглянулся на прежнее место, оказалось, что грязное пятно уже поглотили темно-зеленые, такими бывают стоячие воды, прибрежные струи реки Ароматной. Вдруг неподалеку вынырнули одна за другой, с интервалом примерно в секунду, три женских головки — зеленая, красная, желтая. Увидев Хьенга, головки снова нырнули, и над водой разнесся легкий крик, похожий на писк зимородка. Хьена поразили в самое сердце эти купальные шапочки, нежно белевшая кожа, яркие губы, выбившиеся пряди волос. Это было как наваждение, словно к нему подплыли русалки и тут же — Хьен едва успел их увидеть — упруго ударили хвостами и ушли в глубину, в подводное царство.

Река блестела под солнцем. От моста Белого Тигра в сторону безлюдного причала, устланного белым камнем и укрытого легкой колышущейся тенью бамбука, — эта пристань лежала чуть ниже той, самодельной, сделанной из цистерны, у которой купался Хьен, — приближались рыбачьи суденышки. Их было много: три самых больших — баркасы, выбросив сети с обоих бортов, шествовали неторопливо и важно, весла были подняты, лишь иногда плавно опускалось на воду одно кормовое, тут же, по бокам и впереди, сновали, гудя моторами, четыре маленькие лодки, в каждой было по одному человеку, и вот эта лодочная процессия оживляла, озвучивала пространство реки, словно хорошо слаженный оркестр. У самого берега, то обгоняя процессию, то отставая от нее, шла моторная лодка величиною с командирский или связной катер.

Хьен с удовольствием любовался этой картиной, тем, как с лодок ставили и поднимали сети. Когда лодки подошли к каменному причалу, на него под сверкающим солнцем поднялись три девичьи фигурки — те самые русалки, которых Хьен видел в воде. Хьен с разочарованием признал в русалках местных девиц легкого поведения, все три жили вместе, в лачуге из листов кровельного железа прямо на берегу Ароматной, там же, где располагался рынок. И не далее как вчера он видел их — они сидели на пороге своей лачуги, одна из девиц держала на коленях гитару. После купания девушки выглядели привлекательнее, строже, даже во взгляде как будто не было ничего вызывающего.

Они ушли, а Хьена вдруг охватило странное чувство — будто что-то грязное, нечистое осквернило реку и прилипло к нему самому, его волосам, коже. А ведь только что ему казалось, что купание освежит его. Если бы сейчас перед ним был ручей, такой, например, как ручьи у истоков реки Ароматной, — сколько их он перешел в свое время, — с каким удовольствием он бы прыгнул туда, в чистую, прозрачную воду. Он снова вспомнил о верных друзьях, о годах сражений. Были они полны тягот, лишений, недоедания, но это была жизнь среди неиспорченных, чистых душою

людей. А здесь всевозможные соблазны подстерегают на каждом шагу.

Разноликий был этот город, как, впрочем, и все города, пережившие оккупацию. В год Обезьяны[1], год всеобщего наступления, город какое-то время бурлил, волновался, сочувствовал революции, но это быстро прошло. Сейчас он был совсем другим, и потому Хьену так часто вспоминалась атмосфера военных лет, чистота отношений между бойцами. Здесь, в этом городе, они не просто жили, а вели работу — с самыми разными людьми. Служащие, торговцы, интеллигенты, монахи, студенты, бывшие офицеры, солдаты, перебежчики, проститутки. Словом, самый разный был это люд, и отношение к новому строю у всех было разное. Хьен был далек от того, чтобы ко всем ним относиться враждебно, просто многие из них были ему чужды по духу.

И все же сейчас, стоя над Ароматной, на причале, сверкавшем под утренним солнцем, он посмеялся над собой. Было бы нелепо, убоявшись новизны ситуации, рваться сейчас назад, в прошлое, и, придя сюда, где река несет свои полные воды, возвращаться к ее ручейку-истоку, дабы омыть себя в его струях! Да и какой вьетнамец может стоять теперь в стороне от того мощного потока, в котором слились воедино разные струи — прозрачные и мутноватые? И не ты ли сам, не твои ли товарищи долгие годы сражались за это?

Хьен переоделся, закатал рукава гимнастерки, обнажив недавно зарубцевавшийся шрам,— перед купанием он в первый раз снял повязку. Шрам был довольно большой, сантиметров пять, и еще красный, кожа вокруг побелела.

Хотелось испытать раненую руку, и Хьен принялся поднимать и опускать завернутую в дождевую накидку выстиранную мокрую одежду — сверток весил около пяти килограммов. Потом, положив сверток в бочку из-под бензина, кем-то брошенную здесь, он прошелся взад и вперед по причалу, сделал несколько гимнастических упражнений.

Шинь, подражая ему, начал размахивать руками и ногами.

— Пошли, Шинь, — окликнул его Хьен.

— Скок-скок! Би-би-и!

То мальчику казалось, что за ним мчится конь во весь опор, то военный «додж», выпускающий густые клубы черного дыма. Пока Хьен купался и стирал, Шинь подобрал снятый Хьеном бинт, привязал его к железной катушке для телефонного провода и возил ее за собой по щебенке, покрывавшей берег.

У реки и в сквере было не так жарко. Вдоль улицы над деревьями, над зеленью кустарника маленькими тучками поднималась пыль — студенты и старшие школьники с лопатами, мотыгами и метлами в руках вышли наводить порядок в городе. Молодежь работала с удовольствием. Слышались веселые шутки, раздавался смех.

Хьену с Шинем, идущим через сквер мимо этих молодых людей, показалось, что они попали на большое гулянье. Несколько парней заговорили с Хьеном; он остановился. В этот момент из ворот студенческого клуба медленно выехала агитмашина.

На переднем сиденье, держа в руке микрофон, сидела девушка с прямыми до плеч волосами, в лиловом аозай[2] и пела «Освободим наш Юг». Юноши и девушки, подметавшие улицу и сквер, весело подхватили песню.

[1] Имеется в виду 1968 год, по лунному календарю носящий название года Обезьяны.

[2] Аозай — национальная одежда, длинное платье с разрезами на боках, носится с брюками.

Хьен и не предполагал, что та случайная встреча на пляже в Тхуанане перерастет в продолжительное знакомство. Он оказался для старика и его дочери олицетворением нового мира, тем, кого полностью сформировал иной строй, а преимущества этого строя были им сейчас очевидны. Даже если бы они и не встретились тогда в Тхуанане, Хьен рано или поздно все равно бы столкнулся с этой семьей: старик с дочерью обитали в том же районе, за порядок в котором отвечала часть, где служил Хьен.

Тху Лан и ее отец жили в одноэтажном домике, в котором было всего три комнаты, на широкой, но безлюдной сейчас улице, где под немолчный стрекот цикад с деревьев феникс облетали маленькие желтые лепестки. Старик был членом культурной комиссии при городской комендатуре и как-то раз зашел проведать Хьена. А затем и Хьен, этого требовало простое приличие, нанес ответный визит.

Тху Лан боялась, что Хьен забыл номер дома, и поджидала его у ворот, на дорожке, затененной благоухающими желтыми орхидеями. Белое платье девушки, солнечные зайчики, игравшие на листьях, ощущение приятной прохлады — все это показалось ему близким, хорошо знакомым, а может, просто напомнило страницы давно забытых книг, которые он читал в Ханое, в те времена, когда с учебниками под мышкой бегал в школу.

Старый профессор с видимым удовольствием беседовал с Хьеном, подробно расспрашивал его о жизни на севере, о социализме. Хьен рассказывал о себе и о своих сверстниках. Рассказал и о том, как пятилетним мальчишкой, держась за руку матери, шагал в гневно гудящих, колышущихся, словно волны, людских колоннах у озера Возвращенного Меча[1] в тот день, когда вся столица вышла на демонстрацию протеста в связи с отравлением заключенных в Фулое[2]. И еще и о том, как вместе с другими призывниками садился в длинный состав, увозивший их на фронт. Среди множества воспоминаний о Ханое, городе, где он родился и вырос, хранит он память о вокзале, над которым взметнулся тогда лес машущих вслед поезду рук. Рассказывал и о войне, на фронте он и его однополчане могли вынести многое, но не могли обойтись без песни, без письма от близких, без новой книги.

Отец и дочь слушали Хьена, внимая не только словам, но и чему-то идущему прямо от его сердца.

Тху Лан ждала Хьена неподалеку от входа в студенческий клуб.

Над крышами города догорал закат. Со скверов, бульваров и от реки расползались сиреневатые сумерки. Глядя на эту девушку в лиловом, доходившем только до колен аозай, несмело идущую ему навстречу, он в который раз невольно усомнился: неужто это та самая девчонка в джинсах и маечке, что встретилась ему как-то туманным утром на берегу моря?

Тху Лан успела заметить в его глазах это новое, всего лишь на миг мелькнувшее выражение. Его взгляд и энергичное пожатие большой, крепкой руки смутили ее, принесли ощущение счастья.

— Вы очень точны, — сказала она. — Наши тоже все здесь.

— Я ведь солдат.

Тху Лан заметила и то, как этот высокий военный с худощавым и юным лицом, идя рядом с ней, вдруг сделался строгим и отчужденным, словно что-то отдалило его. Пожелтевший, высохший лист опустился между ними, и ветерок с шуршанием погнал

[1] Озеро Возвращенного Меча — озеро в центре Ханоя.

[2] Имеется в виду массовое отравление заключенных в 1959 году в политической тюрьме в Фулое, Южный Вьетнам.

его по тротуару. Тху Лан неожиданно растерялась, низко наклонила голову и ускорила шаг, точно стремясь убежать от скрежещущего шороха сухого листа. Они вошли в ворота. Уже темнело. Собравшиеся во дворе клуба студенты стояли небольшими группками под деревьями, бродили по усыпанным гравием дорожкам.

Навстречу Хьену и Тху Лан бросился парень в короткой куртке.

— Знакомьтесь, это Зунг, председатель нашего совета, — сказала Тху Лан.

Хьен обменялся с парнем рукопожатием, и они вместе вошли в дом. Прежде здесь был спортклуб. Двухэтажное здание нависало над Ароматной, напоминая пришвартовавшийся корабль; первый этаж был выкрашен в цвет морской волны, а второй был белым, на нем поблескивали глазки окон-иллюминаторов...

Зунг и Тху Лан провели Хьена по клубу. Вход в большой зал, заполненный народом, охраняли парень и девушка, на стволах их автоматов были завязаны красные бантики. Хьену невольно вспомнилась картина, изображавшая рабочих Петрограда перед штурмом Зимнего. Другие комнаты были заставлены столами — председателя студкома, его заместителя, ответственных за пропаганду, культмассовую работу и так далее. Беспрерывно входили и выходили люди, беспрерывно стучали пишущие машинки, во всем ощущалась деловая атмосфера.

Они поднялись на второй этаж. Здесь группа девушек разучивала революционную песню, которую сочинили сами студенты. Вместе с Зунгом и Тху Лан Хьен вышел на балкон. Над Ароматной опускалась ночь. Вдоль берегов, освещенных неоновыми огнями, плавно покачивался стройный, тонкий бамбук, над водой, над купами деревьев, над сампанами и лодками, стоящими на приколе, взлетели плавные линии моста Чинтхиен, на котором причудливо перемешались пятна света и тени. На том берегу, над улочками, примыкавшими к шумному рынку, возвышалось, подняв кверху края крыши, огромное здание. Но вся эта красота и вся эта кипучая жизнь моментально померкли, едва Хьен повернулся и глянул влево на другой, неосвещенный берег Ароматной, где ему с первых же дней жизни в городе приходилось бывать ежедневно. Сейчас он вспомнил всех тех несчастных, обездоленных людей, которых привык встречать там, среди сваленных под открытым небом груд чемоданов, коробок, узлов и разной домашней утвари, — женщин с озабоченными лицами за нехитрой стряпней в солдатских котелках, подобранных по дороге, скорбных, морщинистых стариков, детей с грязными ногами, растрескавшимися пятками.

Еще днем, готовясь к выступлению, Хьен решил, что непременно начнет его с рассказа об этих людях. Скудные земли, места извечных тяжелых битв с природой и с захватчиками, земли Куангчи стали оплотом революции, здешний бедный люд издавна был беспредельно предан ей...

В перерыве к Хьену подошла Тху Лан, отвела его в сторону, туда, где свет был не так ярок.

— Когда все кончится, задержитесь, пожалуйста, это очень важно...

— Что-нибудь случилось?

— Да, но об этом я могу сказать вам только наедине.

Тху Лан ждала его под невысоким деревом банга в углу двора, рядом с ней стояла незнакомая женщина, несколько странно, как показалось Хьену, одетая — он никак не мог понять, горожанка она или крестьянка. Лица у обеих женщин были серьезными.

— Подождите минуточку, — тихонько сказала Тху Лан той женщине и подошла к Хьену.

— Я ведь тоже несу ответственность за дело революции,— тихо начала она, повторяя слова, сказанные Хьеном у нее дома.— Речь идет о бывшем офицере, он откуда-то бежал и сейчас прячется здесь, в городе, в одном из кафе. Впрочем, эта женщина сама вам все расскажет... Давайте я вас познакомлю...

Хьен поздоровался с женщиной кивком головы.

— Вы могли бы рассказать обо всем поподробнее? — попросил он.

— Да, конечно, только лучше бы нам найти более подходящее место...

Через полчаса женщина уже сидела перед Хьеном в здании, которое занимала его рота. Хьен, налив в чашку чай, поставил ее на блюдце и придвинул к гостье.

— Прошу!

Женщина подняла глаза. Она была очень худа и к тому же выглядела очень измученной, казалось, ее терзала какая-то затаенная боль. Узенький белый шарфик кольцом охватывал ее шею и двумя длинными концами падал на темно-вишневое аозай. Если б не траурный шарфик[1], ее можно было бы принять за монахиню[2].

— Эта девушка посоветовала мне обратиться к вам, я послушалась и пришла в клуб, — монотонным, бесцветным голосом начала она, доверчиво глядя на Хьена. — Прежде всего я хочу сказать вам вот что: сбежавший офицер — он, по-видимому, что-то замышляет — мой бывший муж, у меня от него было двое детей. Но не заставляйте меня вспоминать прошлое! Я недавно вернулась из Нячанга и зашла к своим старым знакомым, и там, через шесть или семь лет, снова столкнулась с ним лицом к лицу. Я знаю, он удрал из вашего лагеря. Он не задерживается подолгу на одном месте, но мне стало известно, где он будет сегодня ночью и куда двинется дальше. Он человек опасный. Не думайте, что я говорю так, чтобы свести личные счеты. И прошу вас, ни сейчас, ни потом не расспрашивайте меня о моей жизни. Подозревать меня тоже ни в чем не надо. Я просто очень несчастна, а сегодня пришла к вам с единственной целью, как и сказала вам эта студентка, — помочь революции. Я расскажу вам все, что знаю, но только вам одному, без свидетелей, писать я тоже ничего не буду.

— Вы приняли постриг в одной из пагод?

— Будет лучше, если вы вообще не станете меня ни о чем спрашивать. Считайте, что это мое условие. — Женщина помолчала. — Вы все еще не доверяете мне? — продолжала она. — Хорошо, отвечу вам: да, я приняла постриг. Но то, что заставило меня приехать сюда из Нячанга, относится к мирской жизни. Я тревожилась, хотела узнать, что стало с моими двумя дочерьми. В пагоде я уже целых семь лет... Нет, не могу, извините...

Потом, успокоившись, она рассказала Хьену все, что ей было известно о планах бывшего мужа, написала точный адрес, где его искать, даже объяснила расположение улиц.

На чердаке дома номер двенадцать в тупичке, примыкавшем к одной из многолюдных улиц, в углу тесной деревянной надстройки, где у хозяина кафе был алтарь предков, сидел уже известный вам майор, шарф все так же обвивал его шею.

Снизу донеслось шлепанье деревянных сандалий по кирпичному полу, и вслед за тем заскрипели ступеньки лестницы. Майор

[1] Во Вьетнаме цвет траура — белый.

[2] Темно-вишневый цвет — цвет монашеской одежды.

носом потянул воздух — запахло кофе. Лысый толстяк с заплывшими глазками внес дымящуюся чашку, под мышкой у толстяка был зажат какой-то сверток.

— Вот все, что вы просили,— толстяк поставил чашку и положил сверток.

Майор ложечкой размешал кофе, отхлебнул немного.

— Когда можно идти?

— Поближе к комендантскому часу. Лучше всего в двадцать два тридцать.

— А номер лодки?

— «9033-икс». Запомнили?

— «9033-икс».

— План прежний. Напоминаю: сверток держите в левой руке, шарф завяжите так, чтобы походило на девятку, то есть чтоб на грудь падал один длинный конец. Встретит вас молодой человек на небольшой джонке. Он возьмет вас на борт. Ночь проведете на джонке, а утром будете на месте.

Майор продолжал смаковать кофе. Потом закурил дорогую сигарету, поднял сверток и, взвесив его на ладони, подумал, что он слишком легкий.

— Мой кольт здесь? — спросил он.

— Вам нельзя иметь при себе оружия, пока вы не доберетесь до реки. Это опасно, да и вообще ни к чему.

— Где же вы его припрятали?

— На лодке. Как только окажетесь в ней, вам его отдадут.

— Благодарю, — майор крепко пожал толстяку руку. — Возвращайтесь к своим клиентам!

Ровно в двадцать два пятнадцать майор, держа сверток под мышкой, спустился вниз и по тесному, грязному, заваленному отбросами проходу, идущему вдоль стены, выбрался на улицу. Окна кафе ярко горели. Майор как ни в чем не бывало вошел внутрь, быстрым взглядом окинул посетителей, неторопливо попивавших кофе за столиками, и попросил принести молока со льдом. Выпив стакан одним духом, он подошел к стойке расплатиться. Хозяин, тот самый толстяк, отсчитывая сдачу, незаметно придвинул ему толстую пачку денег. Майор ловким движением спрятал деньги в карман и еще раз крепко пожал хозяину руку.

Выждав время, пока майор отойдет достаточно далеко от кафе, толстяк, облегченно вздохнув, бросился в комнату за стойкой, где его жена, худая женщина с недовольным лицом, мыла посуду.

— Через каких-нибудь полчаса наш нахлебничек угодит им прямо в лапы!

У берега Ароматной, в том самом месте, где, по словам хозяина кафе, его должны были встречать, майор увидел множество лодок, стоявших здесь на приколе. Налетевший ветер задувал огоньки горевших под навесами лодок керосиновых ламп, приносил на берег голоса, музыку и громкий, похоже, пьяный смех. Майор придержал на груди развевающийся конец шарфа. Он вдруг почувствовал озноб и спросил себя: а что, если все сорвалось и его никто не встретит? До комендантского часа оставались считанные минуты.

Он посмотрел на человека с винтовкой — по Новому мосту под фонарями прохаживался часовой, солдат армии Освобождения, — и сердце у него ушло в пятки. Вот уже почти месяц прошел с тех пор, как он сбежал. Он скитался много дней по лесу, прятался в заброшенных постройках, пока, наконец, решился вернуться в город. Больше всего его почему-то поразил тогда часовой с винтовкой на мосту Чинтхиен, и точно так же, как сейчас, сжалось сердце. Но тогда он слепо верил: даже если им придется отдать Сайгон, то плодородная долина Меконга и город Кантхо,

который он привык любовно называть «западной столицей», никогда не будут потеряны.

А сейчас, куда податься сейчас? На что надеяться? Может, настал момент воспользоваться, наконец, этим шарфом, который завязан вокруг шеи? Но в то же время как утопающий за соломинку он был рад ухватиться за любую надежду и поверил хозяевам кафе, «красным снаружи, голубеньким внутри», тем, кто смирился с новым строем, но не переставал мечтать о возвращении старого. Ненадежная, слабая это была опора, но ежели и ее лишиться, превратишься в одинокого затравленного волка, который боится даже собственной тени, ему и смерть покажется избавлением. Он жалел об одном — что уезжает, так и не взглянув напоследок на свой дом, где некогда провел столь счастливые дни с красивой женой и любимым сыном.

Небольшая джонка, выскользнув из темноты, пристала к берегу прямо около него, и он с горечью и облегчением шагнул в нее, кивком головы поздоровавшись с молодым лодочником.

— Простите, вы какой номер ждете? — приглушенным голосом спросил парень.

Майор ответил.

Джонка под номером «9033-икс», которая должна была отвезти его в К. — местечко за усыпальницей Минь Манга [1], ничем не отличалась от других стоявших здесь лодок. Вся команда ее состояла из трех крепких парней, включая и того, который только что подвел ее к берегу, на ней был деревянный навес и маленький, не больше клетки для птиц, алтарь предков, пристроенный за брусом рулевого весла. Хозяин кафе предупредил, что у лодочника есть настоящее, а не фальшивое разрешение на порубку и перевозку леса.

— Ну как, братья по оружию, недоразумений не было? — весело спросил майор, угощая парней сигаретами.

— Да нет, — ответил самый высокий, — забирайтесь под навес, отдыхайте. Мы хотим отойти прямо сейчас, не дожидаясь комендантского часа.

— Мне тоже сдается, что так будет лучше. Скажите только, где мой кольт?

— Здесь, — ответил высокий, — он у меня, буду охранять вас в пути.

Непривычный северный говорок и лицо высокого парня, чем-то неуловимо знакомое, насторожили майора. «Буду охранять вас в пути», — мысленно повторил он, и в ту же минуту память подсказала ему: высокий парень — тот самый раненый вьетконг, который вел Шиня через двор школы в Тхуанане, когда майор вместе с другими пленными ожидал переброски в Куангчи.

Сомнений быть не могло, он в ловушке. Решение бежать пришло мгновенно. Выбросив сжатый кулак прямо в лицо высокому парню, он стрелой метнулся к берегу. Но высокий подставил ногу, и майор растянулся на дне лодки, уткнувшись лицом в настил, а когда поднялся, получил от парня первый сокрушительный удар в челюсть, за ним последовал второй — в переносицу, только искры из глаз посыпались. Майор уже не поднимался.

Джонка под номером «9033-икс» спокойно двинулась вверх по течению Ароматной и стала у пристани — той самой, что несколько дней назад расчистили бойцы из роты Хьена, чтобы было где искупаться и постирать. Отсюда к гарнизону ближе всего.

В свете фонаря, стоявшего на пристани, Хьен внимательно разглядывал лицо пленного, которого бойцы выводили из лодки.

---

[1] Минь Манг — вьетнамский император; период его правления (1820—1840) отмечен развитием ремесел и торговли.

Неожиданно ему показалось, что он обнаруживает какое-то сходство с мальчиком, но он отогнал от себя эту мысль.

Всю ночь болела едва поджившая рана на руке — из-за того мощного удара, которым он уложил в лодке майора. Не дождавшись рассвета, Хьен встал и пошел в самый дальний конец флигеля, где в одной из пустых комнат был заперт пленный. Хьен несколько раз прошел мимо дверей, а потом, повинуясь какому-то безотчетному чувству, направился в комнату к Тхангу. Под солдатским москитником сладко спал Шинь. Хьен смотрел в лицо спящего мальчика, а в памяти упорно всплывало лицо пленного. Что, если и в самом деле человек, запертый через несколько комнат отсюда, отец мальчика? Хьена ошеломило сходство — тот же рисунок тонких, с опущенными уголками губ, тот же овал лица.

Майор тоже всю ночь не сомкнул глаз. Простительно ли было ему, старому, обстрелянному волку, угодить в ловушку! Нет, слишком уж он доверился «своим» людям. И почему в последнее время он совершал одну ошибку за другой? Запас веры в себя иссяк. Он чувствовал себя медузой, выброшенной на горячий песок.

Майор резко поднялся и, сцепив за спиной большие руки, зашагал по комнате. В памяти одно за другим всплывали лица некогда близких, преданных ему людей. Если б была возможность вернуться в кафе, он с наслаждением перерезал бы глотки его хозяевам — толстяку и его костлявой женушке, так подло его предавшим. Да и с первой своей женой он тоже не преминул бы поквитаться. Пропади все пропадом!

Майор снова забегал по комнате и вдруг замер у окна — сквозь щели жалюзи в свете еще горевших фонарей он увидел приближающегося к флигелю вчерашнего высокого вьетконга. С ненавистью смотрел майор на его юное лицо и высокую фигуру. «Неужели весь мой род погибнет от руки этого сосунка? — с горечью думал он. — И я, и мой сын сейчас в его власти!»

Он метался по комнате до самого рассвета. Утром молодой боец принес ему завтрак и отвел в одну из комнат флигеля. Низкорослый вьетконг-санитар, который тогда, в Тхуанане, вел за руку Шиня — майор его хорошо запомнил и потому сразу узнал, — смазал ему припухшую ссадину под глазом. Потом его отвели в соседнюю комнату, где за столом сидел «сосунок». Майор поспешил поздороваться, наклонив голову и ссутулив плечи.

— Садитесь, — тихо сказал «сосунок» и показал на табуретку, стоявшую у стены.

Едва майор опустился на низкий табурет, как в комнату снова вошел санитар, за руку он держал Шиня.

Мальчик, ни о чем не подозревая, тащил за собой на бинте железную катушку, он дошел до середины комнаты и уже хотел было повернуться и уйти, но тут заметил человека, чем-то очень знакомого, шею которого обматывал шарф его отца. Майор побледнел и замер. Вот он, конец, очная ставка с самой судьбой. Мальчик увидел, как человек вскочил с табурета и, тяжело дыша, прислонился спиной к стене. Высокая крепкая фигура, припухшее усталое лицо, под глазом смешно намазано красным — мальчик продолжал с интересом разглядывать его. Почему на нем отцовский шарф? Ах, ведь это же он, его папа, кто же еще! И с криком «папа» бросился к мужчине и крепко обхватил его обеими руками.

— Это действительно ваш сын? — услышал он вопрос и, подняв голову, был удивлен, не найдя ни тени торжества на лице только что снова одержавшего над ним верх вьетконга, наоборот, лицо его выглядело скорее печальным. Молодой военный отодвинул стул, встал и вместе с санинструктором вышел из комнаты.

— Ты надолго уезжаешь? — спросил Шинь, глаза его были полны слез.

— Может, надолго, а может и нет, — ответил Тханг, хотя прекрасно знал, что больше никогда не вернется в свою часть. Он был назначен в особую команду, которая будет заниматься захоронениями. Да и всю роту К-1 скоро предполагалось вывести из города.

Шинь не отходил от Тханга, пока тот укладывал запасную гимнастерку и брюки в старый, видавший виды вещмешок, весь в темных пятнах от пота и с дырой сбоку — в вещмешке какое-то время лежал пакетик ньокмама[1] и его прогрызли крысы.

— Дядя Тханг! — вырвалось вдруг у мальчика. — Возьми меня с собой!

— Ну как я тебя возьму, нельзя, брат!

Шинь схватился за лямки вещмешка, попробовал приподнять его:

— Ой, как тяжело!

— Тебе еще коробов сто риса съесть надо, тогда сдюжишь!

Выйдя из расположения части, они двинулись к мосту и, перейдя его, оказались на другом берегу Ароматной. Миновав множество многолюдных торговых улочек и шумный рынок, они очутились в тихом квартале среди вилл, утопавших в зелени. Над многими изящными воротцами были прикреплены полосы жести, на которых желтыми буквами по красному фону были выписаны революционные лозунги. К домам, прятавшимся в глубине сада, вели аккуратные дорожки, выложенные кирпичом и окаймленные по обеим сторонам орхидеями. И почти в каждом саду рос бамбук, где изящный, гибкий, а где с толстыми внушительными стволами.

Шинь вдруг оживился, издал радостный клич, он узнал улицу, которая вела к его дому, и рванулся вперед, оставив Тханга далеко позади. Его окликнули, по улице шла женщина с детьми, но Шинь даже не оглянулся. Он изо всех сил несся вперед, так что чуть не сбил с ног бродячего торговца.

На чугунной решетке перед небольшой двухэтажной виллой был укреплен красно-голубой флаг Фронта[2] с золотой звездой.

Ворота были закрыты, перед ними стоял стул. «Наверное, вилла занята под какое-то учреждение, а дежурный куда-то отлучился», — решил Тханг и нажал кнопку звонка. На дорожке, ведущей к дому, появилась женщина в черном.

— Вам кого?

— Этот малыш — сын бывшего хозяина виллы. У нас тут кое-какие дела...

На лице женщины отразилось крайнее изумление, она долго в упор разглядывала ребенка, затем распахнула створки ворот.

— Заходите, пожалуйста...

Через минуту Шинь уже восседал на подоконнике гостиной и жадно разглядывал сад, он любил сидеть в саду с родителями по вечерам, после ужина. Отсюда открывался вид на темневший вдали сосновый бор, новое асфальтовое шоссе вилось среди поросших соснами холмов и королевских усыпальниц.

— Дядя Тханг, это мой дом!

— Вот и оставайся здесь, а я пошел, — подтрунивая над мальчиком, сказал Тханг.

— Не-е!

«Выстроили на крови да на костях», — подумал Тханг. В про-

[1] Ньокмам — рыбная приправа к мясным и овощным блюдам.

[2] Имеется в виду Фронт Национального освобождения Южного Вьетнама.

сторной гостиной с изящной мебелью — синим диваном и креслами — стояли пустые ружейные козлы, сколоченные из досок.

Шинь потащил Тханга по всем комнатам — и первого и второго этажа. Наверху, в спальнях, затаился затхлый, нежилой запах, тянуло плесенью. Шинь удивленно посмотрел на ладан, курившийся на столе в классной комнате и в спальне его сестер. Он уже смутно сознавал, что дом этот больше не принадлежит его родителям. Все стало по-другому, не так, как раньше.

— Пошли, дядя Тханг,— заторопился он.

— Тебе что, здесь больше не нравится?

— Не-е! — Мальчик поднял с пола игрушечный танк, покрытый густым слоем пыли, и тут же бросил его.

— Бери с собой, играть будешь, — сказал Тханг.

— Не хочу, он грязный!

Они вернулись в гостиную. Вошел парень с винтовкой и солдатской панаме — из группы поддержания порядка в микрорайоне.

— Дом принадлежал майору коммандос, — начал объяснять он Тхангу. — Видите, какие хоромы этот подонок отгрохал за каких-нибудь пару лет, что был комендантом лагеря штрафников. Любую сумму мог от родственников штрафников требовать — давали. Да и как не дать, небось еще сами умоляли взять деньги, кому охота, чтобы сына или брата как дезертира расстреляли...

— Скажите, а что это за женщина? — спросил Тханг, кивнув головой в сторону кухни.

— Первая жена майора. Он ее лет десять назад бросил. Взялась нам готовить. Если проголодались, я велю...

— Нет, спасибо,— прервал его Тханг и поднялся.— Мы уходим.

— Как? А я думал, у вас здесь дело...

— Нет, просто хотелось взглянуть на этот дом...

Выйдя на широкую улицу, Тханг замедлил шаг и принялся разглядывать пестревшие по сторонам вывески. Всевозможные ресторанчики, кафе и просто забегаловки буквально заполонили округу. Здесь было все и на любой вкус — в витринах стояли разноцветные бутылки с винами, водами, прохладительными напитками, рекламные щиты предлагали многочисленные фирменные блюда. Улыбчивые девушки зазывали покупателей, их мягкий местный говорок слышен был издалека. Тханг крепко держал Шиня за руку. Он несколько раз порывался войти в одно из этих заведений, но чрезмерное радушие красивых девушек, стоявших у входа, всякий раз отпугивало его. Итак, завтра он расстанется с этим мальчуганом. А еще дня через два «отродье» тоже покинет город и вместе с К-1 отправится в Куангчи. Тханг решил, что сегодня он с малышом чем-нибудь напоследок полакомится.

Они оказались перед длинным рядом парикмахерских, и Тхангу пришло в голову, что хорошо бы мальчика сначала постричь, а уж потом накормить, но, взглянув на прейскурант, понял, что ему это просто не по карману. За стрижку пришлось бы отдать большую часть нетронутой месячной получки. Тханга предупреждали о дороговизне в городе, но поверить в такие цены было трудно. И тем не менее Тханг решил все деньги сегодня потратить на то, чтобы вместе с мальчиком вкусно поесть. Вот только что выбрать? Лучше всего, решил он, спросить у Шиня, в этом-то он наверняка разбирается.

— Шинь, ты когда-нибудь обедал в ресторане?

— Ага!

— А что тебе больше всего нравилось?

Мальчик задумался.

— Рис по-японски, — наконец сказал он.

— Что ж, он вкуснее ароматного риса с колбасой?

— Вкуснее. А вы любите ароматный рис?

— Я его не пробовал никогда, слышал только от наших ребят. Сам я больше всего утиные яйца люблю.

Тханг наконец увидел ресторанчик, реклама которого обещала японскую кухню, и, держа Шиня за руку, прошел через большую веранду, заставленную столиками. Все они были уже заняты. Тханг остановился, озираясь в поисках свободного места, и тут из глубины зала к ним поспешил хозяин ресторана.

— Пожалуйста, прошу вас в зал, — с сильным сайгонским акцентом произнес он и легонько похлопал Шиня по плечу своей огромной лапищей. — Брат вам будет или сын? Наверное, только что нашли друг друга, я угадал, да? И долго не виделись? О господи, счастливый конец, прямо как в романе! Нынче жизнь подкидывает нашим сочинителям столько сюжетов! Прошу вас вот сюда, усаживайтесь поудобнее. Малышу дадим высокий стульчик, вот, пожалуйста. Что изволите заказать?

— Нам бы рис по-японски...

— Рис по-японски?! Откуда же ему взяться в Хюэ? — Хозяин вытаращил от удивления глаза, а потом, видно что-то сообразив, громко рассмеялся. — Те щиты, «японская кухня», что у входа, мой земляк попросил на время поставить, пока дело налаживает, он из Сайгона приехал. А у нас заморская еда не в ходу. Зато можем попотчевать вас фо по-сайгонски.

— А сколько... одна порция? — смущенно спросил Тханг.

— Какими деньгами будете платить — северными, южными?

— Вот все, что у меня есть... — Тханг полез в карман гимнастерки и, вынув пачку, протянул ее хозяину ресторанчика. Тот взял ее и, направляясь в глубь зала, зычно крикнул в сторону кухни:

— Два раза фо по-сайгонски!

Тханг, хмурясь, спросил Шиня:

— Интересно, где это ты ел рис по-японски?

— А, забыл! Я его в Сайгоне ел. Мы туда на самолете летали!

— Ну вот что: чтоб больше от тебя ни о каком рисе по-японски и ни о каких самолетах никто не слышал! Ясно?

— Ясно...

Девушка-официантка принесла фо по-сайгонски. Едва Тханг и Шинь принялись за еду, как снова появился хозяин ресторанчика. Поставил к их столику стул, сел.

— Ну как, нравится? — Потом вдруг встал и стал показывать свои крепкие бицепсы.— Видите? Без них не спасти бы мне свое заведение. Ведь раньше не солдаты были, а форменные бандиты. А морские пехотинцы и «панцирные жилеты»? Те вообще черт знает что вытворяли. Когда их на юге Лаоса разбили, они через наши края возвращались. Рейсовые автобусы на дорогах останавливали и грабили, с пассажиров брали по две тысячи откупных, с хозяина автобуса — от пяти до десяти тысяч. А уж когда в город вошли, так из питейных заведений не вылезали. Напьются и давай бузотерить, все крушили, что под руку попадет. И посмей только пикнуть, они к стойке подойдут и давай ножи в стенку метать. Я ведь место это для своего заведения как получил? Тут раньше другой ресторанчик стоял, его пьяная солдатня сожгла. Хозяин разорился и место продал. Чего они тут только не вытворяли!..

И Тханг и мальчик давно уже все съели, а хозяин никак не мог остановиться и продолжал изливать свою душу. Тханг, теряя терпение, решительно поднялся:

— Ну теперь можете ничего такого не опасаться и спокойно заниматься своим делом.

— Да, да, теперь можно не бояться. А все бойцам Освобождения спасибо! Вот что, денег у вас пока маловато... — хозяин вынул из кармана деньги, которые взял у Тханга, и положил перед ним на стол, — вы заберите...

— Нет! — решительно отказался Тханг.

— Ну, тогда заходите еще, как выдастся время, — смутился хозяин, — милости просим.

Хьен и Чать возвращались из расположения батальона, куда их вызвали на совещание. Предчувствие, редко обманывающее солдата, не подвело их и на этот раз: через несколько дней все региональные воинские части вернутся в провинцию Куангчи для выполнения нового задания. Спокойствие и порядок в городе восстановлены, жизнь постепенно вернулась в нормальное русло. Здесь останется только один полк.

И Хьен и Чать сразу почувствовали огромное облегчение. Особенно Чать, он был храбрым солдатом, но совершенно пасовал перед сложными проблемами, которые приходилось решать здесь, в городе. У него словно гора с плеч свалилась. «Ну вот, избавились наконец!» — говорил он, шагая рядом с Хьеном по шумным, многолюдным улицам, где шла бойкая торговля.

Правда, в последние дни Чать понял, что был несправедлив к городу. Узнав о том, что рота уходит, местные жители, особенно бедняки, приходили проститься с солдатами. В один из дней к ним в гарнизон снова пришла монашка, первая жена бывшего майора коммандос.

Она рассказала Хьену, что все это время жила в городе, в доме майора, где теперь разместилось районное управление охраны порядка, нанялась стряпать им. Прежде чем вернуться в Нячанг к монашеской жизни, хотела пробыть здесь все сто положенных поминальным обрядом дней, прошедших после гибели ее дочерей.

— Рад, что мы снова с вами встретились, — сказал Хьен. — И хочу поблагодарить за ту услугу, что вы нам оказали.

— Нет, не надо меня благодарить. У меня своя вина перед революцией: ведь даже, живя в полном соответствии с дао[1], нельзя забывать своих прегрешений в мирской жизни.

— Совершенно с вами согласен.

— Преступления моего бывшего мужа велики, — сказала она. — Его приговорят к смерти?

— Революционный трибунал рассмотрит его дело, как того требует справедливость. Скажите, что привело вас к нам сегодня?

— Хочу кое-что предложить... Я узнала, что ребенок, мальчик, который сейчас у вас, это сын майора...

— Откуда вы про него знаете?

— Один из ваших бойцов приводил его в тот дом...

— И что же вы хотите предложить?

— Оставьте его на мое попечение, я обращаюсь к вам как духовное лицо.

Хьен догадался о ее опасениях и нахмурился. Значит, даже те, кто не относится враждебно к революции, думают, что революция способна мстить детям.

— Но уже довольно долго, — Хьен сделал над собой усилие и улыбнулся, — мальчик находится на нашем попечении. Или вы думаете, что наше отношение к нему может измениться?

— Надеюсь, у ваших солдат доброе сердце, хотя, признаться

[1] Дао *(вьетнамск.)* — *букв.* истинный путь, праведная жизнь — система нравственных правил, принятая в древних религиозных учениях Дальнего Востока.

откровенно, мне кажется, что малыш будет постоянно вам напоминать обо всем.

— А вам разве не будет?

— Я монахиня и могу совладать со своими чувствами.

— Понимаю, вы имеете в виду всепрощение, к которому призывает религия. Вы надеетесь стать выше личных обид и антипатий?

— Вы слишком хорошо все понимаете...

— Ну а вы, простите, очень плохо. Вот что я вам скажу: не тревожьтесь о судьбе этого ребенка. Мы его и вырастим и выучим, и, смею надеяться, он станет не таким, каким бы сделали его родители, и не таким, каким хотите сделать его вы в обители милосердного Будды...

На следующий день Хьен пошел проститься на могилу Нгиа, а на обратном пути решил заглянуть к профессору.

Через знакомую стену сада, сложенную из кирпича и гладких камней, все так же протягивали ветви растущие в саду деревья, тянулись вверх и расточали нежное благоухание темно-зеленые кустики желтых орхидей. Хьен с грустью подумал о том, что он приходит сюда в последний раз.

Приближаясь к воротам, которые сейчас были плотно закрыты, Хьен вдруг услышал доносящиеся из дома резкие голоса и крики, невольно вздрогнул, остановился. В доме раздался плач Тху Лан — Хьен отчетливо различил ее голос, — и крик: «Уходи! Уходи!», затем послышалось «та-та-та-та» — кто-то имитировал автоматную очередь. Хьен рассмеялся — видимо, там всего-навсего репетировали пьесу.

Когда он нажал кнопку звонка, из дома вышел юноша, открыл калитку и, по-видимому узнав Хьена, бросился за хозяйкой. Тху Лан появилась тут же. И снова Хьен не сразу узнал ее — она была в черных крестьянских брюках и блузке, на длинных ресницах блестели слезы.

Юноши и девушки, репетировавшие пьесу вместе с Тху Лан, сразу начали расходиться, а Тху Лан пригласила Хьена в дом.

— Извините, я, видимо, не вовремя...

— Нет, что вы! — Голос Тху Лан был звонким и радостным. Она проворно и ловко стала приводить в порядок гостиную — выдвинула на середину стоящие у стен кресла, подобрала с полу театральный реквизит.

— У нас была генеральная репетиция. Эта пьеса идет в Ханое, вы ее, верно, видели.

— Я уже забыл, как и Ханой-то выглядит!

— Ну а вообще вы драму любите?

— Как вам сказать...

— Я знаю, некоторые предпочитают пьесы читать.

— Я действительно отношусь к тем, кто предпочитает их читать, а не смотреть.

— Значит, хорошо, что вы не видели меня в этой роли!

Хьен вспомнил ее крик «уходи, уходи» и улыбнулся.

— Все же кое-что я успел услышать и даже узнал ваш голос.

Тху Лан вдруг заметила, что она в том же костюме, что и на репетиции.

— Извините меня, я пойду переоденусь...

— Ни в коем случае! В городе, насколько мне удалось заметить, девушки теперь одеваются просто, как крестьянки, — засмеялся Хьен. — Так что смело шагайте со сцены прямо в жизнь, всякие переодевания ни к чему!

— С вами и в самом деле не соскучишься! — воскликнула

Тху Лан. — А знаете, какую роль мне дали? Роль девушки-бедняжки, помогающей революции.

— Надеюсь, сюжет достаточно интересен? Кстати, кого это ваша героиня гонит, когда кричит: «Уходи, уходи»?

— Не гонит, а торопит своего возлюбленного, бойца армии Освобождения. Она узнала, что среди подпольщиков появился провокатор. — Тху Лан вдруг вспыхнула. — Но сейчас эта девушка вовсе не торопит своего бойца, а, наоборот, просит посидеть. Пожалуйста, подождите меня!

Тху Лан убежала, а через минуту уже вернулась в гостиную, неся чайник со сдобренным лотосом чаем и блюдо с пирожными. И шутливым тоном, словно продолжая играть роль, сказала:

— Ну вот, вражеской армии нет, арестов нет и провокаторов нет. Так что можете сидеть спокойно. Милости просим, отведайте чаю!

Красота Тху Лан вдруг вспыхнула перед ним ярким цветом, словно роза на ладонях раскрылась. Сердце его тревожно забилось от нового, счастливого, заставшего врасплох чувства. И тут же кольнуло воспоминание о тонких острых молодых травинках, приметах времени на могиле Нгиа. Самый близкий друг его навсегда останется лежать здесь, в приморье, в белых песках, поросших редкими травами.

Хьен взял с блюда, которое протягивала ему Тху Лан, пирожное.

— Лан, мне очень жаль, но завтра мы уходим из вашего города.

Тху Лан вдруг взглянула на него снизу вверх, почти с испугом:

— Неужели вы пришли проститься?

— Да...

— Только вас не будет или вся часть уходит?

— Вся часть.

— Вы не хотите мне ничего сказать на прощанье?

— Ну, когда начнутся занятия, постарайтесь учиться как можно лучше и получить диплом с отличными оценками. Активно участвуйте в общественной жизни. Считайте, что это мой вам наказ.

— Буду помнить ваш наказ. Что еще?

— В жизни стремитесь к простоте, будьте поближе к людям труда...

— И все?

— Пожалуй, этого достаточно.

Лицо Хьена оставалось таким же спокойным, даже бесстрастным, и девушка, не скрывая горечи, воскликнула:

— Да, ума и проницательности вам не занимать, одна беда — слишком уж вы скромны и сдержанны! Это общая, характерная для всех вас особенность?

Хьен промолчал.

Тху Лан приготовила свежий чай, налила чашку и передала ее из рук в руки — как почетному гостю.

— Всего вам наилучшего, — произнесла она голосом, в котором явно слышалась обида. — Очень признательна за ваш визит. По-видимому, дела помешают вам увидеться с моим отцом. Не тревожьтесь, я передам, что вы были у нас...

— Дорога дальняя, — предупредил Хьен мальчика. — Пока мы делаем один шаг, тебе надо успеть сделать два, так что придется нелегко. Ты хныкать не будешь?

— Не буду!

Им не повезло. Едва рота вышла из города, где-то далеко загромыхал гром, потом, после полудня, начало парить так, что стало

трудно дышать, и тут же воздух сделался холодным, чуть ли не ледяным. Ветер переменился. К западу на горизонте гребни гор побелели, а поля и песчаные дюны по обеим сторонам шоссе потемнели, стали почти черными. Начался ливень, и над разгоряченной землей поднялся густой пар.

Ливни в начале сезона всегда особенно сильны. Тысячи сверкающих водяных прутьев хлестали по полям, по глади реки. Зигзаги молний то и дело расчерчивали небо, яростный грохот грома сотрясал землю.

Через полчаса земля стала твердой, словно стальной брус, а ливень уже не ревел так устрашающе, его шум был монотонный и ровный, по обочинам дороги текли прохладные ручейки, а воздух, земля, деревья, травы — все вокруг было блестящим, свежим, омытым.

Хьен укутал мальчика с головы до ног в полиэтиленовое полотнище, но Шинь все равно умудрился насквозь промокнуть. Впрочем, его это нисколько не беспокоило. Напротив, ему очень нравилось идти под дождем. Правда, всего какой-нибудь час назад у него от страха душа в пятки уходила, так он боялся грозы. Но стоило грозе затихнуть, и Шинь уже крутился волчком, с наслаждением шлепал по воде, бегущей по обочинам шоссе.

Глядя на закутанную в серый полиэтилен детскую фигурку, прыгающую, скачущую под дождем, словно разыгравшийся кутенок, Хьен и сам невольно развеселился. Бойцы подобрели к Шиню, то один, то другой, подзывая мальчика к себе, брал за руки или сажал на плечи.

Хьен почувствовал облегчение. Поправив вещевой мешок и кобуру, он обернулся, взглянул сначала на юго-восток, туда, откуда доносился отдаленный гул моря и где все было закрыто белой завесой дождя, а потом на запад, в ту сторону, куда уходило, теряясь в пелене дождя, шоссе. А в Хюэ и на побережье тоже такой сильный дождь прошел?

Хьен вдруг подумал о Тху Лан, о Нгиа. Надо будет непременно написать Тху Лан... Память уводила его все дальше и дальше в прошлое. Опять припомнился тот эпизод. Года три-четыре назад, в джунглях, на одном из западных склонов Чыонгшона, забрел он отдохнуть в заросли деревьев кхоп. Стояла осень, тишина и покой были такие, что даже шорох облетевшего сухого и выцветшего, как пергамент, листа казался непозволительно громким. И среди этого безмолвия до Хьена вдруг донесся тихий прерывистый шепот: «Зьет, это я, мне дали отпуск на полтора месяца. Я сначала заеду к твоим. Побуду с твоей мамой недельку. И на обратном пути к ней заверну, тоже на недельку. Я везу ей твои вещи. Но если я увижу, что сейчас их не стоит ей отдавать, я припрячу их, завезу потом, на обратном пути. Слышишь, Зьет, это я, Хыу. Маму твою я теперь и своей считать буду, не тревожься. Ну все, я пошел!»

Хьен сидел, стараясь не шевельнуться, сдерживая дыхание, да и весь лес тогда притаился, словно прислушивался к этому едва слышному шепоту солдата, навсегда оставлявшему здесь друга. Подождав, пока тот, кого звали Хыу, отойдет достаточно далеко, Хьен потихоньку встал, повесил на плечо вещмешок, взял автомат и перешел на другую сторону пересохшего ручья, заваленного сухими листьями. Здесь и увидел он свежую могилу, в головах был воткнут похожий на раскрытый веер кусок жести. Видимо, боец, которого звали Хыу, — может, в последние дни перед отпуском — выбил гвоздем на жести имя, фамилию, место рождения и дату гибели своего друга...

Дождь все не утихал. Уже начинало темнеть.

Хьен поднял мальчика и посадил на плечи. Чем дальше, тем хуже становилась дорога, она почти вся была изрыта воронками.

Возле самого города, нового Куангчи, Чать велел бойцам сделать десятиминутный привал. Хьен, взяв фонарик, взобрался на дюну рядом с шоссе. Впереди оказалась ограда из живого бамбука, кое-где разрушенная взрывами. Остатки бывшей концентрационной зоны. Может быть, в какой-нибудь из построек они уложат мальчика, и он поспит, но за бамбуками в темноте белели только пески. Кругом было пустынно и тихо.

Им уже не раз попадались на пути такие зоны, опустевшие, безжизненные, — люди вернулись в свои села. Здесь же не осталось ничего, кроме песка, словно они шли по пустыне. Мальчик поднял глаза на Хьена и жалобно спросил:

— Еще идти, да?

— Да, еще!

— А когда придем?

— Когда увидим людей.

Хьен понимал, что ребенок устал, голоден и хочет спать. Но ему хотелось, чтобы переход этот стал для мальчика и испытанием. «Он идет туда, где окончательно решится его судьба, — думал Хьен, — а такое путешествие не может быть увеселительной прогулкой».

Дождь не утихал всю ночь, монотонно гудел над полями, с шумом хлестал по листьям в саду. Матушка Эм, да и другие женщины в селе не спали, беспокойно ворочались, вспоминали, как в такие же вот дождливые ночи со стороны границы[1] появлялись бойцы К-1, как приоткрывались двери домов, раздавались приглушенные голоса, шепот, и из темноты одно за другим появлялись знакомые лица бойцов... Все это было очень живо в памяти жителей Чьеуфу.

И вот сегодня ночью село снова с нетерпением поджидало солдат К-1.

Маленькая То повернулась на другой бок, лицом к матушке Эм, сквозь сон ощутила привычный запах — слабые, едва слышные и чуть горьковатые ароматы трав, земли, водорослей, лекарств и пота смешивались в один, такой знакомый запах родного тела. То всегда спала здесь, притулившись под боком у матушки Эм.

— Я всегда-всегда с тобой буду жить, — шепнула она в полусне и крепко обняла Эм за шею.

Эм провела рукой по ее волосам.

— Скоро тебе домой возвращаться девочка, в Хайланг. Мама тебя ждет.

— А я ее попрошу, чтобы она здесь осталась!

— Как можно! А твои братики и сестрички, а хозяйство — разве можно все это бросить!

Девочка еще крепче прижалась к ней.

— А правда, что дяденьки из К-1 нашли меня в воронке от бомб?

— Да, глубокая была воронка, видать, от очень большой бомбы...

— Значит, я могла умереть?

Дождь все так же шумел в саду, монотонно роняя капли на листья деревьев, на ветви кустов тетау, служивших в местных деревнях живой изгородью, на землю...

В то лето, — нет, никогда не забудется то лето, три года на-

[1] Имеется в виду граница, установленная по Парижским соглашениям 1972 года между зонами, контролируемыми Временным революционным правительством Республики Южный Вьетнам, и зонами, находящимися под контролем сайгонского режима.

зад,— Эм все бродила по полям и искала Оу, свою младшую дочь, пропавшую во время бомбежки. В один из таких дней она встретила бойцов из К-1 и своего сына, Нгиа. Трудное было время.

Нгиа очень торопился, не стал даже слушать про Оу. Он строго-настрого наказал матери вместе с остальными односельчанами уходить в Биньдинь и передал ей из рук в руки завернутую в гимнастерку крохотную девчушку, чумазую, всю пропахшую порохом и гарью.

Бережно прижимая к груди это маленькое тельце, Эм шла по полям, над которыми, закрывая небо, поднимался черный дым, она уходила из родных мест, оставляя здесь сына, отбивавшего натиск врага, и потерявшуюся дочь. Когда забрезжил рассвет, Эм решила передохнуть в сравнительно безопасном месте — бамбуковых зарослях. Она опустила девочку на землю и развернула половину сухого пайка, которую отдал ей какой-то сердобольный раненый боец. Девочка тут же стала есть, да так жадно, что проглотила даже кусок бумажной обертки, а потом принялась облизывать пальцы. Похоже, несколько дней у нее и крошки во рту не было. Эм побежала к реке за водой, когда она вернулась, малышка все еще облизывала пальцы... Фляжку с водой девочка выпила до дна. Вытаращив глазенки, испуганно следила за ревущими над головой бомбардировщиками. Заговорила она только на следующий день...

Дождь все шумел в саду, и шум этот сейчас чем-то напоминал размеренную поступь солдат.

— Сдается мне, наши парни идут! — донесся из соседней комнаты голос тетушки Кхой, хозяйки этого каменного дома, где нашла приют матушка Эм.

Эм осторожно отвела детскую ручонку, крепко обнимавшую ее за шею. В доме сегодня казалось как-то особенно пусто. Оу — она недавно вернулась — вместе с Кук уехала получать стройматериалы, что прислали с севера в помощь жителям особо пострадавших районов. К тому же они еще собирались заехать в Чьеухыонг, помочь убирать рис.

Услышав, что матушка Эм встала, Кхой принялась расталкивать двоих своих внучат.

— Не везет ребятам из К-1, всякий раз их дождь в дороге настигает! — бормотала она.

Матушка Эм высыпала в корзину несколько горшков риса и протянула ее Кхой:

— Помоги-ка, промой и поставь варить, а то, может, им и поесть нечего будет, ведь идут-то откуда...

— И то правда! — Тетушку Кхой уговаривать не надо было. — Всю ночь небось шли, а в такую погоду как не проголодаться!

И она добавила еще несколько горшков риса из своих запасов.

Матушка Эм пошла по домам поднимать людей, чтоб успели приготовить еду для бойцов, и почти сразу по всей деревне начали разгораться, а потом ярко запылали очаги.

Небо постепенно светлело.

Бойцы из взвода Кьета, передовая группа, прибывшая сюда два дня назад, поджидали свою роту за деревней у зарослей филао. За пеленой дождя уже можно было различить очертания холмов, и белесые полосы, и квадраты залитых водой траншей и воронок вдоль темной черты вдалеке — «железки», городка, где все постройки были сделаны из листового железа, стройматериала для американских аэродромов.

Наконец, где-то вдали, в той стороне, где начинало розоветь серое небо, послышались неясные голоса, смех, отрывочные возгласы и приглушенное позвякивание металла. Но прошло еще до-

вольно много времени, прежде чем появились знакомые фигуры бойцов, они цепочкой шли по заново насыпанному полотну дороги, ведущей сюда от шоссе номер один. У зарослей филао, встретившись с группой Кьета, остановились.

Хьен обернулся к солдатам. Один из бойцов подбежал к Хьену и с рук на руки передал Шиня. Мальчик крепко спал. Голова его с вымокшими под дождем волосенками ткнулась Хьену в плечо. Хьен укрыл ребенка плащ-палаткой.

Кьет, низкорослый, в нахлобученном ноне[1], докладывал Чатю, как они собираются расквартировать роту.

Нынче в деревне, объяснял он, какой дом ни возьми, народу битком набито — беженцы возвращаются. Каждое отделение придется размещать на постой у двух, а то и у трех хозяев.

— Не годится, нужно, чтобы бойцы отделения все вместе были! — Чать отер ладонью мокрое от дождя лицо. — Ну ладно, с этим потом разберемся. Рису-то хотя бы попросили, чтобы ребят накормить?

— Так ведь тут в каждом доме уже завтрак готов, ждут! — весело ответил Кьет.

— Вот и славно, — сказал Чать. — А нас где ты собираешься устроить?

— Вы оба будете там же, где прошлый раз, а кашеваров разместим в доме у тетушки Кхой, у нее каменный колодец, дом кирпичный и кухня очень чистая.

Чать недовольно покачал головой:

— А волостной совет ты что, выгнать собрался?

— Так они уже переехали в новый дом! Там такая красота, вы и представить себе не можете!

Матушка Эм еще издали завидела знакомые фигуры бойцов из К-1, солдат ее сына. Словно в полусне двинулась она им навстречу по деревенскому большаку и остановилась у околицы.

Солдаты, нагруженные оружием, с тяжелыми вещмешками за спиной, один за другим проходили мимо нее, сворачивая потом на боковые тропинки, и все они почтительно, явно волнуясь, здоровались с матушкой Эм, и от этого у нее только сильнее заныло сердце.

Дождь все никак не утихал. В бледных рассветных лучах деревья филао у поля отодвинулись вдаль, и здесь, в полутени-полусвете, между лучами зари и полумраком дождевых полос, вдруг стала вырисовываться высокая мужская фигура. Эм вздрогнула, признав в ней сына, — он точно так же шел к ней тогда на поле, когда потерялась Оу. Сейчас он будто плыл по воздуху, на руках у него опять был ребенок, и лицо сына было такое же озабоченное и напряженное. За спиной торчал автомат, на боку пистолет и гранаты с длинными ручками в американском поясе-патронташе. А потом сын, явившийся так неожиданно в мираже рассветных лучей, вдруг стал увеличиваться в размерах, расти и вдруг проплыл дальше — словно через нее, через ее тело прошел. Эм вздрогнула, обернулась. Она одна стояла у околицы, на развилке дорог. Хьен со связным входил в деревню с последней группой. Он еще издали узнал одинокую скорбную фигурку матушки Эм, растерялся, замешкался. Спящий на руках Шинь вновь вызвал неприязненное чувство.

Ноги сделались точно чугунными, каждый шаг стоил большого труда. И тут же мелькнуло: не свернуть ли с дороги, не войти ли в деревню с другой стороны. Как он страшился этой минуты — очутиться лицом к лицу с матерью Нгиа, а тут еще этот ребенок... Лучше бы Хьен сам умер вместо Нгиа. Это Нгиа сегодня утром должен был привести сюда свою роту. Чтобы женщина эта, столь-

[1] Нон — конусообразная соломенная шляпа из пальмовых листьев.

ко хлебнувшая горя, не стояла вот так, одна-одинешенька, скорбным взглядом провожая последнего, проходившего мимо бойца.

— Хьен, это ты, сынок? — Она уже увидела его и заторопилась навстречу.

— Мама! — В голосе Хьена слышалась затаенная боль.

— Знаю, все знаю. Нам сюда сообщили, мы уже и поминки справили...

Она подошла к нему совсем близко, выпростала из-под ветхой посеревшей накидки руки, протянула их вперед, словно заранее знала, что с ним будет ребенок, которого ей нужно принять. «Отродье» как ни в чем ни бывало крепко спало.

— Кто это? — спросила Эм, не опуская протянутых рук.

— Он потерялся... — выручил Хьена связной, — а мы вот нашли.

— Мальчик, девочка?

— Мальчишка, — и на этот раз первым ответил связной, уголком глаза глянув на страдальческое, прямо как у Христа на распятии, лицо своего политрука.

— Бедный малыш! Совсем как То или как наша Оу когда-то.— Матушка Эм погладила его по руке и охнула: — Да ведь у него жар!

И тут же засуетилась, сняла с себя старенькую дождевую накидку, укутала в нее малыша, потом взглянула на Хьена, связного.

— Лучше я сама понесу. Чей же такой мальчишечка, больно хорошенький? И давно потерялся?

— Он... в общем, мы нашли его там, ну когда один объект брали... — с трудом выдавил из себя Хьен.

«Может быть, это знаменье какое было, — думала она про себя,— может, сын для того и привиделся, чтоб передать на мое попечение еще и это дитя человеческое?»

Откуда мог знать Хьен, что творится в ее душе, он видел только, как нежно и заботливо прижимает она к груди мальчика, склоняется над ним, чтоб укрыть от дождя.

А в каменном доме у Кхой уже проснулась вся детвора — То и внуки хозяйки: Хунг и малышка Лан, и все они выбегали во двор, смотрели на затянутое дождем небо, ждали бойцов.

Тетушка Кхой принесла из кухни котел с дымящимся рисом, опустила на топчан, тот самый, что бойцы Кьета на днях сколотили из двух досок и поставили в средней комнате. Вошла матушка Эм, и сразу же все — и Кхой, и детвора бросились к ней и окружили ее, разглядывая спящего у нее на руках малыша.

— Чей он? — удивленно спросила Кхой.

— Родных потерял, наши вот его принесли!

И матушка Эм велела То принести баночку с тигровой мазью.

То, услышав, что нового мальчика тоже подобрали бойцы, сразу вспомнила огромную воронку от бомбы, туда так легко нечаянно скатиться и так трудно оттуда выбраться. Кхой отнесла Эм зеленый костюмчик Хунга, чтобы переодеть вымокшего малыша. И весь этот уютный каменный дом, хотя бойцы здесь еще не появились, наполнился суетой и оживлением.

То долго в упор разглядывала новенького и под конец совсем как взрослая изрекла:

— Если бы не наши бойцы, он бы помер! — И, подняв глаза на матушку Эм, спросила: — А звать его как?

— Не знаю пока.

В то же утро Хьен и Чать отправились взглянуть, как разместились бойцы. Не успели они вернуться и поесть, как тут же пришло распоряжение сегодня вечером быть на совещании.

Во всех освобожденных районах самой неотложной задачей становилось разминирование полей. В операции «Очистим нашу землю от мин и бомб» включались и региональные армейские подразделения, и приданные им на усиление Министерством обороны специальные саперные части, и десятки тысяч ополченцев, жителей здешних мест. Операцию было намечено провести в два этапа: первый — разминирование равнинного края, второй — разминирование джунглей в горах.

Чьеуфу было одним из самых трудных мест: четыре пятых территории волости, включая и населенные пункты, и пахотные земли, еще не были разминированы.

Бойцы К-1 уже почти сроднились с этими землями. Это они, ее бойцы и командиры, упорно сражались за Чьеуфу, не раз переходившее из рук в руки, и многие их товарищи погибли в этих боях, сражаясь за то, чтобы половина всей волости после семьдесят второго все же стала нашей территорией, это они два долгих года «парижского мира» дни и ночи проводили в окопах на теперешней границе зон. Поэтому и было у всех чувство, будто вернулись они в родной дом. Дорогими и близкими за эти годы стали им здешние люди.

Чать остался на занятиях по разминированию, которые проводили прибывшие саперы, а Хьен вместе с Кук отправились назад в Чьеуфу на велосипедах.

Хьен только сегодня узнал, что Кук — одно из главных в Чьеуфу лиц.

— Хорошо, что вы вернулись, — сказала она. — Без ваших ребят нам бы ни за что не управиться, хотя практика показывает, что с этой работой намного успешнее справляются женщины. В Золине, к примеру, есть целая бригада такая — одни женщины, так там за несколько месяцев ни одного несчастного случая не было. Да и наши девушки ни одной мины не пропустят и все точно по инструкции делают.

— Да, — согласился Хьен, — нам, мужчинам, такая кропотливая работа не очень-то по душе.

— Сейчас у нас движение — каждый должен уметь обезвреживать мины, — продолжала Кук. — Ведь многие участки нам потом самим придется разминировать. Мы уже обратились с просьбой к вашему командованию, чтобы каждая часть взяла на себя обучение местных жителей...

— Одобряю. Мы и сами об этом подумывали.

Кук только сегодня узнала от Чатя, что они привели с собой мальчика, сына убийцы Нгиа. Все обстоятельства гибели Нгиа она знала давно, ей рассказали об этом Хьен и Чать, когда она была в Тхыатхьене на похоронах Нгиа.

Хьен рассказал Кук, как ему удалось поймать бывшего майора коммандос.

— А сына его, значит, вы решили с собой забрать?

— Да. Пришлось в роте оставить, в городе отдать некому...

Кук нахмурилась.

— Но я слышала также, — недоуменно продолжала она, — что теперь он у матушки Эм. Я... нет, этого я не понимаю!

Хьен долго не отвечал, задумавшись.

Он хорошо понимал: рано или поздно, но раз он привел сюда Шиня, матушка Эм дознается, кто этот мальчик, в деревне скрыть что-либо трудно. Однако он верил, что у нее достанет и мудрости, и душевной щедрости все рассудить и понять, что перед таким испытанием оказалась не только она, а все, вся страна после тридцати лет войны.

— Ох, и заварил же ты кашу! — укоризненно покачала головой Кук. — Ведь Эм рассказали подробно про то, как погиб Нгиа. Ты разве этого не знаешь?.. — А потом, помолчав, добавила: — Сейчас у нас один только выход. Как можно дольше скрывать, откуда взялся этот мальчишка...

— Мы ей сказали, что он потерялся, отстал от родителей.

— Что ж, другого пока и придумать нельзя!

— Только все это до поры до времени, весь этот обман... — ответил Хьен.

Жар у Шиня держался несколько дней, но благодаря неусыпным заботам и матушки Эм, и Кхой мальчик наконец стал поправляться.

Много хлопот принес с собой в дом этот четырехлетний малыш. Тетушка Кхой с первых же дней, как Шинь начал вставать, возненавидела его. Хотя сказать «возненавидела» было бы слишком сильно, скорее просто невзлюбила. Теперь она целыми днями брюзжала, и больше всего доставалось ее собственным внукам. «О господи, — ворчала она, — кормишь-поишь вас, а ждать хорошего не приходится, все в мамочку свою удались, такие же неблагодарные!» Или принималась за матушку Эм: «И ты тоже хороша, всю себя на подкидышей положила, здоровья своего не жалеешь, одну подобрала — мало было, теперь с этим приспичило нянчиться! Всех не пережалеешь».

Обычно тихая и незлобивая, тетушка Кхой стала колючей и ядовитой, точно ее кто подменил. Правда, началось это еще раньше, с письма дочери — та писала из Биньтуи, провинции на юго-востоке. Первые дни тетушка Кхой просто места себе не находила от радости. Словно бальзам на душу были ей слова дочери об искреннем раскаянии — та сетовала, что до сих пор плохо исполняла свой дочерний и материнский долг, и умоляла ее простить, клялась и божилась, что в самом скором времени непременно приедет проведать любимую мамочку и дорогих малышей. Но с того дня миновало уж больше месяца, и на письма, что одно за другим ей отправляли, не отвечала. Теперь Кхой гнев свой срывала на внуках. И без того невеселые, давно не видавшие родительской ласки, дети сделались и вовсе запуганными. А теперь ко всем бедам прибавилось еще и появление Шиня.

Было утро. Шинь впервые поднялся и сел на деревянном топчане, едва возвышавшемся над землей, — на нем спали обычно То и матушка Эм.

По тишине — не было ни обычного уличного гула, ни автомобильных гудков — мальчик понял, что он далеко от дома, в каком-то совсем незнакомом месте. Первое, что он ощутил в этом неведомом ему мире, был заманчивый запах — пахло фо, похлебкой, и мальчик тут же вспомнил о Тханге. Он посмотрел на заботливо склонившуюся к нему старую женщину, это она вчера накормила его вкусным супом, и решил, что перед ним, должно быть, мама Тханга. Он стал разглядывать ее, и она ему не очень понравилась, некрасивая, морщинистая, бедно одетая. Раньше он таких никогда не видел, только по телевизору, когда показывали какие-то взрывы и точно такие старушки куда-то бежали, таща на себе коромысла с корзинами...

Старая женщина положила шершавую, морщинистую руку на его лоб и спросила:

— Как тебя звать, малыш?

— Шинь...

Морщинистая рука принялась растирать ему ноги.

— Болят ножки?

— Ага, очень.

— Как же ты потерялся?
— Не знаю...
— А дом твой где, где ты жил?
Мальчик задумался.
— Там, далеко... — махнул он рукой.
— Мама твоя что делает?
— Мама бежала, потом упала...
— Ну а папа?
— Папа? Папа сломался! — Мальчик приложил кулак к виску.— У него вот такой рог вырос, весь красный, страшный-престрашный!
— Господи, надо же, уж не бесовское ли он отродье? — тут же встряла в разговор Кхой.
— Ну что ты хочешь от такого маленького! — ответила матушка Эм и повернулась к То: — Тебя когда нашли, ты и словечко вымолвить боялась!
— Я тоже такая маленькая была? Его тоже в воронке от бомб нашли?
— Нет, это тогда, в семьдесят втором, бомбежки сильные были, а сейчас эти вояки только драпать умеют. Нынче у наших и потерь почти нет! — глубокомысленно заметила Кхой.
Слова эти в самое сердце кольнули матушку Эм, сразу подумалось о сыне, погибшем недавно.
Наклонившись к Шиню, она взяла его на руки и прижала к груди.

Множество дел и забот навалилось в эти дни на Хьена. То, что Шинь жил у матушки Эм, держало его в постоянном напряжении. И работы по разминированию солдатам из К-1 были в новинку, и требовали от Хьена всех сил без остатка. Он не мог без боли смотреть на эту землю, ставшую ему второй родиной, — по ней проходила раньше линия обороны, и все здесь по многу раз было перепахано бомбами и снарядами. Люди, которых разбросала война, теперь возвращались в родные места, где все напоминало о недавних боях, к пепелищам. Люди страдали от голода, болезней, увечий и нищеты. Остро ощущалась нехватка и в жилье, и в одежде, и в плуге, и в мотыге.
Вернувшись с Кук в деревню после совещания, Хьен вдруг вспомнил, что собирался написать Тху Лан письмо, но потом снова об этом забыл.
В один из вечеров Хьен зашел к местным ополченцам. Те как раз подводили итоги — их взвод обезвредил уже несколько тысяч мин. Половину взвода составляли женщины, и оттого в доме весь вечер стоял веселый гомон, то и дело раздавался смех.
Стоило Мьет, командирше, заикнуться, что Хьен пришел поднабраться опыта, как поднялся страшный шум:
— Вот так дела! Выходит, нынче не мы у солдат, а они у нас учатся!
— Не робей, Хьен! Набирайся ума-разума! А ну открывай свой блокнот и записывай под диктовку, как с миной обращаться!
Хьен уже знал от Кук, что взвод этот — любимое детище всей волости. Он долго просидел с ними, внимательно слушал, что они говорили. Один только совсем молоденький, с виду городской паренек не проронил ни слова за весь вечер.
— Кто это? — спросил он у Мьет.
— А ты разве не знаешь? Это Линь, брат Кук, он недавно вернулся, — ответила она.
— Линь?!
— Ну да. Мы его раньше не привлекали, ведь он все-таки был

в той армии. Но он очень много знает. Особенно про мины. Ты поговори с ним, увидишь, он здорово во всем разбирается...

Линь сам подошел к Хьену, улыбнулся и протянул руку. И от того, как просто и естественно он это сделал, Хьен сразу почувствовал к нему симпатию.

Линь пригласил Хьена в комнату, которую они с Кук занимали в общежитии ополченцев.

— Вот здесь мы с сестрой и живем, — сказал он и предложил Хьену единственный стул.

— Знаешь, Линь, — начал Хьен, усаживаясь, — нам просто необходимо разобраться со всеми «ловушками» и «ключами» в этих минах... Можешь ты нам в этом помочь?

— Могу, — быстро ответил Линь. — Уже после училища я свел знакомство с одним из младших офицеров из секретного отдела. Мне удалось «купить» у него немного материалов о минах.— Линь улыбнулся.— Мне вообще-то много интересного удалось узнать. Весь тот год в училище я был самым прилежным курсантом. Преподаватели просто нахвалиться не могли.

— Ты ведь раньше был на подпольной работе в городе, в самом Куангчи. Об этом, я думаю, нашему командованию должно быть известно. И тот же Хонг, к примеру, мог бы это подтвердить, как ты думаешь?

— Конечно, — ответил Линь после минутного раздумья. — Но мне хочется показать себя в деле. Я попросился к нашим ополченцам, буду искать мины.

К началу октября — схваченные нашими бойцами или же добровольно сдавшиеся в плен — несколько тысяч офицеров марионеточной армии, те, кто еще в марте осуществляли боевые операции, а затем отступали из северной части Первой тактической зоны, были распределены по лагерям. Лагерь номер пять отвели специально для бывших карателей, дело каждого из них трибунал уже рассмотрел.

Было семь часов вечера. Бывший майор коммандос, тот самый, с которым мы встретились в начале повествования, лежал, по пояс голый, ничком на тростниковых нарах. Оседлав его, на нем сидел лысый человек с крючковатым, похожим на хищный клюв носом и большой пятерней, как хозяйка опару, усердно разминал распухшее плечо майора. Майор чувствовал, как постепенно уходит ноющая боль.

— Будет тебе с плечом возиться, — сказал он лысому, — давай принимайся за спину.

Лысый перевел дух и, растопырив пальцы обеих рук, с силой провел ими сверху вниз, от плеча до поясницы, а затем принялся разминать спину майора. Сегодня целый день пленные перетаскивали бревна, и теперь майор с наслаждением чувствовал, как расслабляется под массажем все его изнуренное, усталое тело.

Со стороны долины налетел ветер, принеся с собой пряные запахи трав и разгоряченной земли, проникавшие в барак сквозь щели в бамбуковой стене.

— Во сколько нам завтра выходить? — раздался из дальнего угла хрипловатый голос.

— В шесть утра, — откликнулось сразу несколько человек.

Лысый — они с майором уже успели поменяться местами, и теперь майор массировал Лысому спину, — приподняв голову, спросил:

— Что им на этот раз от нас нужно?

— Почем мне знать! — ответил майор.

Снова налетел ветер. Затухавшая самодельная коптилка — в банке из-под сгущенки — выбросила высоко вверх, чуть ли не в

лицо майору, язык едкой копоти. Майор отвернулся, чихнул, убрал упавшие на лоб длинные пряди волос и, не прекращая массажа, спросил у сидевшего в глубине нар человека:

— Пожевать чего не найдется? Слышишь, Старый Барс?

Старый Барс, это ему принадлежал хрипловатый голос, уже готовился к походу, укладывая свои пожитки в вещмешок. В углу нар у самой стены была свалена груда всякой всячины: бутылки, заржавевшие консервные банки, сырые клубни маниока — кусок вареного маниока лежал у изголовья, — пила, несколько старых книжек, американские солдатские фляжки. Старый Барс продолжал набивать вещмешок, прихлебывая из фляжки.

— Только поел и уже снова жрать хочешь? — поинтересовался он.

— Да нет, просто чего-нибудь вкусненького захотелось... — ответил майор.

Лежавший под ним Лысый, подняв голову, с сильным южным акцентом произнес:

— Ну и обжора же ты, майор!

Старый Барс бросил кусок вареного маниока, майор поймал его на лету и, продолжая сидеть на спине Лысого, принялся с наслаждением жевать, отщипывая по маленькому кусочку.

Раньше, подумалось ему, у него была вилла в фешенебельном районе Хюэ и красивая жена. Но счастье и несчастье в нашей жизни, философствовал он,— понятия относительные. Несколько месяцев назад, когда трибунал вынес ему окончательный приговор, он едва не свихнулся от радости — ведь ему дарована жизнь. Он уже решил, что смерти не избежать, и вдруг — чудесное возвращение к жизни. Его начинал бить колотун, стоило лишь представить черное, направленное на него дуло. Выходит, он на поверку оказался жалким трусом? Только бы не расстрел, мысленно молил он, пусть всю оставшуюся жизнь ему придется рыть землю или таскать на себе бревна, даже тогда он будет счастливейшим из смертных. Но не прошло и трех дней, как его перевели в лагерь, а он с удивлением заметил, что мысль о тяжелой физической работе его приводит в ужас. Ему невольно вспомнилась прежняя счастливая, обеспеченная жизнь. Сложна душа человеческая, размышлял он.

Он долго таился. Но однажды не выдержал и все рассказал прямо на одном из политзанятий, рассказал о своем прошлом, о человеке, с которым столкнула его судьба, — майор стрелял в него, ранил его, а тот сейчас воспитывает его сына. «Это он заставил меня обо всем задуматься...» — волнуясь, закончил майор.

А потом лагерь решили перевести на новое место. Работы на лесозаготовках временно прекратились. Около сотни пленных, находящихся на принудительных работах, теперь должны были спуститься вниз, в долину.

И вот в один из вечеров переход наконец был завершен. Нестройная колонна людей в серых, в красноватую полосу одеждах остановилась среди развалин, груд битого кирпича и искрошенной черепицы — это все, что осталось от города Куангчи. Наши бойцы уже разминировали этот район, и пленным теперь предстояло разобрать завалы обрушившихся зданий, расчистить улицы и выполоть, выкорчевать буйствующую дикую зелень. Этот кусочек земли, прославленный в боях и ставший символом мужества, за несколько лет успел превратиться в настоящие джунгли, в заросли диких бананов и тростника.

Пленные каждый день отправлялись в город — разбирали завалы, видели воочию, что принесло им союзничество с Америкой. Рано поутру, с восходом солнца, со всех окрестных деревень стекались сюда дети, худые и грязные, одетые в лохмотья. Каждый

нес с собой коромысло с прицепленным к концу мотком проволоки. На костлявых детских плечах болтались солдатские подсумки с обедом — завернутой в листья горсткой вареного риса или клубнями маниока. Их голоса поначалу звенели среди развалин, потом затихали где-то в зарослях тростника или диких бананов. Днем над тем, что когда-то звалось городом Куангчи, воцарялось безмолвие. А часам к пяти-шести вечера дети снова показывались среди развалин, но теперь плечи их сгибались под тяжестью груза, они волокли куски ржавых рельсов, развороченные створки железных дверей, обрывки колючей проволоки, искромсанные и продырявленные листы кровельного железа.

«Почему вьетконги не расстреляли меня? — спрашивал себя бывший майор коммандос.— Ведь я служил в армии, стрелял в них из засады, совершил несколько побегов. Если бы такой пленный в свое время попался нам в руки, с ним тут же расправились бы. Значит, вьетконги не лгут, утверждая, что по отношению к побежденным главное для них — перевоспитание личности».

Майор вспомнил ту ночь, когда уходил из кафе. Толстяк хозяин велел повязать шарф, чтобы напоминало «девятку», — то есть арканом на шее. А если бы в ту ночь удалось бежать? Мысль эта почему-то не доставила майору радости. Тогда он действовал по хорошо рассчитанному плану, но в глубине души ощущал зыбкость, опасность своего замысла. Им владела тогда какая-то слепая решимость. Теперь он понимал, к чему это могло привести, вероятнее всего, он стал бы бандитом, вечно голодным, до предела озлобившимся, которого рано или поздно все равно бы поймали. Так, что ли, он собирался бороться с революцией? Он уже боролся против нее много лет, несколько десятилетий прислуживал американцам, а революция все равно победила! Выходит, хозяин кафе, предавая его, тем самым оказал ему большую услугу.

И того молодого высокого военного, что забрал Шиня, тоже неспроста послала ему судьба. Нокаут в джонке избавил его от затягивавшегося аркана на шее. Пожалуй, судьба позаботилась не только о нем — сколько парней, носивших солдатскую форму, смогли теперь вернуться домой, так как победили те, кого раньше называли вьетконгами.

Работы по расчистке развалин были еще в самом разгаре, когда майора вызвали в трибунал. Как объяснил коменданту прибывший оттуда сотрудник, у майора хотели взять показания относительно его второй жены. Таким образом майор узнал о том, что она жива.

Шиня теперь трудно было отличить от других деревенских ребятишек. И хотя он уже не выглядел таким ухоженным и чистеньким, как раньше, зато стал намного здоровее и самостоятельнее. Он загорел, сделался бойчее и проказливее, словом, превратился в такого же сорванца, как и все остальные мальчишки в деревне.

Был полдень. На поле Подножье Облачков было многолюдно, как в праздник. Все здесь сегодня радовало глаз. Ревели тракторы, ярким суриком блестевшие на поле. Там, где не мог пройти трактор, тянули деревянные плуги пятнистые буйволы. Дрозды, черные в белых пятнах, стаями кружились в воздухе, прыгали по свежим, жирным бороздам.

Шинь лежал, прижав голову к земле, поросшей репейником, подтянув одну ногу к животу, — забрызганные грязью штанины его некогда щегольских бриджей были подвернуты до колен. Он должен был изображать «убитого». «Убитому» полагалось лежать с закрытыми глазами. Разгоряченное, уставшее от беготни тело постепенно расслаблялось. Шинь прижался лицом прямо к колючей

траве, глубоко вдохнул ее запах. До чего же здорово, оказывается, быть убитым! Как хорошо!

Но скоро лежать неподвижно надоело, а тут еще репейник начал колоться, прямо весь живот исколол, будто целое полчище муравьев напало. А потом и есть захотелось.

Шинь потихоньку открыл глаза. В лицо ему ударил яркий солнечный свет. Небо над Шинем казалось далеким-далеким. Мальчик перевел взгляд — берег, за ним вода, как новенькая железка, такая же серая и блестящая. За ней снова земля, большая-большая, половину ее уже вспахали тракторы, другая половина — вся неровная, в воронках от бомб и в сорных травах. А рядом с ним тростники выстроились в ряд и стоят как столбы прямо перед глазами.

Шинь приподнялся и сел.

— А ну ложись! Ты убит! — прикрикнул на него мальчишка в грязной майке и линялых синих штанах, он стоял на пригорке.

— Я давно уже убит, не хочу больше, — заспорил Шинь.

— Лежи!

— А сколько еще убитым быть?

— Пока не придет вездеход или вертолет — подбирать трупы. Тебя первый раз в игру приняли, должен все по правилам делать. Убили — значит, лежи!

Мальчик в майке охранял большой участок, который «наши» только что отбили у «врага». «Главнокомандующий» поручил ему охранять трупы «американцев» и «марионеточных солдат» — один такой «труп» лежал перед ним, это был Шинь, еще четверо лежали на берегу реки — отбитый участок вытянулся до берега реки Биньдинь.

Увидев, как послушно Шинь снова улегся на траву, «часовой» смягчился:

— Я тебя раньше не видел. Это не тебя бойцы привели?

— Меня, я с дядей Хьеном пришел...

— Тогда тебе надо играть за «наших». Зачем же тебя убивать!

— Я не знаю...

— Ошибка вышла. Давай вставай!

Он подозвал Шиня к себе и торжественно вручил ему обломок высохшего ствола маниока.

— Будешь часовым!

Шинь принял свой автомат «а-ка» и уверенно прошелся по освобожденной земле.

А в это время «ударные соединения» выбивали со складов и тракторной станции остатки «вражеской» армии. «Врага» надлежало добить в его логове.

Громкие крики ребят разносились над полем. «Та-та-та-та» — захлебывались автоматные и пулеметные очереди. «Врага» загнали в помещение тракторной станции и во двор, где обычно оставляли тракторы. Хунг, внук тетушки Кхой, «главнокомандующий» армией «наших», весь в зеленых листьях банана — «маскировка»,— вскарабкался на подбитый танк и, поднеся руку ко рту, «проиграл» сигнал атаки, а потом крикнул:

— Вперед! За мной, товарищи!

Ребята с громким «ура» ринулись следом за ним. Даже девочки, оказавшиеся здесь случайно, и те бросились бежать вместе с ними.

За несколько минут «американцы» и «марионетки» были разбиты наголову. Оставшиеся в «живых» были схвачены, их повели на берег реки на расстрел.

Хунг, «главнокомандующий», носился с места на место, расставлял часовых, отправлял дозорных в погоню — надо было вы-

ловить остатки упорно не желавших сдаваться «марионеточных солдат».

Шинь, где его и поставили, стоял часовым на поле и был этим очень недоволен: вместе со всеми веселее. А здесь только дрозды прыгали по земле на высоких желтых лапках и что-то поклевывали. Шинь, подняв свой «а-ка» на плечо, размеренным шагом ходил взад-вперед, как заправский часовой. Стайка дроздов вдруг с криком снялась с места и улетела. Мимо проходили «остатки разбитой армии», их конвоировал сам «главнокомандующий». Увидев Шиня, он удивился:

— Ты чего это? Тебя же убили!

— А я снова живой, — обрадованно сообщил Шинь. — Теперь я часовой!

Хунгу это не понравилось.

— Кого ты стережешь?

— Американцев. Я теперь наш боец.

— А кто тебе разрешил?

— Такой... в майке!

Мальчишки, следовавшие за «главнокомандующим» почетным эскортом, завопили:

— Лазутчик!

— Шпион!

— В наши ряды затесался враг!

Шинь побледнел, умоляюще посмотрел на Хунга. Но Хунг решил показать свою беспристрастность — на войне как на войне и нечего поблажки делать! Шиню велели сдать «оружие» и встать к «пленным». Но мальчишки не унимались:

— Шпион!

— Связать его надо!

— Веди его сразу к реке! Расстрелять!

Матушка Эм проснулась ночью от плача. Она потрогала лоб Шиня, убрала мокрые, слипшиеся волосы.

— Ну-ну, перестань! Чего ты? Тебя днем напугал кто, а?

Из-под тонкого одеяла послышались всхлипывания:

— Меня убили!

— Ну перестань, успокойся, маленький! Скажи, что с тобой?

— Да-а... Он меня расстрелял!

— Кто тебя расстрелял?

— Хунг!

Матушка Эм негромко окрикнула:

— Хунг, ты спишь?

— Да не спит он, притворяется, — тут же ответила ей Кхой.

— Слушай, Хунг, ты эти игры брось! Что за расстрелы такие придумали! Вишь, как напугал Шиня, спать не может. Слышишь или нет, Хунг?

Хунг лежал тихо, как мышка. Он был далеко не робкого десятка, но сейчас не хотелось ни в чем сознаваться и огорчать бабушку. В играх со сверстниками Хунг непременно оказывался заводилой, отчаянным сорванцом, но о младшей сестренке очень заботился и охотно выполнял любую работу по дому.

— Хунг, к тебе обращаются, ты слышишь или нет? — прикрикнула на него Кхой.

Мальчик не ответил, по-прежнему притворяясь спящим. Он по опыту знал, если его бабка сердится, лучше всего молчать.

— Вылитая мамочка! — начала свой ночной монолог тетушка Кхой. — У тебя язык отсох, что ли? Как в рот воды набрал. Весь в мамочку! И в кого только такая уродилась, не пойму. Кроме денег, и знать ничего не желает. Ну-ка, Хунг, подымайся, достань из зеленого кошелька письмо, что твоя мамочка только что при-

слать соизволила. Три письма за все время! Почитай-ка мне еще раз, послушать хочу. Хотя ладно, читали его мне уже, наслушалась. Да лежи ты, тебе говорят, лежи, не вставай. Уж как она в первом письме раскудахталась, писала: и долг-то она свой материнский и дочерний помнит, и к нам-то приедет. А теперь по-другому запела: времени нет, занята! Ишь какая! Она нам, видите ли, дом этот дарит, что твой папаша построил!

Хунг зажмурился еще крепче. Маленькая Лан, лежавшая рядом с бабушкой, тоже боялась пошевелиться.

Матушка Эм, лежавшая без сна рядом с Шинем, раскаивалась в том, что окликнула Хунга. Кхой в последнее время совсем несносная стала, целыми днями шпыняет своих внучат, а они-то в чем виноваты. Бедные дети, им и так без матери плохо, совсем еще малолетки.

Матушка Эм подождала, пока Кхой выговорится, что-то пробормотала ей в утешенье. Кхой очень обрадовалась — наконец-то с ней заговорили.

— Занята! Это она-то занята, видели! Некогда на собственных детей глянуть! Подумаешь, осчастливила — дом этот нам отказывает. Ну как все это стерпеть?

— Может, и правда некогда ей, всякое бывает, а может, случилось что, о чем и сказать тяжело.

— А что случиться-то могло? Не иначе как за американца длинноносого и пустоглазого выскочила, вот и стыдно написать. Или в тюрьму угодила за какие-нибудь проделки! А может, разбогатела так, что от своего добра отойти боится. Или просто надоело ей в деревенской глуши сидеть да в земле ковыряться, вот и решила свить себе гнездышко где получше!

Эм молчала. Конечно, права она, все вытерпеть можно: и голод, и холод, нужду самую крайнюю, а вот с человеческой неблагодарностью свыкнуться трудно. Много нынче таких, что все у американцев переняли. Но ведь Нгиеты, муж и жена, подумала вдруг Эм, вернулись же они сюда оба. Как мир наступил, так сразу и вернулись к старику отцу, к троим малолетним детям.

Малыши заснули, а обе женщины долго еще тяжело вздыхали, ворочались с боку на бок, никак сон не шел. И матушка Эм и Кхой две последние недели и ночью и днем работали в поле, засыпали воронки от бомб. Малыши питались кто где — Хунг готовил для себя и сестренки, а Шиня кормили ротные кашевары. А потом пожилых людей отправили по домам, они уже не работали ночью.

Матушка Эм не спала. Ей вспоминались огромные, жирные, дышащие жаром пласты земли. Сегодня почти все вышли в поле, смотрели, как работают тракторы, как оживает под ними земля. И не оттого собрались люди, что трактора никогда не видели, нет, и раньше у нескольких семей были японские машины, очень удобные для узких заливных полей. Но тогда у каждого трактора был хозяин, и остальным от него пользы не было. Над своей-то делянкой матушка Эм привыкла мотыгой пахать. В Чьеуфу по большей части одна беднота жила.

Вся жизнь так прошла, думала матушка Эм, неужели и детям трудно придется? Нет, жизнь ее дочери будет другой. Разве для того все жители их деревни, вся волость, да и вообще вся страна столько лет воевали, чтобы люди все так же надрывались от зари до зари и все равно оставались нищими?

Вот и Линь, ее будущий зять, говорил, что жизнь другой будет. И она верила ему. Оу скоро уедет. Ей так хотелось вернуться с дочерью туда, где раньше стоял их дом. Не оставаться же здесь у чужих людей? Того и гляди, и дочка Кхой вместе с мужем объявится, что тогда?

Шинь вдруг застонал, заметался, вскочил было на ноги, но матушка Эм удержала его.

— Шинь, куда ты? — Она испуганно обхватила его, прижала к себе.

— Что случилось? — Кхой тоже проснулась.

— Нет, ничего.

— Значит, до конца своих дней теперь с ним решили возиться?

— Не по нраву пришелся он вам, что ли?

Матушка Эм уложила мальчика, натянула на него одеяло. В саду под деревцами маниока раздавалось какое-то постукивание, словно колотушка в ночи стучала. Матушка Эм как была, босиком, зашла за топчан, зачерпнула из стоявшей там корчаги пригоршню маниоковой муки. Потом прошла через веранду, забитую хворостом, и спустилась в сад. Куры, которых разводили кашевары, стучали клювами по пустой консервной банке, подвешенной у курятника. Матушка Эм бросила им корм и, зачерпнув немного воды из бочки, налила в консервную банку.

Вернувшись, она с удивлением обнаружила в своей комнате Кхой — та стояла с зажженной керосиновой лампой в руках и, наклонившись над спящим Шинем, пристально разглядывала его. Свет лампы отбрасывал на стену огромную горбатую тень.

В деревне очень трудно что-либо скрыть, и — как и предполагали в свое время Хьен и Кук — очень скоро многие уже знали, кто этот мальчик, появившийся здесь вместе с ротой. Дозналась про все, конечно, и Кхой. Одна неосторожная фраза, вскользь оброненное слово, и матушка Эм могла бы обо всем догадаться.

Кхой пришла в ужас оттого, что мальчишка, которого она поначалу невзлюбила просто так, сама не зная за что, — сын того самого офицера коммандос, из-за которого погиб Нгиа. А потом стала бояться, как бы случайно, в сердцах не проговориться об этом. Когда она видела, как нянчится с ним матушка Эм, ей хотелось вырвать этого дьяволенка из ее рук и прогнать с глаз долой.

Матушка Эм чутьем понимала — с мальчиком этим что-то не так, ребята из К-1 что-то скрывают. Не раз уж приходила ей на ум страшная догадка, но она гнала ее от себя. В конце концов матушка Эм решилась расспросить обо всем Чатя, добиться от него ответа.

В тот вечер Чать провожал жену и ребенка — они приезжали навестить его. Матушка Эм подкараулила его на шоссе.

— Чать! — строго сказала она. — Ты должен сказать мне всю правду. Шинь — он чей, чей ребенок?

— Он потерял своих родителей, вот все, что я знаю... — как можно спокойнее ответил Чать.

— Послушай, нам незачем играть друг с другом в прятки.

И Чать вынужден был рассказать все, как было.

Смятение, горечь охватили матушку Эм; первое, что пришло в голову: ну вот, пригрела змею у себя на груди! Боль жгла сердце. Матушка Эм не могла не думать об убийце своего сына, он все время являлся ей в разных обличьях. А теперь она видела его в этом мальчишке.

Смеркалось. Откуда-то с поля долетали неясные звуки. Солнце садилось на вершины гор. Матушка Эм, тяжело переставляя натруженные ноги, брела по полю. Пленные офицеры только что закончили засыпать воронки от бомб. Кручи черной свеженасыпанной земли отчетливо выделялись на зеленом травянистом поле, будто вражеские солдаты залегли в засаде.

Неприятно, муторно было у нее на душе. Сжимая в руках ворох трав, ступила она на тропинку, обсаженную по обеим сто-

ронам кустами тетау, и тропинка эта, ведущая к дому, тоже сейчас казалась мрачной и темной, не такой, как всегда. Хунг вместе с младшей сестренкой играли у самого дома. Завидев матушку Эм, маленькая Лан тут же спросила:

— А моя бабушка где?

Хунг удивленно уставился на матушку Эм — она им ничего не ответила, она даже не посмотрела на них, словно чужая какая стала.

Из сада выбежал Шинь.

— Бабушка! — крикнул он.

Матушка Эм отпрянула назад, только бы он к ней не притронулся, не коснулся ее.

— Какая я тебе бабушка! — зло крикнула она.

Шинь испуганно замер на месте, и когда Эм схватила его за вихор и резким движением откинула ему назад голову, чтоб глянуть в упор в лицо, он заорал благим матом.

Только тогда она отпустила его.

Его плач словно привел ее в чувство. Матушка Эм стояла молча, руки бессильно повисли. Тяжкий вздох вырвался у нее из груди. Долго еще стояла она так, не двигаясь, потом наклонилась к ребенку и после секундной заминки — вот он, этот малыш, ее любовь и ее ненависть — прижала к груди. «Замолчи, успокойся же», — приговаривала, утешала она. Потом, как всегда, когда возвращалась с поля домой, взяла его на руки, отнесла к колодцу за домом, умыла чумазую рожицу, тщательно вымыла руки и ноги.

Детские слезы высыхают быстро. Через час они уже сели ужинать, и Шинь, как всегда, весело болтал за едой.

Но с того самого дня — и тут матушка Эм, как ни старалась, ничего с собой не могла поделать, — будто черта какая пролегла между ней и этим ребенком. Это был он и не он, перед ней мелькали два лица — лицо убийцы ее сына и лицо ребенка, совсем малыша, которому так нужны любовь, забота, ласка.

Через несколько дней тетушка Кхой через кашеваров, обосновавшихся в ее доме, попросила передать командирам К-1, что мальчика лучше было бы забрать в другое место. Кашевары тоже считали, что так будет лучше. Они решили поселить Шиня у бойцов одного из взводов.

Матушка Эм сначала со всем согласилась, но потом не отпустила мальчика. Все это время бойцы К-1, разминировавшие поля, жили в одном из старых, заброшенных блокпостов, прямо там же, в поле, и она побоялась за мальчика — он окажется почти без присмотра, начнет везде бегать, а там мины.

И Шинь остался в этом доме. Матушка Эм испугалась за его жизнь и сама себя обрекла на муку. Иногда, проснувшись среди ночи и увидев его сына, который лежал, прижавшись к ней, она вспоминала Нгиа, и ей страшно хотелось оттолкнуть мальчишку, но уже в следующую секунду она брала себя в руки. А потом ее охватывала тоска...

Вот так, ненавидя и любя, прогоняя и, наоборот, протягивая к нему руки, она вновь приняла этого ребенка. А мальчик и не догадывался, какие муки претерпевает из-за него эта добрая старая женщина, не понимал, что в сердце ее просыпается новое к нему чувство, новая любовь пустила там свои корни.

В то утро Хьен повез матушку Эм в Срединную деревню, туда, где жила она раньше. Хьен хотел скорее поставить там дом для нее и для Кук. Бамбуковый каркас дома, который они получили при распределении, он уже перевез туда и поставил пока в углу сада.

Нгиа погиб, и Хьену казалось, что теперь он должен заменить сына Эм. Да и сама матушка Эм вот уже много лет относилась к нему как к родному. Последнее время, правда, Хьен часто упрекал себя в черствости по отношению к ней: ведь это он привел сюда Шиня, и он не мог не видеть, как страдала теперь матушка Эм.

Хьену хотелось, чтоб матушка Эм поскорее прошла через это тяжелое испытание, через которое нынче предстояло пройти всем: встреча лицом к лицу с бывшим врагом после войны, болезненное, однако неизбежное после тридцати лет войны испытание.

— Может, и впрямь лучше, чтоб Шинь жил отдельно, — как-то сказал Хьен матушке Эм, — может, отдадите его?

— Куда это? — встрепенулась она.

— Мы устроим его во взводе Кьета. Ребята там хорошие, да и Шиня уже успели полюбить...

Матушка Эм долго сидела молча, потом с трудом выдавила:

— Не отдам... Я привязалась к нему. В доме нужен ребенок, с ним как-то радостней...

— Я все же беспокоюсь за вас, — сказал Хьен, восхищаясь щедростью ее сердца, — глядя на мальчика, вы невольно думаете о Нгиа...

— Грехи отцов не падают на детей! Шинь — дитя малое, какой с него спрос?

Они еще немного помолчали, потом она сказала:

— Я слышала, скоро все бойцы, те, что с Севера, к себе уедут? Это правда, Хьен?

— Нет, мама, только те, кого семейное положение к этому вынудит. В основном мы все тут останемся. Сами посудите, сколько еще дел: даже от мин пока лишь небольшую часть Куангчи очистили.

— Так хотелось бы, чтоб вы насовсем здесь остались!

Похоронные команды — приказ был спущен во все региональные войска — действовали повсеместно, они начали свою работу в горных районах и постепенно спускались вниз в долину.

Поиски останков погибших бойцов, их перевозка были достаточно тягостным делом. Нужно было самым тщательным образом прочесать джунгли — все места схваток с врагом, все пути-дороги, по которым прошла война. Сейчас, когда наступил мир, этого настоятельно требовала память, глубочайшая благодарность к сынам отечества, отдавшим жизнь за его свободу.

Похоронная команда насчитывала до ста человек. И командиры, и бойцы, отобранные в похоронную команду, сами были непосредственными участниками гремевших здесь некогда боев, хорошо знали местность, они же и хоронили тогда своих однополчан.

Группа, в которой был Малыш Тханг, терпеливо и скрупулезно ведя свой поиск, сверяясь с картами и со своей памятью, нашла уже немало захоронений: одно — рядом с домом, в котором когда-то размещался военно-полевой госпиталь, другое — возле оборонных укреплений врага, третье — неподалеку от старых баз снабжения.

Уже год, как кончилась война, и старые джунгли казались сейчас еще непроходимее, чем прежде, над ними словно нависла ничем не нарушаемая тишина. Война, что несколько десятилетий подряд бушевала, громыхала здесь, теперь ушла, спустилась с гор в долины и города. А тут навсегда остались лишь те, кто отдал стране свои жизни. Каким же плотным слоем лесные листья покрыли лицо земли, чтоб сегодня снова дать зазеленеть деревьям, чтоб задышала свежестью, жизнью родная страна...

Три с половиной дня по кручам, по горным тропам, которые когда-то ими же были и протоптаны, а сейчас все заросли травами, сносили бойцы свой скорбный груз вниз к дороге, где ждали машины; потом наглухо закрыли брезентом кузова. Машины двинулись вперед и вскоре уже запрыгали, заплясали по новой, выложенной большими камнями и еще неутрамбованной дороге.

Тханг вместе с остальными бойцами — их было около двадцати человек — ехал на третьей машине. У ручья, который они должны были переезжать вброд, машины остановились. Тханг увидел, как от первой машины, где был командир, к ним спешит автоматчик. Пришлось потесниться и дать место новым попутчикам: автоматчику и еще какому-то высокому мужчине. Тут же снова двинулись в путь, началась болтанка и тряска — ехали вброд через широкий ручей. Автоматчик, пристроившись на груде лопат, сваленной у борта машины, предложил сесть и мужчине.

— Извините, — тихонько сказал тот, послушно последовав приказу, и осторожно, чтоб никого не толкнуть, стал пробираться к месту.

Тханг обернулся на это «извините», пристально взглянул на высокого мужчину и сразу узнал его — бывший майор коммандос. Он сильно сдал за последние месяцы — похудел, постарел, серая, в красноватую полосу одежда висела на нем мешком, в глазах — затаенная боль.

Машины набирали скорость. Тханг сидел на рулонах материи, уложенных вперемежку с лопатами. Бойцы дремали, свесив головы на грудь. Майор сидел, крепко ухватясь рукой за борт, и, отвернувшись от всех, смотрел на шоссе. В третий раз судьба сталкивает его с «этим», думал Тханг, и так же, как в первый раз, он видит майора лишь со спины. Тогда вместе с бойцами санитарного дозора он бежал за майором и его женой по коридору второго этажа.

А майор — с тем же, наверное, накалом злости — думал о своей жене. Он ничего не знал о ней, но по вопросам в трибунале многое понял. Мысль о том, что скорее всего она стала наложницей какого-нибудь братства лесных бандитов, терзала его нещадно...

Часам к трем пополудни машины въехали в городок Донгха. Городок этот, год назад чудом поднявшийся из развалин, поражал суетой, многолюдьем, здесь было много приезжих — солдаты, возвращавшиеся с юга, командированные, ехавшие с севера. Как грибы после дождя выросли харчевни и палатки, торгующие съестным. Двумя плотными рядами выстроились они вдоль дороги, хозяева их в большинстве были южане. На рынке — груды всевозможных товаров, торговля велась бойко, оптом и в розницу. Суета, давка, лихорадочное оживление.

...Машины остановились в начале улицы, у поворота к рынку. Тханг видел, что бывший майор его не узнал, и не стал ему ничего говорить. Автоматчик и майор поблагодарили за то, что их подвезли, и направились к перекрестку.

Было уже совсем поздно, почти ночь, когда майор предстал перед комендантом лагеря. Ему показали его место в одной из построек под железной крышей, выделили рабочий инструмент. Лагерь пока обосновался здесь — засыпали воронки от бомб на том самом поле, что жители Чьеуфу привыкли ласково называть Подножие Облачков, и многим из заключенных, бывших офицеров, было над чем призадуматься, глядя на энтузиазм, охвативший здешних сельчан.

Прошла неделя. Все это время бывший майор в поте лица, равно как и все остальные, трудился на поле. И вот как-то раз май-

ор долго обивал заступом большой ком земли, а когда распрямился, у него все поплыло перед глазами: в группе солдат, идущих со стороны деревни, он увидел знакомую высокую фигуру. Это был тот самый вьетконг, который нокаутировал майора на джонке, кого майор ранил, и самое главное — тот, у кого остался Шинь. Радость охватила майора: наконец-то он теперь найдет своего сына, но ноги вдруг стали как ватные, он хотел броситься к вьетконгу, окликнуть его — и не мог сдвинуться с места. Но ничего, главное он знает — этот военный здесь. Днем раньше, днем позже — они все равно встретятся.

Несколько дней подряд он выслеживал Хьена, как когда-то Хьен выслеживал его самого.

И вот однажды на пороге комнаты Хьена показались двое: комендант лагеря и стоявший за ним заключенный, бывший майор коммандос. Об этой встрече комендант условился с Хьеном заранее.

— Шинь здесь, — Хьен пристально посмотрел на майора, который, скрестив на груди руки, сидел чуть поодаль от стола. — Придет время, и мальчик будет возвращен родителям. Сейчас его приютила одна добрая женщина. Но о ней я расскажу потом, прежде хочу выслушать вас.

— Что же могу я сказать?

— Скажите то, о чем вам, может, труднее всего говорить.

— Что ж, хорошо... Я мечтаю только об одном — иметь возможность тихо и мирно трудиться, воспитывать сына. В марте, когда вы отбили приморскую зону, мы с женой бросились на второй этаж... Меня сжигала ярость, желание отомстить... — Тут он запнулся, потом продолжил: — Но последние несколько месяцев я жил с тайной надеждой встретиться с вами и повиниться... Конечно, всего не расскажешь...

Хьен подкрутил фитиль фонаря — стало намного светлее, потом передвинул свой стул, сел рядом с комендантом лагеря.

Майор не отрывал глаз от языка пламени.

— В тот день я чуть не сошел с ума. Едва прекратилась стрельба, солдаты и офицеры побежали к вам — сдаваться. Это довело меня до белого каления. Меня душила ненависть не только к вам. И ко всему роду человеческому, и в первую очередь к тем трусам, что бежали на середину двора, чтоб сдаться в плен. Тогда я и понял, что все кончено, потеряно безвозвратно! Если бы в тот момент я мог сбросить атомную бомбу, я бы, не задумываясь, это сделал. Я нажимал на гашетку, весь клокоча от ненависти, толпа во дворе, казалось мне, заслуживает лишь одного — смерти.

— Когда я задержал вас в Хюэ, вы, насколько я помню, упомянули о каком-то офицере десантных войск? — спросил Хьен, и в голосе его звучала с трудом скрываемая неприязнь.

— Он человек неплохой, поверьте, хотя и достал мне лекарство, чтоб помочь покончить счеты с этой жизнью. Боялся, что мое дальнейшее пребывание в этой юдоли может повлечь за собой новые кровопролития.

— А известно ли вам, сколько жизней унесла в тот вечер ваша «атомная бомба»? — жестко спросил Хьен, взяв в руки фонарь, потом снова поставил его на стол. — Здесь, в этом селе, жил наш товарищ и боевой командир. Его вы тоже убили. Он был мне самым близким другом...

Майор переменился в лице. Его била дрожь.

— Мать этого человека сейчас здесь. За две войны она потеряла шестерых сыновей, младшего унесла пуля, выпущенная вами уже после того, как бой был закончен.

Майор не смел поднять глаза даже на огонек фитиля.

— Что же мне теперь делать?

— Теперь-то вы уже ничего сделать не сможете, — тихо сказал Хьен. — Одно хочу вам сказать: мать нашего погибшего командира приютила вашего сына. Вам, наверное, это трудно понять? Та самая женщина, у которой убили шестерых сыновей, растит вашего Шиня, хотя от руки его отца погиб ее последний оставшийся в живых сын. Не верите? Поражены? У нас не было выхода, нам пришлось обмануть эту женщину. Шинь в тот день продрог, у него начался жар, и она испугалась, что солдаты не смогут выходить ребенка, и настояла, чтобы мальчика отдали ей. Потом он так у нее и остался. Сейчас она знает, чей он сын. Знает! Ей известно, что его отец — убийца ее сына! И все же она оставила его у себя и продолжает заботиться о нем.

Майор спрятал лицо в ладони, пальцы его с силой сжимали скулы, ввалившиеся щеки.

Хьен тихо продолжал:

— Комендант лагеря сказал мне, что вы местный, из Куангчи. А знаете ли вы здешних людей, эту землю, на которой вы родились?.. Вас давно бы не было в живых, если бы тогда, на той лестнице, Шинь не уберег вас от автоматной очереди. Не знаю, в состоянии ли вы все это понять. Нужно время. И нам нужно время — засыпать ров, надвое разделивший вьетнамцев, тот самый ров, что выкопали американцы. Да, мы, коммунисты, те, к кому вы питали смертельную ненависть, заняты сейчас тем, что залечиваем раны войны, нанесенные и земле нашей, и сердцам людским.

Помолчав немного, Хьен спросил:

— Так как же быть с Шинем, вашим сыном?

Майор отнял от лица руки.

— Мальчик мой... — судорожно простонал он.

— Мы не хотим обрекать вас на те же страдания, на какие обрекали нас вы, — вмешался комендант лагеря. — Когда истечет срок вашего заключения, сына вам отдадут, но сейчас, я думаю, вы можете просить разрешения побыть с мальчиком несколько дней.

Хьен добавил:

— Пока вы будете в лагере, Шинь останется на попечении женщины, о которой я говорил. Да «железка» и не место для ребенка.

В ту ночь майор спать не мог. Он даже не ложился. Лысый и Старый Барс, сколько ни приставали к нему с расспросами, ничего от него не добились. «Вот она, — думал он о «железке», — мертвая кожа, пустая личина, оставленная на этой земле бравыми янки». А потом перед глазами его предстала другая картина, заставившая его содрогнуться: корабль с беженцами, паника, давка, морские пехотинцы, скинувшие его в воду, как щепку. И вот теперь эту щепку прибило сюда, к мертвой коже, сброшенной американцами.

Так и просидел он всю ночь не сомкнув глаз, чтобы потом выйти в поле, к земле и к солнцу, пойти в село — к своему сыну, к своим землякам.

Шинь уже привык и к новому дому — они вместе с матушкой Эм и Кук вернулись в родную деревню, — и к полю, изрытому воронками от бомб, и к буйным зарослям, и к новым приятелям.

Поначалу Шинь целыми днями вместе с ватагой ребятишек носился по той стороне пруда, где стоял подбитый танк, с веселыми воплями устремлялись они к танку и в мгновение ока облепляли его — от гусениц до башни.

— Победа! Враг разбит!

Но это было в первые дни. Потом в их деревне устроили детский сад, отвели туда детей, и дети занялись новой игрой — стали строить дом. Сначала, как и взрослые, обезвредили мину, потом засыпали «воронку от бомбы», сожгли мусор, поставили «фундамент», вырубили дикую зелень. Игрушечный дом удался на славу — из веток бамбука, стволов маниока, сухих листьев банана.

В то утро Шинь в детский сад не пошел, остался дома. Матушка Эм сказала ему, что сегодня он увидит отца.

Радость переполняла Шиня. Он ждал, он ничего не забыл, он помнил отца. А матушка Эм, прибираясь в доме, подметая в саду, думала только об одном: еще немного — и она увидит «его», того, кто убил ее Нгиа. Схватить бы нож да вонзить по самую рукоятку или разрядить автомат! Но Хьен не раз говорил с ней о нем, сказал, что этот человек раскаялся, многое понял. Он хочет начать жить сначала, хочет воспитывать своего ребенка. Нельзя снять все повинные головы, расстрелять всех убийц и злодеев.

Яркое полуденное солнце выглянуло из-за серых туч и осветило все поле.

Хьен возвращался от своих бойцов, он встретил матушку Эм у околицы, у зеленых бамбуковых зарослей, окружавших деревню. Шиня она вела за руку. Все, кто работал неподалеку на поле, распрямили спины, стали смотреть ей вслед. Трактористы, чужие здесь люди, и те высунули головы из кабин.

На краю поля, на оставшейся пока нераспаханной полоске земли, у только что засыпанной воронки комендант собрал пленных.

Матушка Эм и мальчик медленно шли им навстречу. Хьен следовал за ними. Облака на миг закрыли собой солнце, поле потемнело, но тут же солнце вновь засияло.

Подошли. Матушка Эм глянула на пленных, стоявших по другую сторону воронки. Люди в серых, в красноватую полосу одеждах молча стояли, зажав в руках кепи и наклонив головы. Среди этой притихшей толпы матушка Эм вдруг увидела «его» — он кинулся к ним, упал на колени перед старой женщиной и уронил голову на грудь.

— Ступай к отцу, — едва слышно сказала матушка Эм Шиню. Слова эти стоили ей немалого труда. Но маленький Шинь, испуганно цепляясь за нее, не двинулся с места, и тогда она шагнула к майору, подняла его с колен и вложила в его огромную лапищу теплую руку ребенка.

— Держите!

Где-то далеко тяжело ухнул взрыв — подорвали извлеченные из земли мины.

■

ЗИМОНИНА ИНЕССА ПЕТРОВНА. Советский переводчик с вьетнамского. В ее переводе публиковались рассказы Нам Као, Ву Ханя, Ву Ту Нама, Ма Ван Кханга, повесть Доан Зиоя «В джунглях юга», роман Нгуен Минь Тяу «След солдата».

ГАССАН КАНАФАНИ

Умм Саад

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского И. ЕРМАКОВА

Матери Саада и ее народу —
школе моей жизни посвящается.

Г. К.

Вступление

Умм Саад [1] действительно существует, я хорошо знаю эту женщину: часто вижусь с ней, разговариваю — и учусь у нее. Меня с ней связывают родственные узы: она моя двоюродная сестра. Я не хочу сказать однозначно, будто родству по крови я и обязан в первую очередь тем, что имею такого учителя. Нет, мое кровное родство с нею менее знаменательно, чем те прочные узы, объединяющие ее и меня с нашим героическим классом, бедным, угнетенным, разбросанным по убогим и приводящим в отчаяние лагерям беженцев, в которых, рядом с которыми и для которых — уж не знаю сколько лет — жил я.

«Мы учимся у народных масс и учим их...». Тем не менее я еще не вполне уверен, что мы окончили эту школу народа — вечного и истинного наставника, что чистотой своих взглядов сделал Революцию неотделимой от нашего насущного хлеба, воды, труда наших рук и биения сердец.

Умм Саад научила меня многому. Я даже готов сказать, что каждое слово, появившееся в написанных ниже строках, уловлено мною с ее уст, несмотря ни на что продолжающих оставаться палестинскими, из ее твердых рук, несмотря ни на что продолжавших жаждать оружия в течение двадцати лет.

Вместе с тем Умм Саад — это не просто женщина из народа. Правда, не будь она единой с ним по плоти и крови своей, по разуму и труду, не живи она в самой гуще масс, не бейся она на стремнине их ежедневных чаяний и забот, она просто не была бы тем, кто она есть. Именно поэтому голос ее для меня навсегда останется голосом того палестинского класса, который дороже всех заплатил за поражение. Класса, который сегодня стоит за низеньким бруствером на передовой линии огня, борется и будет бороться упорнее, чем все остальные.

1. Умм Саад и оконченная война

Это было унылое утро. Раскаленное солнце встало за окном беспощадным огненным диском — оно пылало в устрашающе пустом куполе неба. Мы все свернулись под ним в комок — словно съежившиеся знамена. И вдруг я увидел ее в самом конце обсаженной оливковыми деревьями дороги. На этом

[1] Умм Саад *(арабск.)* — мать Саада, Абу Саад — отец Саада, почтительное обращение к родителям по имени старшего сына *(здесь и далее прим. перев.)*.

ГАССАН КАНАФАНИ (1936—1972). Арабский палестинский писатель — прозаик, драматург, журналист и общественный деятель. Лауреат международной литературной премии «Лотос». Активно участвовал в Палестинском движении сопротивления, был главным редактором журнала «Аль-Хадаф». Погиб в Бейруте, в результате израильской диверсии. Автор повестей «Люди под солнцем» (1963), «Что вам осталось» (1968), «Возвращение в Хайфу» (1968) и др., сборников рассказов «Этот мир не для нас», «Земля печального апельсина», «О мужчинах и винтовках», работ по литературоведению, пьес.

Повесть «Умм Саад» переведена по тексту первого тома собрания сочинений Гассана Канафани в 4-х томах, изданного в Бейруте.

фоне пустоты, тишины и отчаяния она возникла как росток, брызнувший в небо из щедрого лона земли. Я поднялся, встал у окна напротив дороги и принялся следить за приближением этой женщины, высокой и стройной, надвигавшейся как копье в руках невидимого рока.

Подошла жена, встала рядом и посмотрела на дорогу:

— А! Вот и Умм Саад пришла...

Пришла как бой часов. Эта женщина всегда так приходит — вырастая из сердца земли, словно поднимаясь по лестнице без конца и начала. Мы молча считали ее шаги, когда жена вдруг произнесла:

— Интересно... что-то Умм Саад чувствует сегодня?

«Не знаю»,— подумал я про себя. Я как раз и ждал ее, чтобы что-то узнать. Особенно теперь — когда за нашими спинами громоздились без счета разбитые доспехи на покинутых воинами песках пустыни и вереницы беженцев прокладывали новые пути в неизвестность. Грохот войны я слушал по радио и по радио же услышал вдруг молчание сражающихся. Вдовьими причитаниями облокотилось оно о стол за моей спиной, и его треснутый голос унылым безразличием растекся по всему, что было в комнате: по книгам, по креслу, по жене и детям, по расставленной посуде с едой и нетронутым мечтам о будущем. Растекся и сделал чернила бесцветными.

— Умм Саад пропала именно в тот день, когда начались бои,— сказала жена.— И вот теперь возвращается, словно по стопам поражения. Люди сражались за нее, а когда проиграли, она потеряла больше всех. Что же она теперь скажет? Зачем она идет сюда — плюнуть нам в лицо? Каким показался ей лагерь, когда уходила она оттуда поутру?

Вопросы повисли в воздухе, словно никчемная пыль. Я видел эти пылинки — с блестящими головками, остроносые и зубастые, режущие, как лезвия. Они ныряли и не хотели тонуть в потоке солнечных лучей, хлынувшем из окна в середину комнаты. А Умм Саад держала свой путь к нам — со своей неизменной кошелкой в руках, но ничуть не сутулясь, с гордо поднятой головой, словно некое знамя, несомое на невидимых глазу плечах.

Умм Саад вошла, сразу наполнив всю комнату густым запахом деревни, и показалась мне точно такой же, как десять дней назад. Всего десять дней! Боже, сколько перемен, сколько рухнуло стен на свете за эти десять дней![1] Она положила свою бедняцкую кошелку в угол, вытащила оттуда какой-то полузасохший черенок, бросила его мне.

— Вот сорвала с виноградной лозы по дороге. Посажу его у твоей двери, через годик-другой виноградом полакомишься.

Я повертел черенок в руках — бесполезную, жестковатую веточку темно-бурого цвета.

— До него ли теперь, Умм Саад?

Она принялась поправлять на голове и на плечах свой белый платок — как всегда, когда думала о чем-то совершенно другом.

— Ничего-то ты о лозе не знаешь. Растение это щедрое, много воды ему не нужно. Только портится от воды. Как, думаешь, она кормится? А я скажу тебе: лоза сама влагу из земли выбирает, из влажного воздуха доберет капельку. А потом отдает без конца.

— Сухая-то ветка!..

— Это с виду только. Она лоза.

— Ну, не это важно...

— Что, кончено дело? Вся жизнь кончена?! Так, что ли?!— прервала она меня внезапно.

— Так.

— Это ты так сказал!

---

[1] Имеется в виду «шестидневная» израильско-арабская война 1967 года.

Она повернулась и вышла на балкон. Я медленно двинулся за ней, спросил:

— Как там лагерь сегодня?

Женщина резко обернулась ко мне, и все слова, готовые сорваться с ее губ, я прочел на ее морщинистом лбу землистого цвета. Она поднесла к моему лицу раскрытые ладони рук.

— Война началась по радио, по радио и закончилась! А когда я встала, чтоб разбить его, Абу Саад у меня это радио из рук вырвал. Ох, братец! Ох!

Она прислонилась к балконной опоре, обвела взглядом поля и оливковые посадки, уступами покрывавшие склоны холма, потом простерла руки над всем этим пейзажем и заговорила:

— Оливе тоже вода не нужна. Смотри! Она корни глубоко в землю пускает, из почвы влагу берет.— Потом повернулась ко мне: — Саад мой ушел, но они его схватили. Два дня назад думала, что он воюет. А утром узнала, в тюрьме сидит. Какой позор!

«Если бы умер...» — начал было я про себя, но опомнился.

— Как ты узнала, что его арестовали?

— В понедельник радио слушали, он пожитки сложил, ребят своих собрал — и пустились из лагеря, как ифриты. Говорю тебе: я за ним следила. Выбрала дорогу покороче, настигла его у входа в лагерь, показала, как кричать буду — на радость или на поминки...[1] А он расхохотался, чертенок, и с глаз долой. И вот надо же! Не дошел. Посадили.

— А сейчас?

— Староста повидаться ходил. Заглянул ко мне поутру, не волнуйся, говорит, Умм Саад, приведу его тебе. Недоумок тоже! Думает, это мне надо. Думает, глупый, я Саада вернуть хочу. А знаешь, придет староста ночью и что скажет? Скажет: сын у тебя бесстыдник, я его из тюрьмы вызволил, а он сбежал от меня в горы и через границу маханул.

— Куда маханул?! Какая еще граница?

Она сделала неопределенный жест рукой. А затем рука ее как-то непроизвольно описала круг, указывая на все, что находилось в комнате. Мой взгляд завороженно следовал за этой смуглой жилистой рукой: вот письменный стол с книгами, кресло, дети, моя жена, посуда, я сам...

Сперва я глазам своим не поверил: движение этой руки — словно символ какой, говорящий о чем-то настолько глубоком и сложном, чего не в силах был осмыслить и выразить ее незатейливый ум.

— Какую он границу перешел?— переспросил я.

И тут же заметил эту ее улыбку в уголках рта. Я ни разу еще не видел на ее лице такой улыбки — теперь я уже не могу представить себе без нее эту женщину. С того самого мгновенья, как она обрисовалась у нее на устах, словно острие нацеленного копья...

Умм Саад опустила руку.

— А ты будто не знаешь! Будто не знаешь! Ишь ты, какую границу перешел?! Ты вот спрашиваешь, они спрашивают... Ты чего свой завтрак не съел?

Я опешил. Обернулся туда, где завтрак уже два часа тщетно ожидал своей очереди, как беженец перед наглухо запертыми вратами — створки их словно захлопнулись навечно ударной волной от взрыва, отбив всякий аппетит. Поражение. Одна горечь во рту... У меня скрипнули челюсти.

А Умм Саад продолжала стучать в ворота:

— Ты чего свой завтрак не съел? Я еще тоже не завтракала.

[1] Древний обычай в арабских странах: протяжными гортанными криками женщины отмечают как рождение мальчика, его женитьбу, так и самоотверженную гибель героя на войне.

Жду, пока вкус появится — не к еде, к жизни ко всей. Поверишь? Тут только Саад помочь в силах.

Она помолчала немного. Потом зашептала, словно разговаривая сама с собой:

— Знаешь, если вернется Саад домой сегодня ночью, если вернется, я есть не смогу... Понимаешь, надо ему перейти границу. Понимаешь?

Рука ее сделала тот же неопределенный жест — указала на стол, кресло, детей, жену, посуду, на меня... И так на мне застыла — то ли мост протянув, то ли шлагбаум поставив.

— А ты? Ты что будешь делать, братец двоюродный? Двадцать лет прошло, вспомнила я тебя вчера, как услышала ночью, что война закончилась. И сказала себе: надо его навестить. Был бы со мной Саад, он бы сказал: пришел его черед нас навестить. А ты, придешь ли?

Не дожидаясь моего ответа, она вернулась с балкона в комнату, взяла со стола виноградный черенок и принялась его разглядывать, словно впервые увидела.

И медленно направилась к противоположной двери, сказав на ходу:

— Посажу-ка я его, увидишь, как растет виноград. Я тебе говорила: воды ему много не нужно, он сам под землей все до капельки подбирает, питается.

В дверном проеме ее удаляющаяся по коридору фигура показалась мне необычайно гордой и возвышенной. Такой я, впрочем, видел ее всегда. Не знаю почему, но вдруг я начал думать о старосте, что отправился вызволять ее сына из-под ареста.

— Тебе староста говорил, как он собирается высвободить Саада из тюрьмы?

Она повернулась ко мне в конце коридора и на фоне открытой двери показалась вдруг великаном, являющимся в солнечных лучах...

Лица ее я не разглядел, но зато услышал слова:

— Так ты все еще о старосте думаешь?

■

— Ну, не говорила я тебе?

Это было первое, что сказала мне Умм Саад на следующее утро. Пришла она, как обычно, рано, я заспался, но она и не думала ждать, подняла меня с постели.

— Не говорила я тебе вчера: о старосте не думай? Знаешь, как дело было? Пошел старый, хотел с каждого из них расписку получить, чтоб написали они на бумаге, мол, будут людьми. А они все отказались, прогнали его.

— Кто они?

— Да Саад с ребятами. Староста сказал: надсмеялись они над ним. Саад спросил его: что значит «быть людьми»? А староста говорит: их там в камере полным-полно было — и все хохотать принялись! И кто-то, его староста не знает, спросил его: «Людьми быть — это значит тихо-смирно сидеть?» А другой сказал: «Это значит пальцы грызть и спасибо говорить». Тогда Саад поднялся и говорит ему: «Быть людьми, дорогой,— это значит бороться. Вот что это значит».

Она вся светилась неизбывной радостью, присела на стул и продолжала:

— Вот бесстыдники-то, а! Староста мне всю эту историю рассказывает, а меня смех разбирает. Потом говорю ему: слава богу, они тебя не побили, радуйся, что цел вернулся. А он надулся!

— Выходит, отказались они подписку дать?

— Ясное дело, отказались. Говорят старосте: «Пошел ты...» Ну, он обиделся, конечно, особенно когда спросил у них, не хотят ли чего в лагерь передать, а Саад ему ответил: «Кланяйся родным, сынок». Обиделся он, конечно, он ведь их старше, в отцы Сааду годится.

«Саад, говорит, не уважает меня вовсе, сынком назвал, словно я — дитя малое...»

— А ты что старосте сказала?

— Сказала: Саад, мол, сердцем чист, а когда сынком его назвал, то оскорбить и не думал, просто имел в виду, что пришел его черед действовать...

— Ох, Умм Саад! Вот уж подсурьмила — ослепила!

— Я его подсурьмить и не думала! Я не в бровь, а в глаз!

— Да... А что теперь твой Саад делать будет? Не лучше б было ему из тюрьмы выйти?

Она резко поднялась и взглянула на меня сверху вниз, с этой ее дьявольской улыбочкой в уголках рта.

— Ну ладно! Ты не в тюрьме вроде, а что ты делаешь?

На полу в беспорядке валялись газеты, а приемник, который я забыл выключить поздно ночью, как назло, в эту минуту передавал последние известия. Умм Саад бросала взгляды то на меня, то на него, и беспощадный блеск ее глаз вдруг показался мне новой порцией розог, которая вот-вот обрушится с небес и которую просто бессильны отвратить мои руки...

— Ты что же, думаешь, что мы не в тюрьме живем? Что мы в этом лагере еще делаем, как не по тюрьме этой бродим?! Тюрьмы разные бывают, братец! Разные! Лагерь — тюрьма, твой дом — тюрьма, газета — тюрьма, радио — тюрьма, автобус, улица, глаза людские... Годы наши — тюрьма, двадцать лет минувших — тюрьма, староста наш — тоже тюрьма! Тебе ли о тюрьмах говорить? Всю жизнь в тюрьме сидишь... Или воображаешь, братец двоюродный, будто прутья тюремные, за которые весь век держишься, цветочки, что ли? Тюрьма, тюрьма, тюрьма! Ты сам тюрьма. С чего это вы взяли, что Саад заключенный? Заключенный, раз бумаги не подписал, будто он «человек». Человек?! Да кто из вас человек? Вы вон все эти бумажки так или иначе подписали и все в тюрьме сидите!

Я встал. Ее всю колотило от возмущения. Наверняка это было впервые: я никогда раньше не видел ее в таком гневе.

— Успокойся! Ну что ты, Умм Саад, я ничего не имел в виду...

Она успокоилась так же внезапно. Заговорила:

— Все сейчас говорят: «Я ничего не имел в виду»... Так почему же такое происходит? Почему? Почему вы не освободите дорогу для тех, которые что-то имеют в виду? Почему ты ничего не имеешь в виду? — Затем придвинулась ко мне и прошептала: — Слушай! Я ведь сердцем чую, что Саад из тюрьмы выйдет... Изо всякой тюрьмы, понимаешь?

2. Палатка палатке — рознь

Умм Саад — это женщина, которая прожила в Габсии с моими родными невесть сколько лет, а затем, скитаясь по лагерям беженцев, прожила там еще столько, сколько вряд ли кто может вынести,— все еще приходит к нашему дому поутру каждый вторник. Смотрит на все вокруг пронизывающим взглядом, как бы прощупывая каждую вещь изнутри. На меня смотрит как на своего сына; я слушаю ее рассказы о невзгодах и радостях, о тяжком ее труде. Но она никогда не жалуется.

Этой женщине, должно быть, уже лет сорок — так, во всяком случае, кажется мне. Но она крепка, как скала, терпелива и чрезвычайно выносliва. Вечно на ногах, каждый день недели совершает далекие переходы, трудится и устает за десятерых чтобы заработать честный кусок хлеба себе и еще по кусочку — своим детям.

Я давно ее знаю. И уже не мыслю своей жизни без нее — так она мне необходима. Придет, постучит в дверь, сложит в прихожей свои нехитрые пожитки — и сразу наполнит меня всего запахом лагерей

беженцев, их страданий и завидной стойкости, запахом их бед и надежд. Горький комок подкатит к горлу — до тошноты больно глотать его день за днем, год за годом!

В минувший вторник пришла как обычно, сложила пожитки, повернулась ко мне:

— Ну, братец, хочу сказать тебе кое-что. Ушел Саад.

— Куда?

— К ним.

— К кому?

— К федаинам.

Неловкое молчание воцарилось в комнате. Я увидел ее вдруг всю разом, сидящую напротив: состарившуюся, сильную женщину, всю жизнь занимавшуюся непосильным трудом. Ее руки были сложены на груди, сухие, как палки, потрескавшиеся, будто старый пень. И в бороздах, что оставили на них годы,— все та же работа, не счесть сколько. Мучительную летопись скитаний со старшим сыном Саадом прочтешь по этим рукам: был ребенком, стал мужчиной. Жесткие, мозолистые ладони оберегали его, не выпускали раньше времени, как земля свой ранний стебелек, а затем раскрылись внезапно — и вылетел на волю воробей, окрепший в заботе и ласке за долгую зиму неведомых ему тревог.

— Ушел-таки к федаинам...

Я все не мог оторвать взгляд от ее ладоней — раскрывшихся невольно и бессильно опрокинувшихся створок, кричащих каждой клеточкой своей оттого, что вот пустили перелетную птицу навстречу неизвестности, опасностям и тревогам... За что же, за что, господи, выпадает матерям эта доля терять детей? Впервые в жизни происходит на моих глазах такое, что одно только слово тисками сжимает сердце. Ушел! Будто в античном театре переживаешь сцену безысходной скорби...

Стараясь, насколько можно, не ранить ни ее, ни себя тоже, я произнес:

— Ну... и что он тебе сказал?

— Ничего не сказал. Просто ушел — и все. Это товарищ его передал мне утром: Саад ушел к ним.

— А сам он не предупреждал тебя раньше, что уйдет?

— Как же! Говорил раза два или три: мол, собирается.

— И ты ему тогда не поверила?

— Да нет, поверила. Я-то знаю Саада и поняла: он уйдет.

— Отчего ж ты так... разволновалась?

— Я? Да я и не волновалась вовсе. Просто сообщила тебе об этом. Думала, ты захочешь услышать новости о Сааде.

— И ты не огорчилась, не сердишься на него?

Руки ее, скрещенные на груди, шевельнулись: это были красивые, сильные, всегда готовые к работе руки! Я действительно засомневался: и правда, совсем не похоже, чтобы женщины с такими руками могли плакать...

— Нет, нисколько! — Умм Саад отрицательно покачала головой.— Я уже говорила соседке сегодня утром: эх, будь у меня десятеро таких, как он! Устала я, братец, жизнь свою извела в этом лагере. Что ни вечер, говорю: о господи! Что ни утро, опять: о господи! И так двадцать лет. Уж если Саад не пойдет, кто пойдет?

Она встала. Ощущением простоты и уюта наполнилась комната, вокруг будто потеплело. Мне еще раз припомнились наши ладные деревенские домики в Габсии. Я пошел следом за ней на кухню. Умм Саад, взглянув на меня, рассмеялась и сказала:

— Нынче автобусом ехала и говорю женщине, что рядом сидела: сын у меня сражаться ушел... (Тут интонация ее заметно изменилась — потому-то я и запомнил эти слова.) Люблю его, говорю, скучать буду,

но главное — в мать пошел сын!.. Думаешь, дадут они ему там автомат?

— Они всем своим людям дают автоматы.

— А еду?

— Питаются там нормально, даже сигареты получают.

— Саад, он у меня не курит, но уж там небось научится. Сынок ты мой ненаглядный! Да был бы он рядом — каждый бы день еду ему носила, сама готовила.

— Ничего, будет питаться как все ребята.

— Да сохрани их аллах!..— Она помолчала немного, потом посмотрела мне прямо в глаза: — Как ты думаешь, обрадуется он, если я навещу его? Достану денег на дорогу и съезжу на пару дней.

Потом, вспомнив что-то, добавила:

— А знаешь, дети — обуза. Не будь у меня еще двоих, ушла бы с ним. Жили бы там вместе. Палатки, скажешь? Палатка палатке — рознь. Жила бы с ними, готовила на всех, стирала. Да вот обуза!..

— Поверь, тебе незачем навещать его,— сказал я.— Пусть поступает как хочет. Мужчине, ушедшему в отряд федаинов, материнская опека уже ни к чему.

Умм Саад разомкнула плотно сжатые ладони, вытерла их о передник. В уголках ее глаз я заметил нечто вроде разочарования: вот оно, то волнующее мгновенье, когда чувствует мать впервые, что и без нее теперь обойтись могут, ее дело — сторона, она свое отработала...

Умм Саад наклонилась ко мне:

— Значит, ты так считаешь? Думаешь, не надо мне к командиру ихнему идти, похлопотать за него? — Она замялась, очевидно чувствуя неловкость, затем спросила:— А может, ты поговоришь с его командиром. Скажешь: присмотри там за Саадом, аллах тебе твоих детей сохранит.

— Да как же это? — удивился я.— За федаина никто хлопотать не должен.

— Почему?

— Ты что же, хочешь сказать, пусть командир, мол, так дело устроит, чтоб его опасности не подвергать? А сам-то Саад и товарищи его, они ведь только и ждут, как бы их поскорее воевать отправили.

Умм Саад опять присела. Голову держала прямо и казалась еще более сильной и гордой, чем прежде. В блеске глаз, в напряженности ее сильных жилистых рук я заметил было тоску и боль, но она быстро справилась с собой.

— Я тебе что говорю?! Чтобы ты сказал командиру не сердить Саада. Скажи ему: Умм Саад матерью твоей тебя заклинает выполнять все, что Сааду нужно. Он паренек добрый, да только если у него что не так, грустить начинает, прямо болеет. Скажи: пусть, ради бога, он ему все разрешает. Хочет парень, чтоб его воевать отправили? Зачем же его держать-то?!

3. В дождь и грязь

Утро в этот вторник выдалось дождливым. С одежды и распущенного на плечах платка стекали на пол капли. Мокрые волосы рассыпались по лицу, смуглая кожа похожа была на намокшую землю. Она сняла пальто и поставила в угол свой мрачный зонтик — как откладывают в сторону усталый меч.

— Это тебе не дождик, братец. С неба льет как из ведра,— сказала она и улыбнулась.

Я заметил полоску красноватой грязи, опоясывающую подол ее одежды.

— Что такое, Умм Саад? Ты упала?

Она быстро обернулась ко мне:

— Упала?! Умм Саад не падает. С чего это ты взял?

— А вот — грязь на юбке.

Она нагнулась, потерла было ткань своими жесткими пальцами, потом бросила — грязь еще совсем не просохла.

— Ночью лагерь затопило... Забери аллах такую жизнь!

Гора затряслась перед моими глазами. Переполнился влагой бездонный колодец — крупные слезы задрожали у нее между ресниц. Люди... Много плачущих людей видел я, видел неудержимые слезы без счета, слезы страданий, бед и отчаяния, печали, трагедий и боли, ярости и надежды. Безмолвный протест и гнев, расправляющий крылья, горечь, изнеможение, тоску, голод, любовь видел я в человеческих слезах, но никогда не поражали они меня так, как слезы Умм Саад: словно первые бусинки извечно желанного родника показались на дрогнувшей земле, словно клинок брызнул из замкнутых ножен и застыл мгновенно на полпути в блеске глубоких зрачков ее твердого взгляда. За всю свою жизнь не видел я, чтобы кто-то плакал так же, как Умм Саад. Плач рвался из каждой клеточки ее кожи. Сухие ладони рыдали навзрыд. Слезы спадали с волос. Плакали губы, горло, складки изношенной одежды, высокий лоб, родинка, трепетавшая на подбородке, как знамя,— все плакало, но только не глаза!

— Ну что ты, Умм Саад? Ты плачешь?

— Я не плачу, братец. Хотела бы, да не могу. Мы уж много плакали, много, много... Ты знаешь, столько воды наплакали — больше, чем в лагере разлилось этой ночью. А утром Саад ушел. У него теперь винтовка эта, «мартини», дождь на него льет и свинец. Нынче никто не плачет. Только я, братец, стара уж стала. Устаю. Всю ночь вот возилась в грязи, в воде... и так двадцать лет...

Комок подступил к горлу, подавил слова. Она протянула ко мне ладони, удушье прошло, я словно услышал, как этот горький комок провалился в ее грудь, и так переполненную обломками мук и отчаяния...

— Я что говорю тебе, братец? Этой ночью почувствовала: конец мне скоро... Что толку? Дожить хочу, ее увидеть. Не хочу умирать здесь, в грязи, в кухонных отбросах. Родину увидеть хочу! Понимаешь ты это, братец? Ты вот знаешь, как книги писать, а я и в школу отродясь не ходила. А чувствуем-то мы одинаково. Господи! Что я говорю? Вчера ночью думала об этом долго и слова-то подходящие нашла, а утром забыла... Ну ладно. Ты пиши свое, я писать не умею, но я сына своего туда послала. Сказала этим то, что ты говоришь на бумаге. Так?

Я чувствовал, как клинок выскочил из нехитрого слова, вонзился в грудь быстрее пули. На мгновение показалось мне, будто не буровато-грязная полоска опоясала край ее платья — терновый венец загорелся на голове!..

— Послушай, Умм Саад... Садись сюда. Ты устала. Может, это тоска по Сааду, боль за него, оттого голова и разболелась. Да погода еще уныние наводит, знаешь ведь, дождь зарядил на целый день, и снова всю ночь грязь разгребать... Садись сюда. Не надо так расстраиваться.

Она села, вздохнула глубоко — так обычно вздыхает человек, чтобы развеять глотком свежего воздуха черные тучи в груди.

— Нет, не то это все, братец... Знаешь, что Саад делал, когда лагерь заливало? Стоял да на мужчин смотрел, что грязь разгребали. А потом говорит им: «Так вот однажды ночью и похороните себя в этой грязи». Отец ему тогда сказал: «Зачем говоришь такое? Что же нам, по-твоему, делать? Или думаешь, сток на небе какой есть, так нам заткнуть его, что ли?» Все рассмеялись, а я на лицо Саада взглянула и испугалась: он так задумался, нас не слышал, словно и впрямь ему мысль пришла — отправится на небо однажды и дыру эту забьет.

— И отправился?

— И отправился.

Она взглянула мне в глаза. Перемена была невообразимой. Весь поток слез, переполнявший ее, вдруг схлынул, исчез — она вся сияла, светилась изнутри.

— Знаешь что, братец? Я не беспокоюсь за него. Нет. Неверно это: беспокоюсь. Беспокоюсь и не беспокоюсь. Может, у тебя и есть слова — ты в школе обучался,— чтобы состояние мое такое назвать. Вчера только товарищ его приходил, привет мне передал.

— Он к тебе заходил?

— Лица я не видела. Ночь была черная, а мы в грязи да в воде копошились, он подошел и встал рядом. Огромный такой, сущий великан, и говорит: «Саад тебе кланяется. У него все в порядке. Завтра он тебе машину подарит». И ушел.

— Подарит машину?!

— Ну да. Не знаешь? Значит, машину взорвет.

— Ну и... сделал?

— А то нет! Саад ничего не обещает зря. Уж я-то его знаю.

За окном посветлело. Солнце пробилось, наконец, из грязных туч — словно плугом борозду вскрыло. Тепло волною хлынуло в комнату. Случайно ли солнечный луч упал на ее лицо, когда она так сидела? Не знаю. Она вдруг широко улыбнулась и показалась мне молодой и сильной, как прежде.

До вечера ждал я каких-нибудь сообщений по радио об израильской машине, взорванной партизанами. И наконец-то услыхал эту радостную весть в тексте последних известий. В заключение было сказано: «Федаины вернулись на базы без потерь». Сам не знаю, зачем я потащился из города в лагерь в такую даль. В этом грязном болоте увидел я Умм Саад, стоящую как маяк посреди бескрайнего черного моря ночи. Она заметила меня издали, замахала руками, и голос ее показался мне оглушительней грома небесного. Эхо отдавалось со всех сторон, точно грохот водопада:

— Ну что?! Говорила тебе: Саад мне машину подарит!

Лил проливной дождь, но весь гул его в это мгновенье казался лишь недовольным бурчанием воды, отступавшей перед ведомой судьбою напористой лодкой.

4. Как за каменной стеной

Все лицо ее смеялось — я такого еще не видел. Умм Саад бросила кошелку в угол и сказала:

— Саад пришел.

И закружилась по комнате — так, словно доносившийся снаружи уличный шум предвещал начало праздника. Потом села, сложила руки на груди как обычно — переплела их в своей неподражаемой манере, будто горячо обнимала кого-то. Передо мной блеснули глаза Саада, высунувшегося из-за коротенькой пушки-гранатомета: вот он уже выпрямился и идет, покрытый пылью и грязью после очередного похода.

— Год как пропадал? — спросил я ее.

— Да нет. Девять месяцев и две недели. Вчера пришел.

— Останется?

— Нет. Руку ему зашили, пуля попала...

Она засучила рукав, показала, как пуля прошила мышцы от запястья до локтя. И по этой ее смуглой жилистой руке цвета утоптанной земли я вдруг увидел, как это могут матери рожать бойцов. На мгновенье мне показалось, будто вижу на ней след давней раны, затянувшейся, но очень заметной — он протянулся от запястья Умм Саад почти до локтя.

— И ты... тебя тоже?

— Я? А... это старая рана, еще с Палестины. Шакал курицу утащил, а я его под колючей проволокой схватила, шею свернула вору. Ну, проволока меня и задела...

— А Саад-то как?

— Говорит, вернется, когда рана затянется.

Она — я отметил это про себя — сказала «вернется», а не «уйдет», но задумываться долго не стал: Умм Саад давно меня научила — выбирает простые слова, словно всаживает в землю лемех плуга. Не попусту — а в цель, да еще с дальним прицелом.

— Бог его не забыл! Руку носит как награду. Сказал мне: я теперь командир группы. Они его то и дело спрашивают: чего, мол, Саад, на рожон лезешь, впереди всех? А я говорю ему: по отцу и сын!

— Соскучился по тебе сильно?

— Кто? Саад? Стыд и срам! Обнял меня мимоходом и — прочь. Говорю ему: ты что, Саад? Не обнимешь мать, не поцелуешь после такой разлуки? И знаешь, что он сказал? Я же, говорит, виделся там с тобой. И засмеялся.

— Как это он там с тобой виделся?

— Говорит, мол, был в Палестине. Далеко забрался, неделю или больше со своими товарищами в пути был. Совсем, говорит, близко к городу подобрались, да спрятаться в посадках пришлось. Не поняла я, почему так, а он все говорит-говорит, глаз от него отвести не могла... Глаза-то у него мои. Век бы на него смотреть, на всех ребят наших!.. Рассказывает он, а я все думаю: раз уж попал туда, зачем же ему да и всем им в посадках прятаться? А он говорит...

■

...Они голодали. Небо прохудилось, сталь автоматов влажная, стала отдавать хлебом. Как Саад сказал.

Группу блокировали, но федаины продолжали спокойно сидеть в своей засаде. Думали, распадется блокада через несколько часов. А окружение не сняли и на второй день, и на третий. Голод совсем их измучил. Надо было выбирать: или продолжать укрываться в засаде, отдать себя на произвол судьбы и на муки голоду, который все усиливается и неизвестно когда пройдет, или поручить одному из группы добраться до ближайшей деревни добыть продовольствие, попытаться хотя бы.

Выбор трудный. Саад предложил подождать, пока стемнеет, а там какое-нибудь решение само собой придет.

Солнце перевалило за полдень. Они лежали недвижно и молча, как вдруг Саад произнес: «А вот и мама моя пришла!»

Все сразу уставились на начало узкой тропы, змеившейся по склону холма: женщина в черной деревенской одежде спускалась вниз, в их сторону. На голове она несла какой-то узел, в руке — связку зелени.

Пожилая на вид, ровесница Умм Саад, такая же высокая, статная. В тишине, словно безмолвие смерти, окутывавшей всю округу, шуршание камешков под ее босыми ногами напоминало шепот.

— Мама? — удивленно воскликнул один из четверых.— Твоя мать в лагере, братец. Ослеп с голодухи!

— Вы матери моей не знаете,— прошептал Саад.— Она вечно за мной ходит. Это моя мать.

Женщина поравнялась с партизанским убежищем, слышался уже легкий шелест ее длинного платья, расшитого красными нитями. Саад глядел на нее сквозь заросли терновника, где они устроили засаду, и вдруг тихо позвал:

— Мам, а мам!

Женщина остановилась на миг, посмотрела вокруг: на пустую дорогу, безмолвные поля. Они молча следили за ней, кто-то из ребят схватил Саада за руку и сжал ее: поберегись, мол.

Секунда прошла, вторая — женщина замешкалась было, потом двинулась дальше.

Не прошла она и трех шагов, как Саад вновь позвал ее:

— Мам! Ну, ответь же!

Женщина остановилась в замешательстве, еще раз огляделась, ничего не увидела. Сняла с головы узел, опустила его на землю, положила сверху коренья и, уперев кисти рук в бедра, стала внимательно вглядываться в колючие заросли.

— Я здесь, мам! — сказал Саад.

Пожилая женщина обернулась на звук, задержала взгляд на мгновенье, но опять ничего не увидела. Наконец, наклонилась к земле, подняла ветку, сорвала с нее листья и шагнула вперед, в кусты. Остановилась.

— Чего не выходишь? — позвала.— Покажись!

Товарищи глянули на Саада, тот помедлил немного, потом повесил автомат на плечо и, поднявшись в полный рост, спокойно вышел на дорогу.

— Я Саад, мама. Голоден я очень!

Ветка выпала из рук старой крестьянки при виде молодого парня, возникшего вдруг из терновых зарослей, в одежде защитного цвета, с автоматом на плече. Товарищи взяли оружие на изготовку, когда Саад начал спускаться к женщине.

— Пусть враг с голоду дохнет, сынок,— сказала она.— Иди, иди сюда.

Саад сделал еще несколько шагов: шел спокойно, автомат на изготовку не взял. Ему оставался лишь шаг до нее, когда женщина раскинула руки, обняла его и прижала к груди:

— Родной ты мой!.. Сыночек! Спаси тебя аллах!

— Мам, а мам! — произнес Саад.— Поесть бы нам.

Женщина наклонилась, стала развязывать узел. Когда выпрямилась, он увидел навернувшиеся ей на глаза слезы.

— Ну что ты, мам? Не плачь, прошу тебя, ради пророка!

— С тобой еще ребята? — спросила она.— Я накормлю, накормлю и их. К вечеру еще здесь появлюсь, на дороге еду оставлю... Аллах вас сохранит, сыночки мои!

Саад вернулся к ребятам с продуктами. Ни тени удивления не заметили товарищи на его лице. Все поели. Потом один из них сказал:

— Надо убираться отсюда. Она вернется с солдатами.

Саад не ответил. Спустя немного сказал:

— Она мать мне, вы сами видели. Как же она с солдатами вернется?

Вечером женщина пришла вновь, положила продукты у дороги. Туда же принесла еду и на следующий день, на рассвете. Каждый раз Саад благодарил ее из зарослей шепотом:

— Спасибо тебе от всех, мам!

И в ответ слышался голос женщины:

— Храни тебя аллах, сыночек!

■

— Эта старая женщина кормила их пять дней,— сказала Умм Саад.— Сын говорил мне, она ни разу не опоздала, а когда блокада была снята, пришла, положила продукты и крикнула им: «Ушли солдаты, ушли!.. Аллах не забыл вас».

Умм Саад села на стул, нагнулась, стиснула руки на груди — будто держала кого в объятиях так, что не разорвать.

— Саад говорит, это меня он видел там. А ведь не корми она его — умер бы с голоду... А не окликни я его в другой раз, в перестрелке,— убила бы пуля, что в руку вошла!

Она встала. В комнате пахнуло запахом поля, деревни, лесов,

где скрывался Саад, надежно укрытый той чудесной стеной родины, как броней...

— Когда рана затянется, он к ним вернется. Сказал: не скучай уж очень по мне, я тебя там завсегда вижу... Что, думаешь, сказала я ему? Бог с тобой, говорю, мой мальчик, сохрани он тебя!

Она повернулась к двери, сделала шаг, другой... Не знаю, как сорвалось у меня вдруг с языка еле слышное:

— Мам! А мам!

Но я опомнился. Замолчал.

5. Кто бежал и кто остался

Умм Саад раскрыла передо мной свои мозолистые ладони, иссеченные мелкими трещинками — следами повседневного изнурительного труда, и я увидел: теперь они вдобавок испещрены красными точками и маленькими свежими ранками.

— Что случилось, Умм Саад? — удивился я.— Ты что, с терновым кустом воевала?

Она все держала перед моими глазами обе ладони — точь-в-точь корка на иссохшей от жажды земле.

— Нет, братец... Я позавчера всю ночь колючие железки с земли собирала.

— Позавчера... железки?..

■

...Умм Саад кормила ужином младшего сына, когда услышала отзвук первого взрыва. Лагерь беженцев аль-Бурж расположен неподалеку от аэропорта, и первое, что пришло ей в голову, было: Новый год военные загодя праздновать начали. Потом внутреннее чутье подсказало ей: нет, тут вовсе не праздником пахнет. Прошедший день плыл перед глазами раскаленным маревом бесплодной пустыни; с самого утра стирала белье и половики, мыла окна, подметала асфальт, выбивала ковры. Не у себя, конечно,— в чужих домах. Ее жилище в лагере — половина комнаты, отделенная куском гофрированного железа. Устала как обычно и принялась кормить сынишку. Надо было еще уложить его спать да и самой лечь, как вдруг услышала она эхо первого взрыва.

После второго не колебалась ни минуты, оставила малыша и вышла наружу. По холмам красноватого песка поспешила напрямик к шоссе: там уже можно было различить языки пламени в клубах густого, растворявшегося в темноте дыма.

Умм Саад застыла в растерянности: она слышала грохот, смутно улавливала отдаленный свист, но никак не могла сообразить, что же ей делать?..

■

— Ты одна там была?

— Одна? Что ты говоришь-то, братец? Нас там как муравьев набралось. Все женщины из лагеря, дети, молодежь туда сбежались, будто заранее сговорились. Собрались и не знают, что делать. А вдали уже занимались пожары. Потом мы рев самолета услышали совсем близко, подняли головы...

■

...Окрашенный в черный цвет самолет шел на бреющем полете, поливая улицу свинцом. Умм Саад услышала звон металла, дождем сыпавшегося на асфальт. Еще мгновенье — и она бросилась к земле, схватила маленький кусочек железа с четырьмя зубастыми головками в шипах.

— Эти железяки машинам шины прокалывают,— сказала она женщинам. Потом повертела железку с шипами в руках и крикнула:— Соседки, собирай их с дороги, бросай в песок!

Женщины, а за ними и дети бросились на дорогу в полной темноте, принялись хватать голыми руками металлические колючки, бросать их в песок за обочину. Быстро, как призраки, рассеялись по всему шоссе, очищая его от коварных изделий рук человеческих. Каждый раз, когда близился рев снижавшегося самолета, бросались в песок, потом вновь возвращались на дорогу.

■

— Самолет этот летал совсем-совсем низко, чуть за головы не задевал,— сказала Умм Саад.— Один раз так близко прошел, я уж камнем в него запустить хотела, да промчался больно быстро... Новую порцию этих чертовых железок разбросал. Но мы их быстренько подобрали — все до единой.

— Очистили шоссе, что ли?

— В мгновение ока. Как ифриты работали. Только вот машины — хозяева в начале налета их прямо посреди дороги бросили — не на месте стояли. Ну, мы их постарались какую направо, какую налево на обочины сдвинуть, только они ни в какую. Испугались мы: увидят еще хозяева, скажут, своровать их хотели...

— Ну что ты, Умм Саад! Ерунда!

— Да уж! Много ты знаешь! А ну как покажет на меня такой хозяин, а я в одежде своей рваной, да волосы растрепаны, лицо потное, все в песке?.. И заявит: видел, мол, сам, как она угоняла мою машину.

— Ошибаешься, Умм Саад. Ты великое дело сделала.

— Знаю. Только могу ли я, братец, доверять человеку, что машину свою посреди дороги бросил? Проезд загородил и — сбежал. Это в такую минуту! Нет, не верю я ему!

■

Пламя погасло. Только дым заволакивал горизонт. Умм Саад застыла на песке, разглядывая израненные ладони. Детишки начали расходиться по домам.

Вдруг пришла ей в голову мысль о Сааде. Она ощущала его всем существом своим, как в тот день, когда он родился,— странное, неизвестно откуда возникшее, волнующее чувство захватило ее всю до дрожи, наполнило удивительной уверенностью в себе, в своем будущем.

Где-то там, сказала она себе, стоит сейчас Саад под пологом дыма, стройный и стойкий, как дерево, как скала, и держит весь этот дым на прицеле.

■

Умм Саад вновь разжала ладони у меня перед глазами. Ранки тянулись по жесткой коже словно красные пересохшие реки, источающие единственный, неповторимый запах — запах мужественного, упорного труда, жизненной стойкости, нераздельной с плотью и кровью человека.

— Ну ничего,— сказал я.— Эти ранки не опасны.

— Эти? Конечно. Понятное дело, сотрутся Жизнь сотрет. Пыль их заполнит, звон посуды, что я мою, боль заглушит, грязь с мостовой, пепел из пепельниц, вода эта мутная, в которой я моюсь... Конечно, братец, конечно... Устану, не до них будет, в слезах захлебнутся, а одышка и слезы высушит. За день я их горячим потом подлечу, пока детям лепешку замешивать буду. Да, братец, все так. Дни мои,

плоские, неприметные, корочку толстую на них нарастят, и уж никому их тогда не разглядеть... Но я-то знаю, братец, я-то знаю, что жечь они меня под этой корочкой не перестанут. Я знаю!

6. Письмо, дошедшее через 32 года

Однажды, довольно много времени спустя, Умм Саад принялась вспоминать вслух о человеке по имени Фадль, убитом не то в 1948 году, не то намного позднее, точно она не помнила. Но не в этом суть — дело с самого начала касалось совсем другого мужчины.

Она появилась в тот день озабоченная, бродила по дому, не зная, за что взяться, и казалась мне совсем отрешенной, не слышала даже, что я ей говорю. Потом вышла на балкон, занялась каким-то никчемным делом, ни ей, ни мне не нужным.

— Что-то гнетет Умм Саад, не иначе,— сказала жена.

Привыкнув к тому, что Умм Саад все заботы свои держит на замке, который не раскрыть никому, как бы ни бились внутри неведомый страх, беспокойство и усталость, я продолжал бы заниматься своим делом, если бы она не спросила вдруг, знавал ли я когда-нибудь феллаха из Габсии по имени Фадль или, может, хоть слышал о нем.

Когда я ответил, что ничего о нем не знаю, она поджала губы в замешательстве, затем спросила, не знал ли я тогда некоего Абделя Мавлю из деревни, что к востоку от Габсии.

— Это который с израильтянами сотрудничает, стал у них депутатом кнессета?

— Он самый.

— А с чего это ты о нем вспомнила?

Она казалась растерянной и подавленной, даже какой-то несчастной, но разговор продолжать не желала. Меня разобрало любопытство, я стал подталкивать ее к тому, чтобы узнать, откуда вдруг этот странный интерес к людям, никак с ней не связанным, двадцать лет не приходившим ей на ум. Наконец, она призналась мне шепотом, что Абдель Мавля убил Фадля. Последнюю фразу Умм Саад выпалила скороговоркой, продолжая кружить по комнате, будто озябший воробей в поисках убежища.

— Что-то с Саадом случилось?

— Не приведи господь! Вчера только весточку мне прислал, а я, братец, верно, встревожилась...

— Да что случилось, Умм Саад?

Она вытащила из-за пазухи свернутую в трубочку бумажку, протянула мне:

— Хасан мне прочел, с той минуты и волнуюсь.

Я знал почерк Саада—это было его послание, написанное толстым свинцовым карандашом. Он сообщал о своем товарище по имени Лейс, попавшем в плен. Родные его, как узнал Саад, собираются связаться с Абделем Мавлей и, напомнив о связующих их давних родственных узах, как принято, просить его замолвить слово за сына в плену. Я не смог прочесть целиком это странное письмо, почерк местами был очень неразборчивый, текст стерся, слова обрывались на краях рваного листка.

— Что тебя беспокоит, Умм Саад?

— Саад говорит, чтобы я пошла к матери Лейса и сказала ей «нет».

— И ты ходила?

— Прошла утром мимо дома их в лагере, да у двери замешкалась, не решилась. Трудное это дело. Трудное, братец. Что ни скажешь в таком случае, а выходит, будто говоришь людям: тьфу на вас!

— Но при чем тут Саад во всей этой истории?

— Он Лейса, почитай, с пеленок знает. Я думаю, сам Лейс просил Саада об этом. Чего мне от тебя-то таить? Сказал Лейс Сааду: если случится что с ним, а родные его попытаются брату своему двоюродному Абделю Мавле написать, Саад тогда должен их пристрелить!..

Она рухнула на стул как подкошенная, потом подхватила упавшие руки, скрестила их на груди в своем неповторимом объятии. Кончик послания Саада белел, зажатый у нее меж пальцев,— словно голос рвался издалека, и уловить-то его, не то что ответить, было невозможно.

И я вдруг почувствовал: теперь она перенесла эту свою заботу на меня, взвалила ее на мои плечи.

— Я знаю Саада. Он это сделает,— прошептала Умм Саад.

— А ты точно знаешь, что семья Лейса списалась с Абделем Мавлей?

— Нет, не уверена я, но мне молчать нельзя. Ох и трудно же это!.. Что ты думаешь, а? Да знай я это наверняка, ни минуты б не колебалась. Но как же мне сейчас пойти к матери, сказать ей: «Доброе утро, Умм Лейс, Фаттах, Алим... Саад велел передать вам...» Нет. Нелегко человеку на такое отважиться. Со вчерашнего вечера словно мешок с песком таскаю. Правду тебе говорю, как услышала имя Абделя Мавли, что Хасан зачитал, так колотун и затряс, словно ифриты навалились... Человек этот, спаси аллах, меня всегда в дрожь приводил, еще со дней Палестины.

— До того, как умер Фадль? — спросил я, все еще понуждаемый обыкновенным любопытством.

— Я сразу Фадля припомнила. Их порознь-то и не вспомнишь, Фадля и Абделя Мавлю. Об обоих в письме Саада речь шла.

— Ты сказала, что Абдель Мавля убил Фадля?

— Не совсем так. То есть ружья он не держал и не стрелял вовсе...

— Но как же тогда?

— Абдель Мавля мог его иметь, большой был человек, с доходами, феллахи на него работали, оливы имел, табак — продавал их компании «Керман». Ты это время не помнишь и Фадля, конечно, не знаешь. Фадль был феллахом из нашей округи — без земли, без воды. В революцию тридцать шестого года [1] ушел Фадль в горы — как был босой, взял винтовку эту, «мартини», и пропал надолго...

■

Умм Саад в те дни была еще девочкой, подростком, слушала да не смыслила совсем, что вокруг в мире делается. Говорили о шестимесячной забастовке, о феллахах, взявшихся за оружие и ушедших в горы...

— А потом фирман пришел от королей-арабов, люди к домам с гор спустились,— я всего точно не помню. Если бы сейчас мне то же самое сказали, знала бы, наверно, что делать. Но один случай мне все же хорошо запомнился. Весть разнесли: мол, в одной деревне праздник будет. Вот горе-то! Какой там еще праздник?! В общем, сказали нам однажды идти туда — так просто, без оружия. Ну, пошли мы поглядеть.

Фадль, как и все, кто тогда домой вернулся, тоже в деревню отправился. С гор спустился босой — таким уходил, таким и жил там. Путь он проделал долгий и пришел в деревню одним из последних. Ноги ободраны, одежда рваная, устал, запыхался. И места себе на переполненной площади уже не нашел — сел на пороге дома в самом конце. Стал дух переводить, ногами своими заниматься изодранными — в грязи, в крови, в колючках.

[1] Имеется в виду массовое восстание палестинских арабов в 1936 году против английской колониальной администрации в подмандатной Палестине.

Я среди женщин неподалеку от него стояла и не обратила на него поначалу внимания, услышала только, как одна женщина другой говорит: вот, мол, Фадль с маслобоен, что одним из первых в горы ушел. Тут народ хлопать в ладоши стал, глянули мы вперед — а там Абдель Мавля к столу подымается, говорить начал. Опять захлопали! Не припомню сейчас, что он там тогда говорил, но уж конечно — о революции, о победе, об англичанах да евреях. Не знаю почему, но я в ту минуту на Фадля взглянула; вижу — он руками машет людям, говорит что-то. Я сперва решила, он воды просит напиться или поесть. Пошла к нему: помогу, думаю. А совсем близко подошла, слышу: он вроде сам с собой разговаривает. Никогда я этого не забуду! Вот, верно, и все, братец, что я о Фадле знаю.

— А что же он говорил?

— Да слышала я будто: «Как бы не так! Ишь ты, я ноги в кровь сбил, а вы этому гладенькому хлопаете?!» Не знаю, почему слова эти мне в память запали. Само собой, я не каждый день их вспоминала, но и позабыть не позабыла. А как письмецо от Саада получила — сразу оба всплыли: и Абдель Мавля, и Фадль...

Она вновь развернула у меня перед глазами истрепанную, потертую бумажку. И я вдруг увидел в этом сморщенном, посеревшем от свинца и пота клочке целый роман, в который и поверить-то трудно. Умм Саад продолжала:

— А сейчас опять Абдель Мавля выскочил, спустя лет двадцать, если не больше... Представляешь себе, братец? Как такое случиться может? Я не о Лейсе толкую — о Фадле. Понимаешь, к чему клоню? Фадль ведь после того умер, говорили вроде прямо на маслобойне, где он работал,— от чахотки, а по другим слухам, поскользнулся с обрыва и в овраг упал. Еще поговаривали, будто убили его в войну сорок восьмого. Кое-кто еще, правда, утверждает, что ушел он из Палестины в сорок девятом, потом вернулся и его пристрелили по дороге. Но не в этом дело. Я вот так и вижу его сидящим на том пороге, с ног кровь смешанная с грязью течет. Нет, не представляю его мертвым. И еще все время слышу хлопки в ладоши, возгласы радостные, женские наши крики протяжные... А Абдель Мавля, как ты сказал, очень важным стал. Предатель, потому и важен для них. В кнессете ихнем, говоришь? Вот обидно-то!

Она встала, заметалась по комнате, не в силах расстаться с клочком бумаги, исписанным Саадом неизвестно где — может, приложил его к корню дерева или прикладу автомата, отчего почерк вышел такой неровный, нескладный, прерывистый.

— Что ты теперь будешь делать, Умм Саад?

Она в растерянности покачала головой, потом вернулась к самому началу:

— Скажи, если пойду я к Умм Лейс, расскажу ей всю историю про Фадля и Абделя Мавлю, толк будет?

— Возможно. Но послушать тебя, выходит, будто семья Лейса и впрямь собралась писать Абделю Мавле?

— Нет. Я ни в чем не уверена, но что-то делать надо. Ах, братец!.. Встань тогда Фадль с порога да пристрели этого Абделя Мавлю, может, все это давно бы кончилось, а?

Молчание повисло в воздухе. Случись такое, едва не сказал я ей, очень-очень многого не произошло бы вовсе, не провела бы она тогда двадцать лет в лагере беженцев... Но ответил я по-другому:

— Сделай он это, люди б его убили.

— Верно, тогда бы убили. Ему лучше было в горах оставаться. Не ходить на этот... праздник.

— Останься он в горах, Умм Саад, Абдель Мавля не смог бы это сборище организовать.

— Точно! Если бы все они остались. Как же оно все-таки было? Бедняга Фадль, сели они ему на шею — на маслобойне, в горах, снова

на маслобойне. Да приди он в лагерь наш — и там бы ему на шею сели.

— Вот Саад и хочет воспрепятствовать этому. Поняла теперь? Он не хочет, чтобы из Лейса нового Фадля сделали.

Она круто повернулась и посмотрела мне прямо в глаза: пророческое копье взгляда в миг прозрения быстрее пули пронеслось и вонзилось в цель! Я отшатнулся. Медленным, но твердым движением руки она поднесла к моему лицу эту серенькую истрепанную бумажку, неотвратимо растущую в глазах, словно крыло подстреленной старой птицы, несущей в себе запах смерти и мужества. Слова летели с неистовой яростью бомб:

— Никто не сказал всего этому бедному Фадлю!.. Почему же сегодня не скажешь этого ты? Ты ведь учился по книгам и в школах, почему ты не скажешь этого родным Лейса?!

7. Сторож двух лир

Умм Саад свернула свою маленькую кошелку, сунула ее под мышку и перешагнула порог дома, направляясь к себе в лагерь. Однако минут через пять вернулась и, плотно закрыв за собой дверь, потащила меня на балкон. Указала рукой на какого-то низкорослого мужчину, стоявшего с велосипедом на углу переулка, спускающегося к главной улице.

— Видишь эту обезьяну?

— Ты про того, что облокотился о стену рядом с велосипедом?

— Он самый. Прошу тебя, пойди скажи ему, чтоб уносил ноги отсюда да поживее, довольно с меня его подлости.

— Да в чем дело, Умм Саад?

— Говорю тебе: не сделаешь этого, я спущусь сама и побью его.

— Ну ладно, ладно. Я тебя провожу...

Я вышел из подъезда вместе с Умм Саад и сразу перешел на другую сторону переулка, где стоял загадочный коротышка. Мужчина, поджидающий ее, рассказала мне по пути Умм Саад, хочет заставить ее вернуться на работу в одно из многоэтажных зданий в центре города. Она вот уже месяц и три дня мыла там лестницу и холл, получая каждый раз по пять лир.

— А сам-то он кто?

— Сторожем в здании служит. Владелец его послал, еще с пятницы меня преследует. Я, брат, не хочу там работать, видеть его обезьянью рожу не могу и владельца здания тоже.

— Но это же хлеб твой, Умм Саад...

— И я так думала. Знаешь, как было? Пришел ко мне однажды сторож этот и говорит, мол, нашел мне работу в доме, где сам служит,— прихожую мыть и лестницу сверху вниз, не помню, с седьмого или с восьмого этажа, до выхода на улицу. Сказал: каждый раз пять лир получать будешь. Правда, подниматься на верхний этаж тяжело, но он обещал на лифте меня возить, тайком от владельца здания, а это и вовсе облегчало дело. Три раза в неделю. Ну, я сказала себе: работа эта неплохая, аллах мне помогает. А через месяц и три дня...

■

...Умм Саад уже спустилась вниз до третьего этажа, задыхаясь после того, как перетаскала десятки ведер воды и пахучей мыльной пены по студеному зимнему кафелю, безжалостно щипавшему ее босые ноги. Набухшие ладони натерла до крови, оттирая грязь после наследивших здесь за три дня людей. Протирала бетонную и мраморную крошку, полоская и отжимая тряпку в ледяной воде в полночном безмолвии спящего дома — среди пустых контор и мирных теплых спален за запертыми дверьми. И вдруг почувствовала: кто-то стоит у нее

за спиной. Сложив руки на груди, неизвестная женщина внимательно наблюдала за ней, словно давно ждала ее.

Их взгляды встретились, женщина сказала:

— Ну, здравствуй...

— И тебе доброго здоровья, сестра,— ответила Умм Саад и выпрямилась в полный рост, выгнув немного назад спину: чувствовалось, как ломило все кости. Стоявшая перед ней женщина была на вид деревенской, простой — странным казалось только ее напряженное ожидание.

— С добром? — спросила Умм Саад.

— Сказать тебе пришла кое-что,— проговорила женщина.— Я вот эту лестницу трижды в неделю мыла, а месяц и три дня тому назад пришел ко мне хозяин, сказал: до свиданья... Сколько тебе дают?

— Пять лир, сестра.

— Мне они семь лир платили. Я мать четверых детей. Сказали, семь лир — это много...

— И меня заставили хлеб у тебя вырвать?! Аллах их довольства лишит!

Женщина сделала шаг вперед, заговорила устало:

— В чем вина-то твоя? Ты как я, у тебя тоже дети. Но сказала я себе, когда заработка лишилась: пойду поговорю — может, место, где ты раньше работала, еще пустует, так ты мне скажешь...

— Откуда ты, сестра?

— С юга я.

— Палестинка?

— Нет, ливанка, с юга.

Умм Саад вытерла мокрые ладони о подол, стала спускать засученные рукава, огляделась.

— Аллахом клянусь, не знала я, сестра, не говорили мне... Возьми убери, что здесь осталось. Господь унесет этот дом с его владельцем! Работала тут месяц и три дня, а за две последние недели еще не взяла плату. Завтра утром скажи хозяину: Умм Саад мне свой заработок отдала.

Женщина разрыдалась. Вокруг было полно воды: вода капала и струилась тоненькими струйками со ступенек, снизу ее журчание доходило до слуха словно смутные всплески волн на берегу спокойной реки. Не оборачиваясь, Умм Саад принялась спускаться по лестнице и долго еще слышала над собой рыдание женщины на площадке третьего этажа. Очутившись в холле, помедлила немного, прислушиваясь: наверху вновь зашумела вода. Только тут она глубоко вздохнула и, выходя на улицу, обнаружила, что плачет...

■

— Чего этот коротышка от тебя хочет?

— Хочет, чтоб я вернулась. Сказал мне в прошлый раз: мол, работа той женщины их не устраивает, моя намного лучше. Только врут они все, я знаю, две лиры сэкономить хотят.

Мы уже подходили к выходу на главную улицу. Умм Саад остановила меня за край одежды, обвела рукою весь этот шумный, кипящий, раскинувшийся в оба конца горизонта город:

— Всякий раз, как эту историю вспомню, трясти меня начинает, чуть не плачу. Да и когда сторожа этого вижу — по пятам он за мной ходит,— дрожь бить начинает. Они хотят, чтоб мы сами, чумазые, друг дружку побили, а им две лиры прибытку. Тот дом большой, больших денег стоит, много в месяц приносит, а им все мало: платить тебе норовят поменьше, да так, чтоб другого человека куска хлеба лишить. Посмотри, что сторож этот делает, чем, гад, занимается! Выслуживается перед ними, день-деньской на велосипеде мотается, чтоб две лиры им обеспечить! Вот мерзость!

К этому времени мы уже вышли на главную улицу и стали поджидать машину, которая подбросила бы ее в лагерь. И тут ей в голову пришла мысль:

— А ведь если бы втроем — я, сторож и та женщина — сказали вместе хозяину...

Она замолчала и посмотрела на раскинувшуюся перед нашими глазами бескрайнюю громаду города под душным пологом вечереющего неба.

8. Новый талисман Умм Саад

Эфенди[1], сказала Умм Саад, сильно разгневался, когда она ответила ему однажды утром: «Если тебе нужен Саад, эфенди, почему не пойдешь к нему в пещеры да не словишь?»

Он повадился заходить к ней каждый день с утра пораньше и все спрашивал о Сааде: «Ну, вернулся?», да «Слышали мы, вернулся он», или «Напиши ему, чтоб возвращался»... Всякий раз Умм Саад молча смотрела на эфенди, не говорила ни слова.

Явился он так однажды, и по всему было видно, замыслил что-то. Постоял, помялся, потом спросил:

— Это Саад?

И указал на фотокарточку, прикрепленную булавкой к стене. Саад смотрел с фото смеющийся, густые, вьющиеся, нерасчесанные волосы веселой шапкой обрамляли лицо. Умм Саад сразу почуяла неладное и в смутном предчувствии опасности бросилась к стене, сорвала фотокарточку, спрятала ее у себя на груди.

Эфенди мгновенно напрягся, шагнул вперед. Умм Саад остановила его словами:

— Если ты мужчина, попробуй возьми!

Эфенди остановился в замешательстве, пошарил глазами вокруг...

— Нужен Саад,— продолжала женщина-мать,— почему не пойдешь к нему в пещеры, не возьмешь его там?

Эфенди улыбнулся, указал ей пальцем на грудь:

— Зачем волнуешься, Умм Саад?

Украшеньице, оставленное ей сыном, выскочило из-под платья наружу, когда она прятала туда фотографию, и теперь покачивалось поверх ее пестрой одежды. Навестив мать в последний раз, Саад оставил ей этот подарок — металлическую цепочку с подвешенным на ней автоматным патроном, с опорожненной от пороха и пробитой у основания насквозь гильзой.

— О, ты и ожерелье себе теперь поменяла! — проговорил эфенди.

Умм Саад с опаской глядела на него, зажав в руке подвешенный на цепочке патрон, однако нашла в себе силы, чтобы ответить:

— Это не ожерелье.

— А что же?

— Это талисман.

— Талисман?!

— Талисман!

— Его небось Саад принес?

— Да. Саад принес.

Эфенди нерешительно потоптался в этой жестяной комнате, переводя взгляд с одной стены на другую, стал разглядывать составленные в углу постели, алюминиевую, еще не вымытую посуду, металлическую рубчатую крышу-потолок, уже накаляемую утренним летним солнцем, кучку мусора у порога...

— Почему ж ты сказала, что Саад не приходил? — заговорил он вновь.

[1] Начальник, господин; здесь — полицейский чиновник.

— Ну так, пришел и ушел.
— Разве не просил я тебя сказать, когда он объявится?
— А я боялась.
— Боялась его?
— Тебя боялась.

Пальцы ее все еще сжимали висевший на груди патрон, под воротом платья — она чувствовала — разливалось тепло от фотокарточки Саада. Эфенди уже стоял недалеко от двери, но вдруг задержался у маленького незастекленного оконца в стене, поднял с деревянного подоконника небольшую трехцветную ленточку со связанными толстым узелком концами, потеребил ее пальцами рук.

— А это твой старый талисман?
— Он самый.
— А почему...

Но он не закончил — очевидно, прочел ясный ответ во взгляде женщины, в ее правой кисти, сжимавшей висевший на груди на металлической цепочке патрон. Потом пристально, изучающе посмотрел на нее и вышел.

— ...Но постой, Умм Саад,— сказал я.— Когда это Саад прислал тебе патрон?

— Он не присылал его. Забыл дома, когда навещал нас прошлый раз. Я все на него натыкалась там в тряпках, а потом решила: повешу-ка себе на грудь. Соседский мальчишка пришел как-то к нам, раскрыл его, порох выбросил и привязал мне на цепочку.

— А прежний талисман?

— Мне его один старый шейх сделал еще в Палестине. А я сказала себе однажды: шарлатан он, и ничего больше! Талисман? Да я его с тех пор, как мне двадцать лет исполнилось, таскаю — как в бедности были, животы надрывали да мучились, так и живем двадцать лет. Талисман?! Да некоторые вот так над сединами людскими смеются, выгоду для себя извлекают! Нашли дураков... Как-то утром сказала я себе: если с талисманом этим так, то каково же без него? Может ли быть хуже? Да говорю себе: вот Саад... Ах, все ты сам знаешь! Почему ты вечно хочешь, чтоб я тебе все рассказывала?

— Но ты ведь беду на Саада накликала. Теперь вернется он — они его преследовать начнут...

Кажется, нечто вроде издевки заметил я в ее взгляде. Она пристально глядела мне в глаза и была уж готова ответить, но я понял ее без слов.

9. Винтовки в лагере

...Все внезапно переменилось: Абу Саад перестал засиживаться в кофейне, в обращении его к Умм Саад появилась мягкость, он даже однажды утром спросил жену, устает ли она, как и прежде, и улыбнулся широкой улыбкой, когда она вопрошающе уставилась на мужа, не понимая, в чем дело. Он вечно приходил домой измученный, без дальних слов требовал поесть и засыпал, не дожевав последний кусок. А когда сидел без работы, становился вспыльчивым, грубым, таскался в свою кофейню, пил чай, играл в триктрак, кричал на всех. Ну, а вернувшись домой с работы, бывал совсем уж невыносим, валился спать, закинув под голову большущие заскорузлые ладони то в грязи, то в цементе, и громко храпел, а поутру скандалил, препирался с Умм Саад и заставлял ее собирать узелок и отправляться на работу под его горящим ненавистью взглядом. Дошло до того, что Умм Саад почуяла однажды вырывавшийся из его хрипящего рта запах вина...

И вдруг все переменилось! Заслышав теперь шаги человека, пробиравшегося в проходе вдоль их жалкой хижины — в этой узкой грязной щели двоим-то и не разминуться,— он высовывал голову в

оконце, затевал с путником разговор, задавая кучу вопросов. Часто говорил о «калашникове», который предпочитал называть кратко «клашенков», как это делал Саад, когда наведывался к ним.

Однажды в полдень Абу Саад направился к центру лагеря, откуда громкоговоритель разносил неслыханные прежде речи. Остановился у площади, стал глядеть, пораженный, как лагерные ребятишки, девчонки, подростки и молодые парни прыгали через огонь, проползали под колючей проволокой, размахивали оружием. Увидал он и своего младшенького — Сайда; тот показывал собравшимся, как должен действовать боец, чтоб увернуться от удара штыком в рукопашной схватке.

Люди стали ему аплодировать. Умм Саад перебралась на невысокую плоскую крышу поближе к мужу, тоже уставилась на площадь. Разглядела Саида в центре — и издала гортанный радостный крик, такие же женские бодрящие крики, в тон праздничному событию, раздались всюду. «Смотри! Смотри! — кричал Абу Саад.— Ты видишь? Это Саид! Видишь его? Смотри, смотри!» Словно она сама не видела сына, не была душою с ним рядом, там, в центре площади, не вбирала в себя все до единой капельки пота, что бежали по его маленькому смуглому личику!

Саид шаг за шагом надвигался на своего противника: все крепче сжимал кулачки, пригнулся... Абу Саад схватил стоящую рядом жену за руку и с неожиданным пылом сжал ее ладонь — слезы навернулись на глаза Умм Саад. Она словно слилась воедино с сыном.

Гром аплодисментов обрушился на пятачок посреди лагеря беженцев, когда Саид, увернувшись от штыкового удара, в мгновение ока вырвал винтовку из рук мальчишки-соперника, повернулся и поднял ее вверх маленькой рукой — под флагом, складки которого затрепетали будто первые хлопки в ладоши.

Абу Саад хлопал больше всех. Он вытянулся в полный рост, гордо смотрел вокруг. Встретившись взглядом с Умм Саад, он наклонился и сказал:

— Видала? Да ведь это Саид!

Склонив свою голову к ее голове так, чтобы она получше видела, на кого он указывает и взглядом и рукой, заговорил скороговоркой:

— Вон он, тот, что «мартини» поднял, тебе хорошо видно?

Чтобы не расхохотаться, Умм Саад вновь издала победный клич. Хлопки в ладоши все продолжались, а мальчишка потрясал винтовкой перед столпившимися вокруг мужчинами. Лоб его блестел от пота. Внезапно старик, сидевший у края стены рядом с Абу Саадом, повернулся к нему:

— Эх, если б так шло сначала, ничего бы с нами не было.

Абу Саад кивнул согласно, с удивлением глядя на показавшиеся в глазах своего седого соседа слезы:

— О! Если б так было сначала!

Он повернулся, схватил старика за плечо, вытянул руку в сторону площади:

— Видишь мальчишку, что «мартини» поднял? Это сын мой, Саид! Видишь?

Старик, видевший, наверно, довольно плохо, ответил:

— Да сохранит его тебе аллах! Молодец мальчонка!

Абу Саад оторвал взгляд от старика, продолжая говорить ему:

— Брат его старший, Саад, с федаинами, в пещерах.

— Да будет воля аллаха! — закивал старик.

Абу Саад притянул к себе жену, показал на нее старику, все еще глядевшему в сторону площади:

— Эта женщина рожает сыновей, что становятся федаинами. Она дает — Палестина берет!

Тут только старик глянул на Умм Саад: она смеялась, не отводя взгляда от Саида. Он вернул винтовку товарищу и побежал, чтобы

встать в шеренгу ребятишек в одежде защитного цвета, у края площади...

■

С того самого дня Абу Саада точно подменили. Так мне Умм Саад говорила. Понятное дело, сказала она, все теперь по-другому... У человека только теперь к жизни вкус появился, только теперь.

— Взглянул бы ты на молодежь в лагере,— сказала мне Умм Саад.— У каждого в руках «мартини» или «клашенков», одежда защитная. Видал, что Саад делает?

— А при чем тут Саад?

— Как при чем? Это, думаешь, случайно все? Знал бы ты, братец! Ружье, как корь, заразное. У нас в деревне люди говорили: корь мальчишка схватил — значит, жить начал. Застрахован. После того дня, как увидела Саада с автоматом в руках, сказала я однажды эфенди, он опять ко мне поутру явился: «Часа дождешься — своего добьешься!» С того вторника стал эфенди первым, кто лагерь начал стороной обходить. А лагерь загорелся прямо, будто кто спичку в кучу соломы бросил. Взглянул бы ты на молодых — то-то б порадовался!

— А Абу Саад?

Умм Саад хлопнула в ладоши — словно две палки сшиблись.

— Бедность, братец, все бедность! Она делает ангела шайтаном, шайтана ангелом. Что ж Абу Сааду в такой безысходности делать: всегда удручен, раздражен, гнев свой на других вымещает, на мне, на себе самом!.. Абу Саад раздавлен был бедностью, бессилием, вечными поисками куска хлеба, раздавлен вывеской «синко»[1], чужой властью раздавлен за этой ширмой. Что же ему делать оставалось? Уход Саада немного веры ему прибавил, он тогда лучше стал, а уж когда Саида углядел — и вовсе поправился. Лагерь как будто другими глазами увидел, голову поднял, прозрел просто. Меня стал замечать детей своих, ты понимаешь? Поглядел бы ты на него теперь, петухом расхаживает, мимо парня с винтовкой на плече не пройдет — подбежит, приклад, ствол погладит, приласкает, будто старое свое ружье, что украли у него, отыскал!

Она помолчала немного, обдумывая сказанное и вспоминая что-то. Потом сказала:

— Сегодня, ни свет ни заря, гляжу — на улицу вышел, встал у дороги, к стене прислонился, курит... Прежде чем мне «доброе утро» сказать, крикнул: «Ей-богу Умм Саад, не зря мы жили!»

В комнате снова пахнуло смачным деревенским запахом — Умм Саад взялась за свою кошелку и направилась к двери. Я уж подумал, она ушла, как вдруг через распахнутые настежь створки донесся ее голос:

— А лоза-то виноградная принялась, братец, корни пустила!

Я шагнул к двери: Умм Саад наклонилась к земле, там, где посадила жестковатую, полузасохшую веточку темно-бурого цвета, которую принесла в дом однажды утром. Женщина стояла на пороге и смотрела на зеленый росток, уверенно пробивавшийся на свет из-под земли — такой яркий и голосистый.

■

[1] Западная транснациональная компания, проводящая дискриминационную политику в области найма рабочей силы.

СУБРАМАНЬЯ БАРАДИ

К 100-летию со дня рождения

Перевод с тамильского С. СЕВЕРЦЕВА

Когда после иссушающей дневной жары все живое дышит вечерним бризом, несущим блаженную прохладу, тамилы с облегчением говорят: тенраль — спасительный ветер — пришел со священной горы Аруначалам.

Поэзия Субрама́ньи Ба́ради подобна живительному тенралю, обновившему тамильскую поэзию. История отвела ему место в плеяде таких выдающихся деятелей индийского культурного возрождения, как Рабиндранат Тагор, Назрул Ислам, Мухаммад Икбал, Валлаттол.

Чиннасами Субраманья Айяр — таково настоящее имя поэта — родился 11 декабря 1882 года на юге Индии в захолустном городке Еттаяпурам в семье брахмана. В двенадцатилетнем возрасте юный Субраманья на состязании поэтов и ученых — пандитов — был удостоен звания «Баради» («Осененный милостью богини мудрости и красноречия Сарасвати»); впоследствии это и стало псевдонимом поэта. Во время учебы в колледже Варанаси он знакомится с североиндийской культурой, а также с творчеством Байрона, Шелли, Мильтона и других европейских мастеров.

Всего за семнадцать лет напряженнейшей работы Баради совершил в тамильской литературе и языке тот поворот к реальной жизни, который произвел Тагор в литературе Бенгалии. Двухтысячелетняя река тамильской поэзии в течение XVII—XIX вв. значительно обмелела. Скованная формальными канонами предыдущих веков поэзия до Баради в сущности служила замкнутой кастовой элите, была далека от народной традиции, на которую так плодотворно опирался в своем творчестве поэт.

Поэзия Баради, революционного романтика, была рождена новой волной антиколониального движения — XX век властно заявлял о себе, сотрясая твердыню британского владычества. В 1905 году Баради примыкает к освободительному движению, становится в ряды левого крыла Индийского национального конгресса (ИНК), возглавляемого Тилаком [1]. Уже первый сборник Баради «Национальные гимны» (1907) возвестил о рождении новой поэзии: на смену многовековой кадавуль бхакти (поэзия преклонения перед богом) пришла десатту бхакти (поэзия любви к отчизне); вместо бога на пьедестал поэтического искусства Баради возвел человека; узконациональная тема у него решительно вытесняется темой любви ко всей страждущей перемен многонациональной Индии.

Поэтическое видение Индии как Матери всех народов страны логически вело его к идее интернационализма, вот почему Баради искал и находил аналоги в осво-

[1] См. «ИЛ», 1980, № 12.

бодительной борьбе других народов мира и воспевал их («Клятва Мадзини», «Приветствие Бельгии», боровшейся против полчищ кайзера Вильгельма II). В цикле своих статей за 1906 год, опубликованных в редактировавшейся им газете «Индия», Баради разъяснял смысл русской революции 1905 года и призывал соотечественников оказывать поддержку «русским товарищам, борющимся против тирании царя».

Именно Баради первым из писателей Юго-Восточной Азии приветствовал победу Октября в 1917 году своей знаменитой одой «Новая Россия», уже известной в русском переводе. Он опубликовал также серию статей о новой России, о первых декретах советской власти.

«Теперь, по-видимому, неоспорим факт, что социалистическая партия (Баради имеет в виду большевиков.— В. Ф.) достигла в России своей цели. Название этой партии мы можем перевести как «саматтува катчи» — партия Равенства, но даже такой перевод будет неточным. Основной целью этой партии является низвержение частной собственности — главной причины разделения людей на две части: горстку богатейших и огромную массу нищенствующих. Вся земля должна быть поровну разделена между гражданами, а средства производства должны стать общенародным достоянием...» (Газета «Судесамиттиран» от 28 ноября 1918 г.) «С самого начала, едва в России установилась власть большевиков, на них стали возводить гнусную ложь и клевету, используя тяжелое положение внутри России, критикуя новые законы этой страны, в частности закон о семье и браке; буржуазные газеты клевещут на него, утверждая, будто большевики подрывают нравственность и будто новый закон о семье и браке в России объявляет всех жен общими. На самом деле этот закон есть не что иное, как реальное осуществление идеи равноправия мужчины и женщины,— вот почему на него клевещут. Но, как гласит поговорка, ложь даже умного человека держится не более восьми дней. Удивительно, как только можно распространять такие гнусные небылицы о великой России!» (Газета «Судесамиттиран» от 19 июня 1920 г.)

Субраманья Баради умер в нищете, но оставил своему народу богатое наследие: более трехсот песен, стихов, баллад, три крупные поэмы («Клятва Панчали», 1912, «Песни к Каннану», 1917, и «Песнь Кукушки», опубликованную посмертно в 1923 г.), многочисленные статьи, эссе, переводы, заметки о литературе, музыке, театре, поэзии.

Многие годы Баради подвергался гонениям со стороны колониальных властей, считавших его опаснейшим врагом колониализма. Десять лет (1908—1918) провел поэт в вынужденном изгнании; он жил на юге Индии в г. Путтуччери (ныне Пондичери), бывшем в те годы под протекторатом Франции и служившем убежищем многим индийским патриотам. Баради умер в 1921 году, не дожив до 40 лет: храмовый слон, давнишний любимец поэта, внезапно взбесившись, нанес ему тяжелые увечья.

В Индии Баради признан первым тамильским маккаль кави (народным поэтом), его песни и сейчас поет народ, произведения изучаются в школах и университетах.

Нынешний год объявлен в Индии годом Баради.

Отмечая юбилей выдающегося сына Индии, мы отдаем дань памяти поэту, стоявшему у истоков дружбы народов наших стран.

ВИТ. ФУРНИКА

Чернь

(Из цикла «Песни воспрявших тамилов»)

Кто растит бананы, и рис сажает,
и от недругов край родной защищает?
Это — чернь, как народ надменно зовете
вы, счастливцы, вы, богачи-спесивцы.
Кто трудами лицо земли украшает,
честным потом жизнь от лжи очищает?
Это — чернь!.. Как перед земной богиней,
перед чернью надо бы вам склониться!

Пастушья свирель

Ах, откуда мелодия эта, откуда?
Кто играет, не знаешь ли ты, подружка?

С дальних гор это пенье к нам долетело
Или с веток слетело густых деревьев,
Или веет с безбрежных полей?.. Не знаю...
Но томится грудь, и душа в смятенье.
Ах, откуда мелодия эта, откуда?
Кто играет, не знаешь ли ты, подружка?

А быть может, рождается это пенье
В звонких струях вечно бегущей Джáмны?
Или áмритой — сладкой влагой бессмертья —
Из серебряной чаши луны струится?
Ах, откуда мелодия эта, откуда?
Кто играет, не знаешь ли ты, подружка?

Или это повеял душистый тéнраль —
Мягкий ветер, с южных морей летящий?..
О мелодия нежная — мир наш суровый
Все светлей она делает, все чудесней!
Ах, откуда мелодия эта, откуда?
Кто играет, не знаешь ли ты, подружка?

Разве где-нибудь в мире найдется птица,
Что такую бы песнь неземную спела?
Иль небесные кúннары-музыканты
В синеве на незримых струнах играют?..
Ах, откуда мелодия эта, откуда?
Кто играет, не знаешь ли ты, подружка?

Знаю, знаю теперь! Это — звук свирели,
Да, простой, бамбуковой сельской свирели!
Слух ласкает она и тревожит нам душу,
Как стрела, сердцá чутких дев пронзает...
Вот откуда мелодия эта, подружка!
Кто ж играет, не знаешь ли ты, подружка?

Заклинаю тебя, о Мать!

Заклинаю тебя, наша Мать-богиня:
дай мне твердость духа, дай прозорливость,
Ниспошли мне мужественное сердце,
одари меня ясным и чистым знаньем.

Заклинаю тебя: все мои заблужденья
уничтожь, как солнце губит туманы,
Чтоб от скверны очищенным, светлым, твердым
мог к тебе я приблизиться, Мать-богиня.

На закате

Там, над западным краем земли вечерней,
Красным шаром пылающим солнце повисло,
И подобно оно миллионам слепящих,
Колесом огня крутящихся вспышек.
Поражен этим дивом с первого взгляда,
Я застыл, но потом прошло ослепленье,
И два диска стали доступны взору —
Два один над другим кружащихся диска.
Чистый блеск внизу, а над ним — зеленый,
О какой изумрудно-зеленый пламень!
А края этих туч, обступивших солнце,
Так изменчивы, огненны, многоцветны!
Сколько красок, сколько тончайших оттенков,
Золотых потоков — лучей текучих,
Островов вулканических, синих заливов
И причудливых облачных великанов!
А какие стаи китов исполинских,
Золотых, ярко-красных, оранжевых, желтых,
Будто плавают в темных морских безбрежьях,—
С чем сравнить эти огненные наваждения?..
Нет! Не в силах я их красоту описать!

Муруга! Муруга! [1]

О наш Муругá! О наш Муруга!
Явись верхом на павлине гордом,
Явись, острозубым копьем сверкая,
Даруй нам обилье, отвагу, славу,
Добро, достоинство, благополучье,
О наш Муруга, о наш Муруга!

Не счесть твоих почитателей верных —
Так помоги обрести им свободу!
Да станут бесстрашными! Демонов злобных
Пронзи копьем своим светозарным,
О наш Муруга, о наш Муруга!

Ты — наше мужество, ты — наше знанье,
Ты — наших письмен святые значенья.
На жизнь счастливую благослови нас,
Явись и разрушь все беды-невзгоды,
О наш Муруга, о наш Муруга!

Будь милостив к нам, ниспошли бессмертье,
О ты, чье подножье — убежище наше!
О вечно юный! Тьму и болезни
Развей, разгони копьем светозарным,
О наш Муруга, о наш Муруга!

О ты, что склоняешься в Храме знанья
Пред Матерью, ниспосылающей мудрость,
По-новому жить на земле вдохнови нас,
Наукам учи, искусствам, ремеслам,
О наш Муруга, о наш Муруга!

[1] Популярное у тамилов народное божество; считается младшим сыном бога Шивы, изображается в облике прекрасного юноши, едущего верхом на павлине, с золотым копьем в руке; символизирует мужество, отвагу, молодость.

О сын Парамéшвары [1], наш наставник,
Ты вспыхнул искрой в пещерном мраке
И светочем стал, и да будет славен
Весь мир, оглашаемый громом Индры [2]!
О наш Муруга, о наш Муруга!

Что нужно

Каждому сердцу твердость нужна,
Песне певучесть и сладость нужна,
Крепким рукам работа нужна,
Памяти доброта нужна.
Смелой мечте одержимость нужна,
Женщинам нашим свобода нужна,
А всей стране — богатство и счастье,
Величье, достойная жизнь нужна.
Каждому делу честность нужна,
Каждому дому радость нужна,
Райская жизнь не только на небе,
Но и на нашей земле нужна.
А чтобы рай на земле воцарился,
Щедрость нужна, правда нужна!
Аум! Аум! Аум! Аум![3]

Великая Шакти [4]

В сиянии лунном
узрел я великую Ша́кти —
Упал я в смятенье
к стопам владычицы грозной,
Но чувства сдержал,
все желания стиснул в сердце,
Лишь чутко внимал
величавым речам богини.
«Трудись бескорыстно!—
сказала могучая Шакти.—
Служи своим ближним,
живи неустанною верой!»
«Будь мужествен, тверд!»—
продолжала мудрая Шакти,
Все муки-сомненья
в душе моей уничтожив.
Великая Шакти!
Ведь это она сотворила
И свет этих звезд,
и небо, где реют тучи,
Равнины бескрайние,
где расстилаются ветры,
И сердце мое,
в котором сгустилась радость.

---

[1] Одно из имен бога Шивы.
[2] Бог-громовержец.
[3] «Аум!» (или «Ом!») — древнее священное восклицание, которым индусы начинают и завершают свои молитвы.
[4] Олицетворение творящей энергии бога Шивы.

Песня во славу Радхи

На острове том, что зовется Остров Любви,
Тебя я узрел, о Ра́дха, благословенная Радха,
Тебя наконец-то нашел, тебя наконец-то узнал,
Увидеть посмел, о Радха, о несравненная Радха!
В той роще густой, что зовется Рощей Любви,
Стояла ты, Радха, краса совершенная — Радха,
Как светлая Ка́лпака — дивная райская крона,
Сияла ты, Радха, радость нетленная — Радха.
Подруга любимая бога любви Камадэвы,
Вечно цвети, о Радха, наша бесценная Радха,
В царстве весны, в окруженье богинь счастливых,
Вечно живи, о Радха, чудо священное — Радха!

Слушай, мой разум!

Слушай, мой разум упрямый,
мой маленький ум безумный:
Что мечешься, неугомонный,
прямого пути не видишь?
Довольно! Ты будешь отныне
лишь воле моей подчиняться,
Лишь я с этих пор — ты понял?—
единственный твой властитель!
Не вздумай теперь, мой разум,
о первом попавшемся думать,
Дорогой прямой и суровой
отныне тебя направлю:
К стопам богини-Отчизны,
склонись, как и я, смиренно,
Лишь ей служи неустанно!
Таков мой приказ! Исполняй же!

■

СЕВЕРЦЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1924 г.). Советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Мичуринский край», «Три сокровища», «Легенда о синем лотосе». Выпустил более пятидесяти сборников переводов, в том числе антологии индийской поэзии «Огненные стрелы», «Праздник огней», «Молнии и лотосы». «Голоса друзей», сборник староиндийской лирики «Песни любви», книгу избранных переводов «Спелые гроздья» и др.

ЖАН КЕЙРОЛЬ

История одного дома

РОМАН

Перевод с французского Н. БРАНДИС и А. ТЕТЕРЕВНИКОВОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Мы построим дом.

— Но послушай, папа...

Неизвестно, кто сказал «папа», потому что так обращались к нему и жена Одетта, и сын Жильбер. Было жарко, как в бане: несколько минут солнце заливало комнату, потом исчезло.

— Повторяю: мы построим дом на нашем участке «Грабы», в Бретиньи.

— Это безумие, папа. Настоящее безумие.

Клодина, дочь, возражала с таким же упорством. Жильбер ходил босиком; его прозвали Оборотнем, потому что у него были длинные и узкие уши. Со стола не убрали — мороженое таяло. На оставшемся куске жаркого еще виднелась нитка.

Вся семья собралась в большой комнате, загроможденной всевозможными предметами и разной мебелью, включая два сундука, где хранилась воскресная одежда, а также всякое ненужное старье. Рядом была узкая, как коридор, кухня.

— Не можем же мы все жить и дальше в этой комнате. Если кто-нибудь из нас умрет, куда мы его положим? В нашей спальне можно задохнуться, а ваша комната, дети,— это просто свалка.

— Но мы ведь любим друг друга, мы не жалуемся,— кричала мать, вся в слезах, и сдувала пряди волос, падавшие на глаза; ей еще нужно было полоскать белье.

— Здесь нет даже места для часов тети Луизы, а ведь они из розового мрамора, и амуры из настоящей бронзы... Мы же владельцы участка.

Симеон подошел к жене и осторожно поцеловал ее. От кухонного пара волосы ее стали еще непослушнее. Он снял с нее передник.

— Да ведь мы еще не выплатили за розовые кусты на участке... Ты понимаешь, что говоришь? Это участок владеет нами, а не мы им. А насос? Он ведь тоже требует ремонта!

Был обычный воскресный день — серый, туманный из-за пара, клубившегося на кухне и заполнявшего комнату.

© Éditions du Seuil, 1976.

ЖАН КЕЙРОЛЬ — JEAN CAYROL (род. в 1911 г.)

Французский писатель — поэт, романист, эссеист. Член Академии Гонкуров. Участник Сопротивления; с 1943 г. был узником Маутхаузена. Ж. Кейролю принадлежит много книг стихов, в их числе «Песни Ночи и Тумана» («Poèmes de la Nuit et du Brouillard», 1946), «На все времена» («Pour tous les temps», 1955), трилогия «Я буду жить любовью других» («Je vivrai l'amour des autres», 1947), за которую Кейроль был удостоен премии Ренодо, романы «Я все еще слышу его» («Je l'entends encore», 1968) «История луга» («Histoire d'une prairie», 1969), «История пустыни» («Histoire d'un désert», 1972), «История моря» («Histoire de la mer», 1973), «История леса» («Histoire de la forêt», 1975), и др. На русском языке стихи Ж. Кейроля печатались в периодике и антологиях.

Мы знакомим читателей с творчеством Жана Кейроля-романиста, публикуя роман «История одного дома» («Histoire d'une maison», Paris, Seuil, 1976).

— Гораздо веселее путешествовать. И плиту не мешало бы поменять. Когда я поливаю жаркое, сок брызгает мне на пальцы. Давайте лучше наладим все здесь.

— Сейчас, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, опасно пересекать границы. Гитлер разыгрывает героя в своей стране, равно как и его приятель Муссолини у себя. Ничего дарового я терпеть не могу — напоминает тюрьмы. Значит, вы не хотите иметь собственный дом? Дом, который я выстрою своими руками?

Наступило продолжительное молчание; никто не знал, как успокоить Симеона, рыжего гиганта с невероятно синими глазами, застывшего у единственного окна. Вихрем промчался автобус с империалом и затормозил у остановки. Люди толкались, стремясь войти в него. Слышался пронзительный голос кондуктора: «Нет мест, говорю вам, нет мест...» Рядом ребятишки играли в футбол. Здесь лес домов неожиданно кончался и переходил в пустырь, где носилась детвора. «А ведь тут когда-то был луг и паслись коровы»,— сокрушалась Одетта.

За автобусом следовала длинная вереница автомобилей: «розенгарты», «пежо-402», открытые «симки-5», легкие «ситроены», «хотчкиссы» с тяжелым кузовом, «делаэ», «делажи»— целая коллекция машин. Симеон пожал плечами.

— Они же ничего не видят, кроме синих чугунных указателей со стрелками и километражем... Нет лучше кузова, чем собственный дом.

Вдруг земля задрожала, но никто не обратил на это внимания. Под подвалами проходило метро, а дом поддерживали и укрепляли толстые столбы из бетона.

— Ну, а метро? У меня от него сердцебиение. Вы думаете, это полезно?

На краю этажерки закачалась статуэтка, да так, что чуть не упала.

— Одетта, твоя балерина сейчас грохнется на пол. Еще один поезд — и она упадет. Мне надоело склеивать вещи. В Бретиньи земля не трясется.

— Ты считаешь, что сейчас подходящий момент начинать работы? Тебе здоровье не позволит, да и никому из нас тоже.

— Я никогда ничем не болел, разве что свинкой и то по вине Жильбера, будь он неладен. И пусть закрыли итальянскую границу, это вовсе не значит, что мы должны воевать. Перестроили же мост Каррузель и реставрировали Реймский собор, хоть и через двадцать лет, а в Ойоннаксе создали потребительский кооператив... Жизнь продолжается... дорогая мисс Европа!

— Напоминаю тебе: сейчас тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Ну и что?

— Как что, а бомбы?

— Хватит с нас войны в Испании. Помнишь, в прошлом году националистские канонерки обстреляли правительственное судно «Кабо Санто Томе»; великие державы должны намотать себе это на ус. Дом мы построим. У нас еще есть деньги.

С Симеоном невозможно было спорить; в тридцать шесть лет он был так же упрям, как в детстве (он вытянулся вверх, точно больная спаржа), так же настойчив, так же не хотел замечать то, что ему не нравилось. Он был счетоводом при лаборатории по изготовлению медикаментов, привык складывать цифры, производить сложные вычисления и достиг в этом большой точности: он никогда не ошибался. Он тщательно проверял денежные документы на случай какого-нибудь «подвоха», и провести его было невозможно. Он разговаривал с цифрами: «Малютка-пятерка, стой на месте, а ты, мое хорошенькое деление, моя славная проверочка девяткой, покажи им, что со мной шутки плохи» Так он и жил в этом мирке чисел, похожем на детскую игру, тайной которой владел он один. Когда Симеон проверял какой-нибудь баланс, никто не смел его беспокоить; своим почерком школьника он четко выводил колонки цифр до самого конца страницы. Несмотря на внешне строгий вид, он питал нежность к своим расчетам, и все восхищались тонкостью его штриха и изяществом итога. К черту угрозу войны!

— Одетта, сегодня днем мы поедем в какую-нибудь деревню, и теперь каждое воскресенье все вместе будем ездить и выбирать; я хочу, чтобы и дети сказали свое слово, потому что...

— ...это для них,— закончила Одетта, явно растрогавшись. Ей было уже тридцать четыре, но она любила время от времени пролить слезу.

— Ну нет, прежде всего для нас.

— Куда мы поедем?

— В сторону Арпажона.

— Далековато.

— Остановимся в Брейе-Бу-дю-Монд. Настоящая деревня, прямо музей крыш.

Клодина и Жильбер играли в карты на большой кровати, застеленной светло-желтым покрывалом. Они отбросили куклу-подушку, которая занимала слишком много места.

— Сколько раз я вам говорила не валяться на покрывале — того и гляди, разлезется, а когда еще мы купим новое... Собирайтесь, ребята, поехали!

Клодина надулась:

— У меня козыри. А я еще не отыгралась.

В тринадцать лет это была развязная и к тому же ворчливая девчонка; она привыкла обращаться со своим четырнадцатилетним старшим братом как с игрушкой; он восхищался сестрой, у которой была «прихоть» надевать перчатки по любому поводу и без повода, сажать пятна на платье, если ей казалось, что оно вышло из моды, проводить языком по губам прежде, чем кого-нибудь поцеловать.

Жильбер, чувствуя, что проигрывает, разбросал карты.

— Можно я надену куртку из искусственной замши?

— Надевай, если хочешь, только смотри не порви. Пуговицы у тебя так и отлетают.

Отец вышел из комнаты; дети навели порядок, спрятали карты в буфет.

— Посуду вымоем вечером.

— Почему бы нам не поехать на огород в Бретиньи?

Жильбер стоял по пояс голый.

— Чтобы глядеть, как лопаются зеленые бобы? А потом — что у тебя за вид!

Клодина умела «разыгрывать из себя дамочку» — брата тошнило от ее жеманства, он держался раскованнее; в школе его научили и врезать, если надо.

— Пообедали бы там на свежем воздухе...

Отец вернулся с рыболовной снастью, с удочками, катушками, черпаком — настоящий Тартарен, только длинный, как жердь. Он даже взял корзину, на которой красными нитками было выписано: *Этретá*.

— Да ты с ума сошел, Симеон.

— Во время рыбной ловли так хорошо думается. Там недалеко проходит Орж. Деревню мы посмотрим быстро. Я засыплю угольной пылью огонь в плите.

— Ну, и устроишь взрыв.

Упрямство Симеона было непреодолимо; Одетта только вздохнула.

— Если в голову пришла какая-нибудь идея, это еще не значит, что ты можешь ее осуществить. Это безумие! Я не поеду в ссылку в Бретиньи. Лучше уж снять соседнюю квартиру.

— Так ведь она занята.

— Старая дама может ведь и умереть, а потом это же на нашей площадке.

— Не хочу, чтобы дети спали одни, без нас...

Жильбер снял очки; волосы у него были подстрижены ежиком. Клодина в своем платье в цветочек выглядела почти как маленькая женщина: кругленькая, с намечающейся грудью. Она вертела бедрами, проходя мимо зеркального шкафа, задвинутого в угол. Шкаф нельзя было открыть, пока не закроешь дверь в кухню, откуда был также ход на антресоли, где спали дети.

— Когда же у меня будет своя комната? — повторял Жильбер.

— Хочешь принимать девочек? — поддразнила его Клодина.— ...А потом ведь папа собирается устроить тебе загончик...

— Проще было бы поехать в «Грабы», полили бы огород. Ты мог бы сделать замеры...

— Нет, я сначала хочу знать, что мы будем строить, Дуду.

— Любой дом — это четыре стены.

— А как насчет индивидуальности?

— Какая там индивидуальность! Участок-то зажат между взлетными полосами аэродрома и железнодорожными путями.

— Мне это не мешало играть там в детстве.

— Лучше бы твоя бабушка построила там дом, а то, подумаешь,— площадка для игр...

— Дом — это как любовь: в нем надо поселиться, тогда и будешь больше времени там проводить.— Симеон засмеялся своей шутке. Потом вдруг рявкнул: — Давайте быстрее, надо успеть на поезд пятнадцать ноль пять.

— Там только общие вагоны.

Одетте, видимо, уже все надоело; она обернулась к детям:

— Вымойте-ка руки, ребята!

— Да они не грязные,— возразила Клодина, которая уже тайком подушилась из флакона матери.

— Когда выходишь из дому, всегда нужно мыть руки.

Одетта накрутила на голову тюрбан, который смастерила из куска старой материи. Жильбер открыл кран умывальника.

— Из него все время капает.

Клодина, стоя на цыпочках за спиной Жильбера, старалась привести в порядок прическу.

— Жди своей очереди, старушка.

— Я тебе не старушка.

— Ну, тогда — моя красавица...

— Я тебе не красавица. Мне это должны говорить другие. Ты так нарочно говоришь.

— Это еще не все — вот подожди я вымоюсь.

Клодина топнула ногой, потом попробовала зачесать брату волосы назад, но безуспешно.

— У тебя щетка на голове, почисти мне туфли.

Она позвала на помощь мать, и та, не торопясь, подошла, словно рада была опоздать на поезд.

— Я не могу застегнуть платье, а потом кнопки — они не держат.

— Дай вам десять комнат на двоих, вы и там умудрились бы ссориться. Подумайте о резервистах, которых призвали в армию.

— По-моему, Гитлер молодчага.

Жильбер получил здоровенную затрещину; слышно было, как он бормочет:

— Вот дерьмо, так дерьмо...

Отвернув до предела кран, он сунул голову в умывальник и схватил полотенце, которое у него тут же отняли.

— Это мое.

— Нет, голубое мое.

— Мама, он ругается нехорошими словами.

Кое-как собрались. Пора было спускаться в метро и ехать на Аустерлицкий вокзал. Клодина ворчала:

— В третьем классе скамьи всегда деревянные, у меня спина болит.

В этот час послеполуденного отдыха в купе было пусто. Солнце нагрело деревянные сиденья. Клодина ерзала, вставала, чтобы разгладить платье, снова садилась, тщательно оправив сзади юбку.

— Могли бы поехать в «Грабы».

— Увидишь их по дороге.

Клодина попросила отца выйти за газетами.

— Сегодня воскресенье — все закрыто.

Одетта никак не могла успокоиться:

— Правда, надо туда съездить. В огороде все так быстро сохнет. Фрукты покрыты сажей, из-за поездов...

— Так ведь теперь там ходят только электровозы

Симеон уложил свои удочки на полку; поезд неожиданно тронулся.

Брейе-Бу-дю-Монд, маленький городок, расположенный вдоль гудронированной дороги, затерялся в лугах, где в тени живых изгородей дремали светло-бурые коровы с широко расставленными рогами; пахло тиной, камышами, потому что зимой трава здесь всегда залита водой. Только у вокзальной площади с трехэтажным кафе-гостиницей, где стояли зонты и большие качели, был, как говорится, «приличный вид». Там на несколько дней расположилась ярмарка, аттракцион «Океанские волны», лотереи, тир, танцплощадка под тентом, куда устремлялась праздная молодежь, пившая прямо из бутылок дешевое шампанское, полученное в награду за участие в нелегкой спортивной игре — бросании колец. Аттракцион занимал всю площадь, но мотора не было, и карусель крутили безработные, одетые матросами. Получалось что-то вроде морской качки, девчонки визжали и перегибались через край, чтобы лучше разглядеть этих худых парней, распевавших песни, словно подгулявшие матросы. Девчонки бросали им земляные орехи.

Один парень заметил Симеона с его рыболовной снастью. Засунув руки в карманы, сдвинув фуражку на затылок, он крикнул:

— Послушай-ка. Орж перекрыт из-за мыловаренного завода — корюшку ты найдешь только в гостинице.

Симеон пожал плечами:

— Заткнись, рожа неумытая!

— Тоже мне, умытый, сучье отродье!

— Это твоя дочка? Аппетитная девчонка. Наверное, видит чёрта, когда смотрится в зеркало.

Жильбер заявил, что хочет пить, и потребовал безалкогольного коктейля.

— А то лимонад выходит через ноздри.

Одетта потащила за собой семью, которая уже начала разбредаться. Жильберу захотелось сыграть партию в тряпичные мячи; надо было целиться в кучи консервных банок.

— Это выброшенные деньги!

— Но деньги же из моей копилки.

Пошел дождь; о духоте, о потоках раскаленного воздуха тут же забыли; вдалеке грохотал гром.

— Зайдем в бистро.

— Отлично!

Но туда уже нахлынула толпа: не осталось ни одного свободного столика.

Симеон пристроил свои удочки у стены и стал смотреть, как разбухают, круглятся, темнеют облака.

— Не расстраивайся, Дуду, я закажу «Лилé», ты — анисовую; детям возьмем пива. Гарсон!

Но ни один официант не подошел, чтобы принять заказ. Стойку заслонила толпа юношей и девушек, которые толкались, держа в руках пустые бокалы, и ничего не заказывали. Только один пил мятный коктейль «Дьяболо». Это, наверное, был самый богатый из их компании потому что кто-то крикнул ему:

— Эй, Крез, угости-ка всех.

— А в задницу не хочешь?

— Твой отец продает туберкулезных коров.

Симеону было неуютно среди этого шума и беспорядка. Он смотрел в окно на праздничное оживление, которое постепенно затихало под дождем. Матросы с аттракциона «Океанские волны» укрылись в фургончике. Симеон повернулся к жене, которая попросила молодых людей, сидевших на скамье, подвинуться.

— Пожалуйста, мамаша, у тебя ведь на ногах вены, как водопроводные трубы,— сказал один из них.

По-видимому, парни застеснялись ее, потому что встали и прислонились к стене.

— Дуду, правда, шиферные крыши красиво?

— Под дождем — да, но на солнце они накаляются, как печка.

Одетта взглянула на мужа; он явно только что витал где-то далеко — казалось, мысленно жарил свой будущий улов. Когда шел дождь, его голубые глаза темнели, он сразу становился трогательным.

— Ну что, пойдем?

Какой-то парень принялся играть на губной гармошке. Другие в такт хлопали в ладоши — это был вальс на три счета; образовались пары, но им не удавалось попасть в такт фальшивой мелодии.

— Симеон, не выпить ли нам чего-нибудь горячительного, ну хоть «Виандокса» — он утоляет жажду.

— Что-что?

Шум был страшный; кто-то швырнул берет, и он попал Симеону в глаз. Дождь перестал, и кафе опустело как по волшебству. Только два глубоких старика продолжали сидеть за столиком: они исколесили весь свет и теперь предавались воспоминаниям.

— Я тебе говорю, на Суматре золото валяется под ногами.

— А я воевал в Гватемале. Убивал даже мертвых.

И все в таком роде...

Жена хозяина уселась наконец перед выдвижным ящиком своей кассы; она пожаловалась, что старики ей мешают, но они не умолкали.

— Это ведь не хуже, чем потерпеть кораблекрушение, правда, мсье?

Симеон согласился.

— Я плавал на кораблях, в которые вода набирается, а обратно не выливается.

Хозяйка сделала Симеону знак, чтобы он оставил их в покое. Потом повернулась к гарсону, который курил, сидя в углу.

— Ты совсем не смотришь, Жером, непонятно, кто платил и за кого.

Наконец вся семья молча принялась пить заказанные напитки.

Шум утих, воздух посвежел.

— Ты чувствуешь, Дуду, как мы далеко от Парижа? Тебе что больше нравится — черепица или шифер?

— Дай спокойно попить.

Одетта попросила горячей воды, потому что Жильбер посадил пятно себе на куртку.

— Ты просто притягиваешь пятна, идиот несчастный!

— Да ведь стол весь был залит лимонадом, мама; я облокотился...

— Надо смотреть, на что облокачиваешься.

Освещение стало очень красивым, контрастным; штукатурка домов, стволы деревьев, трава приобрели особую свежесть, поистине слепящий блеск.

— Мама, я хочу выйти.

— Да мы все уходим, сынок.

— А жаль,— сказала Клодина; ей хотелось послушать, что еще расскажут пенсионеры; они попросили карты и столик с сукном.

Семья вышла из кафе и прошлась по ярмарке, где снова началось оживление. Слышалось мерное ворчание большого барабана, тонкие звуки корнет-а-пистона, рев аккордеона, который неистовствовал, как неожиданно разбуженный зверь. Хозяйка лотереи снова принялась зазывать публику:

— Вот счастливый номер, вот он, браво, мсье, вы выиграли плюшевого щенка. У меня не тратят, у меня выигрывают. Кто унесет эти шесть тарелок из настоящего лиможского фарфора, или часы на пятнадцати камнях, или эти пять кило сахара? Подходите, удача вам улыбается. Вот еще счастливый номер...

— Возьмем билет, мама?

— Ты ведь знаешь, мне никогда не везет.

Симеон купил билет и выиграл гуся с серо-белыми перьями и костлявой грудью, который сердито бил крыльями.

— Держи его за лапки, вниз головой.

— Дуду, а что мы с ним будем делать?

Одетта с опаской смотрела на птицу; перья у гуся были жесткие, колючие.

— Когда им рубят голову, они потом еще бегут без головы. А что, если его отпустить?

Испуганная птица трепыхалась, полузакрыв глаза.

— Его можно зажарить.

— Я не смогу, раз я видела его живым.

Жильбер тут же придумал гусю имя.

— Успокойся, Клитемнестра...

— Откуда ты взял такое глупое имя? — спросила Клодина, которая шла впереди.— Эти гуси гадят повсюду.

Гусь клюнул Симеона в руку; тот выпустил птицу, и она убежала в кусты.

Они облегченно вздохнули, но каково же было их изумление, когда они увидели, что гусь повернул к ярмарке, очевидно направляясь к своей хозяйке.

— Вот гадкая птица, она приручена.

Все четверо свернули на первую попавшуюся дорогу. Ее обрамляли колючие кусты.

— Ежевика!

Несмотря на колючки, Клодина набрала ягод; они были уже черные и мохнатые.

— Противно, они растут там, где все писают,— воскликнул Жильбер.

Одетта ворчала: на этой непроезжей дороге приходится прыгать через лужи, иначе ноги промочишь.

— Где бы нам поглядеть на крыши?

— Пойдем в поле, оттуда лучше видно.

Они набрели на недостроенный дом. Но крыша, видно, была положена уже давно.

Оконные проемы закрыты упаковочной бумагой. Стены кирпичные, неоштукатуренные. Весь дом какой-то неопределенной формы — с его постройкой явно не спешили.

— Давай осмотрим его, Одетта.

— Зачем?

— Я хочу знать, как он построен.

Симеону пришлось опустить колючую проволоку изгороди, чтобы жена и дети могли перешагнуть через нее, не разорвав одежды. Снаружи была лестница без перил, цемент плохо застыл, ступени были перекошены. Пахло мокрой штукатуркой, дохлыми крысами; внутри было холоднее, чем на улице.

— Здесь хоть нет летучих мышей?

— Какая ты глупая!

— А может быть, совы?

Одетта побаивалась; она шла на цыпочках, продвигалась осторожно, малейший шорох ее пугал.

— Тебе это должно нравиться, Симеон.

— Видишь ли, Дудуша, это лучше, чем когда входишь в прихожую, где комната налево и комната направо. Нужно строить не по такому избитому плану.

Симеон обнюхивал каждый угол; он оставил удочки у входа и восторженно расхаживал по дому. Чувствовалось, что он счастлив, раскован. Он безбоязненно ощупывал стены, постукивал по ним. Ни единой подозрительной пустоты, ни единой трещины, хотя дом был заброшен и стоял под дождями и ветрами.

Симеон помогал жене перепрыгивать через лужи в комнатах — вода была зеленоватая, густая, вонючая. В углу кто-то оставил кучу щебня с лопатой. Пола еще не было, лежали только горбыли, на которые его должны были настлать. Одетта не знала, куда поставить ногу, и Симеон поддерживал ее с таким видом, словно пришел осматривать собственный дом. С чувством уважения он переходил из одной комнаты в другую.

— Нам нужна столовая именно такого размера.

— Может быть, это вовсе и не столовая.

— А как же иначе — сюда, между окнами, конечно, хотят поставить сервант или буфет. Взгляни на оконный проем!

В доме стояло зловоние — он, видимо, служил отхожим местом.

— В таких домах всегда воняет...

— Хозяин, может быть, умер от инфаркта.

— Почему от инфаркта? Мелешь неизвестно что.

— Я говорю, Симеон, что дом в таком состоянии без причины не бросают.

— Может быть, хозяева — цыгане, они никак не могли решиться переехать сюда. Здесь поблизости есть цыганский табор. Это дом кочевников.

— Почему ты так думаешь?

— Сам не знаю, но я это чувствую.

Симеон разорвал упаковочную бумагу, закрывавшую окна, и комнату залил свет, резкий, беспощадный, отразившийся в маленькой луже гниющей воды, полной разных отбросов — она, должно быть, служила помойкой.

Дети положили доски на заваленный щебнем пол и бегали по коридору.

— Замолчите, ничего не слышно.

Отец закатил пощечину Клодине, пнул Жильбера ногой в зад.

— Когда мы поселимся в своем доме, я не позволю вам так носиться, хулиганы вы этакие!

Одетта, словно ее осенило, вдруг повернулась к Симеону.

— А вдруг это из-за войны? Может быть, здесь застигли иностранцев...

— Война еще не завтра начнется. Посмотри на печь!

— А что?

— Да вот здесь, где топка.

Не оставалось никакого сомнения: в этом доме ели и спали. В углу лежал соломенный тюфяк, стояла печурка, сложенная из кусков листового железа, на веревке болталась вешалка для одежды; цемент почернел от дыма.

— Должно быть, хозяева, но они разорились...

— Так ведь здесь жить невозможно...

— Они не могли ждать.

Симеон закрыл глаза: он представил себе, как это было, радость сотрапезников, собравшихся в недостроенном доме.

— Смотри-ка, бутылка из-под шампанского!

— Так ведь она служит подсвечником, Симеон.

Появляются цыгане, звучат скрипки. Босая девушка пляшет, встряхивая головой, и волосы падают ей на лицо. Чудесный праздник, с жаровнями, с переборами гитары, с гортанными песнями. Молятся мадонне, оставляют ей часть сладкого пирога, это фиеста, рубашки мокры от пота, в саду полно цветов... Рвут охапки для молодоженов, для супругов, празднующих серебряную свадьбу. Так как пластинок мало, повторяют уже спетые песни, хор подхватывает припев... Вон тот комок смятой бумаги — это платок; они фотографируются. Цыгане уходят, держась за руки. Праздник окончен. Кто-то забыл старое пальто, края тарелок выкрошились, у вилки не хватает одного зуба, теперь пошел дождь, вытирают пол, баррикадируются, враг перед домом, солдаты в гимнастерках цвета хаки, они наводят пушку на строение. Разве можно стрелять по дому, который еще только рождается?..

— О чем ты думаешь, Симеон?

Симеон очнулся, ему холодно. Он шепчет:

— Хозяева, наверное, были здесь счастливы.

— Да ведь этот домишко заброшен, возможно потому, что он неправильно построен; неправильно заложен фундамент, где-нибудь скрытая трещина — в общем, что-то не так.

И правда, кирпич крошился, ветер кое-где сдвинул с места черепицу, но оставались стены, позеленевшие, поросшие мхом стропила, было ясно расположение комнат — да, восемь засыпанных песком комнат, у которых никогда не будет дверей.

— Довольно уж нам болтаться здесь, Симеон, ведь мы не дома...

— Но интересно же посмотреть своими глазами, как строился дом.

На крыше виднелся увядший букет и маленький изодранный флаг.

Вдруг они услышали шаги: кто-то поднимался по лестнице, волоча ноги.

Попались, точно крысы! Как объяснить это неожиданное посещение, их любопытство, как извиниться за то, что они перешагнули через колючую проволоку — их намерением тоже построить дом? Ведь это незаконное вторжение в чужое жилище! Симеон смутился. Этот рыжий гигант весь съежился, он был бы рад спрятаться в мышиной норе, стать невидимым.. Появился мужчина. Одетта испугалась его и вскрикнула.

— Вы что тут делаете?

— Но... Я... Мы...

В таких обстоятельствах поневоле начинаешь заикаться; слова не шли на язык, извиняться было слишком поздно. Симеон решил обратить все в шутку:

— Мы гуляли, увидели открытую дверь...

— Здесь нет дверей,— сердито ответил мужчина, кладя на пол тяжелый, кое-как перевязанный сверток в газетной бумаге.— Это мой дом. Вы у меня в столовой. Я знаю, каких она размеров: три метра в длину, два с половиной в ширину, а что до высоты, так она будет известна, когда появится потолок... Дальше идет гостиная главная комната, четыре и тридцать сотых метра в длину и три в ширину. Я не сплю где попало.

Симеон присвистнул от восхищения.

— Прекрасный дом!

А Одетта в знак одобрения щелкнула языком.

— Хотели бы мы иметь такой же.

— А я не хотел бы. Здесь слишком много водяных крыс и комаров.

И человек по-турецки уселся на свой сверток — бумага разорвалась. Показался остов цыпленка лапки. Дети убежали: их привлекала ярмарка. А дом в сером и скучном свете наступивших сумерек казался все более заброшенным.

— Летом здесь должно быть приятно, можно обедать на воздухе.

Одетта и Симеон потихоньку пятились к выходу. Они кивали, как бы выражая одобрение Этот человек, конечно, не был хозяином. Несмотря на удушливую жару, на нем было рваное пальто смятая шляпа, из-под которой, словно спутанные нитки, выбивались волосы Он сидел неподвижно: борода придавала ему зловещий вид. Почему он не снял зимней одежды? Он как будто ждал кого-то или чего-то.

— Вы мне не мешаете.— Потом с тревогой добавил: — Вы что, будете здесь ночевать?

— Нет-нет, мы просто гуляем.

Незнакомец смягчился, оттаял, вытянул ноги, обутые в старые солдатские сапоги. Стал держаться раскованнее.

— Я думал, вы пришли из соседней деревни.

— Почему?

— Здесь лежала мертвая королева цыган, а они бодрствовали возле нее. Она была вся засыпана цветами и солью, я видел. Это была ее лачуга. Они часто устраивают сюда паломничество. Подумайте только, она должна была выйти замуж и жить здесь, как все живут. А теперь они не будут достраивать дом. Вот я пока и укрываюсь здесь.

Одетта слушала историю дома, над которым тяготело проклятие. Незнакомец — должно быть, не здешний, очевидно, рабочий с ближайшей фабрики — избрал себе жилищем это строение, которое теперь составляло часть пейзажа и зарастало крапивой и малиной. Поселившись в нем, он возвращал дому видимость жизни. Он принялся разжигать огонь, чиркая спичкой, но из-за сквозняка дрова не загорались.

— Завтра повешу мешковину, закрою вход. Мало ли что может случиться.

Одетта и Симеон вышли в сад; тропинку, ведущую к лестнице, загораживал пень. На всем снова лежал отпечаток первозданности рая.

Наступал вечер. Симеон взял свои удочки, черпак; по правде сказать, эти снасти скорее годились для берегов Сены, а не для этой струйки бурой воды, текущей среди трав: Орж можно было различить только благодаря тополям, росшим на его берегах. Одетта обернулась, чтобы еще раз взглянуть на дом без хозяина, который скоро исчезнет, как исчезают развалины: плющ все крепче сжимал его в объятиях.

— Симеон, этот дом похож на какое-то животное, посмотри, как будто чья-то морда.

— Меня бы он вполне устроил.

— А меня нет. По-моему, пожар только принес бы ему пользу.

Симеон так и не поймал ничего — ни уклейки, ни пескаря. Он уже жалел, что решил строиться. Стоит ли верить в силу времени, в достижения веков, в человеческий труд, способный победить случай, в благодать крыши над головой? От жары над полями и болотами поднимался туман, оседал над деревней, которая потеряла все свое очарование. Только окна сарая, где хранился корм для скота, горели на закате.

— Скоро ничего не станет видно, Симеон. Мне страшно.

— Отчего?

— Да этот дом, почти новый и уже старый, навел на меня тоску. Где дети?

Они отыскали их в тире. Жильбер выиграл огромный бумажный цветок, а Клодина, устроившись в подвешенной на цепях люльке, мчалась с бешеной скоростью на карусели. Какой-то весельчак все норовил повернуть люльку так, чтобы цепи перекрутились. Клодина визжала, но подвыпивший молодой человек не отставал и раскачивал ее изо всех сил.

— Идемте скорее, дети, поезд уходит через четверть часа.

— Уже?

Клодина и Жильбер, возбужденные, с сожалением оторвались от этих дешевых забав: их мало интересовал пейзаж, родные места, деревенские крыши! В ожидании поезда они подталкивали друг друга локтем. Клодина без умолку болтала, не особенно вникая в смысл своих слов:

— Вы покупаете этот дом? Выгодное дело: хозяин помер в больнице, а его жена снова вышла замуж на Севере.

— Кто тебе это сказал?

— Не помню, но этот дом знаменитый. Теперь его называют «домом влюбленных».

Воскресный вечер — всегда трудное время. Симеон выговаривал Клодине:

— Ты что, в халате на голое тело?..

— Не могу, мне очень жарко.

Ели мясной салат. Жильбер злился, что нет огурчиков. Одетта жаловалась на то, что никак не может избавиться от запаха, царившего в том доме.

— Тебе бы следовало заочно обучиться переплетному делу. Существуют же такие курсы.

— Бедняга Симеон, ты думаешь, мне больше нечего делать.

Одетта убрала со стола, так как Симеон заявил, что ему нужно много свободного места. Он развернул лист купленной чертежной бумаги и приколол к столу кнопками.

— Не хватает только теперь испортить стол...

— А где же мне работать?

Одетта оставила его в покое.

— Дуду, у меня идея.

— Только не сейчас, я ложусь и тебе советую сделать то же.

Открыли окна во двор, чтобы проветрить квартирку; появились жуки. Жильбер сладострастно давил их.

— А ведь у нас нет деревьев.

После жуков прилетели две мухи и стали кружиться вокруг висячей лампы.

— Знаешь, мама, существуют пистолеты для мух.

Мухи обжигали себе крылья, ударяясь о лампочку под абажуром.

— Оставь их в покое, только грязь разводишь.

— Не идет сон, прямо хоть поезжай в Камерун за сонной болезнью.

Каждый улегся, не думая ни о чем. Вдали ворковали старые голуби.

— Ты видела «Иллюстрасьон» от двадцатого мая?

— Дай-ка мне его, Симеон.

— Вечером поговорим об этом. Отвратительный день понедельник!

День был длинный и, как всегда, прошел однообразно и в спешке. Солнце пряталось, облака были такие, как будто наступил конец света. Радио врало изо всех сил: оказывается, конфликт, возникший в мае тысяча девятьсот тридцать восьмого года между Германией и Чехословакией, уладился мирным путем; Одетте не нравилась отвисшая губа властолюбивого Лаваля, который разыгрывал идеальную любовь с Италией. Она написала Терезе Нойман, ясновидящей из Баварии, которая плакала кровавыми слезами — на Одетту это производило сильное впечатление. Она говорила, что ясновидящая похожа на ее старую тетку Леокадию, которая тоже жила предсказаниями. Впрочем, Одетту успокоили слова Мориса Першерона, заявившего, что «французскому руководителю везет... Генерал Гамелен[1] всегда выигрывал». Все восхищались выступлением Поля Рейно[2], который воскликнул в палате: «Прошу вас, господа, не забывайте, что Франция сильна».

Симеон был рассеян, и цифры разлетались у него перед глазами, как стая воробьев. Он быстро позавтракал в столовке, потом посмотрел на часы, которые лежали у него на столе; время застыло, как и телячья котлета, которую ему подали еле теплой. Наконец наступил вечер. Пообедали наскоро, как того потребовал Симеон. Со стола убирали дети: они принесли плохие отметки и хотели загладить свою вину.

Супруги открыли номер «Иллюстрасьон», посвященный жилью, и перед ними предстали волшебные картины: дома, виллы, многоквартирные здания — словно они все это видели во сне; один из них переворачивал страницы, предварительно спросив у другого, все ли тот успел посмотреть. Небо было голубое, зелень блестела, пестрели цветы, разбросанные по клумбам в живописном беспорядке.

— Ты видел этот дом со светло-бежевой гостиной?

— А эти террасы, Дуду, которые выходят на пруд?

Комнаты, будуары, красиво распланированные сады, букеты в вазах, уголки у камина, украшенные цветами террасы, «деревенские» столовые — какое утонченное умение в устройстве этих элегантных, горделивых жилищ, какое совершенство форм!

— Посмотри на эту бывшую конюшню, превращенную в гараж!

— Дуду, как ты думаешь: не сделать ли нам крышу с коньком; а проемы дверей и окон расширить и чтобы непременно было крыльцо? Можно разбить клумбы, поставить арки, увитые розами... А если построить в баскском или провансальском стиле? Видишь, что нам здесь советуют: возвести каменный фундамент...— Симеон вдруг оборвал сам себя, шлепнул Клодину.— Ты перестанешь, наконец, чесать себе руки, наживешь какую-нибудь болезнь! Посмотри лучше на этот дом из песчаника в Понт-Авене...

Картинки мелькали перед глазами, составляя причудливый город, построенный хоть и не в одном стиле, но пленявший взор разнообразием оригинальных крыш, нежной «патиной» черепицы различных тонов, единством красок и «смиренной красотой», как говорилось в статье. «Хорошо бы иметь дом в каждой деревне,— думал Симеон,— чтобы можно было остановиться там, отдохнуть, если вечером одолевает тоска...» Они

[1] Гамелен Морис — генерал, командовавший в 1939—1940 гг. сухопутными союзными войсками во Франции.

[2] Рейно Поль (1878—1966) — французский политический деятель.

замирали от этой гармонии и совершенства пропорций, облизывали губы, как лакомки, когда, словно по волшебству, перед ними открывались двери нового жилища.

— Симеон, надо бы сделать крышу с наклоном.

Теперь они рассматривали загородные дома в Ла-Бо́ле, в Турени, в Савойе, в Ландах, в Бретани, для этих строений не существовало ненастных времен года, ураганов, изморози. Они были вечные, не подверженные изменениям — тут уже не задумывались о стоимости, не страшна была и война, ужасы бомбардировок, вроде той, что изувечила Шанхай; дома бросали вызов времени, износу, дурному вкусу Одетта и Симеон подняли головы и посмотрели друг на друга, ликуя, сбросив с себя бремя повседневности; так легко было жить богато, соглашаться на любые затраты, не боясь, что денег не хватит до конца месяца.

— Посадим гортензии.

Потом:

— А ты подумал о ткани для обивки мебели? Я бы хотела занавески из узорчатого шелка...

Клодина перебила мать:

— Нет, из кретона в цветочек.

Они снова погрузились в чтение журнала. Их так влекло богатство интерьеров, роскошь мебели, что свой проект они не считали ни безрассудным, ни баснословным. Все представлялось им естественным, было в порядке вещей; они владели тем, чего хотелось.

— Я бы хотела кухню с полным электрическим оборудованием, а главное, с водогреем и холодильником. И еще мусоропровод и ванную с трельяжем.

— Для всего этого не хватит места, моя курочка. Я строю дом из пяти комнат.

— Ты хочешь, чтобы была плита, да или нет? А погреб будет?

— Нет.

— Где же мы станем держать бутылки?

Одетта повела плечами, удивляясь непредусмотрительности мужа.

— Надо же где-то держать вино — ты ведь не прочь выпить...

— Так ты, может, хочешь дом из бетона и сводчатый погреб, и еще вентиляцию в придачу?

— Значит, у нас не будет погреба?

— Теперь погреба нужны только на случай бомбежек. Погреб — это бомбоубежище.

— Но камин-то все-таки будет — приятно ведь, когда горят дрова?

— Да, и ватерклозет с выгребной ямой — это предусмотрено.

Послышался иронический голос Жильбера, голос плохо воспитанного школьника; он быстро повторял:

— Гадить твердым, гадить мягким, гадить всяким, но в дыру...

Он получил две увесистых оплеухи и в бешенстве тихо выругался:

— Дерьмо, дерьмо, дерьмо...

— Замолчи, негодник. Мы говорим серьезно, а ты несешь всякую чушь.

Одетта резко повернулась к Симеону, тот снова начал перелистывать специальный номер журнала.

— У меня идея. Почему бы нам не сделать соломенную крышу?

— А пожары?

— Можно пропитать солому противопожарным составом.

— Да, но там заведутся насекомые, грызуны какие-нибудь.

— С этим можно бороться. Достаточно пылесоса и хорошего кота. Не забудь про шум от канализации.

— Да ведь я не вчера родился.

Симеон закурил сигарету, потребовал пепельницу.

— Все хорошо, милый, но где мы добудем денег?

— Для тех, кто решает сам, своими силами строить дом, выдается ежегодное пособие, которое можно получать в течение пятнадцати лет. Государство возможно, согласится взять на себя выплату значительной части процентов, а сами эти проценты вычитаются из налога на доходы с арендной платы за жилье. Существует система кредитования строительства, я изучил ее, я действую не очертя голову, я читал об этом. Надо обратиться в Генеральную кассу промышленности и строительства. Там объяснят, какие льготы предоставляет нам государство.

Симеон положил руку на руку Одетты, которая переворачивала страницы, не мусоля пальца: глянцевая бумага внушала ей уважение.

— В сущности, затраты будут небольшие, моя козочка.

— И все-таки немалые. Послушай, у меня хорошая мысль: что, если повесить на окна легкие занавески, знаешь, из нейлона, чуть переливчатого — это гармонирует со всем остальным и в то же время строго. Надо заменить радиоприемник. Возьмем цвета слоновой кости, пятиламповый, на разное напряжение и со светящейся шкалой. Я подумала также об ограде: она должна быть декоративной; а у тебя будет глубокое кресло, прочное и удобное, обтянутое свиной кожей. Посмотри-ка на эту рекламу, потрясающе. Почему бы нам не построить дом, который потом можно будет увеличивать?

— ...По мере увеличения семьи,— подхватил Симеон.

Было уже одиннадцать часов вечера; дети улеглись спать, они уже давно зевали, чувствуя, что родители сейчас где-то очень далеко от них...

— У тебя никогда так не блестели глаза, курочка...

— Как хорошо будет заснуть в своем доме.— И повторила:— Как хорошо!

Около полуночи Одетта ущипнула Симеона за руку: она заметила, что его уже не занимают ни ее взгляд, ни ее губы, и она крепко сжала их. Симеон проворчал что-то.

— Ты спишь?

— Да, сплю. Завтра мне выводить жалованье, Дудуша.

— А ты не мог бы запроектировать бельевую?

— Глупышка. Ну вот, я и разгулялся. Приготовь мне чашку кофе.

Одетта тихо сказала:

— Я теперь тоже превратилась в дом.

— А если тебя мобилизуют?

— Как только что-нибудь не клеится, так ты сразу про войну. Думаешь, это тревожит Францию? У нас есть линия Мажино. Между прочим, из нее можно бы сделать хорошенькие пригородные домики...

— Замолчи, подумай о солдатах, которые уже в действующей армии.

— А я чем не солдат?

— Ты моряк, это другое дело. Ты в запасе первой очереди. Тебе почти тридцать шесть лет, у тебя двое детей.

— Скажи уж сразу, что я старый хрен.

— Не люблю войну, из-за нее столько вдов и сирот.

— Ты только и говоришь что о войне. Тебе что, не хватает кофе или сахару? Знаю, ты предпочла бы собственный автомобиль с хрустальной вазочкой для цветов. Мадам хотела бы выходить из машины, как на конкурсе в Биаррице или Довиле, с китайскими собачками... Но, боже мой, раз я задумал строить...

— Будешь строить один?

— Нет.

В уголках глаз у Симеона прятались лукавство, задор, которых не потушила работа с трех до восьми. Он стоял у радиоприемника, повернул пластмассовую ручку. Послышался свист, потом все затихло.

— Ах, черт, лампа перегорела. То ли дело детекторные приемники!

Одетта скромно сидела возле него, скрестив руки на груди: она чуяла по поведению супруга, что он скрывает какую-то тайну, которую ей не отгадать.

— Ты, кажется, что-то сказал?

— У меня для тебя сюрприз.

Симеон насвистывал печальную мелодию Фрегеля. Одетте не нравились высыпавшие у него веснушки, его самодовольный вид, его жесты.

— Ну так в чем же дело!

— Не торопись.

На следующее воскресенье Симеон пригласил свою сестру Симону и зятя по фамилии Дедьё. Гербов у него никаких не было, зато был значок на баскском берете, сдвинутом на ухо. На работе — а он был докером — Дедьё повредил ногу канатом подъемного крана. Дедьё был уже на пенсии, когда уехал из Гавра; у него на камине красовалось произведение искусства, подаренное ему товарищами: бронзовый пахарь с лошадьми, тащившими плуг. Время от времени он получал посылки — товары из-под

полы: марокканские сардины, замороженные куски баранины и т. д. Дедьё умел зацепить крюком мешок и потихоньку распороть его. В семье он слыл за дворянина, так как утверждал, что его фамилия состоит из двух частей и «де» — это аристократическая приставка. Товарищи в порту прозвали его Бон-Дьё-де-Дьё [1].

Одетта застыла от изумления, потому что вот уже несколько месяцев обе семьи не встречались. Дедьё просто бредил Гитлером и его планом завоевания Европы. Спорили безрезультатно, даже пропустили субботний фильм, который обычно смотрели в маленькой комнатке, куда входили только в домашних туфлях. Разгорячившись от вина и еды, каждый дал волю своему гневу; все с возбуждением обсуждали мрачное будущее великого рейха, который кромсал государства, не пытаясь убедить их в правоте своей политики.

— Симеон, ты отстал от жизни. Германия и Италия — это настоящий социализм на практике.

— Это мафия. У них острые зубы, и свои планы они осуществят за счет рабочих.

— Но, черт возьми, болван ты несчастный, если не надеяться на что-то великое, то в чем же тогда радость жизни?

— Я вовсе не хочу подохнуть ради этих двух вонючих кривляк... А что ты скажешь о Данциге? Они повсюду, словно вши, лезут даже к вам под рубашку.

И так продолжалось весь вечер, пока не включили радио и эти двое бесноватых не захватили полностью эфир, как они захватывали территории.

— Увидишь, как будут реагировать Даладье и Чемберлен, это его прозвали Зонтиком бригады [2].

— Они будут поднимать волну, а заливать будет нас.

Дедьё хохотал над своими плоскими шутками. Организация «Огненные кресты» [3] служила ему оправданием будущих деревянных крестов.

— Кончится тем, что ты получишь красивый Железный крест, Дедьё.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Кстати, ты читал «Историю военного мундира» — большущий том с цветными иллюстрациями?

Симеон напевал:

— Я штатский, в том вся моя слава...

— Мы пригласим их на воскресенье, Дудуша.

— А зачем нам с ними встречаться? Мы даже не обменялись поздравлениями.

— Ты приготовишь цыпленка по-охотничьи, с шампиньонами.

— Он им не понравился.

— Тем более им будет стыдно отказаться, а потом мне это нужно. У меня есть план, вот увидишь.

Точно в назначенное время Симона и Дедьё явились на улицу Амели Дюпон дом 45-а, в квартиру на четвертом этаже с окнами во двор; в руках у них были искусственные цветы, конфеты и пачка книг.

— Это знак внимания, просто знак внимания,— сказала Симона, которая получила эти огнеупорные ромашки в благодарность за покупку каких-то товаров.

Клодина с жадностью схватила романы.

Одетта была в своем цветном платье-переднике, а Симеон в старом комбинезоне, сохранившемся у него с того времени, когда он работал в техническом училище. Встреча проходила натянуто, молчание прерывалось лишь односложными словами, замечаниями о погоде. В воздухе носился ледяной циклон, и атмосфера не разогревалась.

— В сущности, глупо так редко встречаться, когда надвигаются такие события...

— Ты права,— ответил Симеон.— В несчастье надо держаться друг друга.

При слове «несчастье» Дедьё передернуло. Жена толкнула его локтем.

— В самом деле, страна устала от того, что ею правят разные партии.

— Сильная рука — вот что нам нужно, сильная рука...

— Кстати, как твои руки?

Дедьё жаловался на суставной ревматизм. Он повторял: «Только бы это не помешало мне воевать...»

[1] Буквально: божий боженька.

[2] Чемберлена всегда изображали на карикатурах с зонтиком.

[3] «Огненные кресты» — военизированная фашистская организация во Франции в 1927—1936 гг. Основана полковником де ла Роком в 1927 г. как объединение участников первой мировой войны.

Сели за стол: часы пробили полдень. Переменили клеенку. Каждый взял с собой свой стакан, чтобы выпить последний глоток уже за столом. И все продолжали держаться вежливо, но не более. Обе семьи словно выслеживали друг друга, несмотря на обмен любезностями. Клодина попробовала кисленькие конфеты, принесенные Симоной, а Жильбер разрезал страницы Альфонса де Шатобриана, изданного в серии «Книга завтрашнего дня» и тоже подаренного Дедьё. Атмосфера стала теплее, разговор свободнее, голод оказался сильнее неприязни.

— Где ты покупаешь сельдерей?

— У Феликса Потена.

— Бычья голова превосходна.

— Я ее сама готовлю — и селедочное филе тоже.

— А рубленые яйца как у тети Леокадии...

— Это мой муж делает майонез.

Говорили о болезнях: «Даже Гитлер сейчас в таком физическом и моральном состоянии, что это вызывает серьезные опасения», и т. д. Отдали дань слухам о всяких напастях (в Жиронде наблюдалось, например, необычайное изобилие стерляди), поболтали о чужом горе, но никто не решался завести разговор о том, что мир, в котором они живут, крайне неустойчив и стоит на грани великих потрясений. Никогда еще не бывало, чтобы столько преступников оставалось безнаказанными. Говорили о солдате, потерявшем память во время войны 1914—1918 годов и бродившем по свету в поисках своего батальона. Читали «Пари-суар», и в первую очередь — отдел происшествий: историю про дикую утку, изжарившуюся в моторе самолета. Порицали адюльтеры, расхваливали обстановку под старину, полагаясь на вкус торговцев.

— Я покупаю всегда в одном месте,— сказала Симона,— они уже знают мои привычки и предлагают то, что мне нравится, а еще я собираю на «подарок тридцать девятого года».

— А что это такое?

— При каждой покупке мне дают марки, и когда я заполню ими восемь книжечек, то получу к рождеству подарок...

Настроение поднималось. Накладывали по второй порции цыпленка по-охотничьи; надо было быстрее приступать к делу, потому что желудок у Дедьё был такой же капризный, как и характер.

— Знаешь, Дедьё, я собираюсь построить себе дом.

Дедьё встал, выпятил живот и, по-видимому, довольный услышанным, самоуверенным тоном произнес:

— Наконец-то ты со мной согласился: надо всегда работать для будущего.

Он выпил за здоровье Симеона, ибо:

— Если партия должна быть сыграна, не надо откладывать. Свой дом — это лучший урок Истории.

Он снова уселся, развязал галстук, шнурки ботинок, разулся; носки у него были трехцветные.

— А где же ты строишься?

— В Бретиньи, участок называется «Грабы».

— Но там ведь совсем мало места.

— Более двух тысяч метров, к тому же я могу расширить свои владения.

— У тебя там с одной стороны железная дорога, а с другой — самолеты.— И добавил со смехом:— Зато все средства сообщения у самой двери.

Симеон снова наполнил бокалы, уговаривая попробовать куриную гузку (она сочнее, чем белое мясо).

— Прошу вас, возьмите еще. Вы мало себе положили. Шампиньоны свежие.

— Одетта, признайтесь, вы добавили мадеры?

— Только две ложки, это придает особый вкус.

Им почти нечего было сказать друг другу, но под влиянием вина любая мелочь вызывала препирательства.

— Мадера в маленьких количествах вредна. От нее только пьянеешь и тупеешь.

— Ну что вы придумываете! Она лишь придает вкус.

— Мадера заражена со времен испанской войны: виноград там растет среди трупов.

— Он растет на солнце. А потом, мадеру делают и во Франции.

Теперь уже все считали нужным высказываться, будь то «за» или «против», каж-

дый настаивал на своем, разговор принимал недоброжелательный характер: казалось, еще слово — и вспыхнет война.

— Я знаю богатых, которые бедны, и бедных, которые богаты.

Симона мяла ложкой мороженое с фисташками, чтобы оно быстрее таяло.

— Господи, до чего твердое мороженое!

Дело опять принимало скверный оборот, однако Симона продолжала:

— Там, где я работаю, один дворянин служит курьером.

— Дворяне всегда остаются дворянами. Они и говорят по-особому, и ведут себя не как все — это уж на всю жизнь.

— А снарядов они боятся не меньше, чем любой деревенский парень.

Дедьё подумал, что его хотят поддеть; он добавил:

— Благородство не в частице «де», а в чувствах.

Одетта пустила по кругу тарелку с печеньем.

— А потом, они всегда получают наследство.

Согласились выпить грушевой водки. Симеон понял, что пора продолжить разговор.

— Дедьё, по-моему, ты прав. Не надо думать, что мир непрочен. Напротив, надо поступать так, будто войны не будет.

— Ты прав, Симеон. Оставим дворян в покое и будем довольствоваться своим скромным положением.

И тут Симеон проговорил каким-то сладким, слабеньким голоском:

— Дедьё, ты мне нужен.

— Ты всегда знаешь, где меня найти.

— Моя жена вбила себе в голову, что ей необходим дом, я уже говорил тебе.

— Я? — воскликнула Одетта.

— Да, и ты, и я. Мы больше не в силах жить в этой душной квартире, здесь можно заболеть туберкулезом. Дети хиреют, нервы у всех напряжены... Вечерами — просто ад. О какой любви тут может идти речь?

— Не преувеличивай,— остановила Одетта мужа, который слишком уж разошелся, описывая их тяжелое положение.

— Короче говоря, мы собираемся строиться. Можешь ты нам помочь?

— Да ведь у меня нет ни гроша.

— Не деньгами. Мне нужны руки, голова. Мы сами будем строить свой дом, все вместе.

— Я не могу уделить тебе столько времени. Все свободные часы я посвящаю «Огненным крестам»... И потом, у меня больная нога...

— Но ведь такой дом, как наш, займет у тебя всего несколько часов в неделю. В дождливые дни мы не будем работать.

— А что ты хочешь, чтобы я делал?

— Почти ничего — просто помогать мне, подавать материалы...

— Так ведь я в этом ничего не смыслю: тут нужны специалисты.

— Всему можно быстро научиться — я же сделал сам чертежи.

— У тебя есть архитектор?

— А зачем? Маленький дом — он сам будет держаться. У меня есть все необходимые инструменты, будут строительные материалы. Четыре стены и крыша — это ведь нетрудно. «Когда дом строится, все идет как надо»[1]. А насчет окончательной отделки можно спросить у профессионалов.

— Это будет тянуться месяцы, может быть, годы и обязательно кончится хорошим воспалением легких. Помогать тебе — да ты отдаешь себе отчет, о чем ты меня просишь?

В эти послеполуденные часы сентябрьский воздух нежил и успокаивал; небо казалось более серым, чем обычно,— лишь на дальней крыше лежала полоска неяркого солнечного света. Симеон сжал зубы, партия была проиграна.

— В такой день, как сегодня, работать одно удовольствие. Я убежден, что тебе необходимо немного изменить жизнь. Однообразие расслабляет...

Дедьё, наконец, понял, чего хотел Симеон: подчинить его своей власти, сделать из него примерного рабочего, какой подлец! Это настоящий анархист. Использовать других ради собственной выгоды...

— Ты что, смеешься надо мной?

— Почему?

[1] Из песни Мориса Шевалье.

— Чтобы я строил дом для тебя — а почему не для себя?

— Потом и я мог бы тебе помочь.

— Все это детские разговоры. Вбей, наконец, в свою дурацкую башку, что скоро начнется война: у меня сведения из первых источников... У де Рожа всюду друзья, всюду уши... Лучше уж сразу строй развалины.

— Значит, ты не хочешь?

— Чего?

— Помочь мне.

— Помочь, помочь, а ты подумал, о чем ты меня просишь? Я ничего не понимаю в строительстве. Я могу помочь перестроить Европу, но лачугу... Это несерьезно, черт тебя побери!

— Существуют книги, я знаю, как закладывать фундамент, умею приготовить раствор цемента... В общем, ты сдрейфил, да?

Лучше бы он этого не говорил. Дедьё принужденно засмеялся. Симеон наблюдал за сестрой: ей, видимо, было не по себе; Одетта объясняла ей рисунок для вязания. Симона прошептала:

— Ох уж эти мужчины!

Дедьё молчал, казалось, размышляя; он старался не смотреть на шурина.

— У меня не такое здоровье, чтобы я мог взяться за тяжелую работу на воздухе.

— Я понял.

— Что ты понял? Я тебе не отказываю, но из-за моей профессии мне приходится остерегаться.

— Ты же на пенсии.

— Я работаю больше, чем прежде.

— А где?

— В банке, курьером. Я себя не жалею, все время на ногах.

— Ты расхаживаешь со старым пустым конвертом в руках и делаешь вид, что очень занят.

— Не издевайся над калекой. Кстати, я повредил ногу, когда разгружал русское торговое судно. Поэтому лучше не говори мне про твоих друзей из Советского Союза.

Да, все пропало, пропало окончательно. Дедьё демонстративно посмотрел на часы. Симеон хотел бы раздавить его, как клопа, но приходилось сдерживаться, притворяться, что ему все безразлично, искать опору в своей гордости, как это делает тот, кому больше нечего терять. Дедьё лихо надел берет.

— Уже четыре часа.— Затем, повернувшись к Симеону, промолвил:— Я не помогаю людям, я их поддерживаю.

Симона не понимала, почему муж так заторопился. Она надеялась пробыть здесь до вечера, доесть остатки цыпленка, маринованные овощи и кстати сэкономить у себя дома газ — так приятно бездельничать за столом, развалиться в кресле с рюмкой в руке, пить, пока не затошнит.

— Ты уже хочешь ехать, дружок?

— Надо еще заглянуть к брату.

— Так он ведь хорошо себя чувствует...

— Да нет, он очень удручен. Он нас ждет. Бедняга подвернул ногу, когда шел на лекцию полковника. Как раз на сгибе, где соединяются большая и малая берцовые кости. Рентгеновские снимки не показали перелома, но я все же беспокоюсь. Долг перед семьей важнее постройки дома — это нужно понимать.

Симеон, не говоря ни слова, вышел из комнаты, но тут же вернулся с рулоном бумаги в руках. Его горячность не уступала упрямству. Он потерпел неудачу, но решил довести дело до конца. Дедьё — мерзкий тип, его надо уничтожить морально, раз у него нет ни капли великодушия.

— Я покажу тебе чертеж.

— Послушай, дружище, не сейчас. Это не к спеху. Боюсь, как бы война не помешала твоему увлечению.

У Дедьё снова появился этакий непримиримый и насмешливый вид.

— Вместо того чтобы чертить планы, сделай макет. Будет понятнее. Около Академии искусств есть магазин, где продаются маленькие деревья, очень похожие на настоящие. Ты их приклеишь вокруг макета твоего дома. Прекрасное занятие.

Тогда, разгневанный увертками зятя (чей профиль напоминал лезвие ножа),

раздраженный этими бритыми щеками, бегающим взглядом, который так не вязался с твердостью его убеждений, Симеон молча отворил дверь.

— Симона, ты забыла перчатки.

Одетта холодно поцеловала невестку. Наскоро простились.

— Дедьё, смотри не опоздай из-за нас! — воскликнул Симеон.

— До скорого, Симона!

— Мы-то с тобой еще увидимся.

Симеон схватил руку Дедьё и тряхнул ее.

— Твой Муссолини вскружил тебе голову. Подожди, я его встречу танками, а его приятеля, мюнхенскую обезьяну, швырну в Венсенский зоопарк. За линией Мажино сосредоточено немало танков. Я буду счастлив, когда они пойдут в атаку. А что до Гитлера, так ему надо морду вымазать краской — это все, чего он заслуживает, а ты, Дедьё, ты шпик, ты шпик...

Симеон дико расхохотался и, обессиленный, упал в кресло.

— Черт бы побрал эту цистерну. Они не теряют времени зря.

Симеон остановился с открытым ртом — он приехал на свой участок с Одеттой и детьми, которые нехотя тащились за родителями. Эти семейные прогулки не доставляли им никакой радости. «Грабы» были для них слишком малы; они мечтали о широких просторах и часто посматривали в сторону взлетных дорожек, находившихся всего в нескольких сотнях метров от них. На участке не было травы — все место занимали огород и фруктовый садик. Клодина уже не играла в куклы, а Жильбер перестал наслаждаться приятным бездельем.

— Нет, это похоже на силосную башню. Видишь, там леса.

— Это резервуар. Они не имеют права строить рядом с жилыми домами. Он закрывает нам всю долину, свинство этакое! А потом, ты чувствуешь запах?

Одетта пыталась успокоить мужа, расхаживавшего по дорожке, обсаженной гвоздиками. Он то и дело бросал взгляд на огромную черную башню, еще покрытую лесами.

— Они погубят мои растения.

— Нет, сюда не дойдет.

— Начинается всегда так, а потом возьмут и заберут наш участок.

Пролетел самолет, потом второй — конечно, испытательные полеты. Казалось, машины были тяжелые, трудно управляемые. Настоящие потревоженные шмели.

— Вот увидишь, когда-нибудь такой налетит и на нас.

— Теперь все военное.

— Не дает им покоя наша нужда, как и наши богатства.

— Да нет, они сейчас, судя по газетам, снимают витражи в Шартрском соборе и в Нотр-Даме.

Клодина несла корзину с провизией; она открыла сарай для инструментов и, не оборачиваясь, крикнула:

— Лучше бы ты построил нам убежище.

Одетта привезла груду еще мокрого белья. Все помогали ей дотащить его до сада... Здесь она развесила на проволоке рубашки, кальсоны, носки, прикрепив их деревянными защипками. По ее словам, на воздухе белье быстрее сохнет и отбеливается. Ехать с этими узлами было нелегко: вода просачивалась сквозь ивовые прутья корзин, немного даже капала.

— Помогите-ка мне!

— Знаешь, люди вокруг нас посмеивались...

— А где мне сушить белье? За окнами, как у этих итальяшек?

Она не решилась привезти простыни: они заняли бы слишком много места; взяла только нательное белье.

— За час все высохнет.

В поезде Клодина все время ворчала, в особенности когда какой-то мальчишка выдохнул ей прямо в лицо сигаретный дым; она не посмела выругать его, боясь привлечь к себе внимание, но прямо на ходу поезда открыла дверцу вагона, чтобы подышать свежим воздухом. Его насмешливый взгляд оскорбил ее. Ей послышалась такая фраза:

— Проветриваешь грудки?

Клодина, вздохнув, вернулась на свое место.

— Все на нас смотрят.

— Ну и что? Мое белье чище того, что у них в чемоданах.

Теперь оно колыхалось на ветру, и Одетта часто подходила пощупать его, чтобы проверить, насколько оно высохло.

Было почти жарко; синицы уже улетели, осталась только стайка стрижей высоко в небе. Не слишком пугливые сороки ждали, пока Симеон вскопает сад: тогда они смогут приняться за поиски червяков и муравьиных яиц. Вихрем прилетели воробьи и расселись на реденькой живой изгороди.

Но бедный Симеон опустился на примитивную скамью, которую он смастерил из железнодорожной шпалы,— тяжесть собственного тела давила его.

Одетта тоже села возле своего несчастного супруга.

— Как ты думаешь, они еще поставят такие резервуары?

— Почем я знаю?

— Это газ, похоже на газгольдер.

— Да, наверное. Посмотри, вон лестница, чтобы ходить проверять давление.

— Да, ничего себе подарочек. Если б можно было все предвидеть.

Листья на вишне желтели, опадали; кое-где цвели анютины глазки, гвоздика, георгины — их тяжелые головки гнули стебли к земле. Одетте захотелось сказать мужу что-то приятное:

— Где ты поставишь дом?

— Теперь уж и не знаю. Газгольдер виден отовсюду.

— Лучше уж это, чем кладбище.

Она пыталась вернуть мысли мужа к его грандиозным проектам.

— Ты должен учесть, что дом будет нагреваться за день. Его нужно ставить фасадом на восток, тогда спальни окажутся на солнце, это полезно для здоровья.

— Но, идиотка ты этакая, тогда у тебя будет вид на газгольдер.

— Привыкнем. И откуда мы взяли, что это газгольдер?

— А запах?

Тут Симеон в бешенстве швырнул лопату; он чуть не попал в Клодину, которая всегда оказывалась там, где не надо.

— Газгольдер это или нет, но если он взорвется, мы первые взлетим на воздух.

— Посадим перед домом несколько итальянских тополей; они растут быстро, и потом, они высокие.

— А если начнется война, то будут целиться в газгольдер.

— Ну, знаешь, тут уж ничего не поделаешь.

Симеон взял жену под руку и шепнул ей на ухо:

— Я все равно буду строить дом.

Клодина и Жильбер ссорились — каждый на отведенном ему кусочке земли.

— Послушай, что-то свистит.

Но Одетта рассмеялась — это Жильбер, прозванный Оборотнем, от досады топтал маленькую грядку сестры, изображая поезд, а та испускала пронзительные крики:

— Мама, он топчет мои петунии!

— Вот дура, это же скорый поезд.

Одетта успокоила свое потомство, которое, видимо, было взбудоражено вдруг наступившим бабьим летом.

— Клодина, давай катись отсюда.— Потом, обернувшись к Симеону, который подбрасывал на ладони камушек, она тихонько спросила: — А беседка из зелени, ты о ней подумал?

— Это потом.

— Я бы хотела также розарий: розы крепкие, они цветут долго, до самой зимы. В начале зимы они даже еще сильнее пахнут.

Во времянке было уютно: стол из кедрового пня, деревянные табуретки, большая ацетиленовая лампа, подвешенная к потолку. Здесь хранился перегной для удобрения, стояла старая круглая клетка. Птицы — те тоже ссорились: они затеяли шумную свару в большом кусте бузины с лиловыми ягодами.

Поели запеченной свинины (Клодина и Жильбер облизывали губы), Симеон развернул свой чертеж, прижав его к столу локтем.

— Я купил двойной складной метр, угольник, ватерпас, отвес и линейку с делениями.

— Это хорошо, но нужно еще несколько лопат с прочными рукоятками, две или

три тачки, корыто из листового железа, стальные мастерки. Когда разметим фундамент, надо будет откупить старый дом, тот, что у дороги, он пойдет на строительные материалы.

Симеон улыбнулся жене, радуясь, что слышит эти слова и что она так прониклась его затеей. Она всецело готова была ему помочь, тогда как Дедьё отказался.

— Мы купим себе комбинезоны. И заберем оттуда черепицу, балки и кирпич, может быть, оконные рамы со шпингалетами...

— А не сходить ли нам туда?

— Потом.

— А почему не сейчас?

— Ну пошли.

Сказано — сделано. Они закрыли калитку, вышли вместе с детьми на узкую неровную дорогу с заросшими травой колеями.

Симеон шел впереди, размахивая рулоном своего чертежа, как жезлом тамбурмажора. Он насвистывал:

Ах, где ж она?
Сердце зовет,
Она ушла,
Зачем жалеть?

Дойдя до старого строения, они увидели рабочих, готовивших цементный раствор.

— Что вы делаете, ребята?

Один из них, в брезентовом комбинезоне и резиновых сапогах, крикнул:

— Ремонтируем.

— Так ведь этот дом никуда не годится.

Симеон бросился ко входу — источенная червями дверь была распахнута. В полумраке виднелись грязные окна кухни, лестница, ведущая на второй этаж, где находиться было опасно из-за провалившейся местами крыши; стекол в окнах не хватало, ставни еле держались на петлях.

Симеон растерянно стоял перед тремя рабочими, которые замазывали длинную трещину в стене. Потом подошел ближе:

— Здравствуйте ну как, идет дело?

Никто ему не ответил.

Он еще раз попытался привлечь внимание этих усердно работавших молчаливых людей с сигаретой в углу рта.

— Эта лачуга все еще продается?

Самый молодой поднял голову; на нем был выпачканный в извести берет.

— Ее уже купили.

— Когда?

— Месяц назад.

— Но она ведь никуда не годится. Она теперь бесхозная.

— Мы приводим в порядок подвал, а там видно будет.

К нему подошел человек с длинными усами на худом лице; он старательно скручивал цигарку. Не глядя на Симеона, он сказал:

— А что, тебя это интересует?

— Немного.

— А вот мы с сыновьями подлатываем ее.— Человек нагнулся, поднял с земли бутылку: — Хочешь выпить?

Симеон долго и жадно пил, потом вытер рукавом губы.

— Поможешь нам?

Одетта подошла к мужу, неприязненно посмотрела на рабочего.

— Мой муж вбил себе в голову, что купит эту развалину.— Потом добавила: — То-то ваша жена обрадуется.

— Я вдовец. Хочу бросить работу и поселиться здесь.

Симеон готов был задушить этого старика, а тот отошел в угол по малой нужде. Что тут еще скажешь? Время, видно, упущено.

— Dar el tiempo al tiempo,[1] — торжественно проговорил им вслед старик.

Надо было возвращаться в «Грабы», поскольку те трое снова принялись за работу.

---

[1] На все нужно время *(исп.)*.

«Наверное, итальянцы, может быть, шпионы»,— подумал Симеон и крикнул им притворно-веселым голосом:

— Желаю удачи!

Одетта и Симеон с детьми отправились обратно в свои «Грабы». Симеон молчал; чтобы успокоиться, он тоже, как рабочие, скрутил себе цигарку. Одетте хотелось многое сказать, но она лишь заметила:

— Какая духота.

Войдя в ограду, Симеон снова сел на скамью.

— Когда слишком долго собираешься, все проходит мимо носа.

— Почему ты говоришь это мне?

Одетта снимала с веревки белье и преувеличенно тщательно складывала его. Чувствовалось, что она напряжена до предела.

— Это строение было моим — я играл там еще мальчишкой. Оно никуда не годится. Прежде нам нравились эти развалины...

Поднялся сильный ветер; он уносил носки, которые Одетта, ворча, подхватывала на лету и бросала в общий узел, не попарно, а как придется.

— И почему они у вас так рвутся — и у тебя, и у детей...

Вдруг она услышала, как Симеон, встав, сдвинул фуражку на затылок и закричал так громко, словно хотел, чтобы услышали соседи:

— Я начинаю в следующее воскресенье.

Одетта пожала плечами; мужская рубашка хлопала на ветру, на горячем южном ветру, предвещавшем бурю. Наступал вечер.

— Мы столько мечтали о том, как поселимся в твоем доме.

Он вытирал вспотевшие руки.

— Мечтали, мечтали... А что, разве я им не занимаюсь?

— Ты ребенок

— Дай-ка мне бутылку с «Дюбоннэ», жена!

Симеон вернулся во времянку, развернул свой чертеж. Зажгли ацетиленовую лампу — от нее сильно пахло. Никто не решался заговорить. Все понимали, что Симеон способен сейчас даже уничтожить свой шедевр. На бумагу упала большая ночная бабочка с покрытыми пыльцою крыльями. Симеон отодвинул ее пальцем, но от нее остался серый жирный след.

Уехали тем же путем, как и приехали; белье расправили и уложили в корзины. Жильбер громко крикнул:

— Я есть хочу.

Весь вечер Симеон молчал; он улегся в постель, не проронив ни слова, положил свои чертежи на кровать, обдумывал, зачеркивал, проводил карандашом новые линии, стирал. Одетта ходила вокруг мужа в халате; наконец, вне себя от бешенства, она проговорила:

— Может, газовый завод сконструируешь?

Они уснули только после того, как в пылком объятии соединились их тела, истомленные этим днем, от которого осталась лишь тонкая пыльца ночной бабочки.

— Одетта, послушай-ка, что написано в книжке.

— В какой книжке?

— Ну, в той, что я купил, чтобы строить по всем правилам.

— Значит, ты все еще не отказался от своей причуды? А деньги?

— Возьму в сберегательной кассе.

— Нет.

— Но ведь я откладываю двадцать процентов жалованья, чтобы подписать нужные бумаги с государством.

Одетта расплакалась. На шум незамедлительно явились дети; подобные сцены отвлекали внимание родителей от ребят, от их обязанностей, их уроков. «Когда они заняты, они не забывают о нас»,— говорили друг другу сорванцы.

— А ты, мама, тоже, оказывается, умеешь плакать,— сказал Жильбер.

Одетта чувствовала себя немного не в своей тарелке, но этот внезапный внутренний жар, эта теплынь на улице, первые осенние дни, размягчающие душу и тело,— все

будто толкало ее куда-то, бередило... Никогда еще муж не казался ей таким желанным, как сейчас, когда он был во власти этого наваждения. Он тоже плохо скрывал свой пыл, как будто с ним была не жена, а молоденькая любовница. Он совсем изменился: от владевшей им навязчивой идеи глаза у него горели, челюсти были сжаты, на щеках ходили желваки, весь облик стал более спортивным (дома он носил рубашки с открытым воротом). Немного неуклюжий, с золотисто-рыжими волосами, он казался Одетте молодым человеком, который что-то от нее скрывает — какое-то приключение или любовную интрижку. Одетта знала, что он поздно приезжает в свою контору, что отлучается без спросу. И ее снова влекло к нему, как в те первые дни, когда он с видом заговорщика являлся на обычные свидания с ней. Она снова чувствовала что-то похожее на смущение, вызванное просто ожиданием. Она вырывала у него слова любви, поцелуи на улице, где в сумерках долго бродят влюбленные, которые алчут только друг друга.

Одетта с трудом сдерживала слезы при детях, которые во все глаза смотрели на мать, вдруг ставшую обычной женщиной. И тут Симеон прочел:

— «Характер участка, на котором предполагается постройка, а также глубина слоя почвы определяют тип фундамента. В принципе, для достижения устойчивого равновесия необходимо, чтобы фундамент представлял собой массивное целое. Для хорошей почвы (например, песчаной) глубина его должна быть от 20 до 25 сантиметров, а ширина в два с половиной раза больше ширины проектируемой стенки. Прежде всего нужно определить местоположение здания; с помощью бечевки и деревянных кольев отметить на земле границы фундамента. Необходимо пользоваться отвесом, чтобы фундамент лежал ровно. Потом выройте траншею...

Четыре вбитых в землю кола будут соответствовать на земле четырем внешним углам строения. Эти колья нужно соединить бечевкой, которая определит внешний контур дома». И т. д.

Никто не слушал «руководства к строительству» — слова, казалось, потеряли свой смысл. Одетта, всхлипывая, сказала Симеону:

— На эти деньги ты мог бы купить нормальный «пежо четыреста два», для всей семьи.

— Ты с ума сошла, при моих-то заработках!

Одетта пожала плечами, глаза ее уже не блестели.

— Твоим детям нужно море, а не товарные поезда.

Симеон сложил кальку с планом дома, закрыл книгу. Зачем отвечать жене? Она кидалась из одной крайности в другую, не отдавая себе отчета в том, что его защищать некому. Он снова взял в руки старый номер «Иллюстрасьон». Ему нравилась реклама в этом журнале, она укрепляла его веру в себя. Дома, изображенные на этих страницах, были доступны всем. Можно сделать их еще комфортабельнее, устранив сквозняки. Можно удовлетворить свое стремление к уюту Законы были на вашей стороне, все дела легко улаживались. Сейчас его прежде всего беспокоили нежданные соседи.

Одетта ждала его в постели.

Но в следующее воскресенье, несмотря на туман, серой пеленой тянувшийся вдоль Сены, несмотря на плохие новости, на то, что небо было бледнее обычного, на тревожные статьи в газетах и внушающие опасения речи, на то, что государства примирились с существующим положением вещей а Германия совершала непредвиденные действия, вся семья опять поехала в «Грабы»: на этом кусочке земли неприятности могли быть только из-за дождя, тли, медведок; по краям его лежали кучи битого камня — железнодорожный балласт, стоял поезд, вокруг которого не росла трава и в вагонах которого временно жили бригады железнодорожников, разогревавших еду на кострах, где вместо дров горели шпалы.

Когда Симеон с семьей подошел к калитке, они обнаружили, что она сорвана с петель и на участке полно народу. На дорожке, ведущей ко входу, стояли черные полицейские «ситроены» в одиннадцать лошадиных сил, с передней тягой. Взад и вперед ходили люди в шляпах с опущенными полями, пуленепробиваемых жилетах, в слишком длинных плащах.

Симеона остановил полицейский:

— Куда вы идете?

— На свой участок.

— А где ваш участок?

— Здесь.

И он показал на разоренный огород и на фруктовый садик, где на двух замшелых яблонях висело несколько яблок, изъеденных осами.

— Сюда нельзя. Проходите.

— Почему?

— Спросите у начальника.

Симеон очутился перед толстым коротконогим человеком с багровым лицом. Он ковырял в зубах билетом метро.

— Вы владелец этого участка?

— Да.

— Следуйте за мной.

Одетта и дети опустили на землю пакеты с провизией, рассчитанной на весь день. Так как Симеон, по мнению инспектора, шел недостаточно быстро, его подтолкнули, и он чуть не потерял равновесие. Рукоятка его новой лопаты больно давила ему на плечо, цинковый ящик с инструментами и бечевкой съезжал со спины, и ему все время приходилось поправлять его. Подошли к времянке; висячий замок был взломан, цепь сорвана, дверь распахнута настежь... И там, на носилках, лежал мертвец.

— Узнаете его?

— Кого?

— Его.

Это был труп молодого человека в изорванной форме военно-воздушных сил; пилотка едва прикрывала длинную рану, из которой еще сочилась кровь; сквозь дыру на синих брюках виднелась окровавленная икра, рядом лежал вещевой мешок и перерубленный надвое ремень. Инспектор повернул труп, и Симеон увидел детское, несформировавшееся лицо, иссеченное красными полосами. Одетта до того испугалась, что даже не вскрикнула. Она хотела закрыть большие испуганные глаза новобранца, но инспектор отстранил ее. Он нагло подошел к Симеону и, хлопнув рукой по рукоятке лопаты, заорал:

— Так значит, вы собирались потихоньку зарыть его?

Клодина и Жильбер молча сидели на скамье, прижавшись друг к другу.

— Но мы же ничего не сделали,— взволнованно воскликнула Одетта.— Мы пришли строить дом.

— А где фундамент? Где земляные работы? Строительная площадка?

— Мы и пришли, чтобы начать.

Симеону отвесили первую пощечину. Клодина закрыла лицо руками. Симеон покачнулся, лопата упала на мертвеца. Кровь у него уже не текла, хотя лопата оставила ссадину на носу. Парень был с крепкой шеей, с широкими босыми ступнями, выпачканными землей,— должно быть, деревенский. У него, видимо, украли сапоги с железными подковами. Одетта вытащила из картонного футляра чертеж и развернула его перед инспектором.

— Вот план, начальник, муж правда собирался сегодня начать копать.

— Конечно, милая дама, и никто бы не увидел и не узнал.

— Мы никогда не встречали этого военного.

— А это что?

Инспектор держал в руке кусок конверта, на котором было написано: «Ты придешь к Перпиньянам, или мы разобьем тебе морду». Ведь это вы — семья Перпиньян... Ваши документы!

Симеон вытащил свой кожаный бумажник, вынул из него удостоверение личности, справку, подписанную его шефом, фотографии.

Инспектор просмотрел их, потом сунул в карман.

— Чем ты его убил?

— Я невиновен. Пусть мне отрубят голову, если я вру. Моя жена вам скажет: мы только что приехали из Парижа.

— Это ваш участок, да или нет?

— Он наш уже больше восьмидесяти лет. Оставьте нас в покое!

— Так вы будете отвечать?

Двое полицейских накрыли тело газетными листами. Больше ничего не нашли во времянке. Только разрозненные номера «Вандреди» да еще клеенку в букетиках

роз, которая служила скатертью во время еды. Одетта предложила свой дождевик. Ее даже слушать не стали.

— Когда это произошло?

— Я слушал радио, правда, Одетта? Мы легли спать после передачи последних известий.

— Какая память!

— А потом?

— Мы не могли заснуть из-за соседей.

Симеон сжал зубы.

— И тогда, чтобы чем-нибудь заняться, вы приехали сюда и убили его?

— Убирайтесь отсюда, куча гнилых цыплят!

— А мотоцикл?

— Какой мотоцикл?

— Тот, что стоял у калитки!

— У меня нет мотоцикла.

Тут Симеон попытался оттолкнуть инспектора, но тот дал ему подножку, и он упал на землю, истоптанную башмаками. Его выбрали жертвой, на него сейчас посыплются удары и ругательства, он будет весь в грязи, с него стащат куртку и выдернут шнурки из башмаков, снимут пояс, изуродуют. Симеон чувствовал, что пропал, что он во власти этого человека, но как бы грубо с ним, Симеоном, ни обращались, он не должен давать сдачи. Грязь обезобразит его, синяки покроют все тело, от ударов лицо его распухнет, он станет неузнаваем; его могут называть на «ты», оглушить, выбить глаз, изранить, заставить изменить свои мнения, свои убеждения — словом, убить... Кем он был для этих людей? В глазах всех он своим видом лишь подтверждал, что совершил преступление: изо рта у него обильно текла слюна, подкрепляя выдвинутое против него обвинение, а выступивший на лбу пот только доказывал, что он стоит у истока этого убийства. Симеон отбивался, инспектор бил его кулаками, ладонями, пинал сапогами — это была теперь только кукла, из которой вырывали державшие ее нитки... Симеон перестал отбиваться. Он был близок к обмороку. Он закрыл глаза. Не лучше ли было бы лежать на месте убитого летчика и покоиться в мире?

— Да, грязный коммунист, это ты бросал шарики из подшипников под копыта лошадей во время последней манифестации. Мало, что ты жид, ты еще и профсоюзный активист.

Зачем спорить, как это делала бедная Одетта, зачем пререкаться с этим шпиком, который осторожно поднял с земли нож, обернув руку носовым платком.

— Ведь тебя считай что застали на месте преступления. Ну, давай признавайся, нам некогда терять время. В камере тебе будет хорошо, там тебя будут баловать.

Полицейские унесли носилки и поставили их в карету «скорой помощи». Они отсалютовали по-военному. Тогда Симеон, держась за ножку стола, крикнул:

— Я не виноват, но вам нужен кто-то любой ценой... Вы не имеете права.

На Симеона неприятно было смотреть — это была карикатура на него, искаженное его изображение, а он ведь всегда был такой аккуратный. Одетта перестала гладить его по голове; она пошла принести воды. Ей хотелось почистить его, отмыть, вернуть ему человеческий облик; она бы поступила так с любым раненым. Она понимала, что с рассеченной губой он уже не может нормально отвечать этому хаму, а тот принял молчание Симеона за признание вины.

— Объяснять будешь в суде.

Симеон провел рукой по распухшим губам.

— Этот сад принадлежит мне, и никто не имеет права входить сюда, а мертвецы тем более. Я буду жаловаться. Вы не имеете права меня бить.

Одетта вернулась, стала на колени возле Симеона, вымыла ему лицо, шепча:

— Господи, возможно ли такое?..

Эта сцена только подзадорила инспектора. Он тоже нагнулся, посмотрел на рассеченную бровь, откуда текла струйка крови.

— Не прикидывайся, пьяная морда. Ты уже не в первый раз видишь этого военного.— Потом, с трудом сдержавшись, добавил: — Франции нужны такие ребята, готовые пожертвовать собой.

Одетта молчала, но возле нее стояла Клодина.

— А я знаю его: он ехал с нами в поезде, он пустил мне в лицо дым от сигареты

недели две назад. Я даже помню, что́ он прошептал: «У тебя грудки, как бутылки, остроконечные и пустые...» Это он, точно он.

Инспектор посмотрел на девочку как на зачумленную.

— Катись отсюда, испорченная девчонка.

— Это точно он, я его узнала. У него был шрам на щеке.

— Говорят тебе: катись отсюда.

Симеон уже выглядел лучше; Одетта причесывала его своей гребенкой.

«Боже мой, хоть бы все они ушли отсюда! Хоть бы огород стал таким, как раньше!» — думала несчастная Одетта, целуя мужа в лоб, туда, где были только морщинки. Потом она холодно взглянула на инспектора:

— Его убили в драке. Слушайте, я знаю своего Симеона, как будто сама его родила. Мой Симеон с виду здоровенный парень, но он и мухи не обидит; это лучший бухгалтер в Париже... А вы его бьете, вы мучаете его в собственном саду...

— Тогда объясните мне, как здесь оказался труп.

— Не знаю, наверное, подкинули какие-нибудь бродяги. Тут недалеко есть танцевальный зал. Здешние парни не любят солдат с базы, которые пристают к их девушкам. А у нас честная семья. Мой отец был полевым сторожем у себя в деревне, а Симеон проходил военную службу на флоте, в Германии, на Рейне. Он вернулся оттуда с недолеченным плевритом; это я вылечила его хорошим уходом, вкусной едой и тем, что мы часто ездили на воздух, на наш бедный огородик. У него есть название — «Грабы», потому что они растут вдоль дорожки, которая сюда ведет.

Жильбер подошел к одному из полицейских в штатском и без всякого стеснения спросил:

— У вас есть револьвер?

— Да.

— Заряженный?

— Не твое дело.

— В американских фильмах полицейские носят его под мышкой.

Жильбер гордо стал на сторону отца, который с трудом поднялся на ноги. Его не пугала ни полиция, ни ее огнестрельное оружие в кобуре из черной кожи.

— Отдайте его мне.

— А ну проваливай!

Симеон вдруг отряхнулся и встал в позу боксера. Инспектор отступил: распухший, пошатывающийся человек вздумал сопротивляться.

— Вы все спятили. Кто на меня наслал таких полицейских? Я уважаю военных, если только их зовут не Гитлер и не Муссолини. Куча лентяев! Вы напали на отца семейства, а этот летчик был, возможно, негодяем. Вы слышали, что сказала моя дочь? Пошли вон отсюда! Вы избавились от мертвеца, подбросив его ко мне в сад. Занимайтесь контролем и наблюдением. А от ваших действий пахнет гестапо...

На него моментально надели наручники. Симеон словно обезумел. Он призывал божественное правосудие, гнев небес; Одетта глядела на мужа, будто перед ней был святой. Его поспешили втолкнуть в полицейскую машину. Одетта пыталась тоже влезть туда, она не хотела отдавать им мужа; то, что происходило, выглядело все более нелепо.

Симеон просидел в камере целую неделю, потом за отсутствием доказательств его освободили, не извинившись: летчик, видимо, шатался по округе, его убили безлунной ночью, и никто ничего не видел. Он унес свою тайну с собой. Танцевальный зал закрыли, а летчика похоронили с военными почестями.

— Всем «Клаксен», а мне мое обычное «Лиле»!

Симеон хорохорился у стойки. Он сдвинул фуражку на затылок, распахнул пиджак, надетый на свитер. Ему аплодировали, как победителю. На его похудевшем лице осталось только несколько царапин.

— Тебе бы надо постричься, Симеон, чертяка ты этакий.

Их было тут пятеро или шестеро, все верные друзья, свои люди, жившие поблизости. Один из них потребовал хлеба, чтобы закусить перед выпивкой.

— Вредно пить натощак.

Каждый отламывал по кусочку от батона, переходившего из рук в руки.

— У бошей хлеб уже только черный. А маргарин они, кажется, делают из угля.

— А колбасу из собачьего мяса.

Симеон был возбужден: он только что вышел из тюрьмы; его приятели относились к случившемуся как к забавному приключению. Все знали, что полиция нервничает. Она хватала простофиль и бродяг. Друзья Симеона хотели отпраздновать его освобождение. Тут он и рассказал им:

— Я строю дом, как только у меня выдается свободная минута.

Пополь, самый маленький, в огромном, не по голове, берете, встал на цыпочки, чтобы взять свою рюмку. Но кто-то уже выпил ее. Все засмеялись.

— А ты не думаешь, что проще было бы купить готовый домик?

— Ну как ты не понимаешь, Пополь: ведь мои дети каждый день будут ходить за молоком на ферму.

Феликс, владелец мелочной лавочки, лукаво добавил:

— Симеон сейчас вполне способен поставить прямые стены.

Все расхохотались.

Но Симеон продолжал:

— Я сделал чертежи. У меня есть приятель, архитектор, он их изучает.

— Дом будет в каком стиле — в деревенском? В нормандском или провансальском?

— В нормальном. Посредине коридор, по обе стороны от него — комнаты одинакового размера, винтовая лестница, наверху три спальни и выход на чердак. Туда будет вести приставная лестница.

Пти-Руж, одним глазом наблюдавший за своим трехколесным велосипедом, хлопнул Симеона по плечу.

— Почему бы тебе не построить дом из бетона, с башенкой? Война не за горами. Берегись бомбежек! Или устрой супертропический дом — ультралегкую палатку цвета старого золота, резеды или хаки, как принято во французской армии! В качестве ковра — крепко утрамбованную землю, чтобы не пропускала воду, и суй свое семейство в это брезентовое бунгало.

Фернан, который до сих пор носил медаль участника войны 1914—1918 годов, отдал ему честь.

— Симеон, ты настоящий патриот. Твое стремление приносить жертвы одержало верх над твоим стремлением наслаждаться жизнью. Продолжай! Небо всегда будет голубым, даже если горизонт потемнеет. Да, продолжай! Под прикрытием линии Мажино можно смотреть врагу в лицо.

— И покупай батарейки, их скоро не будет,— шепнул ему мелочной торговец.

Аперитивы текли рекой, каждый хотел в свою очередь угостить других.

— Давайте пить, пока есть вино. Неизвестно, что может случиться,— орал Пти-Руж.— Я бы на твоем месте сделал дом из мяса и костей — завел бы себе девочку.

— А и правда, откуда ты берешь деньги?

Симеон посмотрел в упор на старика, который потребовал сливовой водки.

— Я бухгалтер, поэтому мечтаю выиграть в Национальной лотерее. Вот и весь мой тайный доход, старая развалина.

Их успокоили.

— А вы мне не поможете?

— Ты что, спятил, парень?

Пти-Руж попросил жетон для телефонного разговора: он во что бы то ни стало хотел поговорить с генералом Гамеленом и узнать у него точную дату вступления Франции в войну.

— А что, если и правда тебе помочь? — воскликнул Пополь.— Я могу работать каменщиком, я замуровал свою тещу в кирпичной стене.

— Ты всерьез? — спросил Симеон.

— Поехали сейчас же — где ты строишься?

— Возле Бретиньи, аллея грабов.

— Я умею укладывать черепицу,— сказал Феликс.— Каждый день получаю черепицей по шее.

— А я первый плиточник во Франции,— добавил старик.— Я буду делать плиточный пол.

Говорили, перебивая друг друга.

— А я— раствор из песка и цемента.

— А я буду копать землю и делать опалубку.

Все и впрямь увлеклись. Хозяин откупорил бутылку «Бирра» и угощал всю компанию. Его жене стало противно, и она ушла жарить гренки к шпинату.

Тут Пти-Руж запел:

У Русселя-младшего три дома,
Там нет ни балок, ни стропил...

Одетта знала, что ее муж втихомолку празднует свое решение построить дом. Закупив на день провизии, она явилась в кафе, взяла Симеона под руку; он не сопротивлялся. Он был пьян в стельку. Никогда еще она не видела его в таком состоянии: засучив рукава, он пальцем рисовал план своего дома на мокрой стойке.

Одетте пришлось платить за выпивку, что вызвало всеобщее ликование. Каждый захотел поцеловать ее, она только успевала увертываться от мокрых поцелуев.

— Нечего сказать, хороши вы все! Подумайте о тех, кто охраняет границу.

Почти все собутыльники захотели проводить супругов, но Одетта разогнала их зонтиком.

— Жильбер, сынок, работай внимательно. Копай, пока не наткнешься на твердую почву. Я боюсь, что тут есть грунтовые воды; специалист по колодцам сказал, что это уж точно. Либо грунтовые воды, либо источник. Пророй еще сток на случай дождя. Хотя лето может быть и хорошим, а вдруг хлынет ливень.

Каждое воскресенье Симеон привозил на грузовичке камни, щебень, трубы, листовое железо — материалы, собранные его приятелями, которые втихомолку тащили это со своих заводов или подбирали на пустырях. Около времянки были свалены каменные плиты и даже большая могильная плита, черепица, кусок шифера, железная арматура, шлак, деревянные леса, балки, панели для обшивки стен, дверная рама и т. д. Одни знакомые привезли даже хороший пружинный матрац и ванну с ножками в виде лап, опирающихся на шары. Можно было подумать, что здесь разрушили дом. Симеону пришлось приостановить подвоз материалов.

Теперь вся семья взялась за работу. Границы фундамента очертили туго натянутыми шнурами, продетыми сквозь отверстия в доске, прибитой к двум деревянным чурбанам. Симеон влез на стремянку, чтобы лучше разглядеть предполагаемое расположение дома, прямоугольник, образованный шнурами. Надо было также проверить правильность плана, прежде чем забивать колья.

Пришлось глубоко копать, чтобы снять верхний слой земли, песчаный, с мелкими камешками — тут хорошо бы росла спаржа. «Погреба не будет,— сказал Симеон,— некогда его строить» Почву не понадобилось выравнивать — она и без того была ровная. Симеон купил специальные книги, в том числе даже Виолле-ле-Дюка, в которых подробно объяснялось, как обращаться с инструментами, чего не следует делать, чтобы не наглупить, как избежать ловушек.

— Почему бы нам не утрамбовать землю,— предложила Одетта,— а потом сверху положим цементный фундамент?

— Но полагается вырыть яму, сперва всегда роют яму...

Ссоры, бесплодные споры, пререкания; у каждого было свое мнение. Но все-таки одни копали, а другие тут же уносили выкопанную землю.

— Во-первых, это не ямы, а углубления.

Симеон подготавливал опалубку, торопясь начать возведение стен. Одетта заставила его торжественно поклясться, что он не тронет деревьев.

— Но ведь тогда дом будет весь кривой...

Он срубил одно вишневое и одно сливовое дерево.

— Они уже не дают плодов: слишком старые, все замшели.

— Но я прошу чтобы ты оставил мне вишневое дерево с красно-белыми вишнями, и обе яблони ранет, и живую изгородь из бирючины. И если тебе хочется, посадим еще голубую ель.

— А дом?

— Его можно отодвинуть.

— Куда? Можно подумать, что он тебе мешает.

Да, он мешал Одетте; она любила этот участок, который засаживала, повинуясь своим мимолетным прихотям. Тогда Симеон и Одетта заключили договор. Рубить будут только те деревья, без которых можно обойтись. Решили строить прямоугольный дом.

— Почему бы не оставить мое персиковое дерево, чтобы оно росло посреди дома? Так делают.

— А как же крыша?

Привезли радиоприемник в корпусе из крапчатого дерева, с динамиком, затянутым шелком. Он был тяжелый, занимал много места, но новости нужно было знать во что бы то ни стало. Война бродила кругом, как самка во время течки; ожидался полный раздел Европы. Главы правительств и начальники генеральных штабов старались предотвратить безжалостное нашествие, сами не очень веря в свой успех.

Потом под звуки какой-то чисто французской мелодии все снова брались за работу и переставали сетовать на то, что Даладье и Чемберлен за спиной чехов заключили в Мюнхене договор с Гитлером.

— А куда будут выходить окна, Дудуша, ты подумала о том, куда будут выходить окна? На север, на восток?

Одетта отворачивалась, когда, треща ветвями, деревья падали на землю.

— Ты ведешь себя в моем саду, как Гитлер.

...А в это время экспресс Бордо—Париж мчался к вокзалу Орсэ.

После трех недель усиленной работы фундамент поднялся на пятьдесят сантиметров от земли. Положили первый ряд кирпичей, стыки замазали составом, который Одетта готовила словно соус.

И вот наступила критическая пора — канун 1939 года. В ушах у всех звучали дикие выкрики Гитлера и слишком уж смиренное ворчание Воклюзского быка[1], чьи рога тупились об огромный платан нацизма.

Нацелились на Польшу, и Франция, как и Англия, меняла тему разговора, когда речь заходила о ее чести, которую покупали по дешевке. Подмигивали в сторону России; в Мюнхене созвали конференцию, которая больше походила на пикник. Жили среди символов: зонтик Чемберлена, фуражка Муссолини, жесткие складки парадных знамен, фейерверк на стадионе в Берлине. Носили шляпки из фетра-велюра, дипломатические котелки, жемчужно-серые гетры. Разговоры о войне не сходили с уст; многие мило соглашались, делали прогнозы, уже распространялись кровавые истории про евреев, пели «Лотарингский марш», шагая в остроносых сапогах, пацифисты затыкали трубы патриотов, пытаясь солировать, но их никто не слышал. Сколько человек пригласят на празднование 14 июля?

Франция продолжала жиреть за счет своих колоний, надеясь и дальше питаться их сочным черным мясом. А потом ведь Народный фронт был куда ближе, чем Эритрея. «Мир любой ценой все-таки лучше войны»,— сюсюкал мсье Рене Ремон; этот жестокий мир был только передышкой между двумя схватками. В портах, например в Бордо, первые евреи со скрипками под мышкой уже садились на пароходы, отходившие в Аргентину, и устраивались между двумя мешками с арахисом.

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое, Одетта.

— Вся Франция этого хочет.

— Как я могу строить дом, если невозможно достать материалы? Их же не выдают со складов.

— Но мы ведь защищены линией Мажино; надо оставаться в своих норах — и все, снаряды пролетят над нами.

— Линия Мажино может испугать лишь тех вояк, которые, как говорил мой боцман, в пятьдесят лет «открывают книжный шкаф и напрочь застегивают штаны».

— Ты сам не знаешь, что говоришь; впрочем, у них ведь есть линия Зигфрида. Так что будем злобно смотреть друг на друга, а войны не будет.

Одетта не любила, когда они прерывали работу и говорили об укреплениях, о танках; она тут же представляла себе Симеона с повесткой о мобилизации в руке, солдатские конверты без марок, сводки; по ночам она видела все это во сне. Нельзя строить дом накануне войны: ты как будто идешь наперекор судьбе.

Она спокойно проговорила:

— А ты не думаешь, что к нашему дому надо добавить бомбоубежище? Все дома на учете. У каждой двери — я тебе не говорила, но я это видела — помечено число жильцов, которые могут укрыться в подвалах...

[1] Прозвище Эдуарда Даладье, тогдашнего премьер-министра Франции.

— Ты все видишь в мрачном свете, не знаю почему. Газета «Гренгуар» оптимистична. Филипп Анрио[1] сказал: «Когда уберут Гитлера, придется отыскать такого немца, на чьи слова можно будет положиться...»

Над головой клубились дождевые облака.

— Сейчас как даст, словно из пулемета.

— Замолчи, не употребляй военных слов.

— ...А лагерь Гюр все-таки во Франции.

— Это не лагерь. Там дают и мясо, и сигареты. Нужно остерегаться слухов, которые идут из-за границы.

Симеон не спешил снова приняться за работу; он, казалось, размышлял.

— А ты не думаешь, что строить дом — это немного эгоистично? — настаивала Одетта.

— А делать детей тоже эгоистично? Тебе остается только сказать, как сказал Дедьё: «Лучше я буду слушаться Гитлера, чем Блюма». Ну ладно, давай цемент.

Клодина и Жильбер ворчали: им приходилось таскать кирпичи и складывать в кучи по сорок штук, чтобы можно было работать, не тратя времени на хождение взад и вперед.

— У нас нет рабочих комбинезонов.

— А у меня уже мозоли,— добавила Клодина.

Она надела старый черный плащ и стала похожа на молодую корсиканскую вдову. Чувствуя, что она смешна в этом одеянии, она жаловалась на все — на острые края кирпичей, на неожиданную осеннюю жару, на соломенную шляпу, которая принадлежала еще ее бабушке. Жильбер же работал по-настоящему, считал минуты, чтобы цемент не застыл, пока его не положат. Ему доверили двойной метр и отвес, и он носил их, точно святые дары.

Клодина показала матери свой плащ, от которого оторвалась последняя пуговица.

— Я не могу работать — он все время распахивается.

— Вот дурочка, подпояшься веревкой.

Симеон то и дело проверял правильность кладки с помощью отвеса, чтобы стена не получилась кривой.

Вдруг у калитки появился человек в черном вельвете. Он дернул звонок, хотя мог свободно войти и без этого.

— Здравствуйте, мсье!

Симеон поднял потное лицо.

— Здравствуйте!

Ему не понравились ни хриплый голос незнакомца, ни его напряженная манера держаться, ни голубая рубашка в белый горошек, надетая на мускулистое тело. Пиджак у незнакомца не сходился на животе. На нем была довольно мятая фетровая шляпа с опущенными спереди полями и сандалии на босу ногу, какие носят дети.

— Я не хотел вас отрывать от дела. Как мне попасть в центр Бретиньи?

— Идите прямо — тут нельзя ошибиться.

— Далеко?

— Смотря как пойдете.

Симеон хотел снова взяться за работу, но незнакомец не двигался с места. Он как будто наблюдал за Симеоном сзади, и того смущал его упорный взгляд.

— Вы кладете слишком мало цемента, мсье. Надо, чтобы он хорошенько проник в щели.

Симеон не ответил: он не нуждался в свидетелях или экспертах. Дом — это не картина, тут не до болтовни, черт побери!

— Я иностранец.

— Здесь не любят иностранцев,— бросила Клодина.

Жильбер добавил:

— А также шпионов.

Симеон все больше злился: ни к чему эти разговоры, только зря время теряешь. Он вспылил:

— Быстрее, ребята, быстрее!

---

[1] Анрио Филипп (1889—1944) — реакционный политический деятель, ярый коллаборационист, входил в правительство Лаваля, был приговорен к смерти решением Комитета Сопротивления незадолго до освобождения Парижа.

А хриплый голос продолжал:

— Я политический эмигрант.

Он хорошо говорил по-французски. Когда он приподнял шляпу, благодаря за то, что ему показали дорогу, его растрепанные белокурые волосы оказались более густыми, чем у Симеона, который стал лысеть, что не давало покоя Одетте.

— Я ищу работу.

— Здесь, бедный мсье,— сказала Одетта,— не такое место, где можно найти работу. Пойдите лучше на аэродром.

Человек положил на землю сумку, вынул из заднего кармана бумажник, старый, весь расползшийся по швам.

— В Варшаве я был цементщиком.

Симеон так и застыл — ему хотелось смеяться. Благословенны небеса! Вот удача. Он впустил поляка на участок, и тот вывалил на скамью все свои документы, фотографию, разрезанную пополам, какие-то бумажки, почти стершиеся на сгибах.

Симеон подошел к поляку, окинул взглядом его мускулатуру, веселые голубые глаза, более светлые, чем у него самого.

— Ты умеешь готовить раствор?

— Да.

— И можешь построить леса?

— Да.

— И работать мастерком?

— Да.

— И класть печные трубы? Камины?

— Да.

— И строить лестницы? Французского типа?

— Да, и английского.

— Как тебя зовут?

Поляк протянул ему бумаги с массой печатей, подписей.

— Вот справки.

— Я тебя спрашиваю: как тебя зовут?

— Динко. Я есть хочу.

Симеон позвал жену и детей, которые спорили по поводу мертвой птицы, лежавшей на траве. Она не была ранена. Кажется, ласточка. Но ведь ласточки уже улетели.

— Сделайте ему бутерброды с деревенским паштетом. Там, должно быть, осталось вино.

Динко уселся за стол и, осенив себя крестным знамением, стал жадно поглощать хлеб.

— Открой ему банку марокканских сардин в томате.

Динко хватал рыбок за хвост и проглатывал их.

— Вот курва, до чего вкусно!

— Ты хорошо говоришь по-французски.

— У меня мать была француженка.

Потом он спел печальную песенку, немного похожую на цыганскую, которую все слушали с должным почтением.

— Под аккордеон она звучит лучше! Это про одного парня, который поджег дом своей невесты: она ему изменила. А потом начинается война. И вот он умирает в солдатской форме, обнимая тело своей невесты. Припев такой:

Зачем же я сжег свой дом,
Когда бомбы свистят у моих ушей.
Я был бы прекрасным солдатом,
И я бы им отомстил...

— Красиво, правда? Но грустно. Я сам придумал эти слова на мотив старой колыбельной песни. Динко такой печальный, нет денег, нет девушки, нет родины...

Одетта смотрела на лицо поляка, на его голубые глаза, но он не вызывал у нее сочувствия. Она представляла себе, героем скольких мрачнейших драм он был. Может, и его песня отражает то, что было, но она не хотела бы услышать, что это так!

Наступал вечер, на небе громоздились облака, и Симеон попросил поляка помочь ему прорыть сточную канаву. Он не хотел, чтобы затопило его строительную площадку. Он проверил, хорошо ли натянуты шнуры, в порядке ли стыки, прочно ли вбиты колья, словно капитан парусного корабля, который перед бурей убирает паруса.

— Как бы что-нибудь не обрушилось.

Динко прилежно и аккуратно помог укрепить еще хрупкие стены. Тачку и инструменты убрали во времянку.

— Давайте скорее — сейчас дождь пойдет.

Динко, задумавшись, неподвижно стоял посреди участка, и Симеон подошел к нему:

— Ты что стоишь как столб?

Одетта поняла расчет мужа, оценившего крепкое сложение Динко, его уверенность в себе, его ловкость — только что зубы ему не посмотрел, как барышник на ярмарке.

Динко присоединился к семейству. Он шел немного позади, не вмешиваясь в разговор. От смущения он то и дело поддавал ногой камушки.

Одетта купила ему билет и, несмотря на его колебания, заставила сесть в поезд — Симеон явно одобрял все, что она предпринимала.

Когда они вошли в квартиру, Одетта как будто смутилась. Кто его знает, что за человек незнакомец, которому они так доверились? У него были большие руки и немного дергался правый глаз — это растрогало Одетту. Она подала аперитив.

— Будьте как дома.

Динко снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула.

— Вот, дети, учитесь, как надо обращаться с вещами.

Динко улыбнулся:

— У меня только один пиджак.

Он сложил руки на коленях.

— У вас есть родные?

— Брат в Англии.

— Вы женаты?

Челюсти его сжались, он помолчал.

— Моя жена погибла в лагере, а я сбежал.

«Мог бы помочь и жене бежать»,— подумала Одетта. Но она не сердилась на него. Он казался ей красивым, аристократичным. По ее мнению, все иностранцы обязательно должны иметь какую-то особую профессию — чем занимаются принцы в изгнании. Рядом с ним Симеон выглядел особенно бледным, как человек, всю жизнь просидевший в конторе под лампой; кожа у него была болезненно-желтоватая. Свежий воздух не шел ему на пользу, вокруг рта и глаз собралось множество мелких морщин — свидетельство забот и тревог. Он уже начал толстеть. Ей часто казалось, что от него пахнет медью.

— Вы ее не жалеете?

— Кого?

— Жену.

— Жалей не жалей, все равно пустой колос.

Он грустно улыбнулся, глаза его повлажнели. Руки нервно задвигались, правое веко задрожало.

— Жена была старше меня; она так боялась, что вдруг сразу состарится.

Одетта потрясла за плечи детей, совсем осовевших от усталости.

— Идите умываться, дети.

Послышалось маловразумительное ворчание; оба тут же исчезли.

— Ваши дети сейчас как свинец, а будут как чистое золото.

Как занятно он говорит, этот чужестранец, как образно! Он, наверное, считает, что их семья все равно рассеется, хотя глава семейства и торопится спасти свое гнездо?

— Сколько вам лет? — И тотчас добавила: — Если это не слишком нескромный вопрос...

— Завтра исполнится тридцать. Я три года был в армии, потом удрал. Предпочитаю быть в дороге: по траве шагать не больно.— Помолчал и гордо поднял голову.— А вы знаете, что лучшие носки делают в Варшаве?

Потом, воодушевившись, продолжал:

— Французы всегда продают шкуру неубитого медведя. Они слишком счастливые... Париж, женщины, шампанское... И все это для всех. А у нас монахи охотятся пешком, князья же бьют кнутом. Нам капут.

Симеон не совсем понял смысл его упреков, он был удивлен этим неприязненным высказыванием, короткими фразами, которые Динко выпалил, как будто выучил

наизусть. Это что же, общее мнение? После третьей рюмки аперитива все принимает иной вид. Он уже начал злиться и недоумевать, по какому праву этот отсталый поляк читает ему мораль. Одетта же была на верху блаженства. Она парила в эмпиреях, она одобряла речи Динко: он ведь так много выстрадал. Симеон возразил:

— У французов и без того хватает дела, им некогда спасать поляков. Надо спасать самих себя. Вы — сладкий пирог, которым лакомятся пчелы Гитлера. Мы же либо сами делаем войну, либо заставляем ее работать на нас.

Одетту удивил и взволновал умоляющий взгляд Динко. Казалось, он боялся, что его прогонят.

— Француженки такие хорошенькие, и потом, я люблю Виктора Гюго, Золя. Вы хорошо работаете, особенно если по наитию.

Поели быстро, хотя обед был очень вкусный; Одетта все заливала майонезом. Вернулся Жильбер и засыпал Динко вопросами, считая его охотником на крупную дичь.

— А медведи у вас есть?

— Так же как у вас есть Наполеон.

Динко отлично знал жизнь оленей, знал, как они умирают, когда дворяне загоняют их, а потом напиваются в своей компании. Его тоже чуть не забил один всадник, когда он строил сарай на ферме своих родителей, близ Познани. Динко снял рубашку и показал шрам на спине, выпуклую красную полоску, которая потрясла бедную Одетту, а он, играя мышцами, заставлял двигаться этот рубец, доходивший до пояса. Кожа у него была загорелая. За ужином все держались настороженно; дети не спускали глаз с иностранца, который даже плавал на паруснике по Балтийскому морю и ловил там угрей. Он ел с такой жадностью, как будто его пригласили за стол в последний раз. Говорил он мало, запивал каждый кусок, обсасывал куриные косточки, брал пальцами салат, мизинцем выковыривал остатки пищи из зубов. Он почти не обращал внимания на остальных. Включили радиоприемник. Передавали повторно отрывки из какой-то речи Гитлера. Динко поднял кулак и прошептал: «Рот фронт».

— «Ни один народ на свете не владеет ни одним дюймом земли по милости божией или по божественному праву. Границы создают люди и люди же их изменяют...»

Симеон, не поднимая глаз, заявил:

— Это не сложно: я передвигаю свой забор на десять метров и захватываю часть поля моего соседа, вот и вся штука.

Тут Динко выпрямился, вскочил, схватил бутылку, отломал у нее горлышко и прижал стекло к своей руке. Он был бледен, как полотно, виски у него запали.

— Я вскрою себе вены, если буду слушать его дальше. Гитлер — это тысячеглавый стервятник.

Одетта тут же выключила радио. Наступило долгое молчание. Динко стоял неподвижно с бутылкой в руке. К счастью, она была почти пуста; остаток вина вылился в тарелку, и макароны, которые Жильбер и Клодина ели без всякого удовольствия, стали красными.

— Не надо доводить себя до такого состояния.

Динко снова сел, словно в забытьи. Одетта вырвала у него из рук разбитую бутылку. Его ладонь была в крови.

— Я сейчас перевяжу.

Одетта достала из стенного шкафа йод и вату, прижгла открытую рану. Динко не сопротивлялся, а Одетта не могла понять, почему он пришел в такой гнев. В своем ли он уме? Неужели Симеон привел к себе в дом сумасшедшего, от которого можно чего угодно ждать? Теперь он вдруг окаменел, как статуя, а его голубые глаза стали почти черными.

— Динко, вы слишком много выстрадали, — прошептала Одетта и невольно провела рукой по его волосам, словно хотела утешить. Она и сама не понимала, почему у нее вырвался этот жест. У поляка, жившего на открытом воздухе, был свежий цвет лица, загорелая кожа, посветлевшие на солнце непокорные волосы. Одетта незаметно посмотрелась в овальное зеркало, вставленное в плетеную раму из ивовых прутьев.

— Симеон, куда мы его положим?

В квартирке совсем не было места. Можно было положить его в столовой. Там до сих пор стояло бабушкино кресло из черного дерева, с высокой спинкой, с подлокотниками, обитыми зеленым бархатом, с витыми ножками — настоящий мону-

мент! Сидя в нем, бабушка несколько месяцев вязала пару перчаток, но так и не закончила. Она связала лишний палец. Бабушка умерла возле топившейся углем печки, умерла так же, как пришла сюда, — тихо, словно старая кошка, которая уже не видит во сне своих котят.

Динко согласен был спать где угодно.

— Завтра решим, что делать, правда, Динко? Как ты думаешь, какой каркас лучше — сборный, с перекладинами, сбитый гвоздями или на клею?

Симеону все еще хотелось говорить о своем доме, но поляку было не до крыши: он уже спал стоя.

Динко устроили в кресле, укрыли одеялом, а под ноги поставили стул. Можно было подумать, что это выздоравливающий после тяжелой болезни, который от страха не может ни двигаться, ни говорить.

Он приподнялся и сказал Симеону:

— Не бойся, будет крыша у твоего дома.

Никто ни слова не сказал о деньгах. Как он поведет себя? Он, кажется, любит вкусно поесть? Ну да завтра увидим; главное, чтобы он не ушел, а дружеское отношение и благодарность — разве эти хрупкие узы не могут удержать даже бродягу?

Все пожелали ему доброй ночи; Одетта потребовала даже, чтобы погасили лампы у изголовья кроватей в обеих спальнях.

— У него глаза слабые, как у мошки.

Одетта бесшумно вымыла посуду в раковине. Она жалела, что не спросила у Динко, не хочет ли он переодеться. У нее нашлась бы старая рубашка с обтрепанным воротником, которую он мог бы надеть вместо пижамы. Из кухоньки ей виден был спящий поляк; ей казалось, что он стонет, но он похрапывал; верхнюю одежду он снял и лежал с обнаженной грудью. Она пошла к Симеону, который опять разложил какой-то чертеж на их широкой кровати.

— Ты мог бы снять покрывало. Я только что сменила у него верх. Какой ты неаккуратный. И потом, не кури, ты же знаешь, я не люблю, когда курят после ужина, у меня от этого голова болит. Можно подумать, что другие для тебя не существуют...— И, помолчав, добавила: — Он много ест.

— Кто?

— Динко. Пойду схожу за продуктами в кооператив. Надо взять денег в сберегательной кассе. Придется кормить лишний рот! В сущности, откуда он?

— Из Польши, он же сказал тебе.

— Ты знаешь где это, его деревня?

Симеон пожал плечами:

— Он собирается мне помочь.

— Тебе надо бы спросить у него документы...

— Какие документы? Он же тебе показывал.

— Не знаю... Или фотографии — они могут служить доказательством.

— Он человек без родины.

— Что?

— Мне надо продумать, чем его занять. Завтра он поедет в Бретиньи. Еду ты ему дашь с собой. А я пойду в контору. Не хотелось бы потерять место. Он будет дальше класть стены понимаешь? А в следующее воскресенье, женушка, мы отметим его приход пенистым вином. Потом он будет рыть канавы и укреплять их. А какие ставить балки под пятками стропил — это будет зависеть от веса строения и от твердости почвы. Он проверит, ровное ли дно в яме, которую мы углубили. Может быть, он возьмется и за перекрытия. Понимаешь? Он будет исполнителем, но в сущности я останусь хозяином работ.

— Нет, не понимаю. Слишком уж он красив — на мой вкус, во всяком случае.

— Он работяга.

— А глаза у него слишком голубые.

— Ну и что? Послушай, Дуду, я хочу сделать дом немного больше.

Симеон сложил чертеж. Он обнял Одетту за плечи, но на нее это проявление нежности не произвело впечатления: она привыкла, что Симеон обычно равнодушен к ней и только иногда у него вдруг вспыхивает желание. Он не разжимал объятий. Его дыхание жгло ей губы.

— Ты не понимаешь: прежде чем начнется война, мы будем жить в своем доме. Динко может помочь нам. Я скажу ему, что положение его очень шаткое, любая перемена — и его заберут. Поляки работают хорошо. Вот, например, в рудниках, на Севере. Так не мешай же мне, голубка.

Одетта высвободилась, отступила, глядя на Симеона без нежности.

— Неужели ты не видишь, что он бабник?

Он прошептал не без насмешки:

— Ему нужны не такие, как ты, а покрасивее, старушка.

Самое лучшее сейчас было улечься в постель без рубашки, что она и сделала с полным бесстыдством.

— Ты затерялась в польских туманах, Дудуша.

Одетта подчинилась своему повелителю — а может быть, постройка дома для него тоже прихоть? Вдруг в комнату влетела Клодина.

— Мама, мне приснились огненные птицы, они падали на мой большой дом, понимаешь, он был совсем как Версальский дворец, и крыша рухнула прямо на меня...

От ее глаз не укрылось, что родители лежали в объятиях друг друга. Клодина попятилась. Ей не понравились их возбужденные, слишком блестящие глаза.

— Что вы делаете?

— Мы тоже видим сны.

— Я больше не смогла заснуть. Поляк стучал в стену. — И чтобы еще больше встревожить родителей, добавила: — Ты, папа, исчез под балками, а мама бежала по полю, за ней гнались люди, одетые в зеленое, как саранча. Мы с Жильбером спрятались в стоге сена, но стог загорелся. Что все это значит?

— Замолчишь ты или нет? Мы устали, а из-за тебя сейчас и Динко проснется.

— Это он меня будит. Ты заметила, что у него не хватает полпальца?

— Нет.

— Может быть, он с кем-нибудь дрался?

— Иди ложись.

Все успокоилось в ночи.

Зима была долгая. Симеон с семьей зимовали, как полевые мыши. Динко куда-то отбыл в направлении Па-де-Кале, где у него были родственники. Строительство дома приостановилось. Стены, едва поднявшиеся от земли, закрыли брезентом. Одетта получала с Севера открытки, которые она засовывала за раму зеркала в столовой. Друг с другом они не разговаривали. Каждый жил сам по себе. Симеон опять взялся за свои послушные цифры; Клодина и Жильбер, проводившие весь день в школе, возвращались только вечером. Все погрузились в сон, как после кораблекрушения. Предсказывали жаркое лето.

Динко писал, что собирается жениться, потом вообще пропал.

Все погрузилось во мрак.

Настал март 1939 года. Никто не заметил, как пришла весна; если б не букеты желтых нарциссов, которые ставили в вазы, никто бы не знал, что из земли сквозь опавшие листья высовывается острие травинки. Бои начались там, где когда-то прекратились. Говорили, что у Германии нет сырья, необходимого для ведения большой войны. «Гитлер не может, не подвергая себя опасности, вооружить десять миллионов рабочих... Германия не сможет воевать, если ее рабочий класс будет целиться ей в спину...»

Все погрузилось во мрак.

«Чехи попали под нож Берлина в марте 1939 года. Богемия и Моравия стали немецкими протекторатами. Словакия, отделившаяся от Чехии и объявившая себя независимой, была отдана в распоряжение рейха монсеньором Тисо. В том же месяце Германия потребовала, чтобы Польша отдала ей Данциг с его коридором. Польское правительство считало, что дружба англичан и французов ему обеспечена. В апреле Муссолини оккупировал Албанию под тем предлогом, что у албанцев и итальянцев в жилах течет одна и та же кровь. Месяц спустя немцы и итальянцы заключили нерушимый договор, по которому диктаторы накрепко связали свои судьбы...»

■ ■ ■

Динко вернулся вместе с ласточками. Никогда еще вечера не были такими прозрачными, такими светлыми. Невозможно было спать от ярких лучей, пробивавшихся между дощечками ставень.

Динко похудел; он снова занял свое место в бабушкином кресле; иногда он развлекался по вечерам. Он зажимал большими пальцами лист папиросной бумаги, натягивал его и играл губами военный марш.

Или же читал при свете карманного фонарика книги на польском языке, где речь шла о Сигизмунде-Августе, короле польском, или о Казимире-Ягеллончике. Его очень интересовали тевтонские рыцари.

Однажды вечером Симеон встал с постели, открыл окно.

— Никогда еще я не видел такой луны. Можно подумать, что ты ее начистила, детка.

Небо было светло-голубое, словно занималась заря. Он обнял жену за шею и стал играть пушистыми кудряшками у нее на затылке. Одетта не понимала этой неожиданной перемены, произошедшей с мужем, который зимой весь ушел в себя и оцепенел, как сурок. Сейчас же он был похож на робкого жениха.

— Как бы не проснулись дети и Динко.

Одетта заводила будильник, глядя, как по небу плывет серп месяца. Ничто больше не пугало ее: ни продвижение немецких танков в Богемии и в Моравии (о каких это экзотических странах шла речь?), ни аннексия Данцига — «старый заржавленный порт», говорил Динко,— ни Албания, потерявшая свободу. Она слышала по радио речи стольких глав государств, подчинявшихся силе, но светлый «мерседес» Гитлера был такой красивый, открытый, с двойными шинами, с флажками, с фарами, затянутыми полотном, с телохранителями в длинных плащах, на которых блестели перевязи. На окнах висели гирлянды, всюду звучали фанфары, руки вздымались в приветствии... «О боже, какой человек, какой человечек!..» — как поется в песне. А потом она вновь видела себя стенографисткой-машинисткой в Торговой палате, где ее открыл рыжий гигант по имени Симеон, которого пригласила бухгалтерия, чтобы навести порядок в счетах, предъявляемых складами. Она поехала с ним в летний лагерь; она жила в Жирофлé и вела хозяйство маленькой группы, которая сняла виллу, чтобы там размышлять, поститься и непосредственно приобщиться к Потустороннему. Одетта выдавала себя за сироту — родители у нее были, но они мешали ей жить, не считали ее личностью и успокаивались, только когда она совершала промахи и делала глупости. Она рассталась с ними, как расстаются с костюмом, вышедшим из моды, хотя еще и не сносившимся. А эта группа провинциалов, которым нужна была подружка, умеющая приготовить простоквашу и медовое печенье, приняла ее с распростертыми объятиями. Как все это было далеко! Они водили ее с собой по мокрым от дождя рощам и смеялись, глядя, как она зашивает надувной матрац.

Однажды летом Симеон и его приятели повезли ее на море, под опаленные зноем сосны. Стояли самые жаркие августовские дни, масло таяло, а мясо, даже закопанное в землю, буквально притягивало мух, налетавших неизвестно откуда. Весь день пили чай и готовили сложные салаты, которые поглощали под звуки «Болеро» Равеля. До одури накручивали патефон, немного засоренный песком, и слушали классическую музыку и кубинские песни. Потом...

Одетта не могла заснуть — с такою силой нахлынули на нее воспоминания; она потрясла Симеона за плечо.

— Ты спишь?

— Да, — вяло ответил муж.

— У меня идея.

— Что такое еще? — проворчал Симеон; он повернулся, посмотрел на будильник, который стрекотал, как сверчок. —. Час ночи.

— Слушай. Что, если купить канадскую палатку для Динко? Ее бы раскинули в саду. Тогда он мог бы работать, не теряя времени.

— Ты думаешь, мы когда-нибудь закончим дом?

— Какой ты пессимист.

— Ты же знаешь, что зимой цемент лопнул, стыки, кирпичи стали крошиться...

— Ах, надоело. Я куплю канадскую палатку с ковром на полу и двойной крышей.

— Делай как хочешь, но предупреждаю тебя, что нам не хватит денег даже на полмесяца, и не с моими двумя тысячами франков...

Вдруг он повернулся к Одетте и поцеловал ее, как беззаботный школьник.

— ...Но это же замечательно. Он тогда поймет, что мы не собираемся с ним расставаться. Скажем, что ему полезно пожить на свежем воздухе. И он укроется от нескромных взглядов. Одетта, это чудесная, гениальная мысль.

— И он забудет про бедствия, свалившиеся на Польшу, про свои собственные несчастья. Этот человек чувствует себя хорошо, только когда работает.

На другой день Одетта подошла к Динко, пытавшемуся пришить пуговицу к пиджаку, да так неумело, что она расхохоталась и, взяв его под руку, потащила в город.

— Вас ждет сюрприз!

Это оказалось труднее, чем она предполагала. Динко не пожелал удовольствоваться скромной палаткой. Он потребовал, чтобы в ней было глухое окно, а кроме того, рюкзак на колесиках и пуховое одеяло на ночь, но в больших магазинах были только палатки с пологом, который поднимался, как занавеска. Динко вникал во все мелочи: он был придирчив и недоверчив.

— А если «молнию» заест?

— Этого никогда не бывает, мсье.

— А если пойдет дождь?

— Палатка непромокаемая.

— Брезент сохнет быстро?

— Нормально.

— А бамбуковые стояки — прочные?

— Никто не жаловался.

Он заставил объяснить ему, как вбивать алюминиевые колышки, спросил, не гнутся ли они, как сделать, чтобы мелкие ветки не проткнули ковра, как защищаться от ветра и пр.

Получив все разъяснения, он поцеловал Одетту в губы, поблагодарив ее по обычаю своей страны.

Во вторник Одетта с Динко уехали в Бретиньи. Поляк нес свой рюкзак, провизию, маленькую спиртовую лампу, а кроме того палатку, свернутую вместе со спальным мешком. Он, словно ребенок, который не ожидал получить в подарок такую роскошную игрушку, с изумлением смотрел на свое имущество. В поезде он ехал стоя, чтобы не снимать рюкзак со спины.

Стояла прекрасная погода; сирень запоздала из-за заморозков, но все-таки уже начала увядать, и везти с собой ее не стоило. Ветер скосил тюльпаны — они сломались, как стеклянные, их лепестки валялись в грязи. Симеон уже убрал брезент, закрывавший первые ряды уложенных им кирпичей. Начатая постройка напоминала раскопанные развалины.

Как только они приехали, Динко занялся палаткой, а Одетта принялась расставлять на полках во времянке, рядом с инструментами, привезенные консервы, бутылки, пристроила большую круглую булку. Масло она положила в тарелку с водой, чтобы до него не добрались ранние муравьи. Она ловко управлялась с делом, напевая мотив песенки «Lecuana Cuban Boys» [1].

Когда Динко вбил последний колышек, он взял Одетту за руку и заставил ее войти в палатку, которую надувал легкий ветерок. Кровать была постелена — так, во всяком случае, показалось Одетте, но она не смела лечь. Они были одни с Динко; ей стало трудно дышать.

— Да ложитесь же, Одетта, вы увидите, как хорошо.

Она осторожно легла. Ловкой рукою Динко дернул за шнурки, придерживавшие полог на двери, и Одетта стала пленницей этого жадного и беззаботного человека.

Она хотела подняться, стукнулась о рейку, засмеялась. Чтобы выйти, нужно было сначала проползти, согнувшись в три погибели, на коленях. Она неловко боролась, отталкивая безжалостные руки Динко. А он повторял: — Dziçkuje, dziçkuje...[2]

И овладел ею.

[1] «Кубинские ребята из Лекуаны» *(англ.)*.

[2] Спасибо, спасибо...*(польск.)*

Все это произошло мгновенно. Одетта ничего не помнила, так быстро пролетело наслаждение. Сначала она удивилась, потом растерялась, потом успокоилась. Влажный от пота (от него пахло мятой травой), он успел лишь проникнуть в нее — это не могло привести к серьезным последствиям. Она приняла грубоватую благодарность Динко; поляк не очень-то разбирался в нюансах; он попросту захватил ее врасплох. Из-за своей торопливости он показался ей не очень мужественным. Он открыл глаза, потребовал сигарету.

Одетта вышла из палатки; она торопилась вернуться к своему мужу, к своим детям, забыть эти минуты безумия, в котором не было ничего порочного. Все казалось естественным; она понимала, что ее поработитель сейчас блаженствует. Она просунула голову в отверстие палатки. Динко, лежа на койке, улыбался ей. Она порвала ему рубашку. Золотистый от солнца брезент сливался по цвету с его белокурыми волосами. Он взял сигарету, которую раскурила для него Одетта, и стал пускать кольцами дым, словно мальчишка, решивший, что упреки лучше развеять по ветру.

— А теперь за работу, Динко! Завтра будешь расчищать площадку. За два месяца ты должен построить мне дом.

— Слишком короткий срок.

— Динко, подумай о Польше, где все дома разрушены.

Поляк сразу же вышел из палатки и потянулся.

— Принеси песку и высыпь его кучкой на землю. Симеон сам приготовит раствор. Он приедет в субботу, привезет триста килограммов цемента и кирпичи. Смотри, чтобы ничего не размокло, не доверяй соседям и не развлекайся. С моим мужем шутки плохи.

Динко ничего не ответил, лишь попытался снова привлечь к себе Одетту, но та высвободилась из его крепких рук и побежала на вокзал.

Тогда Динко сунул голову под насос и нажал на рычаг. Он облился водой как был, в рубашке и брюках. Он долго умывался, насвистывая польскую патриотическую песню.

Великобритания, Франция уже готовились к войне, несмотря на разгул пацифизма, на пораженческую пропаганду, на то, что на горизонте вырисовывался Петен. Великобритания после долгих лет промедления наконец объявила мобилизацию. Что было делать под напором немцев, которые бесновались на митингах и собраниях, устраивая фейерверки и распевая хором? Сопротивление сводилось лишь к уверткам, главное было не уронить чести и достоинства; сжимали челюсти, чтобы не потерять вставные зубы; ходили из дома в дом, собирая подписи под патриотическими воззваниями; в елей Ватикана добавляли уксуса; ожидали первого убитого на войне; начищали медали и ордена; нафталин не мог окончательно уничтожить нацистскую моль.

Во всех балканских странах слышался беспрерывный топот сапог. Подумывали о России, об этом огромном сугробе, который мог преградить дорогу распространению немецкого муравейника.

Такие газеты, как «Гренгуар», «Аксьон франсез», словно с цепи сорвались. Каждый мог вдруг оказаться предателем или евреем: то был час костров, час молчания, потворствующего злодеяниям, но не спасающего детей. Огонь еще недостаточно «очистил» города. Жизнь становилась дороже, чаевые росли. Новый порядок расписывали в радужных тонах, и профсоюзы не знали, что думать. У нас еще были генералы в кепи с вышитым околышем, осторожная стратегия, националистические порывы Из Лувра украли «Равнодушного» Ватто. Виши оставался главным курортом Франции. Готовили поражение прежде, чем подготовить танки, которые спокойно стояли, обильно смазанные, заправленные маслом. Ку-клукс-клан налаживал контакты. Тайный комитет революционного действия организовал дохлую армию, которая только и мечтала о том, чтобы ее захватили на синей линии Вогез, несмотря на храбрость некоторых вояк. Лагеря открывались как по волшебству. Нацистская Германия создала штрафные роты — попавших туда не ожидало ничего хорошего. Исполняли приказы казнили заключенных. И лучи Вуда[1] не помогали выявить тех, кто от-

[1] Роберт Уильямс Вуд (1868—1955) — американский физик, открывший резонансное излучение паров ртути в ультрафиолетовой области, именуемое лучами Вуда, или черным светом.

казывался нести военную службу по религиозным или общечеловеческим мотивам, потому что все излучало теперь только черный цвет.

Укрепляли систему обороны и систему сохранения мира в Средиземноморье. Говорили о примере Вердена. Сэр Эрик Филлипс, английский посол во Франции, присутствовал при принятии в Академию нового «бессмертного»; классицизм ставили превыше всего. Издавалась серия «Счастье» — книги, которыми женщины могли упиваться в ожидании того дня, когда станут сестрами милосердия. Парижская мода продемонстрировала в этом сезоне «приятное чувство меры, шаловливые новшества и элегантную смелость...».

Червяк ловко забрался внутрь плода и грыз его, не тревожась о семенах.

«Пусть лучше погибнет Франция, чем вся западная цивилизация...»

Настал конец той беспечной жизни, когда буря лишь набирала силу, когда зачумленные съели наивных, когда порыв ветра поигрывал почерневшими кружевами Лиги Наций.

15 апреля 1939 г.

— Симеон, ты сможешь купить мне чулки из капрона — они матовые, прочные, прозрачные и в большой моде.

— Знаешь что, выпей немного «Мари-Бризар» с водой — это так утоляет жажду. Немного «Мари-Бризар», а потом свежей воды, пока вода не замутнеет.

— Передай мне крем для бритья «Гиббс». Посмотрим, примет ли его моя кожа. Попробуем и с кисточкой, и без нее — выбирать будет моя борода. Это крупные тюбики.

— Я думаю купить «Силексор» для дома. У них семьдесят пять лет опыта и успеха; «Силексор» бывает в порошке и жидкий. Им смазывают все наружные части дома. Все равно как надеть на камни броню. «Силексор» их предохраняет, делает водонепроницаемыми и удваивает срок службы. Да, представляешь, это же настоящая краска из цемента — есть шестьдесят невыцветающих оттенков. Я бы хотел розовато-терракотовый.

— Ну-ка, наведи! Щелк — и готово! Твоим «кодаком-Ретина» можно снимать все. Знаешь, это просто шедевр оптики и механики, с ним — никаких проблем. И краски получаются такие естественные. В «Грабах» это будет просто мечта. Мы постепенно сфотографируем всю постройку дома. Здорово, а?

— Знаешь, прежде ехать куда-либо было утомительно. Когда у нас появится машина, мы будем ездить каждое воскресенье — теперь есть такое масло для моторов — «Кастроль», патентованное, Дудуша, а для Бретиньи...

— Почему бы нам этим летом не поехать в Бельгию? Там такие города, пляжи; туристическое бюро обещает прогулку по каналам Льежа при вечернем освещении. Можно съездить в Остенде: там есть дворец, бани, морской курорт. Я стану там стройной, как эльф. Отдохнем от строительства дома. Арденны очень живописны, а в Брюсселе, в отеле «Палас», можно снять номер с ванной за семьдесят франков в сутки. Ты знаешь, с июля по ноябрь в Льеже будет международная выставка. Нужно навести справки в бюро по туризму. Я бы хотела присутствовать на церемонии освящения моря. Давай поедем; в проспекте сказано, что туристические поездки в тридцать девятом году выгодны во многих отношениях.

— Ты можешь без труда похудеть и здесь, моя маленькая Одетта. Я видел, продается мыло на очищенной желчи. Оно проникает в организм. Узнай поподробнее!

— Я всю ночь глаз не сомкнула из-за этих чертовых комаров. «Флай-Токс» без запаха убивает их еще лучше, чем душистый, хотя ничем другим от него не отличается. Специально предназначен для опрыскивания в тех случаях, когда запах может вызвать раздражение. Я думаю, им можно убить и муравьев у нас в саду.

— Да, я куплю тебе ручные часы «Ролекс»; у тебя на руке всегда будет точное время. Ты никогда не будешь опаздывать. За временем надо следить.

— Врач считает, что я никуда не гожусь. Что, если поехать в Виши — там лучше всего лечат нарушения обмена. А потом, там чудесные прогулки. Пить воду можно когда захочешь.

— Ты не помнишь Женевьеву Шаплен, мисс Синемонд тридцать восьмого года, которая собиралась замуж за Сашá Гитри? Она не боится носить украшения «Бюрма». «За сто франков «Бюрма» обеспечивает вам радость и счастье. Украшения

«Бюрма» идеально имитируют настоящие драгоценности». Приятно иметь солитер, он ко всему подходит. Я спрошу иллюстрированный каталог. Там великолепный выбор. Что можно купить за сто франков?

— По-моему, ты устал, Симеон, у тебя депрессия, принимай «кентонин». Содержимое флакона на литр вина. Будешь к тому же прекрасно выглядеть. Да что там говорить, тот, кто принимает «кентонин», всегда здоров.

— Слушай, ты должен поехать в Марсель, в Институт исправления дефектов речи. Тогда тебя легче будет понимать.

— Ночью я все обдумал. Я сделаю фонтан, для которого не нужно прокладывать трубы и вообще не требуется никакой возни. Это такой аппарат без вращающихся частей — достаточно поставить его посреди бассейна или чаши с водой и включить вилку от изолированного провода в штепсель переменного тока. Ясно? Вот и все. Струя может достигать полутора метров в высоту, ее можно регулировать, а расход энергии незначительный. Я справлюсь в магазине насосов «Олрайт». Есть агентство в Лондоне. Фонтан перед домом — чего лучше, и сад украсит. Слушай, говорят, журчание воды вызывает желание пи́сать — я же сказал просто так, в шутку.

— В саду у нас будет клетка с птицами. Это мне посоветовал один человек, который делает чучела птиц. Ему можно поверить. Канарейка или попугай свистят всюду, куда их ни посади. Надо только следить, чтобы они не заболели.

— Ты видела «Пастера»? Какой пароход! Это чудесное рекламное судно, курсирующее между Европой и странами Южной Америки. Жаль, что у него только одна труба, он напоминает выдвижной ящик.

— Купи себе бюстгальтер «Ариста». Он связан по форме, без шва. Идеально для полных женщин. Нет, я пошутил...

— Я непременно приобрету для нашего сада диван доктора Паско «Отдых». Можно вздремнуть днем, пока друзья будут беседовать. Попрошу, чтобы прислали брошюру; это патентованное изобретение...

— Ты так много работаешь, а ногти у тебя не ломаются. Возьми все же пробный флакончик «Супер-Сейза». Ногти у тебя будут длинные, красивые, как ты любишь. Это укрепляющее масло, говорят, совершенно необходимое. Оно антисептично, его можно накладывать даже на покрытые лаком ногти. Содержит витамин «Ф». Сходи в их салон на улице Сент-Онорэ.

— Дай мне рюмку «Кампари», оно освежает, восстанавливает силы и возбуждает аппетит.

— «Кампари» с сельтерской водой — получается шипучая смесь. Я люблю аперитивы, настоянные на душистых растениях, горьких травах, с отдушкой из апельсиновых корок. Да здравствует отпуск!

— Дудуша, не ломай себе голову. Купи натуральную губку, морскую губку, неподражаемую, мягкую, прочную, нежную; она будет служить долго. Обтирайся, мой цыпленочек!

— Почему бы не написать в «Провансальскую мастерскую» — они сделали бы прочную мебель; она «не боится сырости, от которой обычно фанеровка вздувается. Она выдержана в одном стиле, радует глаз и не надоедает». А потом, она красивой, необычной формы. Мы взяли бы столовую, чтобы был буфет с двумя дверцами.

— Я тебе уже говорил: известковая вода — вот наш враг. Посмотри, какая у тебя в кастрюлях накипь. Если ты и дальше будешь в них готовить, то нам обеспечен ревматизм, артрит, болезни печени, почек и кишечника, а если они уже есть, то только обострятся. Ты прибавляешь себе работы, тогда как смягчитель воды «Теттбро» «почти ничего не стоит». И белье не портится, не изнашивается, а руки остаются гладкими; в «Грабах» без него не обойтись.

— Купи мне для дома электрический пылесос; они прочные — не бьются, не ломаются. Я ведь тебя уже просила. Нам подошел бы «пылесос-безделушка», он продается в очень элегантном чемоданчике. Пыль — это отрава нечистоплотных людей.

— Ты куришь еще и «Кельтские»? Твой обычный «Капрал» дурно пахнет, я из-за него кашляю.

— А ты подумала о том, чтобы всегда иметь лед? Это такой маленький аппаратик, который весит не больше ста граммов и мгновенно превращается в холодиль-

ную установку — им можно охладить пол-литра жидкости не хуже, чем с помощью льда.

— Интересно, старушка, что было изобретено раньше: солнце или «Бирр»?

— Симеон, твои веснушки можно вывести антефелическим молоком или молоком «Кандес». Кожа у тебя станет светлой и ровной.

...И так далее...

— Прежде чем отправиться на участок, я навел справки.

— О чем?

— О твоем подопечном.

Одетта невольно покраснела; она не могла забыть неуемный пыл Динко, его безудержные ласки, его физиономию обиженного ребенка, его быстро возрождавшееся желание. «Он использует меня», — думала Одетта: ей не хотелось придавать слишком большое значение тому, что было отступлением от общепринятых норм — не только на словах, но и на деле. Она была даже счастлива, что с нею обошлись как с девкой.

Стоял уже июнь, самые светлые дни. Когда занимаешься любовью, вопрос о чувствах уже решен; она же только доказала себе, что вольна любить кого захочет. «Когда состарюсь, кому я буду нужна?» Все вокруг служило предлогом для прощения и помилования: розовые кусты с бесстыдством раскрывали свои цветы, на фруктовых деревьях, еще оставшихся в саду, плоды потихоньку, но неуклонно наливались соком, росли и быстро начинали привлекать ос и разных паразитов.

— Знаешь, что мне сказали в мэрии?

Симеон, казалось, потерял интерес ко всему, кроме постройки своего жилища. Фундамент был готов, росли стены, теперь уже и внутренние, и до крыши было недалеко. Можно было заняться дверными проемами, подоконниками, порогами.

— Ну, так что же ты узнал, котик? Что у нас нет больше спасителей, нет союзников и Франция станет колонией? Гитлер уже послал к нам своих миссионеров?

— Нет, вот что я узнал: согласно статье шестьдесят четвертой части второй трудового кодекса, под страхом штрафа от пятисот до тысячи франков запрещается нанимать иностранца, если у него нет удостоверения личности, оформленного по всем правилам, с отметкой «рабочий». Полиция составляет протокол и привлекает к ответственности нанимателя. Видишь, как обстоит дело.

Неделя прошла быстро. Симеону снились разные комбинации, в результате которых он мог стать миллионером. Но цифры быстро улетучивались во сне. Проснувшись, он забывал все.

— Динко — несчастный человек, мы приютили его из жалости. Это скорее благотворительность — при чем тут трудовой кодекс?

— Ты думаешь? Послушай. Я читала, что с аукциона продается домик с садом, в Ножан-сюр-Марн, авеню Виктора Гюго, номер сто-бис. Жильцов там нет, участок — тысяча двести метров. Исходная цена — двадцать тысяч франков.

— А где ты возьмешь деньги?

— А ты подумал о том, что при строительстве могут быть несчастные случаи?

— Еще что выдумала!

— Не проще ли уехать куда-нибудь в отпуск? Я видела рекламу Фрейбурга, столицы Шварцвальда. Идеальное место для отдыха, дети могли бы совершать там экскурсии. Послушай же, сам Анатоль Франс...

— Тот писатель с бородкой? Он умер лет пятнадцать назад. Это был социалист в белых перчатках.

— Четырнадцатого августа тысяча девятьсот тринадцатого года он написал в альбом одному очень известному лицу в Бадене: «Как я жалею, что раньше не поехал в этот очаровательный город Баден-Баден, где столько прелестных прогулок...» А он ведь не первый встречный. Шварцвальд в шести часах езды скорым поездом от Парижа.

— Кто тебе это сказал?

— Германское бюро туризма по железной дороге.

— А Бретиньи для тебя слишком далеко? Я хочу иметь собственный дом. Что это тебе вбили в голову? Поедем-ка в наш сад.

— Скажи лучше: поедем на наш строительный участок. А напрасно, ты пожалеешь, что не послушался меня.

Клодина и Жильбер пришли в восторг от того, что снова увидят свою «хижину дикарей», как они ее называли. Им не сиделось на месте.

— Мы где-то прочитали, что в Камеруне по внешнему виду дома можно определить социальное положение того, кто в нем живет; у высокородных оконные рамы и наружные столбы из твердого резного дерева, а у пигмеев хижина похожа на большую перевернутую корзину. Почему бы тебе не сделать так?

— Ну, это детские бредни.

— Вовсе не детские. А на севере Новой Гвинеи, наоборот, строят огромные дома из пальмовых стволов и развернутой коры. Хорошо бы иметь такой дом, который можно менять. Все знали бы, когда мы богатые, а когда бедные, когда счастливые, а когда несчастные.

— Кто вбил тебе все это в голову?

— Ведь бывают и другие дома, не только такие, как у нас во Франции.

— Надо делать то, что делают все. Тогда почему бы нам не построить хижину из глины, выложенную циновками?

— Мы хотели бы, чтобы ты немного пооригинальничал, папа.

— Это ты любишь оригинальничать. А мы живем как положено.

— Зато так было бы забавнее.

— И дешевле, — добавил Жильбер. — Почему нам быть как все?

— Да потому, что все похожее объединяется, глупый мальчишка. Мой дом — это я. Я копирую не оригинал, а чужую копию, я не собираюсь делать круглые, овальные или остроконечные крыши, чтобы понравиться твоему учителю географии. Я не хочу, чтобы люди пожимали плечами, глядя на мой дом.

— Жаль, что ты такой нелюбознательный.

— А ты, Жильбер, должен бы понимать: мы строим также и для соседей. Слава богу, я не какой-нибудь безумный негр. Да и вообще, поехали!

Этот спор привел всех в некоторое замешательство. Симеон смотрел на детей, как будто видел их впервые. Он никогда не думал о странах, о которых рассказывают в школе, о незнакомых обычаях, о странной, непохожей на здешнюю, иерархии. Он привык оглядываться на других: разве можно не считаться с тем, каким тебя видят? А его дети ленились даже придумать что-то свое. «В конце концов, место жительства — дело серьезное»,— думал он. Говорят: «выбрать место жительства» — это значит выбрать место; люди живут в определенном месте... А их учат какой-то белиберде. Образование — плохой советчик для молодых. И направляясь за грузовиком, который любезно обещал предоставить ему приятель, работавший на кирпичном заводе, он думал: чтобы построить дом, нужны талант, техника и мускулы. Дом одевает людей — они надевают на себя крышу точно так же, как прикрываются одеждой. И вдруг он подумал: «Мне повезло, не надо зевать».

Грузовик ждал его с черепицей и кирпичами, переложенными соломой. Он взял деньги из сберегательной кассы, он чувствовал себя богатым. Потом он стал думать о Динко, чья помощь была для него так важна. За четыре дня тот, наверное, много наработал с имевшимися материалами. Он не трепач и не лентяй. На его руках следы прежней опасной работы. Конечно, он много вытерпел в жизни, это видно по тому как он оборачивается, по тому, что не умеет ходить в ногу. Солнце жарило вовсю посадками сейчас не занимались, дав простор вьюнку и сорным травам. Он строил настоящий, а не искусственный рай. Потом они займутся садом, они его тщательно распланируют, дорожки зальют цементом. Симеон заплатил наличными хозяину кирпичного завода, который хотел отделаться от плохо обожженного кирпича и поэтому уступил его за смехотворную цену. Его приятель ловко и смело вел машину. Ах, поскорее бы закончить это строительство!

— Ты знаешь, я сэкономил больше тридцати тысячи франков, старина!

Приятель кивнул.

— У меня теперь будет четыре комнаты плюс гараж и беседка.

На это приятель промолчал.

Что за идея возникла у Одетты? Она слишком увлекается иллюстрированными журналами. Разве сейчас подходящее время ехать в Рейнскую область по железным дорогам рейха — отправиться в роскошном поезде вроде «Рейнгольда» в долину Рейна, где Общество иностранного туризма «Рейнланд-Бад-Годесберг» покажет вам исто-

рический город Экс-ла-Шапель, город Бетховена Бонн, Кобленц и крепость Эренбрейтштейн, старинный римский город Трир; вы увидите праздники виноделов, сокровища искусства, прекрасную Bergisches Land [1] и Кёльн, куда стремятся путешественники со всего мира... «Потом, когда я стану военным...» Но Одетта настаивала на поездке в эти места, которые скоро будут заперты на засов. Путешествие на пароходе по Рейну, из Кёльна в Дюссельдорф — названия, которые могут лишь пригрезиться в летнюю ночь!

Симеон предложил приятелю подкрепиться шоколадом «Ломбар»; тот вежливо отказался.

Тогда он попросил остановить грузовик возле кафе, заказал две кружки пива; они сыграли партию на бильярде. Ах, чудесные путешествия!

Потом поехали дальше; Симеон надел темные очки от солнца. Он берег глаза: они быстро уставали — иной раз в конце рабочего дня цифры шевелились перед ними, как насекомые. Надо будет сказать врачу. Приятель опустил щиток, чтобы не слепило солнце.

Когда они приехали на участок, вся семья в растерянности ждала его. Динко не было. Стена за это время не выросла.

— Где он?

— Мы его не видели.

— Идите помогать мне.

Выгрузили кирпичи и черепицу, при этом немало разбили; грузовик уехал. А Симеон забыл поблагодарить своего приятеля. В саду вырос внушительный холм.

— Это наш дом в уменьшенном виде! — воскликнул Жильбер.

Он получил звонкую пощечину и тут же выругался. Обычно Жильбер не обращал внимания, когда ему попадало; щеки у него для этого подходили; как говорила Одетта, они были «кровь с молоком». Но теперь дрянной мальчишка заворчал:

— Я уже не в том возрасте.

— Когда захочу, тогда и ударю.

Разумеется, Симеон думал об исчезнувшем Динко, который заслуживал еще более сурового наказания — ведь он дезертировал со своего поста. Они присели на холм. Палатка стояла на своем месте; Симеон резко отдернул брезентовую дверцу — внутри никого не было. Пылающее солнце жгло землю, и она накалялась, как кирпичи в печи. Помолчали. Потом все еще обиженный Жильбер прошептал:

— Ну, так чего же мы ждем?

— Этого подлеца поляка.

Он и в самом деле явился по прошествии часа под руку с девицей в синем гофрированном берете с бантиком сзади. Она гордо выступала в свободной клетчатой блузе, заканчивавшейся на талии воланчиком. Динко обнимал ее за шею, а она улыбалась ему. Он поцеловал ее, она высвободилась и надела очки: должно быть, она была близорука, как мышь, но формы у нее были соблазнительные.

Он, видимо, что-то задумал и стал шептать на ухо своей подруге, а та, смеясь, отступила и уставилась на онемевшую, растерянную семью. Динко, делая вид, будто ничего особенного не происходит, потянул девицу за руку явно намереваясь показать ей свою палатку, но она отнекивалась, боясь помять юбку Веселая парочка забавлялась, глядя на вытянутые лица Перпиньянов: интересно все же, до какого предела может дойти наглость этих людей.

Симеон встал, скрестил руки и крикнул:

— Так, значит, ты водишь сюда девок?

Динко с сожалением оторвался от девицы. Наверное, он не ожидал, что они приедут; он хорохорился. С удивлением оглядел сад, ставший из-за груды кирпича похожим на пустырь.

— Мадемуазель Лили — моя подружка, она провожала меня.

— С каких это пор?

Лили убежала, постукивая высокими каблучками, перекинув сумку через плечо; один чулок у нее поехал на икре. Во время бега от ветра блуза ее распахнулась. Поодаль виднелась «прима-4-рено» открытая машина с откидным верхом, совершенно белая, с белыми колесами — такая могла бы участвовать в конкурсе на элегантность. Девица, словно бросая вызов Симеону, сняла шляпу, распустила по ветру волосы и вихрем промчалась мимо участка, подняв облако пыли.

[1] Горную страну *(нем.)*.

Симеону послышалось:

— Старый хрыч!

Кончилась золотая пора, пора воодушевления, надежд. Одетта не могла успокоиться.

— Я тебе говорила, не доверяй ему.

— Кому?

— Он бабник и лентяй. Он цепляется к любой юбке.

Но тут она спохватилась и умолкла.

Динко смущенно почесал голову и сунул руки в карманы. На нем был не старый комбинезон, а новый костюм, в котором он походил на бездельника.

— Она тоже полька.

— Убирайся отсюда, слышишь, убирайся!

— Как вам угодно.

Его легкомыслие выводило бедного Симеона из себя, но в глубине души он восхищался такой независимостью. «Придется его все-таки выгнать»,— подумал он.

— Полька уезжает в Испанию. Я работаю хорошо, только когда я не влюблен.

Симеон молчал. Его душил гнев. Одетта была вне себя. Зачем ей понадобилось проводить с ним те чудесные послеполуденные часы, которые никак не тускнели и не исчезали из памяти? Ее по-прежнему волновало это большое порочное животное, и, хотя элегантность его была чуть-чуть кричащей, никогда еще он не казался ей таким желанным.

— Вы злоупотребили нашей добротой.

— Только не вашей, мадам Одетта, только не вашей.

— Вы влезли к нам в душу.

Она говорила легко, с пафосом — казалось, ее слова были продиктованы искренним возмущением, но они были исполнены особого смысла и значения для Динко и для нее самой. Это был дуэт разрыва.

Тогда Динко повернулся к ней. И прошептал:

— Не нужно считать, что на близость имеете право только вы.

И повернулся к ним спиной столь же неожиданно, как появился, предварительно попросив разрешения напиться воды у насоса. Симеон принялся за работу. Он разбил на куски сухой цемент и бросил в приготовленный для этого чан.

И так как Динко все еще не уходил, Симеон достал бумажник и бросил ему несколько купюр. Поляк не шелохнулся, не поднял их.

— Возьми, это тебе за работу.

— Нет. Вы мною недовольны.

— Ты думаешь, я дам тебе рекомендацию? Ну, это уж дудки!

И тут — удивительная вещь — Динко вынул из кармана пиджака маленький «кодак-Ретина», новейшую модель, долго наводил аппарат и наконец сделал снимок всей семьи. Одетта чуть не вскрикнула. Динко улыбнулся.

— Это на память; мне всегда удается то, что я делаю на память.

Он спрятал аппарат в карман, махнул рукой. Одетта прошептала мужу:

— Жалко.

Он пожал плечами.

— Не суйся не в свое дело. За работу!

Одетта чувствовала себя словно после кораблекрушения, но она не могла плакать и крикнула Динко:

— Пришлите нам фотографию!

Клодина и Жильбер заявили, что не могут заменять Динко: они не в рабочей одежде.

— Я в гольфах.

— А я в платье из тафты.

Симеон поднял глаза на свою семейку, которая с удовольствием предалась бы безделью,— лето было жаркое, солнце жгло немилосердно.

— Убирайтесь отсюда все. Я как-нибудь справлюсь один.

Одетта подошла к Симеону — она чувствовала легкое раскаяние, хоть и не очень искреннее.

— Я остаюсь с тобой. Скажи, что мне делать.

— Иди подрезай свою изгородь. Дом — это мое дело.

Раствор был уже готов. Наступал вечер. Симеон думал о внешнем виде своего дома, об окончательной отделке, о том, чтобы швы кирпичной кладки не пропускали влагу. Дверной проем он сделает позже — сначала окна. Он должен положить перекладины над окнами, приготовить камни для подоконников, сделать точные обмеры, так как у него уже готовы оконные рамы, которые он взял из разрушенного дома. Но тут он остановился — сил больше не было, слишком он намаялся. Никогда ему не закончить. Он впал в уныние. Домой возвращались более измученные, чем всегда, и расстроенные, как будто они ездили на участок отбывать повинность.

Во время обеда включили радио — они привыкли делать это ежедневно; новости были не такие тревожные, как обычно. Сначала была литературная передача — рассказывали о романе Альфонса де Шатобриана «Свора», изданном в серии «Современная иллюстрированная книга» с оригинальными гравюрами на дереве Клемано Серво. Ведущий говорил об этой большой серии, включавшей 319 названий, роскошно изданной и недорогой. Потом речь пошла о трех новых книгах, посвященных Наполеону и его семье. Во время отпуска советовали читать роман Марселя Гранше «Домб», получивший премию «Куртелин» 1938 года. В самом деле, отпуска были не за горами. Оставили открытыми окна, выходившие во двор; в еще горячем небе сновало несколько стрижей. Жильбер наклеивал марки в альбом. Клодина надеялась, что не сегодня завтра ей разрешат красить губы. Оба они достигли того возраста, когда уже больше не капризничают и не делятся своими тайнами, но ссорились пока все так же.

— Если будет война...

— Замолчи, Клодина.

Оркестр под управлением Тосканини исполнял «Пасторальную симфонию» Бетховена.

— Не так громко.

Одетта убавила громкость; мелодия оркестра смешивалась с шипением жаркого где-то вдали. Вдруг радио снова начало передавать новости.

— Как тут не думать о войне,— сказал Симеон.

Клодина взяла книгу из серии «Счастье»: ей нравилась сиротка Флеретт и ее старая кобыла.

Театральная жизнь: «Нескромный» Эдмона Сэ в «Комеди франсез», «Фабьен» в театре «Одеон».

Потом были новости недели и сообщение парижского радио о ценах на «мороженую баранину из Марокко».

Одетта убрала со стола и сложила грязную посуду в раковину. Когда едят холодное, жир прилипает к тарелкам. Она слушала репортаж о воссоединении королевского семейства, когда эскадренный миноносец «Кемпенфельт» подвез двух маленьких принцесс Елизавету и Маргарет-Роз к теплоходу, на котором их родители, король Георг VI и королева, возвращались из своей триумфальной поездки в Канаду и Соединенные Штаты.

Говорили об огромных пушках, этих потрясающих орудиях, и репортер добавил: «Разве это не залог счастливого царствования?»

Передавали легкую музыку, потом еще раз новости, которые создавали картину по-прежнему благоприятного положения во Франции: франко-турецкие соглашения, празднование 23-й годовщины победы под Верденом. В нем принимал участие генерал Гамелен; он заявил: «Победу нельзя вырвать без усилий, не бывает она и без притязаний; уважение к себе не покупается уступками...»

Он отдал дань уважения памятнику в честь сержанта Андре Мажино — группа измученных солдат на фоне каменного щита.

Новости науки: черный свет, который в полной темноте «расцвечивает яркими красками танцовщиц в костюмах индейцев».

Завтра понедельник; постройка дома так затянулась, что Симеон, глядя на свои чертежи, внезапно решил отказаться от одной из комнат.

— Нам не нужна гостиная.

— Как, ты отказываешься от гостиной?

— А кого ты хочешь принимать, моя бедная Одетта?

— Родственников, друзей, знакомых. Гостиная — это скромное украшение дома,

место, где отмечают дни рождения и семейные праздники, это отличительный знак буржуазии, не потерявшей веры в себя.

— Я сказал: четыре комнаты, и ни одной больше. Я ликвидирую лишний дверной проем.

— Но подумай, что же мы будем делать без гостиной? Куда мы поставим кресла, которые сданы на хранение? Они хоть и сделаны современными мастерами, но это же настоящий Людовик Шестнадцатый.

— Зато сад будет больше. Чтобы доставить тебе удовольствие, можно посадить на этом месте акацию: в саду воздух лучше, чем в закрытом помещении.

Раздался звонок, пришли Дедьё. Они никогда не приходили после обеда. Вошли с испуганным видом.

— Садитесь, у меня есть еще холодное мясо.

— Мы уже поели наскоро.

Дедьё молчит — чувствуется, что он близок к нервному припадку... Он прошептал, как будто его могли услышать вражеские уши:

— Ты видел противовоздушные заграждения у Дворца инвалидов?

— Нет, с меня хватает моего дома; и так забот по горло. Из-за войны моему строительству конца-края не видно.

— Мы ходили смотреть. Даладье открывал выставку. По-моему, тут что-то не так. Я чую войну, как собака дичь. Зачем эта оборона против дирижаблей и почему входы в подвалы завалены мешками с песком?

— Чтобы напугать нас.

— Я не боюсь хорошо спетой «Марсельезы»: у наших солдат сильные глотки. Я тоже упражняюсь, чтобы не фальшивить. И потом, я видел спаренный тринадцатимиллиметровый зенитный пулемет «хотчкисс» и сорокамиллиметровую автоматическую пушку. Британская противовоздушная оборона только что заказала ее в Швеции в огромных количествах, и французская ПВО тоже взяла ее на вооружение.

— Значит, нас будут защищать, Дедьё.

— Но нас сперва уничтожат. Заряжается она и стреляет автоматически. Дальнобойность — одиннадцать тысяч двести метров, высота траектории более пятисот метров; от нее нигде не спастись. Есть и другие орудия: девяностомиллиметровая пушка, выдерживающая сравнение с самыми последними фантастическими пушками германской ПВО, и это еще не все: есть и центральный пульт управления с дальномером. У солдат забавные каски — козырек сзади. И наконец, такой акустический аппарат, чтобы засекать самолеты.— Вид у него вдруг стал очень несчастный (он читал по записной книжке): — Подготовка идет очень быстро. Сумма расходов исчисляется в десятках миллиардов. В стране будут тысячи пушек. А так называемая «вражеская авиация» будет бомбить с пике. Гитлер в этом деле разбирается. Я верю в него. Сам понимаешь, такой человек все учтет.

— Ты все видишь в черном свете. Хочешь моей малиновой настойки?

— У меня в горле пересохло. Во Франции разжигают войну, и в первую очередь в Париже.

— Выпей рюмочку, сразу станет легче.

Каждый выпил, не отдавая себе отчета в том, что их молчание не предвещает ничего хорошего. Первым взорвался Дедьё:

— Что ты хочешь, Польша вообще не способна воевать. У канцлера Гитлера хорошие намерения. Он не разглагольствует, а действует.

— Но он моментально забывает данное слово. Это хитрости мелкого дельца.

— Гитлер — крупная фигура.

— Да, крупный кровопускатель...

— Симеон, почему сделали такую глупость: по Версальскому договору отделили Восточную Пруссию от Германии?

— Нужно было сохранить немецкий дух Восточной Пруссии. А что делает Лига Наций — ведь она должна была бы обеспечить вооруженную защиту Данцига на случай агрессии!

— Лига Наций — это лига ничтожеств.

Дедьё смеялся слишком громко; Симеон стукнул кулаком по столу.

— Ты разбудишь Гитлера, и к тому же ты осточертел нам со своими разговорами. Русские и поляки сильнее его. Гитлер — варвар. Его победы — просто грубый нажим. Там, где он прошел, трава уже не растет.

— Ты говоришь, как коммунистическая газета. Чтение «Энтрансижан» служит тебе дурную службу. Но Германия неусыпно следит за тем, что делается в Восточной Европе. Она выполняет миссию германской нации на европейском востоке. Даже Москва признавала это в тысяча девятьсот двадцать восьмом году.

— Ты по-своему переделываешь историю. Для тебя договоры — вещь не окончательная, их можно изменять. Ты попираешь мораль.

— Право влечет за собой обязанности. Ты видел, как Германия платила несколько миллиардов за кусок хлеба? Чего же ты теперь хочешь?

Симеон устал от этого вечернего спора. Ему не удавалось убедить Дедьё в неправильности его позиции. Тогда он медленно сказал:

— А если бы Гитлер прошел под Триумфальной аркой...

— Я бы сказал, что он герой.

— А я бы сказал: подонок.

Началась рукопашная. Бар с двенадцатью рюмками разлетелся вдребезги. У Симеона была крепкая хватка. Он повалил своего противника на стол и прижал его. Одетта поспешила на помощь мужу, чтобы спасти столовую. Жена Дедьё вытирала ему лоб платком. Одетта быстро отодвинула покрытый салфеткой радиоприемник, настоящее произведение искусства из красного дерева, на котором царила парусная лодка из дутого стекла.

— Ну, успокойтесь же. Прекратите! Я больше не хочу, чтобы вы встречались. Дедьё, идите домой. Я сама приду к Симоне. Женщины лучше понимают друг друга. У меня дети, и я не хочу, чтобы они погибли на войне; я приучила их надеяться на будущее. Нас, матерей, больше других пугает, когда начинают греметь пушки,— это нетрудно понять.

У Дедьё из носа шла кровь; он втягивал ее в себя; жена дала ему платок. Она вполголоса сказала:

— Мой муж — патриот.

— Мой тоже,— откликнулась Одетта.

— Да, но он фанатик.

— А твой?

Дедьё встал, покачиваясь (может быть, в этом была доля притворства?), одернул смятый пиджак, потом стал искать что-то на полу.

— Я потерял свою медаль.

Жильбер полез под стул и поднял ее.

— Это что? Орден Почетного легиона?

— Почти. Значок «Огненных крестов».

Дедьё поправил узел галстука, мгновение смотрел на своего шурина, немного растерявшегося от собственной победы и не знавшего, как дальше себя вести, и, схватив темные очки, нацепил их на нос. Симеон вдруг подумал о Динко. Одетта почувствовала это и сжала ему руку. Что делает поляк сейчас ночью? Спит где-нибудь на скамье? Может быть, его забрала полиция? Им так хотелось, чтобы он сейчас позвонил им в дверь. Дедьё осторожно высморкался.

— Симеон, ты мерзкий утопист. Твой дом никогда не будет построен. На дне ямы — вот вы где все окажетесь, а я буду с цветами встречать первые немецкие танки. Ваш дом будет вам могилой.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Нельзя больше терять времени,— сказал Симеон,— я попрошу отпуск. Наш дом будет готов к сентябрю.

Симеон до ночи работал на участке — окна в доме уже были прорезаны. Один старый полуглухой плотник сделал оконные рамы и двери, поворачивающиеся на петлях, и вставил их в стены и перегородки. Потом настелили доски, на которые предстояло класть паркет. Вместе со стариком — у того появлялась сила, как только он брался за инструмент,— Симеон принялся за стропила, поддерживающие кровлю. Он решил делать сборные стропила классического типа. Вертикальные брусья и стропила были обструганы, заглажены все тем же столяром. Симеон уважал его; однажды старик предложил ему:

— Мсье Симеон, если хотите, я вам сделаю и шкафы.

Согласие между ними было полное. Иногда у старика начинала кружиться го-

лова; тогда он прислонялся к стене, а Симеон давал ему капли — недомогание проходило, и мужчины снова принимались за работу. Старик любил повторять:

— Деревянные брусья в каркасе дома — все равно что скелет в человеческом теле.

Или:

— Стропила должны быть как прожилки в листьях.

Симеон прекрасно ладил с этим старым рабочим в велюровых штанах, стянутых на щиколотках,— он так отдавал приказания, словно это были советы, которым можно и не следовать. Все свои предложения он высказывал в вопросительной форме:

— Мсье Симеон, а что, если мы сделаем коньковый брус пошире?

Симеон позволял ему действовать так, как тот считал нужным: старик всегда был прав. После завтрака, который старик разогревал в котелке на углях, он перечитывал «Легенду веков», в которой не хватало нескольких страниц. Однажды Симеон заговорил о войне; плотник не ответил ему, и Симеон повторил сказанное. Тогда старик повернулся к нему и медленно произнес:

— Двум смертям не бывать.

Работа подвигалась быстро, хотя им казалось, что они работают медленно.

— Нужно и ласточкам отвести свой уголок.

Симеон сел отдохнуть и стал разглядывать этот пока еще только набросок дома. Потом он закрыл глаза и представил себе кровлю из серо-голубого шифера, ограду из кованого железа, небольшую террасу под стеклянным навесом, всякие мелкие украшения. На ум ему приходили самые странные названия для его дома: «Лунный свет», «Аллоброг» (почему?); иногда он шутки ради писал на земле: «До-ми-си-ля-до-ре» [1] или «Собранный без камней» [2] и т. д. Затем он стирал эти названия, они мешали ему придумать настоящее. А может быть, «Мечта Одетты?» Потом он смотрел на этот еще не оштукатуренный куб, и ему чудилось античное жилище; строительная площадка становилась местом раскопок. Здесь находилось жилище периода неолита, от которого остался только каркас; внутри было пусто. Что это было: недостроенный дом или развалины? Он вспомнил о своих прежних планах: дом, окруженный глубоким рвом, который должен защищать его и одновременно осушать участок. Теперь это было полуподземное жилище, слегка ушедшее в почву,— стены его, то ли незаконченные, то ли источенные временем, очерчивали его площадь. Можно было представить себе, во что оно скоро превратится. Симеона забавляло это сходство с раскопками. Было начало мая, он чувствовал себя счастливым и развлечения ради разбросал по участку всякий хлам — консервные коробки, большущую пружину, свои старые штаны, разбитые банки,— словно то была примитивная утварь, накопленная веками.

— Вот компас,— восклицал он,— красивые кувшины, амфоры, инструменты. Мне достался в наследство этот топор с дыркой, и этот гарпун, и наконечники для стрел, а завтра на месте этой тысячелетней свалки будет мой домашний очаг, мои не таящие тайн перегородки, мое четырехугольное жилище, и у нас будет третий ребенок, и мой род войдет в историю...

Симеон сделал еще большой глоток вина; когда он пил натощак, вино тотчас ударяло ему в голову. Пока старый рабочий (Симеон не знал его имени) продолжал в одиночку свое дело, Симеон с восторгом следил за работой старика; в голове его уже возникали проекты один сумасброднее другого: он мечтал разбомбить несколько загородных домиков, чтобы забрать цементные плиты, щебень, оконные стекла, трубы, цинк для водостоков, балконы, дымоходы, кирпич для облицовки,— словом, перетащить к себе все жилище, оставив на его месте лишь обломки. Война сотрет все следы его преступлений: он забросает гранатами «поезд, из-за которого не растет трава», и притащит оттуда к себе деревянные перегородки, оси, раздвижные двери и т. д. Ему постоянно требовались строительные материалы, а их можно было бы достать с помощью бомбежки. Безумные, жестокие, убийственные мысли блуждали в его голове. Соседи в счет уже не шли. Версаль был опустошен, Аустерлицкий вокзал разворочен, и, подобно муравью, Симеон хватал, подбирал, поднимал обломки. Нотр-Дам взлетел на воздух, Дворец правосудия горел. Симеон бросался

---

[1] Сочетание этих нот звучит как «Domicile adoré» — «Обожаемый дом».

[2] «Собранный без камней» — «Sans pierres loti» — по-французски совпадает по звучанию с именем французского писателя Пьера Лоти.

туда, наполнял целые грузовики скульптурами, железными балками... Приходилось расширять дом, и ради этого он готов был отнять у других аллеи и зеленые беседки, стать авантюристом, грабителем дворцов и дворянских замков, ибо он не только оберегал свой дом, но и был его хозяином.

Он ничем не брезговал, чтобы украсить свой дом, отобрать для него все лучшее, готов был стать безжалостным, неумолимым, ловким, грабить, обирать, интриговать, обижать невинных и глупцов и закончить похищением тернового венца из Сент-Шапель — прикрепить его к своему флагу в знак окончания постройки крыши.

Было душно, Симеон заснул. Вдруг вокзал Бретиньи взорвался. Черный гигант исчез, сбежав по подземной лестнице. По его морщинистому, как у сторожа во Дворце правосудия, лицу текла кровь, словно разведенный цемент.

...Я видел, как Черный гигант бросил на здания кирпич, начиненный взрывчаткой. От взрывной волны обрушилась стеклянная крыша; автоматические весы грохнулись на справочное бюро; в окошечке билетной кассы застряла скамейка. От часов отлетели стрелки; никто уже не пользовался расписанием. Одетта была в зале, живая и невредимая, с Клодиной и Жильбером, который нес автомат. Все в любой момент могло рухнуть. Что делать? Вдруг Черный гигант, уже без глиняной маски, которую он где-то потерял, бросится к моей семье? Но Одетта с детьми (на руках она несла младенца) не теряла времени. Они кинулись к кассам, набитым ассигнациями и монетами, и стали засовывать деньги в мешок. Одетта бранила детей. Я слышал, как она кричала: «Скорее, а то у вас не будет карманных денег; сделаем отцу сюрприз».

И снова поток битых оконных стекол, который, казалось, никогда не кончится. Я был словно оглушен, но все равно слышал взрывы — один за другим...

Симеон проснулся — сверкали молнии; погода изменилась. Над ним нависло черное, грязное небо с угрожающими тучами. Старик рабочий исчез.

Немного обалдевший, Симеон заспешил домой. Он промок до костей. Снова заснул как мертвый. Кошмар прекратился; полил благотворный дождь.

— Я купила на распродаже кретон для занавесок, целый купон.

— А ты не спятила? Еще и крыши-то нет.

— Я знаю, но нужно обо всем думать заранее.

Одетта развернула ткань — тюльпаны в натуральную величину, оранжевые, желтые и зеленые. Она положила материал складками.

— Веселенький, правда?

— Но ты ведь не знаешь точно, сколько у нас будет окон.

— Ты мне обещал сделать арку с застекленной дверью.

— А брусья, балки, венгерский паркет, плинтуса, перекладины, карнизы? Ты отдаешь себе отчет, что тут работы больше чем на полгода? Надо еще, чтобы высохла штукатурка.

— Разве нельзя сначала поселиться в одной комнате и мило обставить ее?

— Бедная Одетта! Посмотри!

Симеон открыл «Иллюстрасьон» и прочел:

— «Число призывников в Германии беспрестанно растет, немцы форсируют работы на линии Зигфрида, наиболее выдвинутые участки которой в низовьях Рейна были затоплены во время половодья в последних числах мая».

— Тем лучше. Вы, мужчины, только на то и годитесь, чтобы воевать.

— Но слушай дальше, господи боже мой! «На наших иллюстрациях вы видите гигантские брезентовые полотнища, за которыми строятся новые сооружения линии Зигфрида вдоль границы Германии и Люксембурга...» Теперь ты понимаешь, на что тебе твой кретон в цветочек? Бедняжка! Я еще добавлю: они идут и вширь, и вглубь.

— Ты повсюду теперь видишь немцев.

— Однако же, Дуду, Жорж Бонне выслал красавца Отто Абеца, возглавлявшего пятую колонну.

— Ты тоже пораженец. Скоро тебе будут чудиться немецкие парашютисты даже на нашем участке...

— Да ведь если я строю дом, значит, я верю в мир, а ты меняешь свои мнения, как рубашки.

Тут Одетту захлестнул страх.

— Когда война на носу, это не мир, Симеон. Ты понял, до чего мы дошли?

— Не волнуйся, нас защитит противовоздушная оборона.

— Тевтонцы бомбардируют пути сообщения и взлетные дорожки. Это говорили в булочной, а у булочника двоюродный брат в министерстве. В тылу люди будут так же несчастны, как и на передовых. Самолеты — это зловещие птицы... Пусть лучше дети стреляют друг в друга из рогаток.

Тут Симеон громко затянул:

Мадлон нам вина наливает
В беседке, под листвой, в своем саду...

— Вот что: мы назовем наш домик «Мадлон».

— Пойдем сегодня вечером потанцуем...

— На вулкане?

— Какой ты глупый, дружок! Я хочу научиться новому танцу — ламбетуок.

— Сегодня вечером я должен разобраться, как кладут крыши. Так что подождем вдевать цветок в петлицу.

— А пока пригласи на осмотр марокканского султана с маленьким принцем Муле Эль-Гассаном. Посетили же они мечеть в Париже.

— Дай мне логарифмическую линейку.

— В доме появятся привидения гораздо раньше, чем он будет готов.

Симеон подошел к жене — на глазах у нее были слезы.

— Что с тобой?

— Не знаю. Мне кажется, мы никогда в нем не поселимся.

— Обещаю тебе, мы будем в нем жить.

— Знаешь, я вижу его во сне. Это всегда зима, деревья стоят все голые. И он еще дымится.

— Это дым из трубы.

— А потом будто ты купил дальнобойные и крупнокалиберные патроны. Ты стреляешь по всему, что движется за окнами.

— Это вестерн?

— Тебя убивают, но тело твое исчезает. Я ищу его всюду — оно испарилось. У меня даже нет тебя мертвого, чтобы поплакать над тобой.

— Довольно!

— Как же оплакивать погибшего, если нет его тела и даже неизвестно, где оно?

— Из твоего хрустального шара мы сделаем лампу, жена.

— Я слышу топот ковбойских лошадей и старые негритянские песни на хлопковых полях.

— Замолчи. Что ты все на меня смотришь?

— Я не смотрю на тебя, я люблю тебя.

— Здравствуйте, сосед.

— Здравствуйте, что-то я вас не узнаю.

— Я живу совсем близко, там, где кусты.

Симеон смотрел на стоявшего перед ним человека — под рабочей курткой видна рубашка с разорванным воротом. На ногах домашние туфли.

Лицо его заинтриговало Симеона: незнакомец был похож на опустившегося преподавателя, у него было продолговатое лицо с глубокими морщинами, которые скрывала борода, внимательный, настороженный взгляд. На голове берет.

— Я принес вам рассаду герани.

И он развернул газету, в которой лежали спутанные ростки; он старательно разъединил их.

— Так ведь мой дом еще не достроен.

— Вы его достроите, или вам его достроят.

— Спасибо. Вы видите, я ничего не сажаю, я все разорил, чтобы строить.

Симеон вспомнил, что об этом человеке много говорили в округе. Он выдержал конкурс на право преподавать в лицеях и высшей школе, а на другой день стал бродягой. Сейчас он торжественно обходил вокруг дома — проверял, щупал, взвешивал на руке кирпичи, а Симеон, как это ни глупо, боялся, что все обвалится.

— Еще не совсем высохло; я только что поставил оконные рамы. А потом, эти грозы...

— А где входная дверь?

— Там, где вы стоите.

— Узковата для такой большой халупы.

Симеон с гордым и одновременно смущенным видом слушал этого человека, который не останавливаясь ходил вокруг.

— А у вас как дела?

— У меня? У меня все кончено.

— И ваш дом в порядке?

Человек вынул большой клетчатый носовой платок и долго сморкался.

— А что вы думаете о моем доме?

Он подергал себя за бороду.

— В основном, что он неудобный.

Симеон расхохотался.

— Он совсем простой. Будет еще только карниз, большое слуховое окно и каменный дымоход. И флюгер.

— А отдушины где? Верх цоколя должен находиться на высоте полутора метров над уровнем земли. И поскольку солнечные лучи падают в среднем под углом в сорок пять градусов, надо соответственно предусмотреть освещение в погребе.

Симеон не посмел сказать, что погреба нет. Он молчал, слушая выкладки этого человека, а тот словно отвечал заученный урок.

— Нижняя часть здания,— невозмутимо продолжал он,— должна состоять из фундамента, наполовину уходящего в землю, из двух свободных рядов кладки и одного ряда, поддерживающего основное здание. Среднюю часть погреба вы делаете высотой в девяносто сантиметров.

Незнакомец достал записную книжечку и, посасывая карандаш, принялся поучать дальше:

— Так как высота фундамента должна быть шестьдесят сантиметров, следовательно, над землей и под землей должно быть по тридцать сантиметров, но поскольку погреб выдается на десять сантиметров, то от центра до внешней стенки погреба будет сорок сантиметров...

Симеон, не понимавший ни слова в этих расчетах, не знал, как ему держать себя. Он тихо пробормотал:

— У меня не будет погреба, я ставлю все на цементную плиту. Такие расходы мне не по карману. В отличие от вас.

В его словах звучало сожаление и легкая зависть.

— В отличие от меня? Да у меня хижина; я ее закончил в десять дней, ну кое-что еще потом доделывал. Я построил ее из материалов, которые нашел на стройках, заброшенных из-за экспроприации, и в домах, обреченных на слом. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы закончить постройку, в общем-то авантюрную: материал я доставал по случаю, приходилось считаться и с погодой и с тем, удастся ли приобрести самое необходимое: гвозди, просмоленную бумагу, дранку для крыши. Несмотря на все это, хижина у меня все-таки четырех метров в длину и трех семидесяти в ширину, а в высоту около двух с половиной метров. Она прочная, кровля не протекает. Я настелил пол, обил стены трипом, найденным на соседней стройке, остеклил дверь и более или менее обставился: у меня есть кресло, которое я подобрал на дороге, а то бы оно досталось мусорщикам, два стула того же происхождения. Я сделал несколько полок для домашней утвари. А что касается кровати, то я положил дверь на два столбика из кирпичей, а сверху — пружинный и волосяной матрацы. Освещение у меня — лампа-молния. Ну а чугунку я взял из сгоревшего дома. Она уцелела от пожара. Пришлось позаботиться и о водосточной трубе, иначе во время дождя меня бы заливало. Я сделал ее из гофрированного толя. Вода стекает в двухсотлитровую бочку, которую, правда, приходится часто вычерпывать... Как говорит Валери: «Из всех видов деятельности в строительстве человек ближе всего подходит к завершению своей идеи».

Помолчав минуту-другую, незнакомец объявил, что его фамилия Виолле-ле-Дюк — «как архитектора». И добавил:

— Через несколько дней начнется война, правда, не совсем настоящая.

Этот человек производил впечатление одержимого; лицо его выражало убежденность, во взгляде сквозила горечь. Его можно было принять и за бродягу, появившегося здесь ненадолго, и за простое, бесхитростное существо, которому захотелось

поведать о своих горестях, выложить все о себе, как выкладывают образчики камней, а в этой городской деревне его, возможно, удерживало желание скрыть от людей свою обиду и бедность. Наблюдательность и опыт помогали ему распознавать зло и избегать его; возможно, он привык задумывать и проектировать неосуществимые величественные здания, монументы. Во всяком случае, он разбирался во многих вещах и старался неукоснительно следовать здравому смыслу. Способности, разум, чувство меры, точная оценка своих возможностей и умение правильно их использовать сквозили во всем — шла ли речь о постройке самого скромного дома или о сооружении пышного монумента. Но он не хвастался своими знаниями.

Он положил руку на плечо Симеона, который слушал его раскрыв рот, пораженный тем, как много знает этот человек.

— Война в конце концов — это плод безумия государственных деятелей. Дом, даже самый непритязательный,— это нечто такое, что помогает строить жизнь, если вы хотите сделать из него посмертный памятник себе и реликвию для потомства. У меня были разные дома, большие, маленькие, даже дворцы из мрамора различных оттенков. В Праге, в Тунисе, в Греции, во всех государствах Южной Америки, с гаражами для тридцати машин и парками, которые быстро стали национальными. Были дома, спрятанные в листве, в скалах, на берегу моря или на краю пустыни. Я вел такую жизнь, которая не позволяла мне привязываться к одному месту. Я лишь нарушал законы и обычаи и мог исчезнуть в любой момент.

— Вы были на секретной службе?

Незнакомец рассердился, на лбу у него выступила испарина, будто жар охватил это тщедушное тело. Тут Симеон заметил, что у него очень неестественные жесты. Он то скрещивал руки, то разнимал их, то совал в карманы. То раскачивался на одной ноге, потом закрывал глаза, как будто стараясь восстановить утраченное равновесие или поймать какое-то ускользающее грандиозное видение.

— Я такой, каким меня создал бог, не больше и не меньше. Не старайтесь узнать, откуда я пришел, куда иду... — Незнакомец долго молчал, он словно улыбался кому-то невидимому, затем добавил: — Я жил в Парфеноне и в пирамиде Хеопса, я блуждал в садах Вавилона; это я построил храм Тиауанако [1], я помогал ставить гигантов на острове Пасхи, я возводил Китайскую стену, я был всюду, где мог пребывать достойным образом. Я даже жил в пещере; там я написал на стенах растительный орнамент. Вход был закрыт плющом, папоротником и жимолостью. В этой пещере, в темноте, я пережил целую войну, но от прохлады и сырости там в изобилии росли грибы, ими я и питался.— Он поднял глаза к небу. Он был как в лихорадке. — Солнце мне родня. Я сформировал космос, отдалил одну от другой галактики; я был у изголовья умирающих звезд, которые задыхались от газов. Я владел Млечным Путем; я с трудом расстался с доживающей последние часы Луной; я понесся к хаосу, чтобы упорядочить его, придать ему определенную форму...

Симеон смотрел на этого изможденного беднягу, который влез на скамью и обращался к небу и его безграничности.

— В какой войне вы принимали участие?

— Неважно. С той или с другой стороны, все равно это война.

Чтобы доставить ему удовольствие, Симеон не без ехидства сказал:

— Беспокойная жизнь! Сколько же вам лет?

— У земли нет возраста.

Он сел, обхватил голову руками.

— Опять начинается головокружение, — посетовал он.

Потом посмотрел на Симеона и протянул ему руку.

— У вас не будет трех франков? Выручите меня.

— Где вы живете?

— Совсем рядом. Пройдете перекресток Красного Креста. Свернете направо, на главную улицу — улицу Октава Пико. Пойдете вдоль угловой стены, и там будет дом номер шестьдесят — к нему ведет тропинка. Пройдете еще метров двести, увидите зеленый домик на колесах. Идите все прямо до деревянного дома. Можете пройти по небольшому железнодорожному мосту, затем идите по мощеной

[1] Тиауанако — индейская цивилизация, существовавшая в Боливии в конце первого тыс. до н. э.

улице, метров через сто увидите автобус без колес, но с трубой, впрочем, это не имеет значения. Там я и живу.

Симеон открыл кошелек, дал ему, сколько он просил, предложил выпить. Тот поблагодарил и снова стал давать советы, как строить дом.

— Я не вижу у вас кальки и чертежных инструментов — без этого не обойтись при постройке. У вас хорошая почва — не оседает. Это глина вперемешку с песком и щебнем. Другое дело чистая глина — она, правда, тоже не оседает, но и на месте не держится; если, например, почва наклонная, то под действием воды, просачивающейся между ее слоями, она скользит вместе с постройкой. Бывает иногда, что с глинистого склона целые деревни сползают в долину. Вы могли бы при необходимости создать искусственную почву: привезли бы морского песка и насыпали туда, где почва неустойчива, а затем получше увлажнили бы его.

Симеону казалось, что он слушает какую-то чудную лекцию — так медленно и монотонно текла речь этого человека.

— Почему вы построили себе такую лачугу?

— Я ожидал этого вопроса. — Человек глубоко вздохнул и пояснил: — Чтобы быстрее сжечь ее в случае надобности. Привет!

И безумный бродяга медленно удалился; время от времени он нагибался, поднимал комок с земли и размельчал его в руках. Симеон глядел вслед этому странному человеку, который неизвестно почему вдруг начал хромать. Он был очень похож на затерявшегося в мире бога, предсказания которого уже никому не нужны.

Симеон не хотел рассказывать жене о всех слухах, распространявшихся у них в конторе. Работал он плохо — покрытые ссадинами руки неловко выписывали цифры, которые часто выскакивали из колонок. Однажды он даже допустил ошибку. Он думал: «Если бы из всех чисел, которые я написал за свою жизнь, можно было построить дом, у меня был бы огромный дворец площадью в 10 000 гектаров».

Оказывается, на Севере находится более пятисот танков — в разобранном виде. А в самолетах, в горючем, нашли железные опилки. Среди нас — предатели; банда приспешников Гитлера разгуливает по Парижу, определяет, какие памятники стоит сохранить, а какие нет, и выявляет уязвимые места города. Они их отмечают белыми крестиками. Вынимают витражи из окон Нотр-Дама, и люди видели, как с пляжей грузовиками вывозят песок. В мешках. Это для пассивной обороны, «паршивой обороны», как шепотом говорит этот лицемер Дедьё. Следовало бы запастись продуктами: я же через четыре дня ухожу на флот. В моем-то возрасте! Но меня это молодит. Опять увижу море. Одетте придется работать либо в магазине, либо на заводе, где делают снаряды. Переписывают женщин. Я видел листовку с трехцветной полосой, там говорилось: «Наши немецкие товарищи не покинули Красный Фронт. Они готовят появление нового, социалистического государства и призывают нас объединиться, чтобы уничтожить власть двухсот семейств...» В другой листовке говорилось противоположное: «Гитлер — новый Христос, продолжатель дела Карла Великого. Он пролил за нас кровь».

Откуда берутся эти листки, в чем их смысл и назначение?

Я укрою дом брезентом, чтобы не испортились стены, чтобы не сгнила ни одна балка, ни одна дощечка, а то я заметил, что древесные волокна закручиваются спиралью, — меня это очень тревожит; моего старика рабочего хватил удар, половина тела у него отнялась. Пойду навестить его в больницу. Несмотря на тревожные новости (резервисты уезжают, не оставляя адреса), моральное состояние хорошее. У нас уехали трое служащих; каждому дали с собой холодную курицу и персиков. Я буду продолжать работу, потому что выполнение милого моему сердцу проекта поможет мне отвлечься от печальных мыслей. Самое главное — не позволить выбить себя из колеи. Я покупаю книги, как будто у меня их и так не достаточно. В одной из них сказано: «Если на небольшой глубине вы наткнетесь на каменистый слой и вам удастся пробить его заступом, используйте его, когда понадобится известняк, а если это окажется галечник, взорвите его и лучшие куски употребите в дело...» Слишком поздно. Я не стану перепроверять и начинать сначала. Мне, бедняге, попадалась только глина да еще осколки бутылок, велосипедные рули и старые шины.

Сегодня ночью пойду работать — плевать мне на события. Мой дом — это для меня все; я не успокоюсь, пока не поселюсь в нем. А тогда пусть грохочет война.

Я хочу умереть под своей крышей. И Одетта придет ко мне, словно еще один дом, и Клодина, и Жильбер — мы все станем домами. А потом, не скоро, очень не скоро, наших мертвецов положат в нашем доме, на постелях, не засыпанных строительным мусором...

Симеон перестал говорить сам с собой. Кто-то позвонил в дверь. Бутылка «Кампари» выпита до дна. Он встал, тут же свалился на пол и захрапел. Под дверь подсунули повестку.

Разразилась война.

Симеон не успел закончить крышу. С большим трудом он натянул брезент в том месте, где стропила еще не были покрыты. Жизнь продолжалась; каждый день, как обычно, он уходил в свою контору; у него спросили, в каком месяце он хочет взять отпуск.

Второго сентября вся палата депутатов на своем историческом заседании единодушно аплодировала главе правительства, который сказал: «Воскресим дух героев нашей истории. Франция поднимается на борьбу за свою независимость. Господа, Франция повелевает...»

В ночь с 1 на 2 сентября началась всеобщая мобилизация. Движение автомобилей и освещение на улицах было ограничено. Кафе и рестораны должны были закрываться не позднее 23 часов. Закрылись двери театров, мюзик-холлов, кино. Слуховые окна в домах забили досками. Сменилось обмундирование полицейских: у них появились каски и противогазы через плечо.

Палата и сенат собрались в 15 часов для голосования дополнительных ассигнований на нужды национальной обороны.

Симеон с Одеттой лихорадочно просматривают последний выпуск «Пари-суар», Клодина и Жильбер играют в карты. Стоит чудесная погода.

— А не поехать ли нам в Бретиньи? — восклицает Симеон.

— Да ты с ума сошел, в такое время.

— Я ведь уезжаю еще не сегодня. А мы должны положить вокруг дома мешки с песком. Дом надо сберечь.

— Разве это поможет?

Одетта всплакнула — ведь это ни к чему не обязывает.

— Дети, прекратите играть! Сейчас не время.

Чем заняться в начале уик-энда, если не слушать радио; однако помех стало больше.

Воскресенье, 3 сентября

Объявили, что Италия открыла свои границы в Винтимилле. Фюрер в качестве генералиссимуса отправляется на фронт. Французский посол сделал заявление на Вильгельмштрассе, назвав крайний срок: 17 часов. В 20 часов 30 минут, выступая по радио, Даладье сообщил о провале этой последней миролюбивой попытки и заявил, что отныне Франция и Германия находятся в «состоянии войны».

— Дуду, все кончено, у нас никогда не будет своего дома.

— Не огорчайся, милый, это ненадолго.

— Но кто же будет заниматься домом?

— Мы возьмем это на себя и закончим его.

— Кто это «мы»?

— Дети и я. Ведь умею же я шить по выкройке! Сумею работать и по твоим чертежам.

— Они же, ты знаешь, не точные...

— Сегодня ночью мне снилось, что огненные птицы летят над головой короля, а он вопит, сидя на троне: «Мне холодно, мне холодно...»

— Сны — это не для нас, Дуду.

Одетта подошла к мужу: он как-то сразу сник и согнулся. По радио передавали легкую музыку, песенки — «Жалоба Парижа», «Гоп-ля-ля, вот и взял я барьер» и другие в том же роде.

Фрегель напевал: «Где мои дружки с площади Бланш, где табачный ларек и бистро на углу?..» Сердце защемило — что-то похожее на тоску по родине; под этот

монотонный напев рушилась какая-то часть жизни. Клодине захотелось сказать отцу что-нибудь приятное:

— Знаешь, папа, если тебя ранят, ты сразу вернешься домой.

— Не говори о таких горьких вещах, моя девочка.

Одетта дала подзатыльник Клодине, и та поплелась в свою комнату, недовольно бурча:

— А что я такого сказала?

Симеон попросил дать аперитив — «как прежде». Всем поставили бокалы из граненого хрусталя, которыми пользовались только в торжественных случаях. Вино было теплое и пахло пробкой.

Радио выключать не стали. Генерал Франко в своей речи призывал европейские нации «локализовать конфликт».

Под эти добрые слова семья отправилась спать.

Понедельник, 4 сентября

Стало известно, что английский теплоход «Атения», направлявшийся в Канаду, был торпедирован немецкой подводной лодкой в 200 милях от Гебридских островов. В первом французском коммюнике говорилось: «Начались совместные операции наземных, воздушных и морских сил». Во втором вечернем коммюнике было добавлено: «На фронте налаживается взаимодействие разных родов войск. Французские военно-морские силы заняли ранее намеченные позиции. Воздушные силы приступают к разведывательным полетам...» Более миллиона экземпляров листовок, обращенных к немцам, было разбросано самолетами Королевских воздушных сил над Северной и Западной Германией.

Немецкий самолет сбросил на датский город Эсбьерг две бомбы.

Разрушен жилой дом; имеются жертвы.

Вторник, 5 сентября

Первая ночная тревога в Париже; она продолжалась с 3 часов 50 минут до 7 часов утра.

В это утро Симеон переоделся, повесил в шкаф новый костюм с шариками нафталина в карманах, надел поношенный. Он отправился бродить по военному Парижу, уже не залитому ярким ночным освещением. Симеону еще раз захотелось увидеть столицу, пройтись одному в утренней полутьме, продырявленной лишь фарами такси. Он блуждал по проспектам, по бульварам, где в окнах домов висели французские флаги. Но все было закрыто, нельзя было купить ни сигарет, ни теплых рогаликов. Какая-то женщина мыла стекла в кафе, предварительно посыпав опилками плиточный пол, — перевернутые стулья еще лежали на столах. Жизнь останавливалась. Симеон прошел мимо магазина «Открыто все лето». К нему подошла собака, обнюхала его, а когда он захотел ее погладить, она заскулила. Голуби искали, чего бы поклевать. Один из них полоскался в сточной канаве. Симеон подумал, что шагает сейчас как человек, идущий в похоронной процессии, и заторопился домой — метро только что начало работать.

Одетта ждала его:

— Что ты делал? Куда ходил?

— Захотелось подышать свежим воздухом.

— Так ведь дождь идет.

Действительно, шел дождь, и небо, сплошь серое, стало черным как сажа. Мрачное, погребальное небо. Париж был похож на пустой корабль, не знающий, куда его несет.

Поезд на Бордо, где Симеону предстояло служить на морском складе в качестве старшины-писаря, отходил с вокзала Орсэ. Симеон решил взять такси.

— Дуду, тебе следовало бы уехать с детьми в деревню, в Луар-э-Шер, к кузенам Леон.

— Раз ты уезжаешь, мы остаемся здесь.

Симеон был тронут вниманием жены, которая окружила его неусыпной заботой, сама собрала ему картонный чемодан, уложив туда стопку носовых платков, носки, новую кисточку для бритья, гребенку в футляре, пилку для ногтей, образок с изображением святого Христофора, длинные шерстяные кальсоны и т. д.

Одетта захотела сама нести его чемодан.

— Лучше бы я уезжал с Восточного вокзала.

— Почему, милый?

— Это больше подходит солдату.

— Тебя, может быть, направят на «Пастер».

Он улыбнулся. Шофер такси не захотел брать с него денег. Он воевал в первую мировую войну и оживленно принялся рассказывать, как сам уходил на фронт в небесно-голубой шинели и с цветком на винтовке. «Когда волк голоден, он вылезает из своего логова. Так и с Гитлером. Говорят, кронпринцу отрубили голову...».

Зал ожидания на вокзале был набит до отказа: офицеры в полной парадной форме, в ладных, до блеска начищенных высоких сапогах; солдаты с набитыми вещевыми мешками; матросы, волочившие мешки по полу; женщины с уже плачущими детьми на руках. Обнимались, топтались на месте, держались за руки. Симеон тоже не выпускал руки Одетты — она казалась совсем маленькой, ему хотелось защитить ее.

— Пойдем туда, там поспокойнее.

Какой-то военный храпел, вытянувшись, на скамейке; его вырвало; запах от жидкости для волос смешивался с запахом мокрой псины, исходившим от курток.

— Ты не забросишь дом?

— Мы его закончим без тебя. Кстати, а что, если посадить глицинии? — с натянутой улыбкой спросила она.

— Ничего не меняй в моем проекте. Вам, женщинам, нравится все ненужное.

— Я положила тебе банку «Шерри Роше» — ты ведь лакомка!

Симеон был похож на мальчишку-переростка, которого нельзя обижать — слишком уж он неловкий. Он держался уверенно, а Одетта стояла, прижавшись к стене, между его вытянутыми руками, как будто была его подружкой.

— Не забывай меня, Симеон. От войны могут быть и другие горести, не только смерть.

Он вздохнул, ему стало не по себе.

— Зря мы не взяли с собой детей.

— Это бы их взволновало. А кроме того, не лучше ли нам вдвоем, матрос? Да, забыла сказать. Я положила тебе еще маленькую бутылку чернильного пятновыводителя и жидкость «Ханн» — у тебя стали выпадать волосы.

Прощание оказалось долгим; стояли молча, но это скорее от робости — придется ведь скоро расставаться. Из вагонов неслись песни, какие можно услышать за столом в конце трапезы: «Вот бы рогоносцам навесить колокольцы, перезвон бы был такой, что услышит и глухой...» Какой-то малыш плакал, он потерял свой флажок.

— Я вот о чем думаю, Одетта: возьми деньги в сберегательной кассе; а еще потребуй в конце месяца то, что причитается мне, — они обязаны по закону выдать тебе эти деньги. Я видел в одном журнале плиту, работающую на мазуте; у нее духовка с переключателями, два маленьких радиатора и баллон с водой. Производство фирмы «Чародей». Вода нагревается, когда убавляешь пламя в плите. Купи еще билет Национальной лотереи, каждый пятый выигрывает. Попробуй найти кухонный буфет с выдвижным столиком, фаянсовую мойку с двумя раковинами и...

Симеон вдруг замолчал. К чему строить планы относительно дома, первыми хозяевами которого будут водяные крысы? Он пристально смотрел на жену и впервые заметил, что она отводит в сторону глаза — возможно, потому что волнуется. Он прижал ее к себе, чуть не задушив. Внезапно перед ним возникло что-то вроде видения; развалины его жилища, на месте стоит одна лишь медная кровать, на рулоне линолеума сидит рыдающая Одетта. Тогда он сказал ей:

— Поклянись мне, что ты не сделаешь ничего такого, о чем я сейчас бы не догадывался.

Она посмотрела на него, удивленная его внезапной бледностью. Неужели он что-то заподозрил?

— Почему ты это говоришь?

— Спускайтесь в бомбоубежище. А потом — остерегайтесь железных дорог. В них всегда целятся самолеты. Кстати, ведь я проеду на поезде мимо нашего дома.

...Его жена расчищала пол от обломков, приподнимала камни. Что она искала? На плече у нее висел мешок для провизии. Мяукала кошка.

Она достала что-то блестящее — часы Динко. Все коты мяукали, целое скопище орущих котов...

— Симеон, что с тобой?

Он открыл глаза.

— Я вышел на пустой желудок. Но я буду лопать, как только сяду в купе. Послушай, часы, которые мы давали Динко, у тебя?

— Нет. С чего ты взял?

— Мне их подарили в день первого причастия.

Одетта открыла рот, чтобы ответить, но поезд вот-вот должен был тронуться.

Они стали прощаться, точно приговоренные к смерти. Одетта посмотрела на мужа — он казался много моложе в своем прорезиненном плаще. Никто бы ему не дал его лет. Динко давно стерся из ее памяти — маленький проступок, совершенный непонятно почему. Сердце ее забилось при мысли, что у нее есть тайна — эта недолгая связь с поляком.

И когда дверь вагона уже закрылась, она крикнула:

— Милый, я никогда тебя не обманывала.

Он улыбнулся. Она почувствовала себя спокойней, уверенней. Она только ненадолго подарила свое тело несчастному — вот и все. Поезд набирал скорость. Ей показалось, что до нее донеслись слова:

— Купи мне эластичный кисет попрочнее...

Когда перед глазами Одетты остались только рельсы, сверкавшие под неожиданно проглянувшим солнцем, волнение ее как рукой сняло. Ей страшно захотелось стать очень веселой, явиться к детям с улыбкой, чтобы перехитрить судьбу.

Вернувшись в зал ожидания, она увидела Клодину и Жильбера, стоявших у кассы. Они купили отцу плитку шоколада.

— А мы вас искали. Мы хотели поцеловать на прощание папу.

— Я это сделала за вас, мои козлятки.

А если война отнимет у нее сына? Она читала про Жоржа Атона, шести с половиной лет, который был самым молодым солдатом Франции. У него было «ружье, койка на всех привалах и много отцов...».

— Пойдемте, здесь нам нечего делать. Вечером я испеку вам бретонский пирог с виноградом.

— Когда папа вернется?

Молча сели в метро. Как только маленькая семья вошла в квартиру, Клодина, не подумав, воскликнула:

— Теперь хоть будет не так тесно!

У Одетты не хватило мужества дать дочери пощечину: в конце концов она была права.

— Как жаль, что ваш отец не верит ни в бога, ни в черта, а то можно было бы за него помолиться.

— А все же небольшая молитва не помешает, — сказал Жильбер, который уже развалился в кресле Симеона. — Хотя в сущности папа ничем не рискует.

Одетту возмутило такое утверждение, она вскочила:

— А подводные лодки, противный мальчишка?

Остаток вечера закончился источавшим приятный запах свежим пирогом. Одетта украдкой всплакнула, найдя пару носков, забытых Симеоном, — они были наименее заштопанные. И вдруг, позвав детей, прижала их к себе.

— Жильбер, теперь ты заменишь отца.

— А что я должен делать?

— Слушаться меня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Дорогая Одетта, моя Дуду!

Пишу тебе это первое письмо из кафе «Унион». У меня уже есть товарищи — они моложе меня, но не отказываются от рюмки «Барсака». В основном это крестьяне, занимающиеся разведением устриц: они не слишком разговорчивы. Такое впечатление, что у них всегда мокрые ноги. По воскресеньям они не гуляют — смотрят, как ловят четырехугольной сетью мелкую рыбешку на топких берегах Гаронны. Да,

меня уже прикомандировали к Бакаланским морским складам в Бордо; это запущенные здания под платанами, окруженные заросшим садом, куда выходят покурить. Нас взвешивают, нас выслушивают. Я долго думал, не симулировать ли мне какую-нибудь болезнь (тут один тип проглотил большой комок фольги от шоколада: ему простительно, он только восемь дней назад женился. От этого рентген как будто должен показать темное пятно). Ловкач — у него на голове еще сохранился след от штатской фуражки (он кладет в нее тростник, чтобы она казалась более плоской). В тот же вечер он назначил свидание работнице с соседнего сахарного завода — им пришлось укрыться в товарном вагоне. Бедная новобрачная!

Я чувствую себя вроде как ветераном среди этих молодых моряков; один из них прибыл из Бретани (на теплоходе «Массилия», который ходит в Южную Америку). В тридцать пять лет от них уже «пахнет дырками в зубах», как говорит мой сосед по койке. Большинство родом из Аркашона; про устриц они говорят, что это «хрупкие зверюги». Они ловят морскую рыбу соль трезубцами в лужах, остающихся на берегу после отлива. Любят порассуждать о «малышках» — это маленькие устрицы, которые живут колониями на черепицах. «Устрица — существо бесхитростное, ее может вскрыть как ножом любая морская звезда...» Один из них собирается попросить, чтобы ему прислали целую сумку устриц — «плоскашей», как он их называет. Их едят с сосисками, в которые положен сельдерей, а сверху — оболочка из сала, их здесь зовут блинчиками. Можно подумать, что я в отпуске. Судаков они называют треской; многие буквы произносят не так, как мы. Самый молодой из них живет в Блейе, по-нашему — в Блэ. И выражения у них своеобразные, к примеру: «я спрячу свою сумку» вместо «я уберу свою сумку». Слово «сука» не сходит у них с языка. Отличные парни: война для них словно урок, заданный на каникулы. Их интересует только, когда будет отпуск.

Делать нам пока особенно нечего. Завтра выдадут обмундирование. Представляешь меня с этим амулетом — красным помпоном, который закрепляют на берете с помощью двадцатипятисантимовой монеты. Я хотел бы, чтобы меня произвели в унтер-офицеры. Их лучше кормят. Кое-кто предлагал мне здесь адреса портных, чтобы пригнать форму по фигуре. А я вспомнил свое серое пальто, которое ты отдавала перелицевать, чтобы оно мне еще послужило!»

Вторник, полдень

«Держись покрепче! Меня прикомандировали к главной почте для просмотра корреспонденции; мой начальник — старый капитан по прозвищу Бируле. Он такой ярый католик, что, если кто хочет получить увольнительную, надо уронить к его ногам четки. Ох, клянусь тебе, если бы не война...

Мне сделали укол — я ушел с иголкой; меня строго позвали назад. Главный врач такой близорукий, что мог бы спутать броненосец с ручной тележкой. Я пишу все это, чтобы повеселить тебя. Нет, я совсем не пьянчуга; бистро на углу обхожу стороной. Наш взвод отправили на марш, а когда мы вернулись, то провели в саду учение с винтовками «гра», модель 70. Как тут стоять смирно, когда на тебе не держатся штаны? Я страшно похудел».

Пятница, 18 часов

«Ну вот, теперь я должен просматривать всю корреспонденцию, которая попадает в мои руки; со мной еще два матроса, еле грамотные. Сидим в маленькой, жарко натопленной комнатенке. Прибыли сегодня утром. Сначала выслушали речь командира; он говорил главным образом о своей флотилии, крейсировавшей в Тихом океане, и как он останавливался, чтобы половить рыбу с приятелем, служащим в управлении одного из Коморских островов. Командир похож на старого мошенника, приговоренного к двумстам годам тюряги. Один из матросов — Грипюр (это его имя)— высокий, суровый, с длинным носом, который нависает над верхней губой, волосы ежиком; второй — коротышка, толстенький, с оттопыренными ушами и — сейчас упадешь! — такой же рыжий, как я. Решили в один из ближайших вечеров пересчитать у себя веснушки на руках. Думал ли я, что во время войны буду сидеть в конторе!.. Раны, которые я получу, будут нанесены только моему самолюбию, нашептывает мне Барботен, черноволосый толстяк, ужасная язва.

У главного входа уже рыщут девицы; они поджидают главным образом добровольцев — это испанки в низко вырезанных платьях, которые не боятся часовых и

заигрывают с ними, щекоча им нос трамвайными билетами. Они торгуют сигаретами, которые прячут между грудями. Это не для меня, Дудуша. У меня есть женушка, дети, почти законченный дом. Слушай — ведь завтра пятнадцатая годовщина нашей свадьбы. Я послал тебе местное изделие — «фаншонетты», конфеты с начинкой. Мне было двадцать лет, а тебе восемнадцать. Помнишь танцы в Арпажоне и как ты потешалась надо мной, «длинным громилой», который живет цифрами? Однако же мы кружились в вальсе до зари... Хорошие были времена! Я так боялся, что мои новые туфли лопнут при тебе по швам; они были трехцветные. Я полюбил тебя за непокорную прядь волос, которая то и дело падала тебе на лоб, когда мы слишком быстро кружились,— казалось, ты все время хмуришься. Немало я потратил сил, прежде чем увидел тебя голенькой, моя Одетта. И вот я тут бездельничаю, в то время как тебе необходимо все твое мужество, да и мое впридачу... Меня нет рядом, чтобы помогать тебе воспитывать детей,— они, правда, уже выросли. Ты можешь теперь полагаться на них...

Меня зовут. Сегодня нас угощает один паренек из Ла-Рошели. У него день рождения, 21 год. Я обещал писать за него письма его невесте — «ангелу Мари», представляешь? Он говорит так, словно наглотался морской воды. Он много плавал юнгой — дежурил круглые сутки,— но плавал на небольшие расстояния (перевозил картошку вдоль берегов Бретани). На своей рыболовной посудине он никогда не терял из виду маяка или берега. Здесь он ходит как потерянный. Вчера он мне заявил, что «в городе все всегда кончается плохо»... Я не понял, что он этим хотел сказать, но когда его начинаешь расспрашивать, он становится подозрительным.

Сегодня утром мы подняли флаг под пристальным взглядом начальника: что поделаешь — грубость нынче в моде. Я буду держать тебя в курсе событий. Ко мне относятся с опаской: оказывается, министерство внутренних дел послало меня сюда на охоту за шпионами.

Горячо и нежно целую тебя, Дудуша».

Второе письмо

«Наконец-то улучил минутку. Никогда еще не посылали столько телеграмм. Какая-то обезумевшая бабушка, супруг, томящийся в больнице, женщина, умоляющая возлюбленного прийти на свидание, и т. д. Чего я тут болтаюсь? Я живу вне войны, как судно на карантине Штемпелюю все телеграммы, все пропускаю. Зачем мне их задерживать? Драмы продолжаются и в семьях, и между любовниками.

А дом? Я так бы хотел увидеть его готовым.

Мне снилось, что я увез его с собой. Я спрятал его в огромном зале для сортировки почты — потолок его терялся в тумане. Любопытно, что дом был намного меньше, чем на самом деле, почти кукольный. Высотой в два метра, двухэтажный. Я легко просунул руку и открыл дверь. Внутри стояла мебель, бабушкины стенные часы и другие ее вещи — бельевой шкаф, кувшин для молока. Я проснулся и вижу, что лежу на подвесной койке, моя Одетта. Съезди в Бретиньи! Дом, наверное, в опасности, мне не нравятся эти сны, дорогая. У меня болит горло. Одетта, я думаю о вас. Мирное время не подходит для излияний. В мирное время мы равнодушны — жизнь идет и ничего не меняется, но сейчас вы мне так нужны. Пришли мне ваши фотографии. Я не успел захватить их с собой. Мы мало пользовались тем, что мы вместе, и это моя вина. Дом отдалил нас друг от друга, вместо того чтобы сблизить. Я думал только о нем, мне всегда не хватало времени, и оттого я бывал раздражен, становился злым, презирал всех, возмущался. Я не понимал, что вы должны жить, помогая осуществлению моего проекта,— жить *полной жизнью,* а не от случая к случаю и не в будущем. Я страшился той ужасной войны, которая оторвала меня от цемента, от стыков, от забот о том, чтобы фундамент был положен горизонтально, а стены поставлены вертикально. Окажись я сейчас возле тебя, я попросил бы прощения! Издали мне все это кажется низостью, пустой отговоркой. Неужели к стенам своего дома я относился так же, как к своим детям?

Больше всего от моего невнимания страдала ты: я гасил известь в кадке, вместо того чтобы жить жизнью моей семьи.

Да, теперь, когда я далеко и когда у меня жар (это пустяк, я немного простыл), я начинаю понимать. Смотрел ли я когда-нибудь на твое лицо так, как смотрел на свою постройку, думал ли, что и оно может быть разрушено временем, изношено,

что на нем может отражаться страх, болезнь? Мне страшно, да, я думаю о тебе. Не больна ли ты? Ты мне не пишешь или пишешь очень коротко, весточки от тебя приходят редко, или это почта плохо работает? Может быть, где-то в армии есть еще один Симеон Перпиньян? Если бы я был поэтом, я сочинил бы длинную поэму и в ней рассказал бы о тебе, о том, как ты вяжешь, стираешь, рассказал бы о вкусных блюдах, которые ты так хорошо готовишь, о твоем лице, почти не тронутом временем. Я изобразил бы тебя самой прекрасной и доброй и описал бы до мельчайших подробностей этот мир, который я теперь так люблю...

Я люблю тебя, моя Дудуша. Теперь ты должна охранять наше общее достояние. Найми какого-нибудь рабочего-безбилетника, чтобы закончить дом. Я хотел бы войти в него вместе с тобой».

Третье письмо

«В принципе я по-прежнему прикомандирован к Большой Почте, но мне еще приказано следить за магазином напротив — парфюмерией. Его хозяйка, кажется, подружка одного из коммунистических вожаков. Я отправился туда, чтобы купить одеколон и мыло. Попросил дать счет, чтобы военные власти оплатили мне расходы. Но мой начальник, которого я прозвал Уксус, отказался ходатайствовать о том, чтобы мне заплатили, и сказал, что «поскольку родина в опасности, я всего лишь выполняю свой долг...». Этот тип — правый, чего от него ждать.

Я много раз заходил к этой женщине. Ее зовут Мариза. У нее дом в Бретани со «входом в виде гранитной арки, датой постройки на фасаде и окнами в частых переплетах». Она рассказывает о нем с увлечением. Мариза очень услужливая и дает мне бесплатно рекламные тюбики — «чтоб пахло хорошо», как она говорит. Она бы тебе понравилась: бесхитростная толстушка. Вы с ней могли бы подружиться. Я сказал начальнику, что она не внушает подозрений. «А помещение за лавкой?» — спросил он. Словно она может спрятать передатчик в коробке от пудры!.. Я ей рассказываю о нас; я даже чуточку приврал: наш дом, мол, уже готов, осталось только высохнуть штукатурке на перегородках. «После войны я вам помогу, я все умею делать»,— сказала она. Поразительная женщина. Она вдова, муж погиб на войне, и она получает пенсию. Я видел почерневшую фотографию ее мужа — этакий работяга с пышными усами, в крахмальном воротничке, слишком широком для его шеи. Мы оба помолчали. Я признался, что слежу за ней; она расхохоталась — так неприятно было слышать этот смех. Целый божий день я читаю телеграммы. Я сказал моему начальнику, что самые безобидные и есть самые опасные. Он выслушал меня серьезно, не пропуская ни слова. «Я доложу об этом адмиралу...». В петлице он носит значок — глаз рыси, окаймленный зубчатым кружком. Он недавно задержал телеграмму, в которой кто-то сообщал: «Бессонные ночи. Ухаживай за собакой. Завтра в саду расцветут георгины...» Я сказал ему, что это — трогательная пастораль. «Напрасно вы так считаете, мой юный друг,— ответил он,— телеграмма отправлена из Мюлуза...» [1]. По этому ты можешь судить о наших спорах: всегда одно и то же. Я задержал телеграмму с таким текстом: «Говорю тебе — дерьмо. С приветом...» Начальник очень оживился. Он унес телеграмму, как будто это была обезвреженная граната. Каждую ночь я на вахте. Кладу на стол одеяло и сплю, а утром не могу пошевелиться. Ночью все тихо. Никто меня не беспокоит.

А как ты? Твои письма такие короткие. По-моему, почерк у тебя нервный. Такое впечатление, что ты знаешь о войне гораздо больше, чем я».

Четвертое письмо

«Слишком мало от тебя известий. Я беспокоюсь. Как там с домом? Пришли мне его фотографию — главное, чтобы был фокус и правильная выдержка; если нужно, купи штатив. Возьми пленку «Кодак-Верихром» или «Кодак-Панатомик X» — у нее зерно мельче. Мне хочется держать эту фотографию в бумажнике. А как дети? Ты ничего о них не пишешь. Клодина, наверно, строит из себя барышню. Не разрешай ей гулять по вечерам, да и мальчику — тоже. Она тебя слушается, не слишком ли

[1] Городок, находящийся в Эльзас-Лотарингии, области, пограничной с Германией.

ябедничает? А Жильбер по-прежнему жует резинку? Смотрите не болейте. Как-никак война. Я скучаю без вас. Интересно, правда ли, что какие-то немецкие летчики жалуются, будто их новыми истребителями трудно управлять? Бедная Польша, сколько ей приходится терпеть! Все эти беззащитные деревушки! Читала ли ты об ужасном убийстве премьер-министра Румынии? В «Иллюстрасьон» есть фотография — он лежит на катафалке. Так торжественно теперь хоронят только военных. Одетта, Дудуша, на границах сейчас льется кровь. Укрывают ли памятники в Париже? Как обелиск и окна Лувра? Гитлер произнес речь в рейхстаге. Какой безумец! Только и слышишь: «мой престиж», «моя гордость», «моя миссия», «мое дело» и т. д. Наш начальник талдычит все время о войне 1914—1918 годов. А тут как-то заявил: «Я не хочу иметь никаких дел с этим сумасшедшим аистом...» (Это про Гитлера.) А советская Россия? Как все странно. Здесь мы живем словно в вате. Правда ли, что появились беженцы с Востока? Ты могла бы приютить небольшую семью; почему бы тебе не использовать их в качестве рабочих? Подумай о доме, он под дождем, брошенный, плохо укрытый. Сейчас приезжают эвакуированные из Финляндии.

К счастью, наши армии оснащены теперь новой техникой! Я видел в кино «Новости дня»: гусеничные транспортеры возвращаются в тыл, отвезя боеприпасы пехоте на передовые. Очень впечатляющее зрелище! Нужно, чтобы дети это посмотрели. Они должны знать, что гаубицы усиленно обстреливают передовые укрепления линии Зигфрида. Вот это пушечки — у них бронированные колеса и особое расположение осей. Как подвигаются работы? Ты мне писала, что настелила полы, но из какого дерева доски?»

Пятое письмо

«Наконец-то я получил от тебя настоящее подробное письмо. Я перечитывал его много раз. Одному только богу известно, как я мечтаю о доме, прямо какое-то наваждение. Теперь я жалею, что он построен не на берегу моря. Я увидел бы в воде его перевернутое отражение — спокойное, слегка волнистое из-за поплавка рыболова... Более сгущенные краски, окна, расцахнутые в полумрак комнат, три этажа... Но вот рыбак писает в воду, дом шевелится и исчезает, потом снова постепенно вырисовывается; фасад еще весь колышется и лишь отдаленно напоминает прямоугольник — что-то карикатурное; потом мало-помалу он становится похож на копию дома; вода успокаивается, становится гладкой... Да, представь себе, я вижу его всегда вверх ногами — неверное изображение того, что он есть, живая иллюзия. Но оставим это. Сейчас я на дежурстве. Девять часов вечера. Вы с детьми, наверное, уже собираетесь спать. Я слышу, как Клодина ноет, что не наелась досыта, вижу, как Жильбер, развалившись в моем кресле, читает «Никелированные ноги». А ты, моя старшенькая, сейчас ляжешь в холодную постель. Быть может, ты плачешь оттого, что не видишь, как я опять улегся в носках. У меня часто зябнут ноги, как у дедушки. После еды он всегда замерзал. Я завернулся в одеяло, которое уже начинает пахнуть козлом, и улегся на голом столе. Когда придут служебные телеграммы, меня разбудят. Я должен буду их прочесть и записать содержание. Капитан все больше стареет: совсем сморщился и стал чудной. Бродит как потерянный все ночи напролет по коридорам в белых сандалиях и с револьвером в руке. Хочет выследить «испанских республиканцев», которые поддерживают друг с другом связь. Совсем помешался на своем бывшем крейсере. Если бы он командовал эскадрой, он предпочел бы охотиться на акул, чем преследовать в боях с сомнительным исходом перископ вражеской подводной лодки. Все, что он говорит, только затуманивает нам мозги.

Его любимое выражение: «Еще один удар, как при Трафальгаре». Вид у него довольно потрепанный, лицо бледное, но не от водяной пыли, а от сидения по разным конторам, где он проработал пять лет, с тех пор как вышел в отставку. Теперь он снова вернулся на военную службу. Всегда носит фуражку с галуном, она ему велика, но держится: у него большие уши.

Однако же не такая уж она странная, эта странная война. У нас тут есть один капитан запаса, из сухопутной армии, весельчак. С ним можно обо всем говорить как с товарищем. Он то и дело цитирует словарь Ларусса; чувствуется, что обожает культуру, хотя и ругается как ломовой извозчик, но ругательства старые, которые теперь не в ходу. Он все жалеет об одной аннамитке, которую знавал в те времена,

когда командовал там маленьким гарнизоном. Он говорит о Бао-Дае[1], Нам Фуонге и их детях со слезами в голосе. «Это живая община, сохранившая отпечаток «божественности». Он привез оттуда несколько колониальных болезней и вазы, вырезанные из камня или гранита. Он мог бы прочитать курс лекций о щиколотках аннамиток и их «сладострастном раболепии». И он еще сказал, что «религиозность индокитайцев удивительно связана с учением Декарта о вихрях». Я ничего не понимаю в философии, но мне нравится этот курильщик опиума, который время от времени укрывается в домике Лангуарана, чтобы там насладиться трубкой-другой. Он никогда не произносит слова «война»: можно подумать, что оно обжигает ему губы. «Я не признаю войны, я признаю умиротворение» — это его лозунг. У него где-то возле Парижа есть шурин, подрядчик по каменно-строительным работам. Этот капитан запаса может пригодиться, я его обхаживаю. Он целый день жует сушеный инжир.

Сегодня утром я разговаривал с моим товарищем Грипюром; он крестьянин, ходит очень медленно, словно продвигается по каменистой дороге. Хоть он и моряк, как я, но ненавидит море: «Слишком далеко видно». Хлеб он ест ломтями, которые отрезает своим ножом с костяной ручкой. Отлучается он редко, город его оглушает. «Там слишком тихо»,— шутит он. Однако же какой там стоит гвалт, особенно когда прибывают беженцы! Он мне еще сказал: «У меня рука на то, чтобы сеять кукурузу, а не хлеб». Я рассказал ему о моем доме; он смотрел на меня, качая головой (он редко моргает), потом заметил: «Дом должен быть старым».

Скажи, увидим ли мы, как наш домишко старится вместе с нами?.. Я слышу шум, кто-то шаркает ногами — это мой начальник. Он шпионит — за нами шпионит. Мне не нравится его лицо, он похож на куницу, которая ищет курятник. Мне хочется сказать тебе, как я тебя люблю. Ты сейчас сидишь возле меня и удлиняешь платье; твоя рабочая шкатулка падает, я ее поднимаю, мы смеемся, подбирая булавки, упавшие на ковер. Это длится долго. Я шепчу тебе: «Займись нашим домом, как ты занимаешься своими платьями...» Начальник удаляется; сейчас я открою дверь и застигну его врасплох».

Шестое письмо

«Можешь себе представить, начальник, этот старпер, велел арестовать хозяйку парфюмерного магазина. Ему понадобилась жертва. Он обнаружил у нее флакончик с ядом, подозреваю, что с мышьяком. «На случай, если сюда придут немцы»,— сказала она. Она еврейка и давала приют многим беженцам из Восточной Германии, которые бежали, оставив свои магазины, разрушенные или разграбленные молодыми нацистами. У нее еще нашли любопытные одеяния раввина и скамеечки из синагоги. Она пользовалась ими для оформления витрин — выставляла на них лосьоны и флаконы с духами. Я возмутился. Чуть было не попал под военно-полевой суд. Рашель (это ее настоящее имя) собиралась показать мне свой дом, построенный среди дюн Пиля[2],— бревенчатый дом, как в Канаде. Я уже успел купить овощи, фрукты и холодную свинину для этой небольшой экскурсии. Нет, ты только не сердись. Я тебе уже писал, что Рашель — вдова, такая толстая, что не выдержит ни одно кресло. Она брюнетка и, я уверен, понравилась бы тебе. Рот у нее — словно прорезь, сделанная ножом. Она мне призналась, что уже давно не плакала, однако же глаза у нее всегда влажные. Она стала поносить полицию, и ты можешь догадаться, что за этим последовало. Магазин закрыт. Что сталось с ее кошкой? Мы принялись за поиски. Она, должно быть, поселилась где-то на крыше, так как мы слышим ее слабое мяуканье. Если то, что мы делаем, называется войной, то лучше бы я попал на какую-нибудь подводную лодку и плавал бы в глубинах моря в районе Антильских островов. А мы еще именуемся «служба безопасности»!

Я пытаюсь получить увольнительную. Я так бы хотел увидеть всех вас. Мне не хватает вас — точно калекой стал. А что с домом? Ты писала, что собираешься сделать мне ко дню рождения сюрприз. Это относится к дому? Пришли мне еще фотографии — хорошо бы на снегу. Здесь у всех товарищей бумажники набиты фотографиями, а у меня почти ничего нет. Сходи в фотоавтомат и сфотографируйся с

[1] Император Аннама в 1926—1945 гг.
[2] Курортный городок на Жиронде.

детьми, чтобы хоть такой снимок у меня был. Ты не можешь связать мне шерстяной шарф? У меня все время болит горло. Ночью у нас не топят. Я вахмистр. Приношу почту и уношу ее. Складывают почту в специальном помещении в глубине двора. Мы уже все перезнакомились и, пока ожидаем почту, ходим пить кофе. Получается, что у меня свободно все утро. Можно с ума сойти от безделья. Есть тут один жандарм, который приходит с большим мешком за почтой, славный малый. Он мне рассказал, что строит себе дом здесь, в пригороде; участок у него рядом с кладбищем, а потому земля стоит дешевле. Схожу с ним как-нибудь посмотрю. Может, чем помогу. Стены у него из проемного камня. Странная постройка! Ходят слухи, что Гитлер выступал в рейхстаге, специально созванном в Берлинской опере. Какой комедиант! Говорят, он произнес очень длинную речь, но, несмотря на бравурный тон, чувствуется, что он в затруднении. Он будто бы сообщал о победе в Польше и что он намерен пройти церемониальным маршем по Парижу.

Да, я не писал тебе еще о наших меню — кормят нас скверно. Сегодня (наверняка) будет чесночная колбаса, вчерашнее жаркое из быка с пюре и пирожное с кремом. Разве это можно сравнить с твоей тушеной говядиной или с твоим жарким из баранины с фасолью! Многие жалуются — чаще всего те, что дома жрут хуже всех. Здесь мне дали один рецепт — жаркое из молочного поросенка, я тебе приготовлю. До нас доходит мало новостей, только коммюнике, которые зачитывает начальник стоя, отдавая честь. Он — дерьмо. Он только что сообщил нам, что Гитлер тяжело болен, что его во время поездок сопровождает врач, какой-то специалист с севера.

Мы получили столик в маленьком кафе: хозяйка там готовит сама Сложились, чтобы уплатить ей. Она любит очень острые блюда, в которые кладет много душистых трав: она из Прованса. Укроп растет у нее на огороде. Сказать ей неудобно: она очень старается; мы едим вместе с двумя почтальонами.

А как там дом? Ты не пишешь о нем ни слова Ты как будто всегда торопишься. Нельзя допустить, чтобы дом сгнил. У меня такое впечатление, что он сделан из сахара, что он тает, как мед. Я тебе уже писал: продолжай работы. Ты могла бы продать кофейные ложечки и вилки для устриц. По-моему, они серебряные. У тебя еще осталась бабушкина брошь, круглая, из черной эмали, с бриллиантиком. Ты все равно ее не носишь — считаешь, что она слишком мрачная. Все это должно стоить немало: ведь бабушка служила у баронессы, которая ей кое-что завещала. Продай еще японскую вазу с волнистыми краями — кажется, это лак. Ты пишешь, что хочешь пойти работать. Но кем? Счетоводом нельзя стать без подготовки. Я не представляю себе, как ты будешь работать от звонка до звонка. А дети? Подумала ли ты о них? Кто будет за ними смотреть? Это надо как следует обдумать.

18 часов

Ура! Я получил увольнительную. Через два дня еду в Париж. Осталось ждать 48 часов... Какая радость, что я смогу обнять тебя! Привезу банку свежего варенья из смородины, шоколад и мармелад. Выпьем бутылочку хорошего винца. У меня отпуск на десять дней. Смогу поработать на нашей стройке. За десять дней можно многое сделать. Я даже не смею этому верить. Меня просят не переодеваться в штатское. Мы пофотографируем: я купил новую пленку «Офихром». В рекламе сказано, что «на ней не отражаются наши промахи». Я хорошо знаком с фотографом на углу. Он снимает главным образом свадьбы, потому что, знаешь, здесь многие женятся...»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Он плакал — да, Симеон плакал. Не то чтобы громко всхлипывал, а как-то протяжно стонал. Одетта, стоя рядом, утешала его, как могла: то сжимала ему руку, то гладила по плечу, то печально улыбалась. Жильбер, развалившись на диванчике, грыз ногти. Клодина со злостью взглянула на него и грубо сказала:

— Подвинься, ты занял весь диван!

— Мы будем завтракать? Уже семь часов. Я жрать хочу.

— Молчи, Жильбер, подумай об отце!

— Плачь не плачь, а того, что было, все равно не воротишь.

Клодина пошла в кухоньку сделать себе бутерброд. Жильбер последовал за ней, на ходу шлепнув ее по заду.

А Симеон все повторял:

— Военная зона... Военная зона...

— Ну конечно, мой цыпленочек, это несправедливо. Иди кушать — ведь ничего не поделаешь.

Симеон выглядел странно: полуморяк, полуштатский; вместо пальто — бушлат.

— Ты отдаешь себе отчет, Дуду, военная зона...

— Что ты хочешь, мы же не знали, что строим в двух шагах от военного аэродрома.

— Когда я увидел свой дом за колючей проволокой, с этой надписью: «Запретная зона»...

Он грыз себе кулак и походил на большого растрепанного мальчишку.

— Не терзайся. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Дом будут охранять.

— Ничего подобного, он у них развалится, и сад зарастет. Прощай твоя брюссельская капуста.

— Я все знаю. Я же наняла штукатуров. Хотела, чтобы дом был готов к твоему приезду. Уже и рейки поставили, чтобы класть черепицу. И черепицу завезли для верха каждого ската. И цемент приготовили. Уже собирались ставить отопление — восемь радиаторов, котел с угольной топкой — он называется «Высший класс». Канализация была уже готова. Я велела сделать металлические прокладки, чтобы не было утечки тепла, чтобы не просочилась вода, копоть, пыль и не проникал шум. Я знала, что уголь на каждый радиатор будет стоить меньше семи сантимов в час. У меня была еще идея включить в сеть аппарат «Шофло» и подсоединить его к водопроводу, чтобы вода быстро нагревалась. Короче говоря, я подумала обо всем — о хозяйственных приборах, о машине для отжимания белья и даже выбрала обои. Ты ведь любишь корабли. На стенах каждой комнаты были бы изображены небесно-голубые каравеллы, как на картинах Жуи, и затем... Я хотела, чтобы к твоему приезду дом был совсем готов. Черт возьми, какая досада!

— А где ты взяла деньги?

— Дедьё одолжил.

— Под какие проценты?

— Двенадцать.

— Сквалыга, скупердяй, подонок.

— Я выполнила также все формальности, чтобы получить наличные деньги от государства. Даже подделала твою подпись.

— Моя Дуду, моя цыпочка! Подумать только: а я-то бездельничаю в Бордо, в морской форме, но, увы, без корабля... Ведь мы могли бы уже справить новоселье. Вот дерьмо! Увидишь, дом будет служить для них ориентиром. На крышу поставят осветительные приборы — мощные прожекторы с большим радиусом действия, возможно даже вращающийся маяк и пулеметное гнездо.

— Это уж ты слишком...

— Я не подпущу их к дому.

— Дети хотели сделать тебе сюрприз, купили пепельницы. А я выбрала две люстры в голландском стиле с маленькими абажурами в клеточку, торшер из кованого железа, чтобы ты мог читать газету, не утомляя глаз. Я решила посадить устойчивые сорта роз — их надо сажать в феврале. Знаешь, я работала по ночам — посмотри на эту машину: я вязала костюмы, пальто, свитеры. Шерсть мне присылали с Пиренеев. Я стала постепенно оплачивать счета, платила жалованье моему одноглазому рабочему — он немного чудаковатый: всегда жадно слушает то, что я ему рассказываю, и совсем не боится лазить по лесам. Очень часто я впадала в уныние, но твой дом стал моим. Я выиграла десять тысяч франков в Национальной лотерее, это дало мне возможность рассчитаться с моим плотником.

Одетта уже не могла остановиться: она рассказывала обо всем подробнейшим образом, делала такие уточнения, что бедный Симеон только диву давался.

— Мы отказывали себе во всем. Клодина сама кроила себе платья. Жильбер по вечерам после школы продавал газеты, стал настоящим уличным торговцем. Каждый из нас работал, не жалея сил. Клодина даже согласилась по утрам мыть голову кли-

енткам в парикмахерской. Деньги складывали в общую кучу. Мы были в восторге, что дом скоро будет готов, что ты сможешь наконец его увидеть, что твоя мечта станет реальностью, даже если нам и грозит что-то непредвиденное...

Симеон выпрямился.

— Я не вернусь в Бордо — стану дезертиром, не уеду до тех пор, пока нам не возвратят наш дом,— ведь он полит нашим потом.

Он тоже разволновался, грозил кулаком войне, его подстегивало упорство Одетты и детей, их мужество, их воля. Он должен быть достойным отцом — не станет он жить, пользуясь плодами труда тех, кто слабее его.

— Нас угнетают. Нас порабощают. Подавляют нашу свободу.

Очутившись во власти чувства, он забывал о безжалостной судьбе.

— Ведь ты видела в бинокль, что окна закрыли решетками и кроме маяка поставили на крыше огромную антенну.

— Не будь идиотом; вот уже три дня, как ты плачешь и пьешь.

— А как же мне заглушить горе?

Симеон снял бушлат, синюю вязаную фуфайку.

— Я сейчас надену пиджак и жилет. Достань мне рубашку и полосатый галстук. Чихал я на войну! Плевал я в котелок Гамелена. Ведь это же по нам бьет. На черта мне сдались их самолеты! Поневоле тут станешь шпионом.

Потом, спустя некоторое время (бутылка «Кампари» была уже пуста), сказал:

— А если я начну портить винты и моторы? А если я разворочу их мерзкую взлетную дорожку?

К Одетте вернулось обычное спокойствие; она крахмалила воротник голубой рубашки мужа, чтобы лучше ее отгладить.

— Не будь ребенком! Пойди поешь! В кухне осталось еще телячье рагу. Подогрей его — так вкуснее.

— Там же заведутся крысы.

— Где?

— В доме. Уж лучше бы они устроили в нем столовую.

Симеон потихоньку стал забывать свои безумные проекты; он осоловел.

— Скажи, а если мне перевестись в авиацию? Или предложить какому-нибудь парню с базы поменяться со мной? За пять тысяч монет он бы согласился.

— Ты пьян в стельку, бедный малыш.

— Нет. Они напали на тебя, на моих малолетних детей. Они воспользовались тем, что меня здесь не было, и взяли все без разрешения. Увидели твою слабость и обнаглели — так ведут себя трусы: начинают лгать и изворачиваться. Простая честная французская семья для них ничего не значит. Мы для них все равно, что туземцы с бразильского побережья. Скоро по их милости нам придется сесть на хлеб и воду из-под крана.

Дедьё с женой пришли к кофе. Он гордо шагал в своем сдвинутом набок берете альпийского стрелка, с остроконечной палкой в руках и множеством ленточек в петлице, которых Симеон у него еще не видел.

— Привет, Синдбад Мореход! Крест на войне еще не заработал? Это ты был на «Сирокко», который потопил за три дня две немецкие подводные лодки? А адмирал Дарлан, главнокомандующий морскими силами, не отметил твоих подвигов на «Вольте» или на «Отважном»?

— Как остроумно!.. Это мой дом должны наградить звездой...

— Почему?

— Он теперь оказался в военной зоне, вроде как на фронте.

— А твой сад, наверное, заминирован.— И он рассмеялся: ему это понравилось.— Твой адмирал Гепратт погиб. Тебе повезло. Война идет уже несколько месяцев, но только теперь развернулась на море. Союзников не захватили врасплох.

— Тебя тоже.

— В чем ты меня упрекаешь?

— В твоей любви к процентам.

— Я же помогаю твоей жене и детям — это естественно. Я заменяю им отца.

— Оставь в покое моряков. Они пошлют тебя подальше — как в «Мариусе»[1]. Послушай, ты, краснодеревщик, а ты у нас храбрец перепродавать... Это ты отделы-

[1] Пьеса известного французского писателя Марселя Паньоля (1895—1974).

вал мебель в министерствах? Красное дерево-то приносит тебе больше, чем работа курьером.

— Мне? Да я только немного помог обставить здание министерства торгового флота. Разве я могу пойти добровольцем, с моей-то кривой ногой?

— Не такая уж она кривая, черт подери... Прошу тебя, будь любезен, не души Одетту. Я знаю, что ростовщик не дает денег на веру, но научись ждать. Финансист из тебя вышел похлеще, чем военный.

Дедьё закашлялся, высморкался и сказал:

— Мне очень понравилась месса, которую отслужил кардинал Герлье в благодарность конструкторам заднего стабилизатора большого «Потэ-631» [1].

Увидев, что Симеон нахмурил брови, он перевел разговор на другую тему: в этой семье самолеты были не в чести.

— Я хочу тебе сказать, на что я трачу твои проценты. Я подписался на военный заем — это довольно крупная сумма: мы победим, потому что мы сильнее. «Поражение может быть только временным»,— сказал полковник де ла Рок.

После бурного начала остаток вечера прошел спокойно. Клодина и Жильбер, поджав ноги, сидели на диване и читали журналы Жена Дедьё перелистывала «Руководство по вязанию». А он, осмелев, заговорил вкрадчивым голосом:

— Я-то считаю, что война — хорошая штука. Волей-неволей ты вовлечен в создание будущей Европы, а она требует смелого вождя. Власть не должна миндальничать.

Симеон больше его не слушал. Он раздумывал, допивая маленькими глотками коньяк, который Одетта постаралась для него сберечь. Париж был пуст, плохо освещен; ожидали налетов — как в Англии.

— Скажи мне, зятек, раз ты так хорошо устроился, почему бы тебе не попросить для нас пропуск? Можно было бы съездить туда и обратно, никого не беспокоя.

— Да что ты, спятил? Власти знают, что делают: ведь всюду полно шпионов, людей без родины, подозрительных ссыльных Меня бы сочли беспринципным. Если же я патриот — а моя грудь в медалях тому доказательством,— я хочу быть патриотом до конца. Я не хочу обходить закон. У меня свои идеи, и они для меня превыше всего. Я социалист-традиционалист. И я не желаю портить свою репутацию.

— Какую репутацию?

— Я хочу бороться против гангрены, которая заражает даже честных людей вроде тебя. Ты же как ребенок, который играет в войну.

— Твой Гитлер — мерзкая падаль.

— Прежде всего это не *мой* Гитлер, а кроме того, я хочу, чтобы в Европе был хозяин. Мне нужна Европа, усмиренная железным кулаком. Безалаберность в политике — это никуда не годится.

— Привет! Я пошел спать.

Симеон удалился, и когда Одетта несколько минут спустя вошла в спальню, ее муж уже лежал распростертый на кровати, положив голову на руки. Она хотела его обнять — он отвернулся. В ногах у него лежал матросский рюкзак со звездой.

— Я пойду в подводники.

— Симеон, тебе нехорошо?

— Я погружусь в воду, я исчезну в волнах, я буду торпедировать, торпедировать...

— Но у тебя же здоровье плохое!

— А потом я отправлюсь на острова, я построю себе на берегу хижину из лакового дерева, я буду питаться рыбой, которую сам наловлю, буду пить кокосовое молоко. Я обучусь местной музыке, а ты приедешь ко мне, в мою хижину, сделанную моими руками, на ничейную коралловую землю. Мы откроем там лавочку-закусочную. Дети будут жениться голышом. У берега всегда будут стоять лодки, пирóги.

— Пироги — это в Канаде.

— Нет, там каноэ. А я имею в виду пироги с длинным шестом. Я разденусь догола, чтобы возбудить тебя. Через полгода я построю новую хижину, побольше. Циклоны будут обходить ее. Я построю такое легкое жилье из перьев и птичьего пуха, из листьев, из листов бумаги, из...

[1] Самолет, названный по имени авиаконструктора, французского инженера Анри Потэ.

Одетта разделась. На это не потребовалось много времени. Тело мужа вызывало у нее жалость.

— Дорогой, посмотри на меня, пока есть время. Ведь я — как кошка, я не старею. Ты тоже.

Они предались любви с тяжелым сердцем; Симеон был в отчаянии — как беженец, покидающий свой разоренный дом. Он так и не смог забыть о своем горе.

На следующей неделе Симеон уехал в Бордо. Ему удалось найти карту Генерального штаба, на которой он отметил свой участок «Грабы».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

15 января 1940

Я снова получил увольнительную на двое суток по случаю Нового года. Какой праздник в Париже! Город весь набит солдатами-отпускниками. Нас ждали на приемных пунктах и в солдатских общежитиях. Военных, попавших в Париж проездом, поили теплым вином. Мне не нравятся эти женщины в широких пелеринах, с длинными вуалями, которые придерживает на голове белая повязка с красным крестом. Невозможно угадать очертания их тела — все закрыто, как у монахинь. Одетта еще не приехала. Надо мной взяла шефство одна девица, немного высокомерная, которая приказала мне вымыть руки, а потом предложила чашку бульона или кофе и кусок хлеба с маслом. Какой-то малыш плакал навзрыд. Он хотел видеть, как его папа «марширует». К счастью, мне удалось улизнуть от этой милой особы, из этого суетливого мирка, где любезность была навязчивая, а помощь неловкая. Нас принимают за людей, которые «смотрели смерти в лицо». Залы ожидания превратились в одну большую спальню. Бойскауты с нарукавными повязками будили уснувших отпускников, чтобы они не прозевали свой поезд. Я боялся, что мой Жильбер явится сюда в коротких штанишках.

Остановилось такси, и я увидел выходившую из него Одетту. Она выглядела молодо как никогда, дети еще больше подросли, а я все изображаю из себя молодого матроса на секретной службе. Дома меня накормили тем, что я люблю, я съел целую банку филе тунца — оно проскользнуло в желудок, как облатка, но сердце ни к чему не лежало. Говорят, уже есть отравленные газами. Я потребовал, чтобы со мной поехали в Бретиньи, и издалека, все так же в бинокль, снова увидел свой дом, перекрашенный и закамуфлированный, как танк, и сад, запущенный, заросший высокой травой, побелевшей от мороза. В пристройке, недавно добавленной к дому, печатали на машинке. Военные построили на участке еще дощатые бараки; там было полно летчиков в форме. Я плакал от ярости. Появилась цементная дорога, соединяющая «Грабы» с аэродромом. Пулеметы были все так же нацелены вверх. На крыше установлено что-то вроде сирены или сигнального аппарата большой мощности. Только бы дом не развалился от такой тяжести! Я-то уж знаю свою землю: когда нет дождей, это сплошная пыль. Где-то теперь мой бродяга-преподаватель? Кусты срезаны, некоторые сожжены. В общем ровное, лишь слегка волнистое место.

И тут я решил перевестись на корабль-конвоир. Буду сопровождать суда.

Одетта зарыдала. Когда же мне удастся рассмешить ее, как прежде?

— Ты что, несчастлив?

— Я дохну от скуки. Впрочем, на море нет военных действий, линкоры еще не обстреливают друг друга.

— Бедный мой котик, ведь морская служба страшно изматывает, особенно по ночам.

Мы спорили, приводя доводы, взятые из газет.

— Я там ничем не рискую, моя курочка.

— А если вы собьетесь с пути?

17 января

Я вернулся в Бордо мрачный как никогда. Одетта потихоньку отдаляется от меня. Она ведет себя со мной как с больным. Мы простились сдержанно, словно разлука влечет за собой охлаждение.

Я попросил у начальника разрешение поменяться с кем-нибудь должностью. Он удивился.

— Вам что, не нравится работа?

— Не в этом дело, майор, есть причина поважнее.

— Ах так! Значит, вы хотите получить повышение?

— Здесь я просто полезен, а в другом месте мог бы стать необходимым.

— Как вам угодно, но ведь вы отец семейства... Почитайте «впечатления» торпедированного в «Иллюстрасьон», это сразу охладит ваш пыл. Ладно, я позвоню в Рошфор.

Я поблагодарил его; теперь мне остается только ждать.

4 февраля

Свершилось. старшина с миноносца Х-16, бывший матрос торгового судна, перевозившего бананы, соглашается поменяться со мной. Я отдал все свое довольствие. Сегодня утром я встречусь с командиром корабля в Бассане, куда приписан корабль.

7 февраля

Какой мерзавец! Бинью, этот старшина, отказывается. Когда я прибыл на борт со своим вещевым мешком (мне предстояло стать там писарем), командир корабля сообщил мне эту новость. Он добавил, что Бинью учуял тут ловушку. «Неспроста он меняет такое замечательное место на этот корабль». Командир пожалел, что я не попал к нему, потому что Бинью пишет с ошибками, а считает и того хуже. Я вернулся в свою часть, к моему капитану-насмешнику. Он где-то пропадает целыми днями Куда он ходит? Все так же носит белые сандалии. И прикладывает палец к губам, словно намекает на какую-то тайну. Должно быть, он подслушивает на Большой Почте. По-прежнему все тот же поток телеграмм, но тон изменился: теперь все жалуются. «От тебя никаких известий, отвечай!» Когда в телеграмме есть сведения военного характера — о бомбардировках или продвижении врага, их задерживают. Из этих взволнованных слов я узнаю о несчастьях Франции.

20 февраля

Странная встреча. Было около полуночи, я вышел из кино. Улица Сент-Катрин была погружена в полутьму, я шел посередине мостовой, как вдруг услышал, что сзади кто-то бежит. Не люблю, когда меня пытаются догнать, особенно если человек выпил лишнего. Оказалось, что это тот самый старшина Бинью. Запыхавшись, он крепко схватил меня за руку. Я точно передаю его слова. Мне хочется, чтобы в этом дневнике была одна только правда...

— Послушай, бери мое место, я согласен с тобой поменяться.

— Но ведь сейчас уже первый час ночи.

— Икс-шестнадцатый снимается с якоря только в восемь утра, когда начнется прилив.

— Слишком поздно, старик, слишком поздно.

— Умоляю, замени меня, будь отцом родным.

— Если ты пьян, то так и скажи.

— Я совсем не пьян, просто я не хочу больше плавать на корабле.

— Теперь уж ничего не поделаешь. Каждый поступает, как ему лучше,— ты мне сам это сказал. Я предлагал тебе спокойное место, где ты мог отсидеться. У тебя тоже дети, как и у меня. Но ты испугался слов «секретная служба»... Однако же на моей ленточке написано: «Морской флот Бордо».

Бинью стал умолять меня, чуть не плакал.

— Значит, ты отказываешься?

— Повторяю: отказываюсь! Желаю удачи!

Тогда он перешел на «вы».

— Я прошу вас...

Бинью буквально вцепился в меня.

— Я же сказал желаю удачи!

И я ушел, я боялся обернуться. А Бинью, видимо, так и остался там стоять.

1 апреля

Я узнал, что Х-16 участвовал в Норвежской кампании. Он пошел ко дну в Нарвике. Ни один человек не спасся.

15 апреля

Много работы. Мне не удается вести дневник ежедневно: я о нем забываю. У нас новенький, он лечился в госпитале, ему попал в ногу осколок снаряда. Он был подводником. Нам его навязали. Он носит военный крест с пальмовой ветвью. Я помогаю ему спускаться с лестницы. У него на языке только одна фраза: «Ад, говорю тебе, это ад». У него маленькие глаза старика.

20 апреля

Никаких известий от Одетты и детей. Я был бы рад и открытке. Питаюсь все в том же ресторане. Очень надоела фасоль.

10 мая

Наступление немцев началось. Мы как будто сопротивляемся. Я был под Бордо: трава густая и теплая, на деревьях распустились листья. В вишневом саду смеялись какие-то люди. Я поехал с моим начальником, которому вздумалось посетить полузаброшенный кирпичный замок с двумя башенками на берегу Дордони. Он угостил меня кружкой пива. Я с трудом вел машину на этих узких дорогах, исчезавших в виноградниках. А начальник рассказывал мне о своем детстве. Боже мой, ну и времена!

— Этот чертов замок похож на мой.

— Хотите его купить?

— Может быть, снять на время отпуска.

Из стен замка вылезали ящерицы. Есть ли ящерицы под камнями линии Мажино?

Многие итальянцы, похоже, начинают тревожиться. Что делают Поль Рейно, Даладье, Бонне? «Макаронники» совсем не опасны. Они танцуют фокстрот под военный марш. Такое впечатление, что наших министров хватил паралич, хоть они и произносят успокоительные речи. Повсюду роют канавы и траншеи. Охотятся на немецких парашютистов, которых никто не видел.

11 мая

От моей семьи никаких известий. Полное молчание, несмотря на мою телеграмму. Что делает Одетта с детьми в этом беспокойном Париже? Говорят, на заводах занимаются саботажем. Протен, бывший морской летчик, уехал в Париж. Я попросил его зайти ко мне домой.

— Увидишь, кальвадос очень хороший.

Он крепко закладывает. И вечно что-то придумывает, отчего его действия кажутся порой таинственными. В 1937 году он исподтишка фотографировал доки, портовые сооружения и собирал сведения о прибытии и отплытии кораблей, о том, чем их грузят в портах Балтийского моря. Он писал рапорты французским властям, но их не читали, а его принимали за маньяка.

Как сейчас выглядит Париж? Мне кажется, что это огромный насторожившийся город, в котором готовится что-то важное. Он, наверное, потерял свой обычный вид, застыл и живет изо дня в день непривычной жизнью. Небо над ним такое ясное, что могут летать истребители. Не успеешь оглянуться, как упадет бомба. Я так боюсь пожаров, паники, бегства. Теперь уже бомбят не только военные объекты. После налета на Нанси жертвы уносили на носилках, была разрушена церковь, вывернуты с корнем кусты, стены изрешечены осколками, а на одной прекрасной вилле в Мери-сюр-Уаз с крыши снесло черепицу. Дома умирают быстро. Неужели и в Париже то же самое?

13 мая

Говорят, высшее французское командование возвело какую-то непреодолимую стену, которая должна остановить немецкую «лавину». Слышу самые разные версии, когда хожу пить кофе в бар «Унион». Хозяева собираются в Монтекатини. У них есть скидка на железнодорожный проезд. Монтекатини — это курорт, где принимают грязевые ванны. Они мне подарили бутылку бенедиктина. Я рассказывал им о своем доме. «Я, кажется, похож на Талейрана — совсем точно кошка, привыкшая больше к стенам, чем к хозяевам». Нарисовал им идиллическую картину — дом, затерянный в лесах.

17 часов

А что, если мне устроить электрический фонтан? Это не требует никакого водопровода. Воткнул вилку в розетку — и все. Шум воды меня усыпляет. Бассейн — это очень красиво; мне нравится, когда вода течет из тритона посредине — как у меня в деревне. И чтоб были золотые рыбки — им хватит воздуха, в воде всегда будут пузырьки. А летом это создавало бы такую свежесть... Но зачем мечтать, когда кругом кошмар.

15 мая

Италия объявила войну Франции и Англии. Мой начальник целый день звонит жене. Он спросил, есть ли у нее еще чай. Он хочет послать меня в Рошфор, в РМТО [1]. Мой вещевой мешок уже уложен. Как-то в воскресенье утром я купил пару простынь на Фоссэ, у магазина «Под солнцем Виктора Гюго». Я попался на удочку одного горлопана, который вопил: «Я не могу предложить вам двухспальный гроб, зато предлагаю пару простынь— чистая хлопчатобумажная ткань из Шоле (?); у меня нет стельной коровы, но есть хорошее полотно, из которого можно сделать хорошие парашюты...» Я послал простыни Одетте. Дошла ли моя посылка? Здесь уже появились первые беженцы. Поезда набиты. В ресторанах теперь едят в несколько смен. С нами вместе в 11 часов завтракают девицы с Севера, из какого-то борделя. Вчера я присутствовал при диалоге, который меня наконец-то рассмешил. Когда какая-то сердобольная дама спросила одну из этих толстых декольтированных блондинок, чем занимается ее муж, та ответила: «Он сидит в тюряге, не путайте с тюрьмой». И так как старушенция не поняла, другая блондинка пояснила: «Тюряга — это тюрьма, но получше».

16 мая

Немецкое наступление подкатилось к нашим границам, пишет один журналист в «Пти паризьен», «словно неукротимая стихия». Получил открытку от Одетты с видом Бретиньи, открытка немного загадочная. «Не беспокойся о нас...»

23 мая

«Нужно думать о войне»,— заявляет Поль Рейно в Сенате. Вермахт занял Амьен и Аррас.

Сегодня утром начальник сообщил нам, что возле церкви Сен-Мишель задержали немецких парашютистов в штатском. Среди них оказалась даже женщина, блондинка в кожаных сапогах. Их чуть было не линчевали. «Я ее знаю,— добавил мой командир,— это некая Грета ..» Откуда он ее знает? А если это все враки? Министерства, кажется, будут переезжать в Бордо. Их привлекает Юго-Запад.

24 мая, 14 часов

Вчера я потратил все утро, чтобы узнать, где разместилось министерство внутренних дел. Государственные учреждения втихую бегут. Они реквизируют самые красивые дома. На дороге обнаружены горящие грузовики с архивами. Красавцы «паккарды» застревают в колеях. Их бросают вместе с меховыми манто. Один парень уверял меня, что в крапиве нашли бриллиантовое колье — газета развернулась, и оно засверкало на солнце.

Наконец письмо от Одетты. Она благодарит меня за белье. Но простыни были чем-то пропитаны и при первой же стирке превратились в тряпки. Она спрашивает, что с ними делать С продуктами трудно. Участились воздушные тревоги. Спят они плохо беспокойно Жильбер хочет пойти в армию добровольцем, Клодина тоже — медсестрой Ах если бы у нас был дом! Он мне опять приснился. Он рушился, потом снова обретал свою форму Он перемещался — я тянул его на поводке, как собаку Он привел меня в Версаль. Я слышал как он говорит: «Вот где мне будет лучше всего» У него настоящий рот — он говорит, как в мультфильмах. Он устроился в Зеркальной галерее и превратился в балдахин. Король подписывал указы. Я прибежал, встряхнул монарха, а он все подписывал и подписывал без конца Я крикнул: «Это мое, а не ваше» Я уцепился за портьеру Возле короля стояла корзинка, куда он бросал скомканные договоры Король оказался карликом Он смеялся, подскакивая на постели, завернувшись в простыни, как в саван. Тут я проснулся.

[1] Рота материально-технического обеспечения военного округа.

Мой дом снится мне всегда в одно и то же время. Часто он стоит возле меня, теплый, аппетитный, как огромный торт «Сент-Оноре»; я его пожираю, но он снова становится целым, я продолжаю его есть до пресыщения, и он исчезает с последним глотком. Разве это нормально? У меня болит живот. Сплю все хуже и хуже. Под боком у меня храпит молодой винодел — спим мы в зале технического училища. В морской флот он попал случайно. Он любит повторять: «Мой корабль — это бутылка...» Рассказывает разные истории о борделях, о своих попойках. Я знаю, кто такие Жинетта, Рыжая, Старушенция, ц^лая компания — вот откуда у него зараза. Его лечат аспирином.

21 час

Я купил «Иллюстрасьон», чтобы посмотреть картинки. Это успокаивает. Женщины требуют бриллиантин на касторовом масле по рецепту доктора Рожа; никогда еще они не были такими красивыми. «Корсет «Скандаль» способствует упрочению в мире доброй славы французских товаров».

Бедные облигации военного займа! В рекламе говорится: «Эта пулеметная лента, которую вы помогли приобрести, подписавшись на заем, остановит врага, спасет жизни французам. Более того, она на секунду, на минуту укоротит войну». Как бы не так!

Кстати, нужно будет потом экономии ради купить швейную машину «Зингер» — Одетта с ее помощью сможет починить белье, обновить свой гардероб. Я отдыхаю, просматриваю рекламу. Я наслаждаюсь ею. Уж не нацепил ли Гитлер очки «Горизонт», чтобы лучше видеть, нападая на нас? Они «элегантны», у них «гармоничные линии», и они «придают лицу большую рафинированность». Этому жулику, с его плоской фуражкой, на которой можно подавать пирог, как раз и не хватает рафинированности.

Переворачиваю страницы: теперь речь идет об «изысканности чулок «Монтегю», об изысканности шелка — чулки матовые, прочные, прозрачные». Я вспоминаю икры Одетты, какие они округлые, упругие... Кстати, кому принадлежат ноги Одетты, ее щиколотки, ее ляжки? Она такая желанная, когда голова ее ничем не занята. Ее нужно избавить от забот. Ну, хватит! Я слишком расслабился, как сказал бы наш славный молодой винодел.

Поскольку «Бэрбериз» славятся своими брюками, зайду к ним — если верить рекламе, «они отлично шьют военную форму для всей армии». Они перекроят мой бушлат, и мне больше не потребуются зажимы, чтобы вытягивать брюки и делать складку. Идет обычная трудовая неделя 1940 года, я засыпаю. Кому станем мы помогать?

25 мая

Гитлеровская армия наступает по всему фронту. «Настал час решительных боев»,— заявил Гитлер. Мы слушали в нашей общей спальне парижское радио: передавали его речь, которая тут же переводилась на французский язык. Газета «Эвр» настроена оптимистически... Вражеские войска уходят все дальше, рискуя быть отрезанными от своей базы и в конце концов раздавленными двумя мощными армиями. Я рассматриваю рисунки и надписи учеников на стенах. Каждое утро драят паркет, как на сторожевом корабле. Должно быть, это внушительное зрелище, когда наши броненосцы рассекают пену. В море можно спрятаться, как в пустыне,— там нет границ.

Министр внутренних дел Фроссар сам огласил поступившие в Париж депеши, где сообщается о нарушении голландских, бельгийских и люксембургских границ. Заводы и дома бомбят с воздуха — всюду пожары. Только об этом и говорят. А мой дом в сущности защищен. Ему ничто не грозит, раз есть противовоздушная оборона. Когда же мы сможем там спать «до скончания времен», как поется в песне? Но я боюсь солдат: для них нет ничего святого. Они врываются в дома, вспарывают и пружинные и волосяные матрацы, опустошают шкафы. Какой я осел! Ведь дом даже не закончен.

Я читал, что французский моряк должен в день съедать минимум два килограмма разных продуктов. Следовательно, для девяноста тысяч человек требуется ежедневно около ста шестидесяти пяти тонн продуктов.

9 июня

Немцы занимают Руан. А что же делает Орлеанская дева? Пусть гонит их из Франции! Но разве тут услышишь глас божий, когда летят немецкие «штуки» [1]?

13 июня

Париж объявлен «открытым городом». Теперь все пропало. Где Одетта, Клодина, Жильбер? Я же наказывал им, если уж будет очень трудно, пусть едут к старой кузине в Перигор. Она делает крохотные ножички, которые затем вкладывает в ореховую скорлупу. Зарабатывает себе на жизнь, продавая их туристам.

Этой ночью мне снова снился дом. К нему приделали огромные ярко-голубые крылья. Он поднялся над Бретиньи и полетел — тяжело, по-моему, очень медленно. По нему стреляли. У него из окон вылетало пламя. Из крыши выскочила длинная шея с маленькой птичьей головкой. Другие дома-птицы тоже улетали под пулеметным обстрелом. Я вел весь этот выводок, но мне было очень холодно. Волосы у меня покрылись белым инеем. Я дрожал. Мы пролетели над Северным полюсом. Все кругом было бело. Я заметил, что в мою крышу попал снаряд: из нее шла кровь. Я сразу проснулся. Остаток коньяка привел меня в чувство. Молодой винодел, еще не открыв глаз, потребовал, чтобы я тоже дал ему глоток. Что за тип! Рассвет наступил быстро — в 4 часа 40 минут утра: сейчас самые длинные дни в году. Армию это не слишком устраивает.

19 часов

Ах, если бы можно было сбежать в Марокко, туда, где «жизнь естественна и приятна». Мы все четверо были бы вдали от этой мерзкой неразберихи. Грелись бы на пляжах — ведь лето там мягче, чем в других местах.

Смотри-ка, в Пуату можно снять дом в шестнадцать комнат, с гаражом, недалеко от почты и вокзала... Как раз перед приходом немецких танков. Нотариус из Сен-Мэксана, наверное, уже на колесах. Прощай, «Иллюстрасьон»! Не стоит пить для улучшения крови рекламируемый там отвар из трав, изготовленный монахами: свежая кровь теперь льется повсюду и брызжет на траву. А уж господа офицеры как перетрусили — им теперь не приходится регулировать пищеварение с помощью Вальских солей.

15 июня

Гитлер оккупирует Париж; боши «причесывают» нашу столицу. Уж они постараются пригладить наиболее непокорные шевелюры. Что делает генерал Вейган? Произошла невероятная история с телеграммой Поля Рейно Рузвельту. Мы ее потеряли. Мой начальник просто с ума сходил.

— Перпиньян, вы видели эту телеграмму? Вы ее не задержали?

— Я ничего не видел.

— Поищите!

— Где?

— Официальная телеграмма! Не может же она затеряться!

Начальник прочесал все комнаты. Вернулся он мертвенно-бледный. Таким я никогда его не видел.

— Пожертвую пять франков святому Антонию [2], если ее найдут.

Почтальоны сдрейфили.

Потом все утихло. Начальство больше не бегало, не вытирало пот со лба. Все приумолкли. Я не знаю, чем кончилась история с телеграммой. Когда вам на пятки наступает враг, быстро теряешь самообладание. Но что до этого Истории? Как бы мы ни волновались, ее лик остается бесстрастен.

17 июня

Петен в нашем городе. Я заметил кортеж из черных лимузинов направляющихся к префектуре. Он произнес там речь. Молодой винодел сказал мне: «Он рассуждает, как скелет с насморком». Не сражаться — но с кем я сражаюсь?

[1] Название, которое во вторую мировую войну получили немецкие бомбардировщики «юнкерс-87».

[2] У французов существует поверье: когда потеряешь что-нибудь и не можешь найти, надо помолиться св. Антонию Падуанскому.

Сидеть и ждать последнюю телеграмму? Я мечтаю о ней, я уже держу ее в руках. В ней сказано: «Жозетта только что родила дочку. Огромная радость. Мама чувствует себя хорошо...» Однако беспорядок возникает повсюду, и против него все бессильно.

24 июня

Костры Ивановой ночи охватывают огнем Север, Восток, Северо-Запад, Парижский район, Орлеан и даже район Лиона, аэродром Брон и Центральную часть Франции...

Я думаю о Бретиньи. Появятся ли над моим домом «юнкерсы-52», которые недавно выбросили десантников в касках, с ручными пулеметами?..

«...И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке; и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи... Из Эдема выходила река для орошения рая... И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». [1]

Это было время, когда хорошо росли тюльпаны, когда огненные гвоздики расцветали словно экзотические растения. Были там и мухи, и осы, и бродячие псы, и дрозд-пересмешник. Жили и радовались.

В Риме подписано франко-итальянское перемирие. Это конец. Командующий намеревается дать последний бой в Вердене. На платформы поставят пушки, уничтожат сахарные заводы, врагу достанется только обгорелая земля, разоренные сады. Я одобряю...

...А сейчас я нахожусь в особняке, окна которого выходят в городской сад. Один морской офицер попросил, чтобы я напечатал на машинке письмо: он хочет получить пособие по случаю рождения своего первенца. Я поднимаю голову и вижу какого-то адмирала, который, опустив голову, заложив за спину руки, ходит вокруг бассейна, где дети пускают парусный кораблик и игрушечную подводную лодку — моторчик у нее запускается с помощью резинки. Эта картина, освещенная ярким солнцем, в лучах которого искрится и переливается вода фонтана,— последнее, что запечатлелось в моей памяти.

Я уезжаю; при мне бумага, отстуканная на машинке, где внятно сказано: «Старшине Симеону Перпиньяну разрешено вернуться в свои казармы». Мне не во что переодеться. Я — моряк, отдавшийся на волю волн.

Иду в кафе. Хозяйка привезла огромный букет роз. Она вернулась из деревни на велосипеде.

— Поразительно — можно подумать, что настало мирное время.

Я спрашиваю:

— Вы знаете, что испанских беженцев разместили в киосках и павильонах Заморских территорий на Коммерческой выставке,. что на площади Кенконс? Загнали в модель деревянной алжирской мечети и в павильон Марокко. Они там подыхают от жары.

— Мало ли что говорят.

— Это правда, я сам туда ходил. Повсюду слышна испанская речь. Белье сушат где только можно — на веревках между арками.

— От вас первого слышу.

— Их скоро отдадут немцам: это заложники.

— Не произносите это ужасное слово. Черт возьми, мои розы осыпаются. Цветы — вот что успокаивает людей...

Она угощает меня мятной настойкой с водой.

— Думаю, испанцев скоро благословят, как монсеньор Ле Онсек (ну и имечко!) благословил членов Братства участников франко-индокитайской войны...

— Мсье Симеон, вы хулиган...

На этом я прекращаю записи — война каждое слово превратила для меня в боль. Я хотел бы быть швейцарцем, португальцем или турком. По крайней мере не

[1] Библия. Книга бытия, гл. 2.

слышал бы воплей тонущих в Дюнкерке. Я мог бы заняться раскопками в поисках следов исчезнувших цивилизаций и найти бронеавтомобиль с пулеметом, старую, проржавевшую батарею, скелеты, подвергшиеся химической обработке, парашют, истлевший от времени...

Да, я сейчас выйду на дорогу. Там будут фруктовые деревья, увешанные плодами, которые некому сорвать, но будут и беженцы, терзаемые страхом. Там будут канавы, заросшие мятой и ирисами, где легко спрятаться. Если придется, я пойду по полям, среди несжатых хлебов. Я снял свой матросский воротник; я отдал свой берет — выменял его на более надежный шлем мотоциклиста. Никогда еще воздух не был таким мягким, таким сверкающим; улицы пустынны, но причина тому не страх — сейчас время послеполуденного отдыха. Запах уже распустившихся роз бередит мне душу — с обмякшими шипами они похожи на раненую плоть.

Я обнимаю хозяйку. Она вот-вот заплачет; я утешаю ее. Говорю глупость:

— Подумайте о вашей кошке.

— Это правда, животным незачем все это знать.

Я уношу в своем холщовом мешке бритву, мыло, смену белья, плитку шоколада, булавки... Хозяйка хочет дать мне крутых яиц, но я отказываюсь.

— Из-под курицы, с фермы.

Она кладет их в мешок. Не забывает и про соль.

У моста сутолока. Я сажусь на скамейку и пишу в своей записной книжке:

ЧТОБ ЧЕРТИ СЪЕЛИ ТОГО, КТО ЭТО ПРОЧТЕТ!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Немецкие войска уже не знали, что делать с этой лавиной французских солдат, которые вылезали из всех дыр. В Дюнкерке множество солдат расположились лагерем на берегу — море преградило им дорогу, их сдерживали волны, приливы и отливы. Куда идти? Как вырваться из этого огненного и стального ада? Они гибли, пускаясь вплавь с котелком в зубах; перегруженные лодки шли ко дну — это выглядело страшнее, чем «Плот Медузы» [1]. *Они попали в ловушку.*

Отовсюду появлялись изголодавшиеся, исхудалые военные, которые расползались, как муравьи из муравейника, и попадали в руки немецких танкистов. Их группами отправляли в такие места, которые внушали ужас и где люди, отданные на волю случая, лишенные командиров, затерявшиеся в толпе гражданских беженцев, могли совсем утратить мужество.

Но вражеской армии еще предстояло повозиться. Оккупировать Францию оказалось не так-то просто. По всей стране разбрелись бывшие бойцы, так называемые «перемещенные лица». В канавах валялось оружие, пушки; сбитые самолеты горели в стогах сена, которые в свою очередь тоже загорались. Как преградить дорогу этим бродягам, как пересчитать их, как составить списки этих привидений, тащивших за собой семьи, которые опасаясь случайного выстрела, шальной пули, начинали метаться в беспорядочной сутолоке? Весь этот грандиозный хаос ставил в тупик тевтонские штабы — а их было великое множество, и они хотели видеть Францию не только урезанной, но покоренной.

Порой бывает трудно справиться с победой.

Его мешок был тяжелый, башмаки слишком новые, сумка слишком набита. От черного дождевика вспотело под мышками. Симеон снял его, сложил и пристроил поверх сумки для провизии. Что до мешка, то он выбросил его на пустыре, спугнув несколько упитанных ворон.

Дороги не было видно из-за скопища автомобилей, велосипедов, грузовиков; целая семья ехала на лошади. Симеон с трудом продвигался против течения. Это было мрачное и шумное шествие; тут же в канавах сидели матери и кормили грудью детей. Давка была такая, что люди даже не смотрели друг на друга — сшибались локтями, моторами, лошади били копытами. Какой-то старик лежал на матраце, разложенном на крыше «делажа» старой модели. В руке он держал ночной горшок.

[1] Знаменитая картина французского художника Жерико (1791—1824), находящаяся в Лувре.

Несколько молодых людей свернули на картофельное поле. Они выкапывали едва сформировавшиеся клубни и бросали их в мешок.

В клубах пыли непрерывным, разномастным потоком ползли машины, доверху нагруженные домашним скарбом, пакетами, клетками, кухонными принадлежностями. Проехал грузовичок со снятым верхом, там на стульях сидели несколько человек — судя по всему, родственники — и по очереди спали. Симеон нечаянно наступил на голову куклы — фарфор разлетелся на мелкие кусочки. Какой-то человек увидел его и крикнул:

— Куда вы идете?

— В Париж.

— А мы все идем оттуда. Немцы обстреливают нас, бросают бомбы.

— Я хочу отыскать свою семью.

— Здесь, на дороге?

— Нет, дома.

— Они пикируют на людей и расстреливают в упор.

— Есть раненые?

— Не знаю. Остановиться нельзя, иначе потеряешь свое место.

— А убитые?

— Навалом. Я видел одну сумасшедшую, которая несла на плечах своего мужа, как охапку хвороста.

— Ведь у вас кровь на руке...

— И правда. Я даже не заметил. Обо что-то ударился — долго ли здесь.— И он монотонно продолжал: — Убивают, грабят, насилуют. Всё молодые солдаты. Говорят, они никогда не видели помидоров. Ходят по пояс голые, как на пляже.

— А вы сами куда идете?

— Почем я знаю! Иду до конца. Может, шагаю прямо в царство небесное...— И, громко рассмеявшись, продолжал разговор, который явно нравился ему: — Вы моряк?

— Да.

— Мне вас жаль: они возьмут вас в плен.

— У меня нет выбора.

— На вашем месте я зашел бы в какой-нибудь магазин и чем-нибудь там поживился... Мы проходили через одну деревню, в ней никого не было. Я там нашел часы.

— А что у вас в чемодане?

— Наша перина. Моя жена ни за что не хочет с ней расстаться. Желаю удачи! — И крикнул: — Клеретта, Клеретта, подожди меня! Я здесь заговорился.

У Симеона кружилась голова от этого потока людей всех возрастов, здоровых и больных. Некоторые шли босиком. Какого-то человека, избитого в кровь, бросили на дороге — он украл хлеб. Симеона страшили испуганные взгляды, устремленные в небо, как будто поджидавшие вражеские самолеты, которые вот-вот начнут пикировать, неся смерть; эта плотная движущаяся масса представляла собой идеальную мишень — так легко было превратить людей в трупы. Словно вереницей шли гусеницы... Стволы деревьев служили писсуарами; иногда кто-нибудь из толпы убегал на луг, приседал на корточки, и тогда видна была только вытянутая рука с носовым платком — люди боялись, что их забудут. Иногда человек прятался за раскрытым зонтиком.

Симеон шел по краю поля, прямо по жнивью, царапая себе ноги о стерню. Никто не обращал внимания на этого безумца, который как лунатик все шел вперед. Вдруг он увидел неподвижно сидящую девочку; она тихонько повторяла:

— Мама, возьми меня!

На руке у нее была повязка с именем и фамилией. Она не плакала. В руке она держала бумагу. Симеон подошел к ней.

— Что с тобой?

Она посмотрела на него.

— Мама сейчас возьмет меня.

Он поднял ее на руки; она весила не больше птички и вся дрожала от лихорадки.

— Где твоя мама?

А она все повторяла:

— Мама сейчас возьмет меня.

Она походила на Клодину, только личико ее было угольно-серое, а в волосах полно вшей.

Он поставил ее на землю и поцеловал.

— Я расскажу тебе сказку.

А она все повторяла:

— Мама сейчас возьмет меня.

Симеон дал ей плитку шоколада, которую она не сумела даже развернуть. Он насильно положил квадратик шоколада ей в рот; она его выплюнула.

— Твоя мама сейчас придет.

Симеон вернулся на дорогу, где среди толпы можно было задохнуться. Он стал умолять женщину, сидевшую в двуколке, взять с собой девочку.

— А куда мы ее посадим, и так не повернуться!

— Она ведь займет немного места; она больна.

— Чтобы нас еще заразила...

Какой-то старик ехал в тильбюри — своего рода двухместном открытом кабриолете.

— Я ее беру. Здесь Вавилон, мсье, вонючий Вавилон. Небо еще не сказало своего последнего слова, я тоже.

Уж лучше отдать ребенка сумасшедшему, чем этой мегере, восседавшей в распоротом вольтеровском кресле. А девочка не сводила с него больших, блестящих, выпуклых глаз.

— Она составит мне компанию. Будет хоть кому глаза мне закрыть.

Бежать от этой измученной своры, вырваться из этой человеческой лавины, не видеть больше этого множества едва держащихся на ногах людей, возвратиться к полевым цветам, к туману, к папоротнику, к кваканью древесных лягушек...

На перекрестке Симеон свернул влево. Он заметил дорогу, покрытую белой, как мука, пылью. И пошел по ней. Топот ног, ругательства, щелканье кнута, гудки автомобилей, уже размякший асфальт — все исчезло. Вновь раздалось громкое знакомое пение птиц. Он был изумлен, услышав звук собственных шагов. Вдали он еще различал медленно ползущий поток беженцев; вдруг их скрыла от него стена мелкого дождя. Симеон ускорил шаги и нырнул под свежий орешник. Там он с жадностью съел оставшуюся куриную ножку, выпил теплого вина, которое хозяйка налила в бутылку из-под сиропа. Ему безумно хотелось растянуться на траве и заснуть. Где-то вдали громыхала гроза. Он снова пустился в путь и шел долго, не останавливаясь. Почему не наступает ночь? Его часы стали. Он вышел на пустынную окружную дорогу. Вдруг мимо не спеша проехали мотоциклисты в касках, в огромных черных очках, за которыми не видно было глаз. Симеон успел только броситься в канаву. Солдаты, голые по пояс, жадно ели персики и смеялись.

Симеон продолжал свой путь уже с большей осторожностью, но из-за усталости и оттого, что деревни и фермы встречались редко (они виднелись вдали, среди деревьев), ему пришлось сделать привал на опушке небольшого леса. Из канавы тяжело взлетел фазан. Симеон залюбовался солнцем, садившимся за луг, прекрасным, полным, круглым, золотистым; от его мягкого света розовели стволы деревьев. Он открыл сумку с провизией, вытащил колбасу (тоже подарок хозяйки) и жадно проглотил половину. Здесь уже слышались протяжные отголоски канонады, далекая пулеметная очередь. Он заснул, прикрывшись ветками. Постель он устроил на сосновых иглах. Тьма была кромешная.

Рано утром, хотя воздух был теплый и влажный, ему стало холодно. Он пошарил в сумке, вытащил последний ломоть хлеба, кусок засохшего сыра, пахнувший джутом.

«Проклятье! Я забыл бритву в мешке, который выбросил». Он провел рукой по обросшей щеке. Углубившись в лес, он наткнулся на лужу, окаймленную светло-серым песком, мягким, как глина. Лягушки попрыгали в медленно текущую воду, уходящую под корни ивы. Он потрогал рукой теплую, почти стоячую воду, побрызгал на лицо, на шею, на плечи. Стало легче. Вода быстро помутнела. От толстого корня вверх тянулись зеленые мшистые ветви. На поверхности воды бегали водяные пауки, а над лужей кишели комары; он, конечно, тут же привлек их. Симеона всего искусали. Было только 5 часов утра, солнце краснело в гряде облаков. Его тяготило одиночество, и он стал громко разговаривать сам с собой — это вошло

у него в привычку, когда он строил свой дом. Затем достал из кармана пачку «Кельтских» и закурил первую за этот день сигарету. Запахло дымом, его колечки смешивались с тонкими струйками тумана.

Добрый привычный запах словно превратил в давно обжитые эти места, где царило безмолвие. Он увидел орешник, но, хотя плоды уже завязались, они еще не созрели. Ему захотелось побродить, забыться, поверить, что все осталось как прежде, так же надежно и реально: время отпусков, поездок к морю, прогулок в горы.

Однако же в действительности тучи все больше сгущались. Орда беженцев, должно быть, продолжала свое безумное шествие в неведомые края — не для того, чтобы исследовать их достопримечательности или расположиться на отдых. Несчастные, измученные люди теряли имущество и рисковали жизнью в этом бесконечном потоке, который могла остановить только гора. Но идти оставалось уже недалеко; армия теней брела в поисках убежища, где можно было бы спокойно выспаться, обменять бриллианты на черствый хлеб или свежий лук, с боем сесть в какой-нибудь призрачный поезд, который идет туда, где нет войны, в мирную страну, не отравленную страхом, и где они смогут превратиться в уважаемых граждан или ублажаемых гостей.

Симеон снял башмаки из грубой кожи и переобулся в холщовые туфли на обтрепавшейся веревочной подошве — подарок начальника.

Он шел быстро и легко. Насвистывал песенку Тренэ, чтобы приободриться.

И тут он увидел серебристую, быстро текущую речку с небольшими мшистыми островками; ее берег наклонно спускался к воде. В одну минуту он разделся, и вот он уже в воде, барахтается, брызгаясь, словно беззаботный мальчишка, колотя руками по поверхности.

Вдруг кто-то крикнул:

— Ты что, обалдел?

Откуда раздался голос?.. Метрах в двухстах виднелся одноарочный мост. Симеон услышал шелковистый звук двигающегося по направлению к нему велосипеда. Показался военный, по виду француз, без пилотки, с рукой на перевязи, перекинутой вокруг шеи. Симеон собрал свои пожитки и взобрался на откос.

— Не видишь, что здесь воюют?

— Где?

— Мы с товарищами охраняем мост.

— Сколько вас?

— Пятеро. Лейтенант сбежал. Мы командуем по очереди.

Когда Симеон оделся, капрал с удивлением посмотрел на него.

— Ты что, моряк?

— Да.

— Послушай, старина, на этой реке не разживешься. А я есть хочу.

Симеон снял мешок и протянул его капралу, который, пошарив, достал оттуда горшочек меда, помидоры.

— Боши в десяти километрах отсюда. Они боятся мостов. Этот мы заминировали.

— Вы отсюда уходите?

— Нам дан приказ отступать, но мы не хотим подчиняться.

Симеон последовал за военным — тот прихрамывал; выглядел он нелепо — бородатый, с взъерошенными волосами, в рубашке защитного цвета без пуговиц, с красными припухшими глазами.

— Вы ранены?

— Да, кровь идет при малейшем усилии, но рана не серьезная, детские игрушки.

На нем были резиновые сапоги, как у фермеров.

— Двоих наших ребят убило. Гнусно как-то получилось. Трупы здорово привлекают мух. Мы положили их в холодок.

Солдаты радостно встретили Симеона. То немногое из провизии, что у него осталось, мигом исчезло. Они разрывали зубами бумажную обертку от галет. Прикончили вино из бутылочки.

Один тип, одетый, как огородное пугало, крикнул:

— Хватит с нас! Пора сматывать удочки! Вот уже три дня, как мы охраняем мост, но никто по нему не прошел, кроме курицы, которую мы быстро прихлопнули. Понимаешь, это был наш последний закусон.

— Согласен,— ответил самый старший, худой, лохматый, с военным крестом на гимнастерке и в шерстяной вязаной шапке на голове.— Мы оставляем мост, моряк.

Сказано — сделано, их героизм дал течь. Они поднялись и стали по стойке «смирно» перед Симеоном. На троих у них была одна винтовка.

— Охраняй мост и покойников. Привет Гитлеру!

И Симеон остался один с пулеметом «гочкисс» без единого патрона в ленте.

— Эй, ребята, она же пустая.

— Мы тебе оставили три гранаты в лесу, справа.

Симеон обернулся. Он увидел, как солдаты идут по дороге, подталкивая друг друга, словно драчуны-мальчишки. Один из них напевал:

А вино-то не вино,
Пойло чистое оно.

— Вот дерьмо, это уж слишком! — Симеону после такой прогулки было не по себе. Мост был двускатный, сложенный из камня, изъеденного временем. Еще видны были следы рельсов, исчезавших в зарослях шиповника.— Я тоже сматываю удочки.

И тут, только он собрался покинуть свой наблюдательный пост и бросить свое так называемое «оружие», медленно выполз немецкий танк; его башенка была открыта, дуло направлено прямо на него. Он бросился на землю, но его заметил офицер с биноклем. Симеон вполголоса пробормотал: «Попал как кур в ощип».

Его уже окружили. Ударили прикладом по пояснице. Отобрали пулемет.

— Остальные все капут, товарищ?

— Да.

— Война для тебя окончена — fertig. Schnell, schnell, los... [1]

Симеон попал в плен.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Краткое описание побега Симеона в ноябре 1940 года

Немецкий комендант нашего сектора (фон Бюлов), приехав для инспекции на ферму в Мальмезоне, где я вместе со своими товарищами заканчивал жатву, обратил на меня внимание и вызвал в комендатуру. Узнав, кто я по профессии, он заявил:

— Счетовод не должен портить себе руки на тяжелой работе...

С этого дня каждое утро я облачался в штатское и шел к нему в кабинет. Моя работа состояла в том, что я выписывал какие-то цифры на больших листах бумаги; по-моему, я готовил выдачу жалованья. Он говорил со мной уважительно, но иногда в его голосе звучал металл. Одна рука коменданта — в черной перчатке — была неподвижна.

— Возьмите грушу, друг мой!

И он протянул мне ее. Я не решался ее взять.

— Ешьте.

Груша была сочной и свежей; я наслаждался ею, но не спеша.

Однажды комендант показался мне озабоченным. На то были основания, о которых я узнал только позднее. Он хотел получить у своего начальства разрешение взять меня с собой в Восточную Пруссию, куда на следующий день уезжал в отпуск. Но зачем? Может быть, у него там земли, фермы? Он сказал мне, что огорчен, так как мы должны отправиться в крепость Лан для перегруппировки, прежде чем отбыть в Германию. А ему хотелось бы, чтобы на время плена я пожил в его семье — обучал бы его детей французскому языку и, в сущности, стал бы его адъютантом.

Я же от нечего делать снова и снова рисовал себе в воображении свой дом. Конечно, я его приукрашивал. Сад превращался в парк со столетними деревьями, а дом — в величественное жилище дружной семьи. Я забыл про гараж. Как быть? Можно поставить рядом с домом небольшое строение с кухней и комнатой наверху. Я думал о будущем Клодины и Жильбера — они ведь могут обзавестись семьями.

Но было трудно соблюдать законы перспективы; я ошибался, начинал сначала, я жил мечтой об этом жилище, которого у меня не было.

---

[1] Готово. Быстрей, быстрей, давай... *(нем.)*

— Бобрик — это что такое бобрик?

Комендант, подойдя сзади, взял в руки начерченный мною план. Помню, это был вторник, шел дождь. Я побледнел, так как не думал, что говорю вслух.

Он отошел немного в сторону и стал созерцать мой неуклюжий набросок. Я испугался, как бы он не принял его за план побега.

— Неплохо, недурно. Komme! Schnell! [1]

Я подошел к нему, приготовившись к худшему. Он легко хватался за револьвер и, не раздумывая, спускал курок. Но он протянул мне бумагу.

— Завтра я дам вам цветные карандаши. Вы что, тоскуете по дому?

Я утвердительно кивнул и уронил на пол план (от волнения).

Комендант щелкнул каблуками и отдал честь.

— У вас дети, не так ли?

Однако это происшествие породило во мне желание бежать. Я не мог заснуть, строя планы, не в силах спокойно думать об отправке в Германию, где я буду еще дальше от цели моего назначения. Я словно получил ни с того ни с сего отсрочку, но не обрел независимости, предмета моих вожделений. Пока еще я был сравнительно свободен, не слишком обременен заботами, но жил под дамокловым мечом — вот придет приказ из Германии, и нас отправят в неизвестном направлении.

Поэтому надо было скорее осуществлять план побега. То, что раньше казалось мне еще довольно смутным, вдруг сразу определилось. Я думал об Одетте, о детях так, будто они уехали отдыхать, оставив меня одного. Но в то же время мне казалось, что семья моя от меня так далеко, будто я на другой планете, и только оттого, что эта планета слишком привычна, я не замечаю воздвигнутой вокруг меня решетки. Нужно было действовать быстро, однако же без чрезмерных предосторожностей. Каждый знал о моем привилегированном положении, и нельзя сказать, чтобы зависть товарищей доставляла мне удовольствие. Вместо котелка у меня была тарелка, а вместо кружки — стакан. Разумеется, меня подозревали в каком-то тайном сговоре с комендантом. Утверждали даже, что он мой родственник. Однако самым близким товарищам я рассказывал, что нарочно вру в расчетах, чтобы получался неправильный итог. Но все было впустую. Я был правой рукой коменданта, которой у него не хватало. Будь я шофером, с меня бы и спросу никакого не было; но все знали, что я ко всему прочему говорю по-немецки, хотя от усталости иногда забываю самые необходимые слова. Моя чудовищная тарабарщина смешила коменданта. Правда, казалось, что он всегда смеется — из-за шрама, удлинявшего рот.

И вот вечером я решил попытать счастья. С буквами ВП на спине (что означало «военнопленный») я пустился в дорогу. Побег мой длился девять дней; из вещей у меня был только компас, каравай хлеба, плитка шоколада и нож, который я спрятал в подкладке. С мальмезонской фермы, где я ночевал,— а она находится в трех километрах от Лиссонского лагеря,— я ушел ночью.

Я шел под проливным дождем через вспаханные поля, ориентируясь по компасу на юго-запад, избегая дорог,— шел ночами, а днем прятался. Да, день тянулся долго. Самые легкие шаги, малейший скрип повозки, чириканье птицы настораживали меня. Я чувствовал себя хорошо только на закате, когда летучие мыши начинали над моей головой свой балет, а сквозь листву перекликались совы. Но меня заметил мальчишка, который пас коров. Вокруг меня с лаем забегала собака. Пастух подошел и заговорил со мной:

— Где твое стадо?

Я пробормотал что-то невнятное.

— Ты юродивый?

Я утвердительно кивнул.

— А что это такое — ВП?

Я удивленно поднял брови, словно впервые о них услышал.

— Это на языке бошей?

— Да.

— Новая форма?

Я неуверенно пожал плечами.

Он ушел. Тогда я крикнул ему вслед:

— Я кабил, унтер-офицер.

---

[1] Идите сюда! Быстро! *(нем.)*

Мальчишка бросился наутек; он даже потерял один башмак. А я наконец-то рассмеялся.

Он вернулся к коровам, довольный, что унес ноги. Я же поспешил перебраться на соседний луг, так как он разглядывал меня в трубку, вырезанную из тростника.

После многочисленных происшествий такого рода (я встретил девочку с кроликом, которого она держала за уши, старуху в фартуке, собиравшую хворост, вслед за мной долго прыгала белка) я очутился на аэродроме и спрятался среди десятка баков с горючим под сетчатым навесом, накрытым соломой. Светало. Я собрался было уйти в ближайший лес, но тут подкатили шесть грузовиков и выгрузили свое содержимое: триста немецких солдат, вооруженных лопатами и кирками, весь день вбивали колья и порой останавливались метрах в двухстах от моего укрытия; а я, закутавшись в плащ, очевидно, какого-то старика дворянина, найденный на ступенях церкви, надвинув на лицо капюшон, сидел, не смея шелохнуться. Я сидел, словно окаменев, руки и ноги у меня все больше затекали — мне казалось, что меня жалят тысячи разъяренных слепней. И пришло же мне в голову спрятаться на аэродроме, в этой времянке, про которую, должно быть, забыли. Это было единственное «строение» среди пустынного поля, и когда солдатам хотелось справить нужду, они направлялись прямо ко мне. Я чувствовал на себе их дыхание, но, к счастью, они обычно устраивались спиной к моему убежищу.

И лишь к концу дня кто-то из них — явно какой-то оригинал — присел как раз напротив меня, так, что мы смотрели друг на друга на расстоянии каких-нибудь двух метров. Мне стало жарко. Его круглое, лунообразное лицо заинтересовало меня — оно выражало страдание. Я рассчитывал, что темно-серый плащ и солома, набросанная на сетку, скроют меня. Всей силой своей воли я старался внушить солдату, что он не должен замечать меня. Я чуть было не потерял сознание, когда он отошел; я был без сил — так много энергии я потратил, внушая ему: «Ты не должен меня видеть, ты не должен меня видеть...» Он оказался очень внушаемым. Я был признателен ему за то, что он подчинился; у меня кружилась голова. Заметил ли он меня? Не знаю, но я никогда не забуду неясных очертаний этого сидящего на корточках существа, в таких муках отправлявшего естественную надобность. В другой раз я очутился в траншее со снарядами. Никто там не появился — просто метрах в десяти я видел часового, напевавшего «Лили Марлен». Это напоминало инкубатор, только вместо яиц на соломе были аккуратно разложены снаряды; сталь уже потеряла свой блеск. Отсюда не стреляли. На одно мгновение мне пришла в голову идиотская мысль: вынуть из снарядов капсюли, обезвредить их, но на это у меня не хватило решимости. Проведя некоторое время в близком соседстве с этими смертоносными игрушками, я продолжал с трудом продвигаться вперед — пришлось прятаться в старом автофургоне с закопченными стеклами, прыгнуть в пруд и некоторое время пробыть под водой, и вот наконец ценой невероятных усилий я выбрался из опасной зоны — с листьев кувшинок за мной наблюдали лягушки. Я ехал на велосипеде с корзинкой, полной свеклы, собранной в поле. Навстречу мне мчался немецкий мотоцикл с коляской; я крикнул: «Хайль Гитлер!» Удивленные солдаты оглянулись, потом вскочили и рявкнули те же слова. Они чуть не вывалились из мотоцикла. Както я ночевал среди стада коров, прячась за живую стену их тучных тел. Они не удивились моему присутствию. Может быть, они спали? Я различал их слюнявые морды, их вздрагивающие уши, их покрасневшие глаза, которые осаждали мухи. Самая пузатая корова внушала мне опасения: я боялся, как бы она не начала вдруг телиться.

На девятый день я оказался на берегу Эны — было половодье. Я с трудом шел по траве, спотыкаясь о кочки, перепрыгивая через канавы. Здесь проходила граница запретной зоны. Я решил переждать на небольшом холме, хотя весь продрог и вымок под дождем до нитки. К счастью, наступила ночь. Какой-то крестьянин проплыл на лодке по реке за молоком. Он стоял на носу плоскодонки и отталкивался длинным шестом. В каком из озерных селений он жил? Когда совсем стемнело, я поплыл через широкую водную гладь, по фонарикам часовых и по пулеметным очередям определяя, где другой берег. Выбрался я на него совсем без сил и тотчас свалился; я слышал, как какой-то унтер-офицер выкрикивает слова команды, как по воде шлепают сапоги; мимо меня промчалась моторная лодка. Заметили они меня? Нет, направляются в другое место. Пули полосовали поверхность воды, отскакивали и исчезали в глине. Я решил, что спасен. Пошел дальше. От меня валил пар, но мне

было холодно. Дождь перестал. Чтобы согреться, я пустился бежать. И вскоре очутился у канала Эллет, чего вовсе не ожидал. Меня охватило отчаяние. Я был голоден, дрожал от холода. Гимнастерка прилипла к рубашке, зато плащ быстро высох на ветру. Я достал обломок расчески, который очень берег, и причесался. Так я мог сойти за человека, перевернувшегося в лодке, или за перевозчика, случайно упавшего в реку. Переплыть канал у меня уже не хватало ни сил, ни мужества. Я спрятался на какой-то старой заброшенной барже. В каюте я разделся; в небольшом шкафу из смолистой сосны даже остались простыни, лошадиные шкуры вместо одеял, керосиновая лампа. Я лег нагишом, чтобы просушить белье и одежду. Постепенно отогрелся, стало тепло. Несомненно, хозяина баржи застиг врасплох приход немцев — в каюте царил такой беспорядок, что у меня стало тревожно на душе. Я занял чье-то место. Утром от первого мороза капитанский мостик и еще полная угольная яма покрылись инеем. Меня задела пробежавшая мимо крыса, я вздрогнул от отвращения. Но, по-моему, она была ручная. Густой туман покрывал все вокруг; деревья казались призрачными, вода поблескивала. Выбрав удобную минуту, я бросился в эту стоячую, жирную, маслянистую воду, которая липла к коже,— одежду я привязал ремнем от брюк к голове. Плыл я долго, выбиваясь из сил, пока не обнаружил, что двигаюсь параллельно берегу. Наконец я вылез и спрятался в лесу, тянувшемся по ту сторону дороги на Реймс; вдали уже виднелись тонкие шпили собора. Я ждал первых прохожих, чтобы попросить если не помощи, то хотя бы кусок хлеба. Голод и волка из лесу гонит, а я, наверное, походил на отощавшего зверя: отросшая борода, должно быть, подчеркивала худобу лица и тревожный блеск глаз. Две женщины, увидев меня, тут же убежали, испугавшись этого лесовика, привидения, от которого можно ждать чего угодно. Руки у меня загрубели. Я был весь в тине, но мне было наплевать — так я устал.

Через некоторое время показался мужчина из породы «фермер-джентльмен». Я осмелел и приветствовал его по-военному. Он сам подошел ко мне. Внимательно оглядел меня, но я держался так приниженно и покорно, что его подозрения сразу исчезли. Он спросил:

— Вы что, бедняга, бежали из плена?

Я ответил утвердительно.

— Вы ранены?

— Нет.

— Перенесли какое-нибудь потрясение?

— Да.

— Что я могу для вас сделать? Вы знаете, вид у вас не блестящий.— Он улыбнулся.

— Мне бы хлеба и штатскую одежду.

— Хлеба — это можно. Что же касается одежды, то это труднее.

— Почему?

— Мы уже столько роздали! Побудьте здесь— я захвачу вас с собой на обратном пути. Никому не показывайтесь. Берегитесь облавы!

И он действительно вернулся, с хлебом и кистью винограда.

— Пойдемте!

Я не отваживался выйти на дорогу; он меня успокоил.

— Утренний патруль уже прошел.

Мне не понадобилось особого приглашения, я жадно впился зубами в хлеб и с наслаждением стал уплетать виноградины.

На то, чтобы спокойно добраться до его дома, у нас ушло несколько часов. Наконец мы очутились на ферме, от которой осталась только часть (бомба разрушила больше половины весьма внушительного дома); хозяин позвал жену, а та, увидев меня, воскликнула:

— Еще один! Нет уж, хватит!

Я взглянул на себя со стороны и сам ужаснулся своему виду — до того я был грязный; наверное, от меня пахло гнилым тростником и засохшей грязью. Я попросил у хозяйки разрешения хотя бы слегка привести себя в порядок.

— Моей бритвой можно только за ухом чесать.

Я вымылся, побрился, стал почти как все. Фермерша окинула меня оценивающим взглядом и, видимо, успокоилась. Я не походил на злоумышленника. Она изменила свое отношение ко мне. Отвела меня на кухню — единственное целиком сохра-

нившееся помещение в доме — и приготовила омлет с ломтиками жареного мяса, который я мигом проглотил; на глазах у нее выступили слезы. Как только настала ночь, она отправилась на поиски приличной одежды и транспорта, чтобы я мог перебраться в Реймс, находившийся в двадцати пяти километрах оттуда. Они велели мне не выходить из дома, чтобы не привлекать к себе внимания.

— Уедете завтра утром с рабочими. Вас не заметят.

Она постелила мне, и я заснул, как убитый. Спал я беспокойно, потому что отвык от мягкой, удобной кровати.

Всю ночь муж и жена, с помощью какого-то мальчика, мастерили мне велосипед из старых частей, подобранных в развалинах. Моя одежда была похожа на этот велосипед — потертая, залатанная, подштопанная. Мне дали фуражку довоенных времен, большую и плотную,— верх ее свисал, как фригийский колпак. Несмотря на все мои усилия, смятый, поломанный козырек упрямо съезжал на сторону.

И вот я отправился в Реймс, предварительно обняв своих благодетелей. Они мне вдруг показались очень старыми. Я снял серебряную цепочку с образком святого Антуана и хотел подарить им. Они отказались.

— Вам она нужнее.

Я решил поселиться в кварталах, где живет беднота, понимая, что только там могу рассчитывать на помощь в этом городе, забитом немцами.

Я сидел в скромном бистро, подстерегая удачу; тут появились какие-то люди, они расположились возле меня и стали обсуждать свое положение — безработицу и безденежье. У меня было две тысячи франков, которые я аккуратно сложил и засунул в подшивку кальсон. Один из этих людей сказал:

— Мне бы хоть несколько су — я б купил тушеного мяса для малышей.

Тогда я повернулся к ним. Но самый старый не дал мне рта раскрыть.

— Ты что, товарищ, играл Жана Вальжана в «Отверженных»?

Его приятели удивились:

— С чего это ты решил?

— Вы не видели, как он снимал фуражку? Он стал искать козырек — значит, она чужая. Ну ладно, чем тебе помочь? Товарищей нельзя бросать в беде. Прежде всего как у тебя с документами?

Посоветовавшись, они решили дать мне документы и пропуск одного из них, приметы которого совпадали с моими. Я пригласил моих новых друзей пообедать со мной в бистро. Перед тем как встретиться с ними, я купил все необходимое: рубашку, подержанный костюм с френчем у одного старьевщика и великолепную светло-серую мягкую шляпу. Из-за смуглого цвета лица я скорее походил на американского гангстера, чем на джентльмена. Однако же я произвел большое впечатление на моих друзей, которые, увидев меня в таком разномастном наряде, сразу примолкли и смутились; я подумал, что они хотят сообщить мне неприятную новость, и спросил:

— Что случилось?

Самый старый пробормотал:

— Простите нас, мсье, но, знаете, мы привыкли называть друг друга на «ты».

Они представили меня также своим родным. Вместе съели суп и тем ограничились, так как ничего более существенного не было.

— Сыр вчера кончился.

Тогда я попросил их оказать мне последнюю услугу.

— Конечно, для этого мы и встретились.

Я принес печенье. Но к нему не притронулись. Я узнал, что младший сын одного из них лежит в больнице.

— Он любит печенье.

Тогда я развернул плохо перевязанный пакет — в нем было тушеное мясо. Но они и от него отказались.

— Достаточно дружеского рукопожатия.

После долгих отнекиваний они все-таки согласились взять мясо.

— Вы его съедите вместе с нами.

— Не могу, я должен успеть на автобус, который уходит в Париж.

По случаю моих проводов все принарядились. В моем возрасте неловко было показывать, как я взволнован. Я слышал, как они со смехом рассаживаются вокруг дымящегося блюда. Я был счастлив. Прежде чем думать о душе, нужно подумать о хлебе насущном. Мне нравится ад — там всегда есть печь, на которой можно из-

жарить даже самое жесткое мясо. Рай — это словно простокваша. Он хорош для людей, у которых губы стерлись от молитв.

Вот о чем я думал в автобусе, который вез меня в Суассон. Ему приходилось подолгу стоять, так как бомбы Royal Air Force[1] оставили огромные воронки на дороге в Париж. «Если они делают такое друзьям, то о врагах уж и говорить нечего...»

Я постепенно приближался к Одетте.

Ах, этот Суассон, где я бродил, где мне приходилось рыться в мусорных ящиках!

Дни, когда я дрожал от холода, прятался при виде первого встречного, разыгрывал из себя слепого, глухого или немого, исчезал за углом, прикидывался то рантье, то безработным, то праздношатающимся. Меня выручали магазины самообслуживания — я мог копаться на полках, ничего не покупая. И однако, я нахожусь всего в 97 километрах от Парижа. Но моя смелость убывает, я не доверяю порядочным людям, не берусь за работу, которую мне предлагают в селениях, оккупированных немцами: я чую шпика за сто метров.

Я живу на кладбище, в чьем-то заброшенном семейном склепе.

Вечером я прохожу через площадь Сен-Кристоф и двигаюсь дальше, в западную часть города, по дороге, ведущей в Компьень. Меня уже заметили, но сторожу, отчаянному выпивохе, не удается бодрствовать всю ночь. Когда он спит, зарывшись головой в скрещенные на столе руки, я перелезаю через стенку и проникаю во владение мертвых. Только одна дощечка сообщает о героизме погибших в 1914—1918 годах. Затем идут славные покойники мирного времени, раскаявшиеся перед смертью, и несколько непокорившихся даже во время агонии.

Этот склеп без двери — мое единственное убежище. Я сплю на скамеечке для молитвы, и ночь проходит спокойно. Осколки снарядов ПВО падают на дорожки, сбивая фарфоровые цветочки, продырявливая мраморную книгу или царапая крест. Здесь много кошек, даже слишком много.

Одна из них разбудила меня: я занял ее место. Она прыгнула мне на плечо — не могла сделать этого раньше: я ведь подолгу не сплю.

Вчера я услышал голоса. И увидел обнявшуюся молодую пару, которая вроде бы прогуливалась при фантастическом свете луны.

На заре я иду мыться под краном, откуда берут воду для поливки цветов. Вода ледяная. Вчера жгли опавшие листья; мне понравился запах. Нужно поговорить со сторожем. Он живет в высоком доме с остроконечной крышей, похожем на шале. Это он стережет сумки женщин, когда они приходят убирать склепы. Должно быть, он славный малый. Как не выпить с человеком, хозяином таких владений и таких жильцов! Я предложу ему свою помощь. Я умею работать в саду, к тому же я мог бы тогда спать в кровати. Я, должно быть, внушаю страх живым.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Конец сентября. Одетта потеряла всякую надежду. Может быть, Симеон в плену или лежит в госпитале и у него амнезия. Служба Красного Креста заверила ее, что ему ничто не грозит, а в списках умерших или без вести пропавших он не значится. Ей отвечали с улыбкой. Она не могла уехать с детьми из Парижа, опустевшего, как старая скорлупка, которую крысы оставляют в последнюю минуту. Можно было подумать, что произошло стихийное бедствие, землетрясение, заставившее бежать всех жителей. «Лучше уж умереть у себя дома, чем неизвестно где»,— говорила Одетта. Дети теперь и не думали о занятиях: война — самая страшная реформа в области образования. Вместе с приятелями они устраивали велосипедные гонки по Парижу. Можно было не опасаться несчастных случаев, столкновений, брани. Елисейские Поля превратились в прекрасный велотрек. Навстречу ехали танки, грузовики, радостно улыбавшиеся мотоциклисты. Но уже на каждом перекрестке появились первые приметы оккупации: длинные стрелки-указатели. Немцы составили план столицы, старательно раздро-

[1] Королевских воздушных сил *(англ.)*.

били ее на части. Исчезли названия улиц. Они превратились в таинственные обозначения из цифр и букв.

Вокруг некоторых особняков солдаты начали ставить заграждения; пахло восточными сигаретами, плохо выделанной кожей. Солнце перестало греть, голодные кошки и собаки в ошейниках пересекали проспекты. Клодину и Жильбера, решивших перейти улицу, остановили немецкие военные моряки и заставили повернуть обратно. Немцы начинали понемногу ограничивать свободу. Армия уже не стояла в казармах, а размещалась по квартирам.

Надменность была прелюдией к приходу царства силы, недолговечность которого уже ощущалась. Много фотографировали: памятники, дворцы, резиденции дипломатов и сверкавшую, как никогда, Сену, Настоящего Кавалера [1], сады, пышность которых ошеломляла офицеров, вырядившихся в парадную форму. Целая армия прогуливалась на ощупь. А дети Симеона, которым позволяли бегать по городу, наблюдали, как на каштане резвился попугай, вылетевший из какого-то вольера. В сквере у Нотр-Дама, на плакучих кленах, собралась небольшая колония желтых и ярко-красных канареек. Париж — окривевшая столица, скелет в пышных похоронных одеждах, старая реликвия, к которой не осмеливались прикоснуться жадные руки. Солдат он приводил в восхищение: свежие сыры, повсюду фрукты — это сводило их с ума. Хватали все, что подвернется под руку. Стервятник уже парил в воздухе, а жертва была еще робкой и напуганной.

Как-то утром Клодина и Жильбер впервые услышали топот сапог и хриплое, ритмичное пение пехотинцев, которые маршировали с ружьями на плечах. Дети спрятались. Отныне Париж находился уже в руках оккупантов, а не бездельников. У новых регулировщиков уличного движения висело на шее нечто похожее на металлический нагрудник. «Прямо таз для бритья»,— шепнул Жильбер, любитель пофрондировать. Они возвращались домой в битком набитом метро. Под землей было куда больше народа, чем на свежем воздухе. Дети жевали бумагу, чтобы тевтонцы думали, будто они только что купили жевательную резинку. Их мать плакала.

— Что с тобой? Плохие новости?

— Нет. Никаких новостей.

Клодина поцеловала мать.

— Не волнуйся, наш папа из любого дерьма выберется.

— Не смей при мне употреблять такие выражения!

— Я нарочно это сказала. Париж воняет.

Чечевичная похлебка была горькой.

— И подумать только, что за это продали право первородства!

Дети жаловались, что на зубах скрипит песок. Но Одетта не реагировала на их капризы.

— Все еще только начинается. Во время войны чечевицу никто есть не хочет.

Спать легли рано, но завыли сирены: тревога. Пришлось подняться, что-то на себя накинуть.

— А нельзя остаться в кровати?

— Нет.

— Я задыхаюсь внизу от угольной пыли.

— А мне так даже весело! — воскликнул Жильбер.— Встречаешь соседей в пальто, надетом почти на голое тело.

— Любишь ты языком молоть,— заметила Клодина; она причесывалась, пока Одетта искала ключи и сумку с деньгами.

Тревога продолжалась всю ночь. Подвал был большой, сводчатый. Одетта забыла взять еду и термос с горячим кофе. Сердобольные соседи поделились с ними своими припасами.

— Красота, крутые яйца.

Жильбер взял два и разбил о свою голову. Все вокруг улыбались.

— В этом возрасте аппетит волчий.

— А у меня аппетит появляется в полночь,— сказал какой-то старик; у него были полные карманы леденцов.— Однако сейчас не время набивать себе рот.

Одна дама сидела в перчатках, голова у нее была обмотана полотенцем. У Одетты еще оставался мешок картошки из Бретиньи, и теперь она пустила картошку по кругу.

— Она хорошая, не мучнистая.

[1] Так французы называют Генриха IV, статуя которого стоит на Новом мосту.

Атмосфера была приятная, спокойная. И вдруг от выстрелов зениток задрожали стены. Клодина прижалась к матери.

— Мы здесь в безопасности, детка. Англичане не станут сбрасывать бомбы на бывших союзников.

Какая-то пожилая женщина в парике жаловалась, что не может заснуть в духоте.

— Когда я сморкаюсь, у меня темнеет в глазах.

Тогда Одетта закрыла глаза и на мгновение вспомнила мужа. Наверняка уже поседел. Если он не вернется, она сама пойдет его искать. Она стала мечтать о случайной встрече. «Моя интуиция меня не обманывает...» Петен позаботится о том, чтобы их репатриировать. Солдатам не дадут стать бродягами. Она представляла себе, как пограничные барьеры зарастают вьюнком. Заявил же маршал в «Матэн», что Франция должна сложить оружие. Конечно, есть еще де Голль, затерявшийся в британских туманах, но он одинок и невменяем. О нем забудут.

— Вообще-то война ведь окончена!

Это сказала старая дама, вынимая из-за пазухи крошечную собачку. Она заставила ее замолчать. Все умилялись, глядя на белый упрямый комочек, пытавшийся укусить Жильбера за ногу.

— Заткнись, мерзкая шавка!

— Да будет вам известно, молодой человек, что это не шавка. Мне ее подарила сама королева Жеральдина в своем замке Ла-Мэ в Версале. Я назвала ее Дураццо. Ее племянник — не собаки, конечно,— Гуссейн, воспитанник Сен-Сира. Моя собачка — изгнанница.

Утром расстались добрыми друзьями.

— В следующий раз я принесу свежей лососины. Мне ее дает немецкий майор. Очень симпатичный, красивый мужчина. Он охотится только на перепелок и куропаток.

И дама спрятала собачку под пальто, бросив неодобрительный взгляд на Жильбера.

Тогда впервые Одетта стала мечтать о доме в «Грабах», об этой хрупкой постройке, которая должна была служить им убежищем, но теперь требовался блиндаж, а не хрупкий домик, который могло разрушить ненастье или надвигавшееся, как грозовая туча, вражеское нашествие. Одетта давно уже оплакивала дом — воскресные подвиги Симеона стали легендой, в свои права вступала фантазия.

Да, это была причуда ее мужа, химера, зубы которой ржавели, как гвозди.

Может быть, в детстве Симеон строил шалаши, чтобы прятаться от родителей, говоривших с ним только о войне 14-го года, о жестоком разрушении их родного дома вблизи Валансьенна. Его мать Аделаида так горько плакала у обгоревших стен — ведь это же был рай земной. Она повторяла маленькому Симеону: «Это было для тебя, малыш, не для нас. Мы даже приготовили комнату для будущего новорожденного... Мы потеряли первенца, теперь ты был бы полноправным хозяином нашего сокровища, моя лапочка». С той поры Аделаида без конца переезжала с места на место — обычно из-за какого-нибудь пустяка, например, плохо закрывающегося окна... «Я здесь дрожу, стены сырые, а у соседей лица преступников, их сын дурно влияет на Симеона...» И маленькая семья, которую много лет назад постигло горе (Робер умер десяти месяцев от менингита), переезжала в другой квартал, в другой город. Это был как бы беспрерывный исход, в котором участвовал Симеон; он учился то тут, то там, как-то наспех. Он любил влезать на грузовик с рабочими и следить за тем, как грузили вещи. Аделаида постаралась сделать столовую почти такой же, какая была у ее родителей: несколько деревянных поделок, резная мебель с охотничьими мотивами даже на спинках стульев. Ей сделали такой же стол, сервант, буфет, шкаф для посуды и один стул, который она натирала самым лучшим воском. Потом Аделаида разорилась на семейный склеп. Она хотела иметь нечто вроде «хорошенького деревенского домика» на кладбище в Валансьенне. Она следила за его постройкой, жалуясь на медлительность рабочих, велела убрать цоколь и крест, заменив его стелой из гранита, приказала покрыть все слоем черной краски, предохраняющей от ржавчины, сделать желобок для стока воды вдоль узкой дорожки из каменных плит и т. д. Короче говоря, каторжная работа. Когда все было готово, туда с большой помпой перенесли останки их первенца. «Мертвых не убивают»,— говорила она.

Для комнаты Симеона Аделаида заказала художнику рисунок углем их бывшего дома, добавив к нему, будто так и надо, галерею, которой на самом деле никогда не существовало. Потом она ругала незадачливого художника, который забыл выписать

листья на деревьях. «Это чтоб лучше дом был виден...» Он срисовал со старой фотографии это сказочное жилище, где рассеянный архитектор лишь в последнюю минуту вспомнил про лестницу и пристроил снаружи винтовую.

Симеон унаследовал от родителей, изгнанных из рая, ту же одержимость. Им уже так и не удалось обрести свой идеал, который напоминал бы об утраченной обители, утопавшей в жимолости и зверобое, о взмывавшей вверх пальме с мягко поникшей вершиной, о колодце, где вода была такая холодная, что от нее стыли даже змеи и лягушки; родители Симеона использовали его вместо холодильника.

И вот эстафету от Симеона приняла Одетта, унаследовала его мысли, продолжила его мечтания. Она поняла, что грезы надежно связывают ее с мужем и она никогда не потеряет его из виду благодаря этому призрачному дому в Бретиньи: дом был как бы передышкой в пути, остановкой, где она встречала Симеона, снова становилась его женой, любимой и желанной. «Я умру только вместе с ним»,— думала она. Ей необходимы были эти сны, в которых она видела своего далекого мужа целым и невредимым.

Однажды ей привиделось, что «Грабы» поставили на колеса. Четыре ломовых лошади везли этот дом-сад, расцвеченный сказочной весной, и она ехала в этом странном экипаже вместе с домом-пушкой, который мог стрелять смертоносными снарядами. Крикливые ласточки носились вокруг, словно обезумев, а солдаты, несмотря на стрельбу, преследовали их. Тогда она принялась стегать лошадей. Но дом начал уменьшаться, стал крохотным, как на открытках, изображающих игру в гольф. Одетта видела факелы преследователей — от них загоралась шерсть у собак. Она пыталась уйти от погони, свернуть с дороги; она молилась неизвестным святым: «Святой Домик, помолись за нас, Ковчег брака, спаси нас, Приют Марии Магдалины, дай нам мир, Черный Отчий дом Спасителя, дай нам радость, дом Божий, помоги нам». Но убогая постройка от толчков на ухабах превращалась в крошечную лачугу, разрушаясь, как замок из песка под натиском прилива.

Одетта проснулась, сердце ее бешено колотилось; нет, это было не сердце. Кто-то стучал в дверь ее комнаты.

— Это ты, Клодина?

— Нет, это я, Жильбер, я не могу уснуть.

— Считай овец, пока не уснешь.

— Каких овец?

— Тех, которых можно было бы разводить около дома.

— До трех, до четырех?

— Нет, до ста, до тысячи...

— Но там не хватит места...

— Тогда построй, как в детстве, дюжину воздушных замков.

— Ты издеваешься надо мной. Смотри, у меня рука чешется...

Он наклонился было поцеловать мать, но тут же отпрянул.

— У тебя лоб в поту.

— Оставь меня. Пойди займись чем-нибудь — ну, не знаю: складывай, как раньше, домик из кубиков.

Жильбер пожал плечами, потом сказал важно:

— «Всякий мужчина, который любит свой дом, любит свою жену. Помните: если ваш супруг счастлив дома, вы будете счастливой женщиной».

— Откуда ты это взял?

— Последнее задание по французскому. Это написал многоуважаемый Жан Жак Руссо. А дальше стояло: «Прокомментируйте эту фразу из «Эмиля» и приведите примеры». Пока!

И он гордо удалился.

Одетта долго не смыкала глаз, она не любила казаться смешной, даже во сне. Потом началась головная боль. Впрочем, дом в Бретиньи был спасен — это подтвердили ей сны. При свете зари сон стал меркнуть и растаял. От тоски всегда разыгрывается воображение.

— Луизон!

Женщина повернулась на своих высоких деревянных котурнах; должно быть, ей было очень жарко в синем костюме военного покроя с узкой талией и выпиравшей грудью, берет плотно сидел на волосах цвета красного дерева, уложенных по тогдашней моде в виде широкого валика, обрамлявшего лицо.

Было начало октября; глядя на поистине грозовые, темные облака, можно было подумать, что продолжается лето. В воздухе пахло серой, порохом, грубой кожей. Ветру, несмотря на его силу и свежесть, не удавалось прогнать этот всепроникающий запах войны.

Луизон толкала рукой новый велосипед, придерживая на плече ремень сумки, то и дело сползавший вниз.

— Это ты? Здравствуй! Я еле жива. Представляешь, у меня лопнула шина в самом центре Парижа. Однако на мостовой как будто нет гвоздей от сабо.

— А может, это гвоздь от сапога? Что ты поделываешь, Луизон, с тех пор как мы окончили курсы шитья?

— Мне надоело быть билетершей и продавать шоколадное мороженое влюбленным, которые ходят в кино обниматься. А ты? Как тебя тогда прозвали, я забыла?

— Пусетта [1].

— Ах да, Пусетта Синие Руки! Я помню, ты не выносила щипков.

Одетта жадно разглядывала свою приятельницу.

А Луизон, хоть и ворчала, казалось, была довольна жизнью и уверена в себе.

— Подумать только, если б не война...

— Я об этом не думаю, Пусетта. Нас побили, так нам и надо.

— Нет, этого нам не надо.

— Ну-у!

Здесь, на почти безлюдном мосту Согласия, Луизон хотела заставить ее забыть о поражении, о продовольственных карточках, о бесконечных запретах, о тех, кого уже нет.

— Ты замужем, Пусетта?

— Да.

— Что делает твой муж?

Одетта часто боялась говорить правду о Симеоне. Побежденного так легко счесть трусом. К побежденным испытывают неприязнь. Другое дело те, кому достаются деревянные и лотарингские кресты. Голоса, доносившиеся из-за Рейна, раздирали уши. «Радио-Пари» лгало, сопровождая свою ложь мелодиями, полными тоски по родине. Дух нации не так-то просто поднять — это не часы завести. В провинциальных кинотеатрах показывали малютку Пиаф — черное, чуть искривленное пламя, голос слишком сильный для тщедушного тела, руки, взлетающие в свете прожекторов. Тебя словно окутывала довоенная атмосфера. Петен вскидывал подбородок — зеленело его кепи. Он предпочитал, чтобы на почтовых марках его печатали только в профиль. Новое правительство бродило по коридорам и залам больших отелей продажного Виши. Оно отдыхало там после лечения. Так что одним — больная печень, другим — гусиная печенка. Все в нашей стране держалось на ниточке. Поговаривали об армаде, которую Гитлер втихомолку стягивает у меловых скал Этрета. Одетта проводила целые дни в отделениях Красного Креста, она обращалась и к квакерам. Спешно готовили посты подслушивания телефонных разговоров. Гарнизоны, сдавшиеся немцам, кишели пленными. После странной войны — странный мир. И переходя из одного отделения Красного Креста в другое, бедная женщина то погружалась в горькое разочарование, то испытывала безумную надежду. Один гадальщик с помощью своих стенных часов определил, что Симеон находится в Алжире. Одетте выдали талон на несколько пустых консервных банок — а вдруг ей придется посылать ему посылки.

Быстро проехало велотакси, пронеслись военные грузовики с солдатами без гимнастерок. Один из офицеров, жуя персик, помахал рукой Луизон, которая выглядела такой счастливой и раскованной. Она в ответ подняла руку. В Париж вернулась «Эвр»; с немцами завязывали дружбу.

— Вот видишь, меня знают. Немцы — отличные ребята. Мы придерживаемся принципа «взаимной лояльности», как пишет Марсель Дéа. Я работаю у них. Переводчицей. Это помогает моим эльзасским родственникам. Работаю в Службе по правам народов. У моего начальника предки французы. Он играет в теннис, любит, чтобы я была хорошо причесана, дарит мне сигареты «Драма» — знаешь, с соломенным кончиком — и восточные сигареты, я их меняю на чулки. Если я могу быть тебе полезной...— Мимо прошел немецкий моряк, слегка толкнул ее и рассмеялся, а она сделала вид, что споткну-

[1] Женский род от Poucet, что означает «мальчик-с-пальчик».

лась, и громко крикнула: — Guten Tag [1], мсье победитель! — Потом снова повернулась к Одетте, словно экзотическая птица на рогатом насесте.— Пусетта, ты видела его ленту? Совсем как у бретонок.

Луизон прислонилась к парапету моста так, чтобы все могли любоваться ее фигурой, крепкими икрами, высокой грудью.

— Ну ладно, мне пора бежать.

— Ты хочешь бежать из Парижа?

— Да нет же, дурочка!

Наивная Одетта схватила ее за руку, улыбаясь застенчиво, смущенно, почти льстиво. На воде, вокруг таможенного ботика, играли солнечные блики, становилось прохладнее.

— Ты можешь похлопотать для меня?

— За кого?

— За моего Симеона.

— Он террорист?

— Нет. Мой муж пленный, обычный пленный, я в этом уверена...

— От меня ведь ничего не зависит. Вот будет перемирие, их всех вернут на родину.

— Помоги мне отыскать его адрес.

Тут Одетта заговорила напористо: она уже забыла об осторожности. Для нее важен был только Симеон, его возвращение, безумная потребность слышать его голос, видеть, как он двигается, ощущать эту его веру в будущее. Многие считали, что она холодновата со своими детьми; сейчас ей это было безразлично, она могла преодолеть все препятствия, взять в свои руки судьбу мужа и собственную судьбу. Нужно было бороться, пустить в ход все свои достоинства и недостатки.

Луизон посмотрела на свои часики, окаймленные алмазиками,— браслет их крепко сжимал ее широкое крестьянское запястье.

— О-ла-ла, мне влетит, уже поздно. Но я не забуду твоей просьбы. А как теперь твоя фамилия?

— Одетта Перпиньян.

— Пишется, как город?

— Да.

— Сколько у тебя детей?

— Двое.

— Других не предвидится?

— От кого?

В ее голосе прозвучали возмущение и стыд. Луизон смягчилась:

— Я сказала это, чтобы тебя рассмешить. Ну, я с тобой прощаюсь. «Делу время — потехе час», как говорили у нас на курсах... Я не собираюсь заниматься саботажем. Вечером мы допрашиваем лотарингцев, а они не очень-то разговорчивы. Ни рыба ни мясо. У тебя в семье есть евреи?

— Откуда мне знать? Я крещеная, да и венчались мы в церкви.

— Это хорошо. Вот мой адрес: авеню Фош.— Она протянула визитную карточку.— Подожди, я загну угол.

— Кого спросить?

— Меня. Ты увидишь: в моем кабинете всегда цветы. А то от этих типов, что признаются, так пахнет пóтом — просто сил нет.

— Признаются в чем?

— Так ведь есть же и предатели. Некий де Голль был приговорен к смерти — приговорен французами, заметь. Он одержимый. А я заодно с законными властями, Пусетта.

— А если приговорят невиновного?

— И ты в это веришь? В общем, самый красивый кабинет — самый schön — это мой. Цветы все оживляют, все становится более... как бы это сказать?..

— Более невинным.

— Вот-вот, более невинным.

Одетта смотрела на Луизон, уже заразившуюся высокомерием своего начальства,— такую ничем не проймешь. Она не удержалась и спросила:

---

[1] Добрый день *(нем.)*.

— Правда, что у вас пытают?

Луизон, казалось, оторопела, как будто ей задали нелепый вопрос; она теперь уже подозрительно смотрела на бывшую подружку, которая затрагивала такие неподходящие темы.

— Я лично занимаюсь анкетами, а не допросами. Это не мой отдел.

Луизон быстро чмокнула Одетту. Немецкий жандарм в каске орал:

— Schnell, schnell, hübsche Fräulein [1].

— Auf Wiedersehen [2].

Одетта повернула назад. На площади Согласия было множество заграждений, белых барьеров, запрещенных поворотов. Какая-то старушка медленно пробиралась через этот лабиринт с бутылкой молока в руке; за ней, прихрамывая, брела собака. Казалось, старушку не удивляли направленные на нее пулеметы. К тому же ее ведь не останавливали.

Одетта пошла по бульвару Сен-Жермен и стала в очередь у мелочной лавочки: там объявили, что будут продавать обезжиренный камамбер. Для тех, кто все время хотел есть и бегал в аптеку за вогезским сиропом, чтобы подсластить творог, этот сыр был настоящим лакомством. Приготовленное по старинному рецепту коровье вымя на обед не утоляло голода.

Ждать пришлось долго, все молчали. Одетте хотелось забыть о бывшей подруге и переключить свое внимание на длинную очередь — а люди часто становились в очередь, сами не зная зачем, зато здесь всегда можно было услышать новости.

Через час камамбер раскупили. Кончено — fertig, железная штора опустилась, но очередь невозмутимо продолжала стоять. Одетта вернулась к себе в Пятнадцатый округ; более чем когда-либо ею владело желание напасть на след мужа — он-то по крайней мере хоть время от времени наедается досыта, думала она.

Потом ей вдруг представилась страшная картина: Симеон жадно пожирает одуванчики, вырывая их с корнем.

Какой-то прохожий обернулся, потому что она крикнула:

— Хватит!

Одетта несколько раз встречала свою приятельницу Луизон; она даже пригласила ее приехать к ним в Бретиньи после войны.

— Вот увидишь, наш дом — настоящая игрушка.

— А почему не сейчас?

— Он занят. Вот увидишь, какой там хороший воздух.

— Чудесно, я приготовлю тебе говяжий студень — я по этой части большой спец.

— Ладно, мы справим новоселье.

— У вас есть бассейн?

— Нет, но можно принять душ (а как же иначе!).

Они смеялись, как будто вновь обрели молодость, еще недалекую, немного беспорядочную, когда они ходили на курсы шитья. Но этими встречами их дружба теперь и ограничивалась. Одетта потихоньку выращивала в квартире кроликов, но чтобы достать им корм, приходилось ездить к черту на рога. Дети привязались к зверькам — они ели из рук. Убивать их будет трудно.

Однажды вечером Луизон решила пригласить Одетту в кафе и познакомить со своим ухажером — немецким офицером. Как было отказаться от такого приглашения: ведь Луизон действительно старалась узнать, в каком лагере томится Симеон.

— Ты говоришь, он моряк. Надо искать возле Бреста.— И добавила: — Я бы не хотела, чтобы у меня был муж моряк,— это дурной тон.

Одетта промолчала. Самое главное было найти мужа, проследив его путь к месту сбора пленных. Его письма, наверное, затерялись, так как почта работала из рук вон плохо. Да потом у немцев и не было времени сосчитать всех пленных. Одетта слушала английское радио, которое высказывалось по этому поводу скорее пессимистически. Армия распалась — естественно, начинается бегство из ее рядов. Почему же Симеон-то не бежит? Когда он был мальчишкой, он ведь любил хитрить, прятаться, убегать. Его с трудом отыскивали где-нибудь на крыше.

[1] Быстрее, быстрее, хорошенькие барышни *(нем.)*.

[2] До свидания *(нем.)*.

Тусклый вечер в конце сентября; листья едва держатся на деревьях — кажется, малейший ветерок сейчас унесет их. Скоро придет зима, придет сразу, с холодами и снегом. Окончание отпусков ознаменовалось страхом, расстрелами, массовыми истреблениями людей. Куда делись поклонники «Рейна в огнях», так романтически освещенного по ночам? Свет, пробивавшийся из затемненных жилых домов, создавал вокруг Парижа молочное сияние; Париж, город, лишенный спинного хребта, таился в ночи, как покинутая любовница, тщетно ждущая возлюбленного.

— Лучше надень открытое платье, милая Пусетта: не стоит играть в «Двух сироток». Будем есть устрицы. Ты любишь шампанское?

Что ответить на эту чуть притворную сердечность, на эти рискованные советы? Одетта не хотела думать ни о чем.

— Вечером бывает свежо.

— Возьмешь шаль, Пусетта, ее легче сбросить... А у тебя отменные плечи.

— Луизон, ну что ты говоришь!

Чтобы не показаться одинокой мещанкой, которая боится выйти за рамки приличий, Одетте приходилось разыгрывать из себя добродушную, глуповатую женщину, не понимающую намеков и в меру обидчивую.

Одетта достала свое платье — синее с белым, которое не решалась теперь надевать. Целый день она его проветривала, разглаживала складки, крахмалила белый воротник. Одетта похудела, платье сидело на ней свободно. Чего бы она не сделала для Симеона! Динко был забыт. Она охладела к нему не потому, что втайне на него сердилась. Просто она снова стала верной супругой, совестливой, постоянной, Пенелопой, которая умела ждать и которая не запятнала бы теперь себя изменой. Одетта спросила у Луизон:

— «Кафе де Пари» — это хоть не бордель?

— Ну, Пусетта, тогда там были бы комнаты.

Одетта уговаривала себя, что сейчас она как бы на службе и должна подчиняться — вот и все; она готовилась к деловому обеду.

Успокоившись на этот счет, Одетта направилась к метро; несмотря на пальто строгого покроя, под которым было скрыто платье, она ловила на себе косые взгляды. Она лишь чуть-чуть намазала губы и слегка нарумянилась, но ей пришлось все-таки провести рукой по щекам, чтобы цвет лица стал более естественным. Она слишком рано пришла на террасу «Кафе де Пари». Там сидело лишь несколько нарочито громко разговаривавших офицеров, да ворковали барышни с по-летнему обнаженными шеями. То и дело слышалось: «Guten Abend» [1].

— Ты уходишь? — удивленно спросила Клодина, когда Одетта направилась к двери.

— Я бы с удовольствием отправила тебя в «Кафе де Пари»... Я иду туда не для удовольствия.— Помолчав, она поцеловала дочь и прошептала: — Твой отец будет доволен. По крайней мере я смогу сказать, что все испробовала...

Тут Жильбер, как всегда растрепанный, воскликнул:

— Ты теперь решила завести шашни с бошами?

Он уже вырос из того возраста, когда можно было дать ему оплеуху. Если не помешает война, через два года он будет сдавать экзамен на аттестат зрелости.

— Не всегда делаешь то, что хочешь, малыш.

— Но ты сотрудничаешь с бошами?

Его настырность рассердила ее.

— Если я иду в «Кафе де Пари», то, во-первых, это вас не касается. Во-вторых, это единственное место, где я могу получить адрес вашего отца. В-третьих...

Но «в-третьих» не последовало, потому что Одетта, боясь расплакаться, исчезла на улице — она как тень скользнула вдоль стен, мимо дверей закрытых магазинов и спустилась в метро через первый попавшийся вход.

На бульваре уже не гуляли так, как до войны. Теперь там не фланировали, а маршировали. Офицеры в парадной форме, расхаживавшие группами, оборачивались и бросали оценивающий взгляд на ноги Одетты, которые она подобрала под столик; она вся съежилась, стала некрасивой и не знала, куда деваться,— так упорно на нее глазели. Она заказала «Бирр» с сельтерской — вполне приличный заказ. Официант, потрепанный блондин, как-то странно посмотрел на нее.

— Вы кого-нибудь ждете?

— Да.

[1] Добрый вечер *(нем.)*.

— Здесь места для представителей оккупационных войск. Если только вы не...

Но тут возле кафе остановилась машина: Одетта была спасена. Из нее вышли Луизон и ее начальник. Она только что причесалась у парикмахера, на плечи ее был небрежно наброшен меховой палантин.

— Вот Пусетта, а это майор фон Капра.

Майор фон Капра щелкнул каблуками, поклонился. Ну и голова же у него! Словно крутое яйцо в скорлупе, сиявшей, отражая золотые галуны на воротнике его мундира; уши огромные, на руках рыжая шерсть, правый глаз неподвижен (он носил монокль). Он поцеловал Одетте руку, она тотчас же ее отдернула: уж слишком слюнявый был рот. Он держался неестественно прямо; длинная шинель с хлястиком, офицерская фуражка с приподнятыми, как крыша пагоды, краями придавала ему вид автомата со сломанной пружиной.

— Мое почтение, мадемуазель Пусетта. Мадемуазель Луизон, моя преданная секретарша, много говорила мне о вас; она очень практичная дама. Schön Kleid! [1]

— Видишь, как он хорошо говорит по-французски. С ним никто не обратит на нас внимания.

Одетта впервые видела Луизон в таком блеске, правда, духи ее еще оставляли желать лучшего — одеколон с амброй. Она положила свои бархатные перчатки поверх перчаток офицера. Тяжелое золотое кольцо, которое она то и дело поворачивала на пальце, чтобы показать игру камня (бриллиантик был пока еще маленький), придавало ей вид разбогатевшей проститутки; в этом была ее, пусть нескромная, прелесть.

— Ах, мадемуазель Пусетта, Париж, Париж! Прогулка, я люблю Nacht und Nebel [2] и Париж gleichsam [3].

Скованности Одетты как не бывало; к тому же она не узнавала себя под кличкой «Пусетта» — это была какая-то другая, более легкомысленная женщина. Спиртное подбодрило ее; она уже начала оттаивать.

— Вам удалось узнать, где находится Симеон?

— Кто это Симеон? — спросил офицер.

— Законный муж Пусетты.

Улыбаясь (зубы у него были вставные), фон Капра прошептал:

— Зовите меня Людвиг.

И громко расхохотался, так что даже в больном глазу немного заблестело. От него пахло русской кожей.

— Ну, что будем лопать? — воскликнула Луизон, более земная, чем когда-либо.

— Будем лопать,— подхватил Людвиг фон Капра.— Вы hunger [4]...

Вдруг Одетта увидела нечто такое, что заставило ее оцепенеть.

Перед их столом взад и вперед расхаживали Клодина и Жильбер, одетый под моряка (на нем была тельняшка отца). Должно быть, дети пришли, чтобы увести ее отсюда. Она опустила голову, пытаясь спрятать лицо, но ребята остановились перед их столиком, а в это время майор спрашивал у своих сотрапезниц:

— Gut Austern [5], барышни, не правда ли?

Дети смотрели на свою мать, на ее легкое, уже смявшееся платье.

— Так, значит, мадемуазель Пусетта, мы тревожимся? Liebe, ах, Liebe [6].

Вдруг она с ужасом почувствовала, что чья-то рука, напряженная от желания, обнимает ее за талию. Она отодвинулась и прошептала:

— Вы позволите? Здесь мои друзья, мои племянники...

Раздался дребезжащий смех фон Капра и озорной смех Луизон; Одетта не слышала, как подруга крикнула ей:

— Пусетта! У нас уже есть почтовый адрес твоего мужа, его матрикул. Мы постарались. Майор добрый...

Одетта схватила за руки Клодину и Жильбера, и они пустились бежать подальше от этого злополучного места; по лицу ее текли слезы.

Вернувшись домой, она бросилась в кресло Симеона. Теперь она рыдала и, словно пылкая испанка, целовала подлокотники кресла. Клодина принесла ей носовой платок.

---

[1] Красивое платье! *(нем.)*
[2] Ночь и туман *(нем.)*.
[3] Тоже *(нем.)*.
[4] Голодны *(нем.)*.
[5] Хорошие устрицы *(нем.)*.
[6] Любовь *(нем.)*.

Она подняла голову — лицо у нее покраснело, пудра, румяна, краска для ресниц полосами растеклись по нему.

— У тебя седые волосы, мама.

— Просто здесь плохое освещение.

— А как же папа?

Она действительно так быстро покинула своих собутыльников — не надо было так спешить. У Людвига фон Капра кожа, наверное, розовеет, когда его внезапно охватывает желание, а руки, должно быть, потеют. На что он рассчитывал? Это свидание было устроено с одной лишь целью — оно должно было закончиться в отдельном кабинете, скрытом за элегантным и строгим «Кафе де Пари», а тело ее стать всего лишь средством, способствующим пищеварению.

— Мне никогда не найти папу. Его убили, расстреляли...

— Он ведь хитрый,— возразил Жильбер, натягивая на себя обычную клетчатую рубашку.

Одетта смотрела на эти еще детские, смущенные лица, склонившиеся над ней.

— Жильбер, ты становишься совсем рыжим.

— А я?

— Ты тоже, но для девочки это не так красиво.

Потом она обстоятельно объяснила им цель недавнего свидания, как будто хотела, чтобы они простили ее за слишком поспешное решение воспользоваться своей свободой. Ей стало легче, она успокоилась.

— Я бы так хотела, чтобы мы когда-нибудь поселились в своем доме.

Клодина подошла и прижалась к матери, явно намереваясь сесть к ней на колени.

— Ты слишком тяжелая, моя дорогая.

Они выпили по последнему глотку анисовой настойки, еще остававшейся в баре. Одетта умолкла, но теперь она знала, что ей делать.

— Теперь я буду действовать быстро и уже одна.

Легли спать очень поздно: слушали английское радио, которое все больше глушили. Черчилль говорил: «Франция — как цыпленок: одни хотят ножку, другие крылышко. Спите спокойно, завтра настанет новый день...»

Они заснули и проспали спокойно: воздушной тревоги не было. Одетта спала, наполовину сбросив с себя одеяло.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Краткое описание путешествия Одетты в ноябре 1940 года

Я многое узнала от одного железнодорожника. Немцы собрали всех своих новых пленных и оставили их заживо гнить во рвах крепости Лан. Так как события развивались быстрее, чем они ожидали, им пришлось освободить железнодорожников, которые могли быть полезны при организации передвижения их войск. Симеон передал мне записку с одним из них. Какая это была радость получить от него весточку! Но на глазах у меня выступили слезы: до чего же бессмысленно его заключение, его страдания, безделье. на которое его обрекли немецкие офицеры, не знавшие, что делать с этими обломками французской армии, еще носившими форму.

Наконец-то у меня появилась цель, надежда. Действовать надо было быстро: ведь Симеон мог заболеть и погибнуть. Я думала только о том, как увидеть его снова и, если можно, устроить ему побег. Через своего приятеля аптекаря, который связан с комендатурой, я смогла получить разрешение на поездку до Суассона, границы запретной зоны. Путешествие было долгое, изматывающее; я рассказывала всем, что мои дедушка и бабушка погибли от бомбы, сброшенной англичанами. Я надела черную вуаль, которая выручала меня в особо серьезных случаях, например, когда в вагоне у нас требовали Ausweis[1]. Меня жалели и пропускали.

Несколько дней спустя я приехала в Суассон. К местной комендатуре никого не подпускали. Оставалось только бродить по главным улицам, полным немецких солдат: улице Конгрегации, Торговой улице, улице Коллежа, улице Святого Христофора и т. д. Я укрылась в соборе Сен-Жан-де-Винь — мне захотелось вдруг помолиться, попросить о помощи и покровительстве. Деньги у меня кончались — ела я только раз в день. Пе-

[1] Пропуск *(нем.)*.

ред самым закрытием рынка мне удавалось купить несколько кислых, вялых яблок, которые я съедала с наслаждением. Потом я возвращалась к комендатуре. Однажды, когда я сидела на скамье, мимо прошел немецкий офицер, высокий, исполненный чувства собственного достоинства, похожий на военного священника. Я подошла к нему. Он говорил по-французски.

У него были очень черные глаза. Мне показалось, что к нему можно обратиться.

— Можете ли вы мне обещать, что, если то, что я вам скажу, способно лишь навредить мне, вы об этом забудете?

Он кивнул.

— Я ищу своего мужа. Я актриса. Наш театр сгорел. Мы вместе играли в одной пьесе Гёте.

Я рассказала ему, почему я здесь и в какой я растерянности: у меня нет пропуска, тогда как цель совсем рядом.

— У моего мужа больное сердце. У него бывают неожиданные приступы. Он задыхается.

— Подождите меня здесь.

Через некоторое время он вернулся за мной и отвел к коменданту. Тот был любезен, тоже говорил по-французски (он прежде читал лекции в Страсбургском университете). Он сказал, что был в плену в 1917 году (его волосы едва начали седеть) и сохранил трогательное воспоминание о том, как хорошо с ним обращались. И поэтому он счастлив в свою очередь оказать услугу артистке. Извинившись, он добавил, что вынужден написать в пропуске не то, что есть, а именно: что я возвращаюсь к семье, живущей в Лане, так как мой муж «пал на поле боя». Оба они были австрийцы. С этой выданной мне бумагой я могла даже пользоваться средствами передвижения, предназначенными для военных. Я поблагодарила их. Они улыбнулись и показали мне на небо; я не поняла их.

Разумеется, я не посмела остановить военную машину. Но вдруг ко мне подъехал автомобиль; в нем сидел офицер, который провел меня в комендатуру. Он сказал мне:

— Ich bin Schutzengel. Я ваш ангел-хранитель. Садитесь! Я ведаю сектором в Лане.

Он высадил меня у ворот крепости, у контрольного поста. Велел часовому вызвать пленного Симеона Перпиньяна. Сердце у меня билось. Ко мне подбежал какой-то человек. Симеон, но не Перпиньян, а Перпиньяль. Я разрыдалась, тогда он объяснил мне, что его тезка получил наряд и куда-то уехал. Я отдала ему все, что у меня осталось из продуктов. Опять я была одна во враждебном стане; я совсем растерялась. Села на низенькую стену, шедшую вдоль крепостного рва. Вдруг раздался чей-то голос. Это был денщик ангела-хранителя, которого тот послал узнать, как мои дела. Он объяснил, что здесь мне оставаться нельзя. Он отвел меня в школу и сказал, что утром придет за мной. Я легла на школьную скамью. В классе стоял приятный запах мела и чернил — этот запах меня успокаивал. Назавтра офицер предложил мне в течение трех дней объехать вместе с ним все рабочие бригады его сектора — все оказалось тщетно. Он силой заставлял меня есть. Я спотыкалась от усталости. Но он и в самом деле был моим ангелом-хранителем: поддерживал меня под руку, подталкивал к пленным, отвозил меня на фермы, где я могла бы переночевать и набраться сил для следующего дня. Наверное, мы выглядели странно: немецкий офицер, поддерживающий измученную женщину. Другие офицеры подмигивали ему. Нас принимали за супружескую пару, которая попала под бомбежку и так и не пришла в себя. Нас всюду встречали почтительно. Думали, что я потеряла память. Хотели меня лечить, но тут офицер решительно вмешивался. Однако я чувствовала, что он уже начинает уставать. Наконец он ласково расстался со мной, оставив у меня на плечах свою шинель, потому что шел снег. Грузовик, полный немецких солдат, остановился, чтобы забрать его. Он долго смотрел на меня, словно понимая, что я сказала ему неправду. Может быть, он принимал меня за помешанную, чье сознание все более затуманивается, за мифоманку, чьи вымыслы противоречат действительности.

Я решила отказаться от поисков в этом секторе, поехать в Реймс и попытать счастья в тех краях. Во второй раз я вернулась в Суассон. Была ночь, сеял мелкий, противный дождь. Все те же улицы, те же шаркающие сапогами праздные солдаты, полицейские в штатском — их шаги я слышала за собой.

Я укрылась в маленьком кафе, оно же — автобусный вокзал Париж — Реймс. Казалось, этот мрачный ноябрь никогда не кончится; во рту у меня было горько. Я спросила, где туалеты, чтобы хоть немного помыться, и испугалась своего отражения в зерка-

ле. Чтобы остаться незамеченной, я села в глубине зала и сделала вид, что читаю газету, валявшуюся на столе, когда чья-то рука тронула меня за плечо. Кто-то шепнул мне:

— Не показывай вида, что ты удивилась.

Это был Симеон; он решил бежать из Суассона, не в силах дольше оставаться в этом «месте вдохновения». Он поссорился с охранником, который в пьяном виде грозился убить его. Симеон прятался уже несколько дней в случайных убежищах, боясь доносов.

Мы втиснулись в переполненный автобус. Я устроилась у мужа на коленях, что, видимо, шокировало нашу соседку, которая предложила мне было сесть на чемодан.

Нас ждал Париж.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Вот уже больше трех месяцев Симеон неподвижно сидел в своем кресле. Вначале все считали естественными его праздность и охватившее его оцепенение, но проходили дни, и Одетта все больше начинала тревожиться. Она была беременна.

— Нужно тебе зайти к твоим бывшим хозяевам; нанеси им визит, это будет неплохо.

Но он продолжал молчать, словно погруженный в сон; настоящее для него словно не существовало. Он не обращал внимания на то, что его дети ходят в школу, когда им вздумается. И на то, что его жена, несмотря на свое положение, стоит в очередях. Он не замечал ни войны, ни оккупации, ни первых заложников.

— Ты мог бы по крайней мере выкрасить кухню.

— А где я возьму краску?

— У меня есть талон.

Одетта старалась не сидеть без дела и, однако же, вертелась вокруг него, как пчела, потерявшая свою ношу. Она варила целые кастрюли брюквы.

Однажды она попросила прислать ей с фермы курицу, но когда открыли посылку, оказалось, что обещанная курица превратилась в жареную телятину. Она смеялась от души, а он рассердился. Она стирала, штопала, делала воск из старых граммофонных пластинок, которыми они наслаждались во время своего медового месяца. Исчез Фрегель; Берта Сильвия, Мари Дюба, растопившись, превратились в отвратительную черную жидкость, которая потом застыла и образовала темную клейкую массу.

— Симеон, я хотела бы, чтобы ты мне ответил.

Симеон откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и свесил с подлокотников руки.

— Я не могу больше работать.

— На что же мы будем жить?

— Сперва надо получить обратно наш дом.

— Он занят. Должна тебе признаться, я его видела. Он стал больше, чем был. Они надстроили его — добавили этаж. Облицевали бетонными плитами.

— Но это же мой дом. Я запрещаю...

Симеон встал, вне себя от бешенства, посмотрел на Одетту — та со слезами на глазах пыталась успокоить своего разъяренного супруга: она не узнавала его. Что он, с ума сошел? А как же она? Он словно скрывал какую-то тайну, которой не мог поделиться с ней.

— Сходи сначала к своим хозяевам. Начни опять работать. Все эти расчеты — тебе же так это нравилось. Вернись туда!

Симеон, не говоря ни слова, вышел из комнаты, сбросил свой старый жилет который он во многих местах прожег трубкой, снял с головы платок, надел почти новый перелицованный костюм и потребовал крем, чтобы почистить сапоги. Он что-то насвистывал.

— Ты права.— Он пылко обнял Одетту и стал осыпать ее поцелуями.— Права, как всегда.

Но Одетта не отставала от мужа:

— Бумаги твои у тебя?

— Фальшивые?

— Да, фальшивые. Пусть знают, что ты демобилизован, что у тебя есть разрешение, что ты здесь живешь на законных основаниях.

В сущности, чего она волнуется? У мужа опять появился вкус к работе. Все теперь начнется сначала. Скоро родится ребенок — сейчас она сама служит ему убежищем. Оно такое хрупкое, влажное, теплое и обволакивающее, это закрытое пространство ее тела, эта нежная округлость, из-за которой ей приходится ходить выпрямившись. Она тоже строила дом, и когда дверь откроется, из нее хлынет жизнь, которая поглотит ее всю, впитает до конца. Ее живот — это ее владение, сладкое, неприступное.

...И Симеон снова начал работать; его мило встретили, охотно взяли на службу — ведь он же был их лучший бухгалтер. Он работал быстро. Все для него было легко, ясно. Никакая ошибка не сбивала его с толку. Он не отказывался ни от какой дополнительной работы. Он грезил цифрами. Какая-нибудь десятка не давала ему покоя всю ночь, из-за какой-нибудь сотни он не мог глаз сомкнуть. Одним взглядом он обнаруживал ошибку в таблице.

Немцы выжимали Париж как лимон — до предела. Парижане отворачивались от этих «гордых гигантов». Одетта купила парафинового масла, чтобы жарить на нем картошку,— после этого все заболели. Клодина и Жильбер все время недоедали. Это сказывалось на их учении. Каждую субботу Симеон приносил из столовки мешок с продуктами или лекарствами. Он менял аспирин на носки или на какао для детей.

— Симеон, ты должен пойти к доктору, ты кашляешь...

Жильбер присвоил себе старое пальто отца, а тот обменял набор медных кастрюль на куртку. Зима ожидалась суровая.

Масло и варенье оставляли для Одетты: она тоже всегда хотела есть — их ведь было двое. Она становилась капризной, рассеянной; хозяйство вела теперь Клодина. Поговаривали, что где-то между Кале и Дувром погибла целая немецкая армия. Жильбер придумывал невинные игры. После битвы под Тарентo итальянцам пришлось поджать хвост, а Жильбер, проходя мимо этих хвастунов, громко считал: «Тарант, тарант и один, тарант и два» и т. д.[1] Отец одобрял его.

Зима все не кончалась. Распускали и перевязывали свитеры, Париж начинал зеленеть, но прошло много времени, пока раскрылись почки каштанов и показались сморщенные листочки, словно гусеницы из коконов. Хлеб пожелтел: в муку добавляли кукурузу и молотые индейские каштаны. Времена года не спешили сменять друг друга. Еда была однообразная: сушеные овощи, пряные соусы, открытые пироги с помидорами. Люди разучились наслаждаться едой. Тарелки опустошались словно с сожалением. Настало время нелегальной торговли, обмена, тайных сборищ. Жильбер потихоньку перепродавал уже побывавшую в употреблении жевательную резинку. Ступни деформировались, идеи тоже. Необходимость подчиняться тяготила — так же, как и всевозможные ограничения. Спрятавшись под одеялом, слушали лондонское радио: надежда плыла по бурному морю, подвергаясь сильной качке. В полночь наступал комендантский час; патрули, короткие приказания, какая-то перестрелка вдали, но не там, где кутила немецкая армия. Говорили: «Чем гибче будет демаркационная линия, тем легче будет нашим спинам...» Одетта купила партию деревянных торцов, чтобы топить ими печь,— на них были следы смолы, отчего они давали больше тепла. Вся Европа дрожала от холода — и не только от холода. Холодно было человеческим душам. А магазины опустошались: немецкие офицеры и солдаты не ко времени покупали «сувениры» из старого Парижа.

Одетта умела выгодно обменять все что угодно. Так как детям уже не нравилась рыба, пойманная в пригородах, с бледными жабрами, с мертвыми глазами, Одетта обменяла свой кусок ската на жир. Скоро вместо денег будут раковины.

Симеон держался тихо и скромно. Он пресекал фамильярности, воздерживался от доверительных разговоров: «Вот увидите, мы заключим союз с немцами и нападем на русских...» На склады фармацевтических лабораторий приходили офицеры, проверяя использование содержимого бутылей, результаты опытов. Они жалели мышей, подчеркнуто ухаживали за лаборантками, склонившимися над своими трубками и пробирками. Офицеры оставались при своих стараниях и при своих цветах. Один букет еще не делает весны.

Симеон поздно возвращался домой, по воскресеньям почти всегда отсутствовал. Куда он ходил? Он отвечал, что любит поспорить за рюмкой вина. Одетта не возражала.

Она была всецело поглощена своей беременностью. Симеон неожиданно врывался

---

[1] Название «Тарентo» созвучно французскому слову «трант» (тридцать).

в дом, ел стоя, опять уходил, возвращался потихоньку, как кот. Однажды он сказал Одетте:

— Как тебе нравятся эти банки? Не хотят разменять мне пятьдесят тысяч франков.

— Откуда у тебя такая сумма?

Симеон смешался, солгал:

— Это для хозяина.

Однажды вечером, когда Одетта отдыхала, лежа на кровати, Симеон подошел к жене.

— Когда ты перестанешь носить черные очки, даже дома? И эти смешные усы?

— Они фальшивые, старушка.

И он снял их; это было совсем не забавно.

— Милый, оказывается, осталось всего три или четыре месяца. Доктор сказал вполне определенно. Ребенок лежит правильно.

Симеон молча принял эту приятную новость. У него будет ребенок, родившийся во время войны, луч света, прекрасный ответ на оккупацию. Жизнь продолжается — по крайней мере мы не перестали рожать детей.

— Ну что же ты молчишь?

Симеон положил горячую руку на живот жены. Потом включил радиоприемник.

— Что ты хочешь услышать? Ничего нового не скажут. Я не хочу, чтобы глушили первый крик моего ребенка. Сегодня не хочу. Что передают сегодня?

— Через пять минут «Свободная Франция» скажет: «Нужно заново строить дом...»

— Что это значит?

Симеон отодвинулся от жены, сел на край кровати. Он смотрел на часы у себя на руке.

— Тише. Осталось всего две минуты!

Одетта нервно рассмеялась. Это был глупый смех, но она все никак не могла остановиться.

— Тебе это приснилось, бедный счетоводик.

— Замолчи.

И вдруг гнусавый далекий голос произнес:

— Нужно заново строить дом.

Одетта выпрямилась, вдруг побледнев, осунувшись; руки у нее дрожали.

— Симеон, ты что-то от меня скрываешь.

— Одетта, поклянись нашим ребенком, что ты не ударишься в панику.

— А что такое?

— Товарищи из нашей организации привлекли меня к работе.

— Какой?

— А ты не понимаешь? Я занимаюсь шпионажем. По воскресеньям я хожу не в бистро и не пожрать. Мы собираемся, обсуждаем...

— Ты — шпион? А я в таком положении?

Она качала головой, слезы выступили у нее на глазах.

— Разве ты и так недостаточно сделал?

— Пойми меня.— Он наклонился к ней, взял ее руки, но она отняла их.— Тебе холодно.

— Нет.

— Я пойду растоплю печь.

— Нет, говори! Я хочу знать все.

И тут он заговорил — медленно, бесстрастно, спокойно:

— Я согласился, потому что у меня была своя мысль. Почему бы не попытаться проникнуть в дом в Бретиньи? Самое простое было взяться за любое задание, из-за которого мне пришлось бы поехать в «Грабы». Нам потребовался кусок одного редкого металла, сплавы которого исследует немецкая авиация. Поэтому мне надо было войти в контакт с бошами, проникнуть на их базу. Я это и сделал.

— Ты убивал?

— Нет. Пока еще нет. Я поехал в Бретиньи — околачивался в разных кафе, завязывал там знакомства. Хвалил их за то, что они вежливы, но тверды. Хлопал по плечу. Смог попасть на их аэродром. Вот уже четыре месяца, как я не хожу в контору, я подметаю у них, я научился складывать парашюты. Издали я видел наш дом. Подлецы! Это теперь бункер. Он стал фальшивым домом. Понимаешь, он превратился в огромный

дот. На нем нарисованы ставни, балконы, окна — словом, это фальшивый дом, словно упаковка, а внутри пулеметное гнездо и зенитки... Дот, ты понимаешь?

Одетта с ужасом смотрела на Симеона, который как помешанный ходил взад и вперед возле кровати.

— Перестань, у меня голова кружится.

Но Симеон взял жену за руки, встряхнул ее.

— Ты делаешь детей — это все, что ты умеешь делать.

— Пусти меня, *нам* больно.

По радио снова прозвучала фраза «Нужно заново строить дом» — словно в ней заключалось некое важное сообщение.

— Ты слышишь?

— Отпусти меня!

— Это значит, что я должен повторить попытку. Они не удовлетворены куском металла, который я им послал. Все они ослы. Ничего не понимают. Ведь если я опять отправлюсь туда, меня сцапают.

— Не езди туда, ради меня!

— Нет. Они испакостили наш дом; немцы должны дорого заплатить за это.

Неделю спустя, в четыре часа утра, Симеон был арестован гестапо и французскими полицейскими. Одетта взвыла. Один из полицейских в штатском сказал ей:

— Вам его вернут. Это всего лишь для проверки.

У Симеона был яд в пузырьке. но он забыл его в конторе.

Они обыскивали долго, торопливо, разбрасывая вещи как попало; квартирка была совершенно разорена. Клодина и Жильбер стояли босиком. Когда открыли шкафчик Клодины, она возмутилась:

— Здесь старые куклы.

Им отвинтили головы, вспороли животы. Одетта причитала:

— Оставьте нас в покое, мы ничего не сделали. Мы же ваши друзья.

Симеон молчал. Курить ему не разрешали.

Полицейский в штатском нашел в футляре для зонтика старые планы дома в Бретиньи.

— А это что, мсье?

Как тут рассказать, объяснить свои прежние намерения? 1938 год был далеко, и вот теперь эскизы этого домишки могли погубить Симеона.

Одетта упала на колени и, призвав на помощь все свое красноречие, умоляла о прощении.

— Я скоро стану матерью. Позвольте мне сказать вам...

Ее заставили замолчать.

— Мадам, ведите себя пристойно.

Чертежи дома гестаповцы аккуратно спрятали в картонный чемодан. Они доставят начальству доказательства преступных умыслов Симеона. И как объяснить им то, что казалось таким простым? Это был план его мечты, набросок рая. превратившийся в обвинение. Симеона повели в машину, стоявшую у дверей. Он не хотел смотреть ни на Одетту, ни на Клодину, ни на Жильбера, который от волнения хрустел пальцами.

На следующий день у Одетты произошел выкидыш.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Я снова встретил Симеона в тюрьме Френ, он сидел подо мной в камере, этажом ниже. Приближалась весна, но я ничего не видел, так как мое окно с матовыми стеклами было наглухо закрыто. Чувствовалось, что на дворе апрель: взгляд моего старого тюремщика посветлел, и он иногда по воскресеньям стал приносить мне полевые цветы. Вместо того чтобы развеселиться при виде их, я еще больше загрустил. У меня пропало ощущение времени. Симеон первый заговорил со мной через канализационную трубу. Сначала он стучал по стене, но я не понимал азбуки Морзе. Потом, на следующий день, я услышал что-то наподобие кашля в трубах, какое-то ворчание. Я понял, что это вновь прибывший. Мы увиделись в ду́ше; у меня создалось впечатление что он был существом — как бы это сказать? — солнечным Взгляд его светился, когда текла вода, он широко улыбался. Борода у него была рыжая с проседью.

— Это ты? — шепнул он мне.

— Да, твой сосед.

— Черный рынок?

— Нет.

— До вечера!

А вечером я услышал его вопли: он кричал, обращаясь к уголовникам, сидевшим в здании напротив, назвал им свой адрес, фамилию, имя жены и просил передать ей: «Одетта, на тебя вся надежда. Здесь какая-то ошибка. Я чувствую себя хорошо...»

Уголовники смеялись над этим голосом без лица, требовали денег за передачу посланий Ведь вообще-то это дело адвокатов.

Вечером, после того как прошли тюремщики в туфлях на мягком ходу (заключенные третьего этажа по очереди насвистывали «Маленький кораблик», оповещая об их приближении), я смог поговорить с ним. Он спросил, нет ли у меня карандаша, получаю ли я посылки. Чувствовал он себя неважно и, однако же, был счастлив в своей одиночной камере, как цыпленок в скорлупе яйца. Он рассказал мне историю своего пребывания в плену, из которой я ничего не понял. Я просил его не кончать жизнь самоубийством. Один из наших наглотался гвоздей. Симеон засмеялся. Вот отрывок нашего разговора:

— Если тебя отпустят раньше, сообщи моей семье.

— Тебя уже судили?

— Нет еще.

— Допрашивали?

— Да. У меня болели зубы; была завязана голова; они не посмели меня бить.

— Ты живешь в Париже?

— Да, но у меня есть дом, который я сам построил, только его реквизировали. После войны я брошу работу. Буду лежать и читать.

— А как твоя жена?

— Ничего о ней не знаю.

— Есть дети?

— Да. Самому маленькому, должно быть, месяц.

— Мальчик или девочка?

— Не знаю.

— Ты слышал, что некоторых увозят в Германию?

— Да. Мой тюремщик отдал мне груши, которые один парень, уезжая, оставил в камере. А много народу расстреливают?

— Немало.

— У меня есть золотой зуб. Он дорого стоит?

— Здесь — вряд ли.

В общем, это был не предназначенный для чужих ушей короткий диалог. Он помогал скрасить одиночество и скуку. Кроме того, мы боялись доносов.

Я помню ту ночь, когда около четырех часов утра полиция пришла отбирать заложников. Я сделал вид, что сплю, словно сон мог спасти меня от этой беды. Но я слышал гортанные голоса, которые орали: «Быстрее, мсье, пошевеливайтесь, быстрее...» Двери камер с грохотом отворялись, я не мог угадать, на каком этаже. Я боялся за себя и за Симеона, который как-то связывал меня с жизнью. Этот «отбор» продолжался долго. Последнюю дверь отворили в камере рядом с моей. Потом наступила тишина, восхитительная тишина. Мне стало легче, я был горд, что еще живу. Я подождал немного. Потом позвал его:

— Ты здесь?

— Да.

— Пронесло.

— Да.

— Ты боялся?

— Да.

— Если тебя будут отправлять в Германию на сельскохозяйственные работы, скажи, что ты знаешь в этом толк.

— Ладно, вот если бы нас вместе отправили туда... Потом можно будет бежать к русским...

— Ты с ума сошел.

— А что? Пробраться на передний край, а там побежал, подняв руки вверх,— вот и все.

Я понимал, что он весь во власти своих странных, безумных мечтаний. Ему уже представлялись чудеса, побег, как он мчится через рейх к нейтральным странам. Он добавил:

— Всегда можно найти покинутый дом.

Однажды утром, в понедельник, я услышал, что кто-то воет в коридоре. Я подумал, что это он. Спешно прибежали тюремщики. Был полдень, время раздачи супа; голос был какой-то другой, более серьезный, более певучий.

— Если я приговорен к смерти, это вовсе не значит, что я должен умирать с голоду!

Он еще долго жаловался. Я прильнул к двери: с суда возвращалась группа людей. Я почти успокоился. Я понимал, что начальство как бы «забыло» о существовании Симеона. Никакого приговора ему не вынесут.

Однажды утром Симеон мне не ответил; я встревожился. После супа я стал вызывать его снова. На этот раз он отозвался:

— Я выходил из камеры, мне там не понравилось.

— Где?

— Да в этой камере без крыши, где трава и собаки.

— Тебя выводили на прогулку?

— Да. Но не одного. Был еще старик, с которым я прошагал немного.

— Стукач?

— Нет, приговоренный к смерти. Дворянин из Фонтенбло. На него донесли. Он все время извинялся за свой вид.

— О чем вы говорили?

— Обо всем. Он любит Золя и Моцарта. А потом...

— А потом?

— Мы расстались, он улыбнулся и сказал мне: «Не думаю, чтобы мы еще когда-нибудь увиделись, но мы провели вместе несколько приятных минут». Отличный малый!

— Сообщи мне, если тебя будут увозить.

— Как?

— Стукни три раза в стенку.

Несколько дней спустя нас в наручниках посадили на Восточном вокзале в поезд. Никто не обращал на нас внимания. Скопище несчастных людей с лихорадочно блестевшими глазами, мы, наверное, были похожи на бездомных бродяг. Симеон шепнул мне:

— Жаль, что нас никто не видит.

Мы ехали в Трир в товарном вагоне, без воздуха. У Симеона начались провалы в памяти. Он то и дело спрашивал: «Кто я? Куда я еду?» Я утешал его, говорил, что ему нечего бояться: ведь он не еврей. Время тянулось медленно. Разница между днем и ночью перестала существовать. Запах экскрементов разъедал нам глаза. Я разделил с Симеоном плитку шоколада. Под фольгой была фотография Версальского дворца. Он посмотрел на меня и спросил: «А дети у меня есть?» Он уже сам себе не верил.

Мы прибыли в лагерь Маутхаузен, освещенный как по случаю праздника.

Это был другой мир. Вокруг нас толпились какие-то люди и предлагали стакан воды в обмен на золотые кольца.

Симеон был старше меня, но выражение глаз у него было какое-то детское. Мне нравилось разговаривать с ним: он говорил без умолку. И только о своем возвращении.

— Познакомишься с моей женой, она готовит как никто.

Он рассмеялся.

— А вдруг, когда я вернусь, окажется, что я уже дедушка? Клодине,— он сосчитал по пальцам,— около восемнадцати. После войны (у него все было после войны) бухгалтеры будут нужны. А ты что будешь делать?

— Буду покупать баранов в Перигоре.

Целую неделю мы жили в битком набитом бараке, словно протухшие сардины в банке. Если кто-нибудь покидал свое место, то мог быть уверен, что его займут. Симеон не жаловался на тесноту, молчал, когда через него переступали. Ему сбрили бороду и коротко постригли волосы, расчесав их на прямой пробор. Он назвал его «автострадой». Он так изменился, что я его не узнал.

— Это чтобы легче вылавливать вшей.

Несколько дней спустя мы пешком отправились в лагерь Гузен-1. У Симеона то и дело спадали галоши, ноги у него начали пухнуть. Во время этого короткого пути-

километрового перехода, если встречалась особенной формы крыша или женщины с детьми, обрабатывавшие свои огороды, он тотчас обращал на это внимание.

— Все как и у нас, старик,— все то же самое.

Нас определили работать в карьере — своего рода широкой пропасти, никогда не освещавшейся солнцем. Вокруг стояли часовые, совсем молодые ребята, они имели право стрелять.

Он хорошо выполнял свою работу в каменоломне: сверлил скалу пневматическим молотком, потом забивал клинья в щель и с силой ударял по ним.

Однажды Симеон ласково провел пальцами по свежему срезу грунта, словно это был фундамент какого-то строения. И, положив руку мне на плечо, с необычайной для него твердостью сказал:

— Теперь я умею обтесывать камни.

В другой раз он подошел ко мне и протянул зеленую грушу, которую ему бросил какой-то австриец в штатском.

— Возьми ее, у меня понос.

— Поделимся.

— Не стоит. Здесь не делятся.

Мы жили в одном и том же бараке № 19, бараке «мусульман», как нас там прозвали. Поляки высматривали, не появилось ли у кого сыпи. Передавали друг другу наши рубашки, искали в них вшей, это происходило среди ночи. Мы смеялись, когда после инспекции вши возвращались, спрятавшись в швах рубашки. «Смотри-ка, вот дедушка снова явился...»

Однажды Симеон опоздал в душ, и его сильно ударили по голове резиновой дубинкой, обмотанной медной проволокой. Он все больше худел. Глаза у него гноились. Я успокаивал его.

— Промывай глаза водой.

Потом у него заболели руки, на животе воспалилась рана. Его отправили в Revier [1]. Я боялся, что ему там сделают укол, чтобы его прикончить, но он вернулся; он еще более побледнел и еле держался на ногах. Глаза у него заплыли.

— У тебя глаза как у голубя.

Он даже не улыбнулся, вцепившись в мою руку, чтобы не упасть. Все старались как-то помочь ему: давали по ложке своего супа — выходило, что он мог выпить на целый литр больше нормы. Он пришел поблагодарить меня.

— Знаешь, что я нашел на земле?

— Нет. На земле ничего не найдешь.

— Разбитую яичную скорлупу. И во мне что-то всколыхнулось.

Я подумал, что он голоден и разделил с ним кусок заплесневелого хлеба.

Он слушался меня, как отца, менял свои сигареты на пищу, но все было впустую: силы не возвращались. Я помогал ему, как мог; я умолял его одеваться получше, чтобы его не били.

— Не носи эту гимнастерку четырнадцатого года. Раздобудь себе свитер и брюки.

Он теперь говорил со мной гораздо меньше и даже избегал меня. Однажды он рассказал мне свой сон.

— Я теперь почти не вижу снов но вот мне приснился мой сад в Бретиньи и мой дом. но там никого не было ни одного листика на деревьях. в саду гулял ледяной ветер Моя семья не ждала меня Из двери выбежала обезьяна. Противно!

Я поговорил с нем с друзьями — некоторые имели на немцев влияние, можно было достать похлебку которую варили для полицейских собак. Я отдал свои сигареты, но напрасно прождал миску с мясными обрезками.

Симеон больше не ходил на работу: его освободили от каких-либо занятий, и он блуждал между бараками Я застал его однажды возле крематория: он пек картофелину в горячей золе Я выругал его Он извинился что у него нет больше картошки и ему нечего мне предложить. Иногда он садился на ступеньку лестницы и сидел неподвижно, словно ждал чего-то но я тормошил его. Нас мигом разгоняли ударами палки.

Потом я потерял его из виду· я думал, что он умер; погода была плохая, земля покрылась толстой коркой грязного снега.

Однажды в воскресенье он подошел ко мне — сущее привидение; я едва узнал его лицо у него было покрыто нездоровой испариной; он посасывал забинтованный палец

[1] Санчасть *(нем.)*.

Я спросил его:

— Ну как здоровье?

— Ничего. Завтра снова начинаю работать. Я уезжаю с бригадой.— И, помолчав, добавил: — Я хотел бы тебе что-то показать.

— Мне надо идти на дезинфекцию, Симеон.

— Это недолго, зато ты увидишь чудо.

Он уселся возле меня посреди маленького пространства, покрытого травой; лицо его просветлело. Он улыбался от удовольствия.

Склонившись над землей, он стал чертить щепкой какие-то линии. Я спросил у него:

— Что это такое?

— Мой новый дом.

Я испугался: если он начертит сейчас эскиз будущего жилища, это плохой признак. Конец.

— Смотри внимательно.

— Давай отложим на завтра, Симеон.

— Нет, сегодня.

Он блаженствовал; все его тело, легкое, как вязанка липовых веток, словно излучало блаженство.

— Я подумал, что нужен еще гараж, а над гаражом мы построим комнату для тебя, чтобы и ты мог жить с нами. Я передвину стенку кухни, пристрою сбоку прачечную. Добавлю еще веранду из прозрачных стекол, какие изготавливают в Сен-Гобене,— это будет летняя столовая Дети быстро поженятся; спальни я удлиню: ведь гостиная-то у меня больше четырех метров. Мы будем часто приглашать гостей. Я прикуплю участок мсье Табюле и устрою там заповедник, такую маленькую рощицу...

Я повернулся к нему; исхудалая рука продолжала чертить план будущих владений. Лицо казалось перламутровым, вокруг глаз появились зловещие фиолетовые круги. Он расслабился и буквально сиял от счастья. Мне захотелось сказать ему что-нибудь теплое...

— А потом ты возьмешь мои книги, я дарю тебе их... Ты составишь из них библиотеку.

Симеон продолжал подробно рассказывать, и, несмотря на кашель, его голос снова звучал уверенно.

— Будущее принадлежит нам.

Симеона нашли на заре на его соломенном тюфяке, с открытыми, еще смеющимися глазами, с доброй улыбкой в уголках рта,— он уже застыл. Вдали слышалось: „Eintreten, eintreten "[1]

Заря еще не занялась.

Теперь мне неприятен дым, вьющийся над трубами по вечерам, я не люблю его запах.

■

[1] Входите, входите... *(нем.).*

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

В этом номере мы завершаем публикацию ответов писателей мира на два вопроса нашей анкеты:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

Вниманию читателей предлагаются выступления Эмманюэля Роблеса, Дюлы Чака, Картара Сингха Дуггала, Леопольда Седара Сенгора, Алена Боске, Лисандро Отеро, Джона Монтегю Войцеха Жукровского, Адольфа Мушга, Тонино Гуэрры, Чамила Сиярича, Хосе Алькантара Альмансара, Люче д'Эрамо, Отто Штайгера, Хоакина Гутьерреса, Андре Стиля Айи Квеи Армы, Мануэла Феррейры, Рауля Ларры, Жана Бриера и Анхеля Аухьера Мы публикуем также два интервью на тему анкеты, данные журналу Ирвингом Стоуном и Стадсом Теркелом во время пятой советско-американской встречи писателей, состоявшейся в Киеве в июле этого года, и послесловие Саввы Дангулова «В коротком путешествии, имя которому жизнь...».

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС (Франция)

1. Как писал Эжен Даби, литература — одно из самых чистых орудий разоблачения фальши и жестокости мира, какими мы располагаем. Безоговорочно подписываюсь под этим утверждением. Оно могло бы стать эпиграфом каждой из моих книг. Угроза войны, угнетение человека, жажда наживы любой ценой — пороки общества которым правят деньги и которое глумится над самыми высокими моральными ценностями,— все это я старался показать в книгах «Это зовется зарей», «Монсерра», «Городские высоты» и других.

Вместе с тем я восхищаюсь величием тех, кто борется против несправедливого миропорядка, чтобы занять достойное место в шеренгах человеческого сообщества, чтобы найти наконец правду согласующуюся со всеобщим благом, и счастье, не вскормленное слезами других людей.

Сейчас работаю над темой вдохновившей когда-то мою первую книгу, «Действие», — над темой безработицы Выходец из рабочей семьи, я знаю, какой бунт в душе, какой ужас перед будущим, какое унижение испытывает тот, кто не может собственным трудом обеспечить свою жизнь и жизнь близких. Это рана которая в нашем хаотичном мире не заживает никогда.

2. Признаюсь, я скорее скептик в отношении непосредственной роли искусства вообще и литературы в частности в деле сохранения мира, который сейчас, в конце XX века как никогда прежде, находится под угрозой. Я родился под барабанный бой первой мировой войны, но пищу для ума давали мне в юности антивоенные «книги Жоржа Дюамеля, Ролана Доржелеса, Анри Барбюса, Людвига Ренна, Мориса Женвуа, Эриха Марии Ремарка... Своими великими произведениями эти писатели выражали возмущение и протест против конфликта, в результате

Окончание. Начало см. в «ИЛ», 1982, № 4—11.

которого Европа четыре года истекала кровью. Правда, они не предотвратили прихода фашизма с его реваншистскими устремлениями. Но несмотря на то, что их опыт кажется в этом смысле неудачным, нынешние писатели должны неустанно разоблачать чудовищную бессмысленность войны и (если учесть ужасающую разрушительную силу современного оружия) неизбежность ее трагических последствий для человечества. Они равным образом (а может быть, и в первую очередь) обязаны изобличать глубинные причины, порождающие военную опасность. И даже если проповедь их далеко не всегда достигает желаемого эффекта, делая это, они исполняют долг чести писателя и творца.

ДЮЛА ЧАК (Венгрия)

1. В моих рабочих планах все большее значение приобретает проблема образования. Я принадлежу к поколению, которое начинало жизнь под ленинским лозунгом: учиться, учиться и учиться! Теперь я с грустью наблюдаю, как внутренняя потребность образования порой уступает место стремлению иметь лишь документ, удостоверяющий его наличие. Бывает, там, где необходимо образование, работают необразованные люди. Когда так случается в областях, связанных с воспитанием молодежи, это становится настоящей бедой: необразованные воспитывают необразованных. Как следствие этого могут появиться целые поколения, у которых не будет, например, необходимых исторических и социологических знаний, что чревато опасностью подпасть под влияние вредных, а то и антисоциалистических теорий. Ведь подчас это бывает и теперь.

Вот почему я стараюсь использовать все доступные мне средства, чтобы критиковать это явление, пробуждать желание учиться, убеждать в необходимости и притягательной силе учения.

2. Частично сказанное в связи с первым вопросом отвечает и на второй: как художественное творчество может служить делу мира. Если литературное произведение помогает читателю подняться на более высокую ступень самопознания и познания действительности, оно служит взаимопониманию между людьми, а тем самым и миру. А если, прочтя книгу, человек умом и сердцем лучше поймет свое назначение на земле, такая книга служит делу мира уже значительно.

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ (Индия)

Не может художник быть простым наблюдателем. Он наделен повышенной чувствительностью, которая вынуждает остро реагировать на происходящее вокруг. Когда же настает миг истины — художник воспринимает его оголенным сердцем. Если он выражает себя в слове — рождается поэзия, если в движении — танец, если в красках — картина.

Мне было одиннадцать лет, когда я написал первые стихи.

Ночью был ураган. Мы жили тогда в деревне около Равалпинди, и всю ночь над нашей деревней грохотал гром, завывал ветер, лил проливной дождь. Утром я узнал, что ураган разрушил дом и обломками задавило крестьянина с его маленьким сыном. Я видел их собственными глазами и буквально оцепенел. Потом я убежал в поля и бродил там целый день, а к вечеру пережитое начало складываться в слова. Стихи получились примерно такие:

Они легли спать и больше уже не просиулись.
Может, отец и был виноват,
Но сын никого не обидел.
Почему же смерть забрала его?

С этого и началось. Я словно бы обнаружил тайный способ находить облегчение от всего, что мучило меня. Всякий раз, когда мне бывало больно, я хватался за перо и описывал свои чувства. Первый рассказ я написал на основе сугубо интимных переживаний и сильно удивился, услышав, что изобличаю пороки общества.

Тогда я был еще студентом, а ко времени окончания университета мое имя уже пользовалось некоторой известностью, и я дружил с такими писателями, как Фаиз Ахмад Фаиз, Кришан Чандар, Мохан Сингх, Сант Сингх Секхон, Минто и Раджиндер Сингх Беди.

Были волнующие годы — подъем национально-освободительного движения. Народ был полон решимости сбросить английское иго.

Мы, молодые тогда писатели, считали, что пишем методом социалистического реализма, называться прогрессивным писателем было вопросом престижа, мы делили своих коллег на «красных», «розовых», «попутчиков» и так далее.

И вот — Индия свободна. Но колонизаторы еще не сдались — они разделили страну на две части. Нам пришлось оплатить свободу ценой кровавой религиозной резни, гибелью детей, муками женщин, сожженными деревнями, разрушенными городами, бегством мусульман в Пакистан, индусов и сикхов в Индию. Ничего равного этому не знала наша история.

Мы, писатели, были в растерянности. Наши общие чувства выразил Фаиз, когда написал:

Испещренное ранами утро, искусанный ночью рассвет.
Не такого восхода мы ждали так долго с тобой,
И зари, о которой мечтали так пламенно,— нет.

(Перевод Алексея Суркова)

Я написал об этих событиях серию рассказов, которые вошли в сборник «Пожиратели огня». Сборник оказался первой книгой о разделе Индии, написанной на севере страны. Рассказы о том, как зверски убивали мусульмане индусов, и о том, как зверски убивали индусы мусульман, вызывали не только чувство жгучего стыда у всякого нормального человека, но и заставляли спрашивать себя: «Что мы сделали для предотвращения катастрофы? Неужели мы не понимали, куда нас тащат религиозные фанатики? Разве не мы должны были предостерегать народ против зловещих затей изощренных политиканов?»

Мы многого не сделали. Борьба против иноземного владычества была тяжелой, но куда тяжелее оказалось бороться с предрассудками общества. Было необходимо беспощадно проанализировать происшедшее.

В результате всего этого мы стали лучше понимать простого человека и его проблемы. Нашей задачей стала борьба за социальную справедливость. «Свобода сделает нас свободными только в том случае, если мы сумеем положить конец экономическому неравенству в стране», — сказали мы себе тогда. Мы провозгласили своим долгом изобличение невежества, мракобесия, эксплуатации, борьбу за улучшение горькой доли неимущих.

Прогрессивные писатели моего поколения воспитывались на произведениях Толстого и Чехова, на книгах Горького, Шолохова, Маяковского, Эренбурга, других советских писателей Советская литература учила нас глубокому проникновению в проблемы пролетариата нашего времени.

Освобождение Индии от британского господства стало поворотной точкой в моей жизни — наверное, так может сказать о себе любой индийский писатель моего поколения. Вырвавшись из колониальной неволи, истекая кровью после раздела, Индия взялась за строительство нового общества; это общество должно было основываться на принципах справедливости, свободы от религиозной розни, стоять на позициях прогресса и мира. Поэтому передовые писатели, которые до независимости видели свой долг в том, чтобы объединять все народные силы для борьбы против колонизаторов, теперь считали себя обязанными писать о доле бедняка. Новая тематика изменила стилистику наших произведений. К тому же свобода от колониальной цензуры позволила нам отказаться от эзопова языка, замысловатой символики и многозначительных метафор.

Я сосредоточился на работе над трилогией. Ее первая часть, «Судьба твоих учеников», охватывала период от конца первой мировой войны до кануна независимости. Вторая книга «Мы одной крови» была посвящена первым годам свободы: и трагическому разделу страны, и массовому исходу индусов и мусульман, и жизни беженцев и войнам с Пакистаном. Вторая книга завершается событиями, связанными с созданием нового государства — Бангладеш. В третьей книге «Никто не знает боль мою», я попытался рассказать о людях, которые отвергли политическую партию, правившую Индией с первого дня ее свободы, и о том, как обескураженные альтернативой, эти же люди дружно проголосовали за ее возвращение к власти

Таким образом эта большая трилогия — в ней свыше 1800 страниц — охватывает шесть важнейших десятилетий истории Индии.

Кроме того я написал множество рассказов и пьес, в основном для радио и для телевидения. Что же до стихов — прозаик и драматург явно потеснили во мне поэта.

Сейчас оглядывая пройденный путь, я могу сказать, что всегда писал о главных проблемах эпохи — о борьбе за свободу, о разделе страны, о развитии свободной Индии, и в более широком контексте — о «холодной войне» и о разрядке международной напряженности, которая в последние годы снова подвергается опасности...

Я начал работу над новой трилогией о жизни мусульман в Индии после создания Пакистана Первая книга недавно вышла в свет. Я назвал ее «Чужак моего сердца». Вторую книгу я назову «Кому открою сердце?». Я пишу о трагедии мусульманской семьи, разорванной между Индией и Пакистаном, о двух родных братьях, которые никак не могут примириться. Я пишу о меньшинстве, лояльность которого постоянно вызывает недоверие, оскорбительное для патриотов-мусульман и удобное для политиканствующих фанатиков.

Я встревожен недавно развернувшейся в Пенджабе кампанией за создание Халистана — отдельного штата для исповедующих сикхизм. Я написал серию статей по-английски для одной из наших больших газет о секулярных концепциях сикхизма. После их публикации ТВ пригласило меня делать еженедельную программу, направленную против роста религиозного сепаратизма в Пенджабе.

Еще сильнее тревожит меня военная диктатура в соседней с нами стране. За три десятилетия существования Пакистана трижды вспыхивали войны между Пакистаном и Индией, а кашмирский вопрос так и остается нерешенным. Сообщения о том, что у Пакистана вот-вот будет ядерное оружие, я воспринял так, как если бы увидел ребенка, которому дали коробок спичек: можно только гадать, что же именно сгорит. Разница в том, что в этом случае последствия грозят быть куда более зловещими.

И всего тревожней политика нынешней администрации США — режима крайне реакционного. Правительство Рейгана поглощено мелочной, узкоэгоистической возней, но деяния его чрезвычайно опасны, потому что речь здесь идет о мировой державе. Рейган не решил ни одной проблемы, не сумел ничего сделать внутри Америки, но зато преуспел в значительном усилении международной напряженности. В результате нанесен серьезный урон делу разрядки. Поразительно, что Америку волнуют дела Афганистана, находящегося за тысячи километров от нее, а стране, расположенной рядом, она отказывает в праве интересоваться тем, что происходит у нее под боком.

Нас, индийцев, не может не тревожить превращение соседней с нами страны в новый очаг напряженности — якобы из-за афганской ситуации Америка изо всех сил вооружает Пакистан. Планы мирного урегулирования стали первой жертвой усилившейся гонки вооружений. Экономика Индии — страны развивающейся — отреагировала на положение дел резким повышением цен. Книги, например, вздорожали настолько, что их стало просто невозможно покупать. Издательства сократили выпуск продукции, и писателям приходится подолгу ждать опубликования рукописей. Писателям стало очень трудно работать.

Я, как многие мои коллеги, нередко бываю вынужден отложить работу над книгой и писать только на текущие темы — для газет. Сейчас я веду постоянные рубрики в трех больших газетах.

Я верю, что сегодня нет для человечества задачи более насущной, чем сохранение мира. Взять Индию в качестве примера: если бы нам не пришлось трижды вести войны с Пакистаном, если бы на нашей экономике не сказывалась так сильно новая гонка вооружений, если бы мы могли быть уверены в мире на наших границах, то мы бы уже разрешили добрую половину мучающих нас проблем. Это же можно отнести и к положению других развивающихся стран. Война ничего не решает. Никогда, на протяжении всей истории человечества, ничего не удавалось решить военным путем. Война может лишь создавать новые трудности.

Я убежден, что писатель, художник способен многое сделать для сохранения мира. Он может своими произведениями изобличать поджигателей войны, творить мирный климат в сердцах людей. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Дружба с теми героями литературы и искусства, кто ценит мир превыше всего,— вот верная гарантия добрососедства. Очень важно, чтобы твой сосед стремился к миру, как и ты, — без этого нет уверенности в мире.

Законоучитель сикхов и прекрасный поэт гуру Говинд Сингх писал в свое время:

Когда испытаны все остальные средства,
Позора нет в том, чтобы меч поднять.

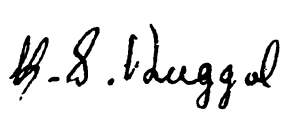
Художник в своем стремлении к миру обязан испытать все средства, но если его народу навязана война — перо уступает место мечу. Разве не остались спать вечным сном сотни советских писателей на полях сражений Великой Отечественной войны?

Поэт Сахир Лудхианви, лауреат премии Неру, написал в стихотворении «Тени»:

Война минувшая разрушила дома.
Война грядущая погубит даже одиночество.
И если в той войне убиты были люди,
То в этой — сами тени их исчезнут.

Страшна любая война, но художник в состоянии вообразить чудовищный призрак того, что произошло бы, начнись она теперь. Силой своего таланта он может показать миллионам масштабы катастрофы, нависающей над ними.

Художник в миг постижения истины — надежда человечества.



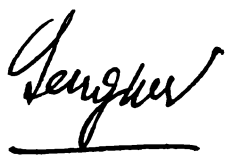
ЛЕОПОЛЬД СЕДАР СЕНГОР (Сенегал)

1. После частичного отхода от политической деятельности (31 декабря 1980 года) я стараюсь продолжать свою литературную работу. Сейчас я пишу новые «мажорные элегии», одна из них посвящена моему сыну Филиппу, погибшему 7 июня 1981 года в автомобильной катастрофе. Вместе с тем я работаю над эссе под названием «От Негритюда к Цивилизации Общечеловеческого».

В этом эссе речь о следующем: обращаясь к своим корням — ценностям Черной Африки,— я открываю себя плодотворным влияниям других континентов, рас и наций. В самом деле, мы сейчас — на пути к созданию новой цивилизации, которая станет цивилизацией третьего тысячелетия. По сути своей это будет *Цивилизация общечеловеческая*, цивилизация сосуществования или, если угодно, скрещивания культур.

Мои стихи — всегда отклик негра-африканца на то, что происходит в мире. Но это и *отклик человека* на события, которые волнуют его собратьев, других людей XX века.

2. Произведение искусства или литературы способствует сохранению мира на земле как раз в той мере, в какой, опираясь на культурные ценности нации, к которой принадлежит художник, оно оплодотворяется влияниями другой цивилизации или других цивилизаций. Все великие творения искусства и литературы отмечены этим качеством. Я имею в виду произведения Пушкина, Толстого, Ленина. А ведь произведения Ленина обладают великой философской ценностью.



АЛЕН БОСКЕ (Франция)

1. Отвечая на этот вопрос, я бы разделил поэтические произведения и романы. Мои стихотворения, за исключением тех, что посвящены войне, не затрагивают актуальных проблем. В них я стремлюсь постичь тайну человека и снова и снова пытаюсь ее определить в плане психологическом, сказочном, психоаналитическом. Что такое любовь и каковы отношения между человеком и природой? Что такое абсолют?..

Роман для меня намного больше связан с реальной действительностью, а следовательно, с проблемами современности. В «Полном затмении» я рассказал об ужасах второй мировой войны, в которой принимал участие. В романе «Потребность в несчастье» показал, сколь различны образы мыслей западного интеллигента и интеллигента с Востока. В «Маленьких вечностях» избрал такую тему: во время войны француз, оказавшийся в Лондоне, вынужден бомбить свой родной город. Я описываю, как он при этом поступил. Прямо или косвенно мои романы отражают современность. А порой в них даже «сводятся счеты» с нашим веком.

2. Я не верю в необходимость прямого влияния искусства или литературы на положение в мире. Прямолинейное, грубое толкование задач искусства сегодня, мне кажется нигде уже не популярно. Литература — творение мира по самой своей природе, поскольку призывает к мягкосердечию, учит мечтать, пробуждает все что есть в человеке самого ценного, воздействуя на его воображение. Хорошая книга — как прекрасный отрывок из Моцарта или Бородина. Стоит ли задаваться вопросом почему она побуждает к миру — просто факт этот очевиден.

Вместо того чтобы кричать «Да здравствует мир!», произведение искусства должно создавать атмосферу мира и взаимопонимания, никого не поучая. «Три сестры» настраивают на мир и Чехову нет необходимости впрямую говорить о нем. Красота — союзница мира всегда.

ЛИСАНДРО ОТЕРО (Куба)

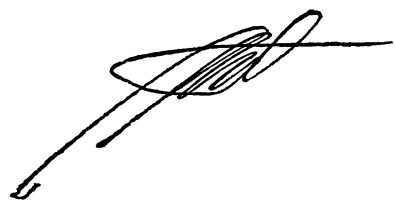
1. Два из моих романов а также мои повести и рассказы посвящены кубинской революции и исследованию социальных процессов, приведших к ней. В одном из романов речь идет о Латинской Америке, о режиме военной тирании, царящем в некоторых странах нашего континента, о национально-освободительном движении. В другом я рассматриваю состояние кубинской буржуазии накануне революции, разложение и упадок этого класса. Думается, что, говоря о пробле-

мах своей страны, о ее недавнем историческом прошлом, я так или иначе касаюсь и общих вопросов современности.

Двумя наиважнейшими проблемами нашего времени, по-моему, являются следующие — борьба за мир и положение развивающихся стран: поднятие уровня жизни в них, борьба с нищетой и безработицей, с безграмотностью, болезнями, недоеданием, с лишениями, жертвой которых является подавляющая часть человечества. В нашей стране, идущей по пути социализма, мы разрешили вторую из названных проблем. Однако нам предстоит еще многое сделать в борьбе за предотвращение атомного пожарища и против гонки вооружений. Надеюсь, что и мои книги в какой-то мере помогут читателю понять, как наша маленькая и ранее бедная страна сумела обрести свободу и нашла путь к разрешению своих проблем.

В настоящее время я заканчиваю исторический роман о первой буржуазной революции европейского масштаба, английской революции, положившей начало идеям либерализма, свободомыслия и ненависти к деспотизму. По моему мнению, это был решающий момент в историческом развитии, когда человек сбросил с себя путы консервативного мышления и увидел проблеск свободы

2. Думаю, что делу мира служит все, что помогает понять человека, учит любить людей и уважать культурное наследие, завещанное нам веками, потому что это понимание, эта любовь и это уважение придают нам мужества в защите ценностей, завоеванных с таким трудом. Поэтому-то и любое гуманистическое произведение литературы и искусства является мощным оружием в борьбе за мир.



ДЖОН МОНТЕГЮ (Ирландия)

Дорогие друзья,
мне было очень приятно увидеть свои стихотворения на страницах журнала «Иностранная литература». Увы, я не знаю русского, но один мой друг, который провел много лет в вашей стране, сказал, что стихи переведены и представлены превосходно. И я благодарю переводчика и сотрудников редакции.

1. На вашу анкету ответить нетрудно. Как уроженец Северной Ирландии, я — против колониализма. Это, я думаю, видно из моего рассказа «Крик» — о зверствах полиции в Северной Ирландии, написанного почти двадцать лет тому назад. В поэме «Каменистое поле» я исследовал эту проблему более глубоко. А недавно завершил работу над другой поэмой — «Мертвое королевство», где речь идет о том, как из-за отсутствия доброй воли на севере страны создалось сейчас явно безвыходное положение.

2. Литература способствует упрочению мира тем, что вскрывает причины, корни всяческих противоречий и таким образом помогает нам исцелять самих себя. У меня есть маленькие дети, и я возмущен угрожающим ростом ядерных вооружений, которому нет оправдания. Тема эта — страшная, но поэзия в силах помочь людям, ибо она открывает им глубины подлинных чувств. Там, где нелепые действия (как, например, действия Великобритании против Аргентины) рассматриваются в истинном свете, там может быть построен новый мир. Мои взгляды близки позиции моей страны, Ирландской Республики, которая стремится быть нейтральной.

Я уверен, что сплав истории и современности, положение зависимого народа, тема исчезновения старого образа жизни — все, что составляет содержание моих книг, может заинтересовать русского читателя, чье представление о поэзии гораздо шире господствующего в Англии.

ВОЙЦЕХ ЖУКРОВСКИЙ (Польша)

1. Есть писатели, которые сознательно изолируют себя от бурных событий современности. Они укрываются от них в библиотеках, совершают плаванье по

книжному морю, пасутся на литературном пастбище своего народа, а благодаря знанию языков и расширяют это пастбище, поглощая то, что считают лучшим, и так создают свои книги. Я не хочу сказать, что их книги — заимствования, но мне они все же представляются «замкнутой литературой», потому что этим писателям достаточно жизни отраженной, препарированной и представленной в совершенной форме. Таков, по-моему, Борхес. Или Марсель Пруст, работавший в комнате со звуконепроницаемыми стенами, ибо даже голоса играющих вблизи детей или цоканье копыт лошадей, запряженных в экипаж, — все это могло развеять пригрезившуюся ему картину встречи в парижском салоне, сцену соблазнения, жест руки, который в его близоруких глазах вырастал в знак любовного расположения. Мир насилия, обид, грязных финансовых сделок, борьбы за власть, мир политиканов, наконец, мир войны, которая, по словам Бисмарка, есть продолжение всего перечисленного, этот мир не интересует, мне кажется, писателей такого склада, они живут в своем, вымышленном мире. Разумеется, у этих писателей есть свои критики-поклонники, которые считают их гениальными и доказывают это в многочисленных своих работах.

Самый крупный современный польский писатель Ярослав Ивашкевич так описал январский вечер, когда фронт прошел через его усадьбу: «В комнату вошли советские солдаты, внеся с собой запах мороза и гари, они выпили по рюмке и, не мешкая, отправились дальше, в погоню за отступающими немцами, растворившись в метели. Мы были спасены, худшее осталось позади, я вернулся к письменному столу и написал еще три страницы нового романа».

Ивашкевич сумел и в такой день сосредоточиться на работе, сопутствовать своим героям. Я не смог бы писать, я бы пошел с солдатами. Я думал тогда, что принесу больше пользы с автоматом в руках, и отправился добровольцем с первой воинской частью, шедшей на запад. Ивашкевич же считал, что принесет больше пользы своим пером. У меня и в мыслях нет полагать одних лучшими и более мудрыми, чем других. Напротив, это большое счастье, когда существуют разные писатели, по-своему воспринимающие окружающий их мир — мир, который оглушает потоком информации, не дающей передохнуть и сеющей в сознании людей беспокойство, а в сердцах — недобрые предчувствия. Просто во мне есть что-то от солдата и немного от репортера. Вот почему я действительно чувствую себя причастным ко всему, меня интересует все, что делается в мире. Наверное, поэтому-то в сентябре 1939 года, раненный, я все же бежал из госпиталя для пленных. Устроился на работу в каменоломне, и у меня были не только документы с гитлеровской печатью, но и доступ к динамиту. Я руководил саботажем, учил рабочих минировать железнодорожные пути. А одновременно издавал подпольный литературный ежемесячник и писал. Потом кровавый финал войны, еще два года в армии и, шутка ли сказать, установление народной власти в Польше.

Мои книги всегда питались из двух источников: первый — жизнь, липкая от крови, пахнущая развороченной могильной землей, и мой собственный опыт; другой источник — моя фантазия. Можете проверить это по моим книгам — по тем, что напечатаны в прошлом году в Ленинграде в издательстве «Художественная литература», и по «Похищению в Тютюрлистане» в прекрасном переводе Святослава Святского, вышедшем в ленинградском отделении «Детгиза».

Стремление познать мир бросало меня на фронты борьбы с колониализмом, в страны, где назревали революции. Я был в Китае, Вьетнаме, Лаосе. И обычно, помимо того, что я описывал взятые из гущи жизни события, очевидцем которых был, я собирал старинные предания и легенды, сокровища народной мудрости. Соответственно я и работаю в двух направлениях: первое — злободневная статья, фельетон, репортаж; второе — роман, рассказ, возникающие иногда через несколько лет как процеженное вино опыта, возвращающегося в художественных образах.

Мне повезло, что я смог «подглядеть» уходящий колониальный мир, который не сдавался добровольно, держался за свои права и владения с отчаянием обреченного. И не было недостатка в тех, кто это сопротивление поддерживал советниками, деньгами, оружием, а затем и солдатами.

Я принадлежу к писателям, которые стараются вскрыть корни зла. Я борюсь против тех, кто сеет тревогу, пытается скрыть истинные причины контрреволюции и исподволь подстрекает к войнам. Я стараюсь передать это посредством эмоциональной формы, четкого сюжета, через характеры героев. Я стремлюсь в самую гущу событий, не ожидая, когда мне объявят о них по радио или покажут по телевизору, я люблю ощущать холодок риска: в двух шагах от смерти время становится протяженнее, а жизнь приобретает особую остроту.

Вы не заметили, с какой готовностью писатели отвечают на вопрос, над чем они сейчас работают? Свои замыслы, желания, мечты они порой представляют как уже осуществленные, но потом мы напрасно ищем обещанных названий — эти книги зачастую так и остаются ненаписанными.

Я сейчас пишу одновременно две книги. Одна под названием, которое может показаться странным, — «Житие достоверное». Это не биография и не дневник, пожива для биографов, а множество подлинных событий, встреч с интересными людьми, необычными, по крайней мере для меня, начиная с тех, которые влияли на судьбы своих народов, кончая артистами, художниками и чудаками, с которыми мне приходилось встречаться. Это книга для взрослых. Другая книга

для детей. Если я им не наскучил, они будут моими читателями на всю жизнь. Надеюсь, они и своим внукам купят книжку, которая им полюбилась в детстве.

2. Как искусство может служить борьбе за мир во всем мире? Трояко: пугать войной, напоминать, что людям бывает присуща жестокость, какой нет в мире природы. Звери пожирают друг друга, чтобы жить. Люди убивают друг друга, чтобы властвовать, чтобы показать свое превосходство. А иные и для удовольствия, они распоряжаются чужими судьбами, потому что считают себя расой господ. Мы уже испытали это на себе — мы, поляки, и вы, русские, и белорусы, и сербы... Фашисты нас считали «славянской нечистью», уничтожали, чтобы освободить землю для своих будущих поколений. Жестокость сидит в людях, и ее легко высвободить, возводя убийство в закон.

Ученые обещают нам «гуманную» бомбу, которая уничтожает только живые существа, все достояние целых поколений останется нетронутым, станет добычей агрессора. Я не могу себе даже представить будущую войну; мне достаточно и того, что я пережил в минувшей, чтобы всеми силами души ненавидеть тех, кто грозит новой бойней.

Было бы очень хорошо, если бы и на английском и на немецком языках была издана документальная книга Адамовича «Я из огненной деревни»[1] — запись на магнитофонную ленту свидетельских показаний немногих людей, которым чудом удалось уцелеть, когда фашисты уничтожали целые деревни на оккупированной советской территории, сжигали заживо матерей с детьми. Пусть люди не забывают «Гернику» Пикассо — картину, запечатлевшую злодейство, совершенное людьми-чудовищами.

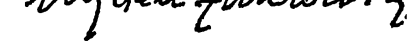
Нужно напоминать, как дорого заплатило человечество за мир и избавление от фашизма. И здесь искусство является незаменимым оружием: книга, фильм, картина, скульптура, музыка, замечательные актерские работы, песни протеста... Искусство обладает силой, которая может мобилизовать миллионы.

Пока живет поколение участников войны, говорить легко, они помнят. Нет семьи, которая не понесла бы горьких потерь. Однако самым молодым надо вновь и вновь говорить о том, какой ценой достался мир, говорить им о красоте жизни и любви, о ценностях, которые создаются повседневным трудом. Ведь у нас есть что защищать. Через любовь к своей семье надо прививать уважение к праву другого человека на жизнь, на гармоническое развитие каждого новорожденного жителя нашей планеты. Любовь к отчизне должна укреплять и дружбу с единомышленниками из других стран — подлинными защитниками святого дела мира.

Единственное, к чему я призываю вас, дорогие собратья по перу, вернее, по пишущей машинке, — давайте писать в согласии со своей совестью и как можно лучше. Пишите каждый по-своему, только бы росла армия читателей и объединялась для общего дела.

Временами после прослушивания последних известий о событиях в Ливане, на Фолклендских островах, в Южной Африке мне кажется, что человечество беспечно приближается к краю пропасти, воспринимая эти сигналы вне связи с другими и не чувствуя, что завтра каждый народ может очутиться перед последним выбором.

Если писатель — глас народа, он не должен сегодня молчать.



АДОЛЬФ МУШГ (Швейцария)

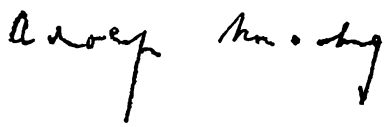
1. Литература, выискивающая актуальность, гоняющаяся за так называемой современностью, в конечном счете упускает и то, и другое, и свою задачу. Я вижу эту задачу в том, чтобы реагировать на вопросы, которые никем (пока) не поставлены «на повестку дня». Писатель не должен тратить своего времени на работы, которые лучше может сделать любой хороший журналист, любой нанятый репортер: он не должен поддаваться и уговорам иллюстрировать программы, идеологии. Он не должен давать читателю того, что тот уже знает или может прочитать в другом месте. Он обязан делиться с ним своим знанием, вечно новым знанием того, что нет ничего само собой разумеющегося; что «куцее» изображение нашей жизни недопустимо, ибо тем самым, при наилучших намерениях, вступаешь в область злоупотребления словом, участвуешь в ежедневном заговоре против слабого и бессильного. Автор — товарищ своего времени, но совсем на другой лад, чем то предписывают ему передовые статьи; его делает таковым готовность отозваться на непривычное, инстинктивная борьба против фразы, против всякой утраты конкретности. Если его работа в этом смысле удовлетворительна,

[1] В. Жукровский называет лишь одного из трех авторов этой книги, опуская фамилии Я. Брыля и В. Колесника. *(Прим. ред.)*

она удовлетворяет и требованию связи со временем. Быть тесно связанным со временем — значит показывать, что ему угрожает, точно видеть людей — как тех, кому угрожают, так и тех, кто угрожает. И толку не будет, если передоверить надежду фразе, ибо когда побеждает фраза, надежда гибнет.

В настоящее время я работаю над романом, материал которого — вампиризм, то есть особый вид эксплуатации: кровопийство. Это не аллегория. Это мотив тривиального романа и романа ужасов, который я хотел бы юмористическими средствами «исказить до узнаваемости», до жизнеподобия, до осознания его апокалипсического масштаба, ибо в моем понимании нет реализма, не соседствующего с апокалипсисом.

2. Писатель может — и должен — выступать за мир, точнее: за широкое разоружение, за демонтаж всех угрожающих жизни машин. Но я думаю, творчество его служит миру не просто декларацией миролюбия, а своей готовностью отозваться на все, в том числе и на крайнее и немыслимое, отказом от любой формы самообмана. Просто морализирующая или идеализирующая литература в эстетическом плане — деревянное железо, ввиду нашего общего пограничного положения она и политически запрещена. Литература — это фантазирование на темы всевозможных конфликтов; она занимается любыми формами возможного, включая утопические и самые ужасные; ее своеобразный гуманизм я вижу в активности ее выступления против абстрактности, обезличенности и смерти. Для меня, как для Ибсена, писать — значит все еще «представать перед судом», но тяжба идет уже не только о смысле индивидуальной жизни, а о шансе коллективного выживания.



ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)

1. Ответ на первый вопрос мне хотелось бы начать с рассказа о своей последней книге. Понятно, я мог бы начать и с других написанных мною произведений. Но думаю, лучше ограничиться лишь этой историей. Называется она «Мед» и представляет собой поэму в тридцати семи кантиках. Хотя каждая из них имеет свою особую тему, их объединяет одно событие: встреча двух братьев, которым уже за семьдесят. Произошла эта встреча в маленьком селении. Один из братьев спустя много лет вернулся сюда из города, потому что там стреляют на улицах и на каждом шагу тебе подставляют подножку. Второй никогда отсюда не уезжал и по-прежнему служит телеграфистом на крохотной станции, куда уже сорок лет не прибывают поезда, так как во время последней войны здесь сняли все рельсы. Старики гуляют по обезлюдевшему селению, а потом целыми днями сидят запершись в доме и смотрят, как капли дождя падают в стакан, поставленный на подоконник раскрытого окна. А когда выходят и видят вишню в цвету, почтительно снимают перед ней шляпы, с которыми вообще-то не расстаются, даже ложась спать.

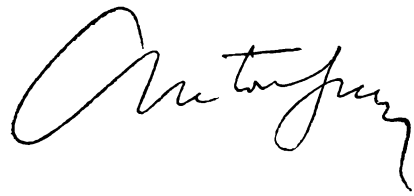
От одной кантики к другой постепенно открываются сложные отношения братьев, история селения, вконец опустевшего, — почти все его жители эмигрировали, кто раньше, кто позже, в поисках работы,— и жизнь немногих оставшихся, навсегда прикованных к этому заброшенному микрокосмосу.

Мне кажется, в поэме возникает картина гибели крестьянской цивилизации, которая была определяющей на нашей земле, пока все не поглотило общество потребления. Но я надеюсь, мне удалось добиться одного — чтобы из моих стихов сочился мед. Я советую собрать его и сказать: несмотря ни на что жизнь еще может быть прекрасной.

2. Думаю, ни у кого из писателей и поэтов нет больших возможностей так или иначе предопределять судьбы мира. И все же мне кажется, что способность, которой они, несомненно, обладают,— придать наполненность каждому дню жизни и уж по крайней мере сделать эти дни более радостными, ибо в них есть много места для фантазий и раздумий, — это тоже способ убедить человека в ценности жизни и пагубности любой войны.

Вот к этой цели я и стремлюсь во всех своих историях. А содержащиеся в них «развлекательные моменты» призваны помочь тем, кто великодушно пожелал стать моим читателем, понять, что жизнь — ни с чем не сравнимый дар

и нужно насладиться ею (и позволить сделать то же самое другим) до последней капли... А это возможно, только если на земле сохранится мир.



ЧАМИЛ СИЯРИЧ (Югославия)

Прежде чем перейти к ответам на вопросы, я хотел бы особо подчеркнуть, что мне весьма импонирует практика вашего журнала проявлять интерес к творчеству тех писателей, чьи произведения выходили на русском языке, и информировать о нем своих читателей. В вашей стране опубликованы два моих романа: «Бихорцы» и «Царское войско». Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать мою благодарность за предоставленную возможность встретиться с советскими читателями — а мне известно, что в вашей стране охотно и много читают. Не знаю, удовлетворит ли читателей мой ответ на ваши вопросы: учитывая ограниченность объема вашего журнала, он не будет особо пространным и исчерпывающим.

Во-первых, мне очень приятно сообщить, что в прошлом, 1981 году я получил одну из наиболее солидных литературных премий в нашей стране — премию имени Андрича — за сборник рассказов «Французский хлопок».

Во-вторых, издательство «Веселин Маслеша» (Сараево) опубликовало мой новый роман «Рашская земля Расция».

В-третьих, в прошлом году, тоже в Сараево, в издательстве «Веселин Маслеша» вышел десятитомник, включающий мои избранные произведения, а в издательстве «Универзал» — сборник избранных рассказов.

В-четвертых, в этом году выходит сборник рассказов в белградском издательстве «Српска книжевна задруга».

А теперь перехожу к ответу на вопрос о том, как отражаются актуальные проблемы современности в моих творческих планах и над чем я сейчас работаю.

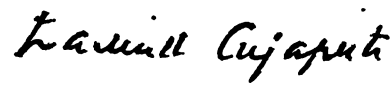
1. Главным образом меня интересует прошлое. Историческое прошлое, политическое и социальное прошлое. Но разрабатывая тематику прошлого — разумеется, не такого уж отдаленного, — я стараюсь дать ответ и на современные вопросы, потому что разные эпохи подобны сообщающимся сосудам, время в них не только соприкасается, но и взаимопроникает. Я думаю, что человек, если говорить о его природе, в основном остается тем же во все времена. Но его социальное поведение является отражением данной эпохи, среды, в которой он живет и которая формирует его. Разумеется, задача писателя состоит вовсе не в том, чтобы в литературном произведении пересказывать историю или ее комментировать, и не в том, чтобы ее толковать и искать новые факты,— это дело историков, писатель же идет дальше, он спускается во тьму времени, в неизвестное, он, создавая литературные образы, оживляет давно исчезнувшие миры и представляет их такими, какими они ему видятся. Он тем самым как бы заново создает эти миры, при этом, разумеется, устанавливая связь между ними и современностью. Поэтому можно сказать, что несовременных произведений нет. Любое художественное произведение, если оно соответствует требованиям искусства и жизненно правдиво,— современно. Я учился писать у хороших учителей, это были русские классики, и свои скромные творческие возможности устремил на то, чтобы работать в этом русле. Думаю, я выбрал правильный путь...

Однако то, над чем я работаю сейчас, никак не связано с прошлым, это наше время, современная жизнь. Тема не из великих, да и по объему это произведение будет небольшим. Речь идет вот о чем: здесь, у нас в Боснии, есть довольно большой металлургический комбинат. На этом комбинате в составе любительского театрального коллектива работала молодая актриса, которая пострадала во время несчастного случая и стала инвалидом. Комбинат предложил ей пожизненное денежное содержание, но она попросила, чтобы вся сумма предполагаемой пенсии была выплачена ей сразу. Остаток жизни эта актриса проводит в кафе на рабочей окраине города, где обычно до поздней ночи сидят и пьют посетители. Здесь она знакомится с разными людьми, разными судьбами, разными индивидуальностями, ее творческое воображение говорит ей, что лишь сейчас, когда она уже не может играть, она попала на настоящую сцену. Она полюбила

этот мир и потонула в нем, погибая физически, но возносясь в своей творческой фантазии. Словом, это рассказ о несбывшейся мечте актрисы.

2. На ваш второй вопрос я бы ответил так: уже тем, что истинное искусство, литература по своей сути гуманны, они миролюбивы. Литература воздействует на сознание, побуждает и вдохновляет на великие и благородные идеи и дела, хотя сама она ничего конкретно не решает, резолюции — не ее сфера. Но можно представить себе, в какой опасности оказался бы мир, если бы не было литературы, которая изображает войны как зло, а мир прославляет как добро и высшее человеческое счастье. Кроме того, литература гораздо больше, чем любое другое искусство, будит мысль. В частности, она заставляет задуматься и над тем, что самое главное для человека и как прожить как можно дольше под этим солнцем — вместе со своими родными, друзьями, товарищами, в любви и труде, а без мира это наше человеческое желание останется несбыточным.

Таким образом, литература как призыв, совет и мощное средство воздействия на человеческое сознание действительно выполняет роль часового на службе мира во всем мире. А насколько успешно она сможет осуществлять эту свою роль, будет зависеть от ее насыщенности миролюбивыми и гуманистическими идеями.



ХОСЕ АЛЬКАНТАРА АЛЬМАНСАР (Доминиканская Республика)

1. Будучи прозаиком, я стремлюсь выразить в художественном слове актуальные проблемы, стоящие перед обществом, в котором живу и которое хорошо знаю, проблемы, глубоко волнующие меня. В своих рассказах я опираюсь на реальную обстановку, сложившуюся в Доминиканской Республике, и в частности в ее столице Санто-Доминго, где я родился и прожил всю жизнь.

В данный момент я весьма озабочен вопросом, связанным с темными махинациями в верхах, в которые невольно оказываются втянутыми зависимые слои населения нашей страны. Я изучаю также проблему отчуждения, охватившего людей в последнее время и имевшего своим пагубным следствием переоценку нравственных ценностей, утрату национальных черт, социальную и духовную зависимость.

Меня продолжает интересовать проблема политического насилия со стороны государства и правящего класса по отношению к народно-демократическим и революционно настроенным массам населения, а также коррупция во всех ее проявлениях, поразившая высшие слои нашего общества.

Мой творческий метод — критический реализм. Но это никоим образом не означает, что я не признаю других форм образного мышления, кроме жизненного правдоподобия. Иногда, изображая реальные события, я пользуюсь приемами, свойственными жанру фантастики.

Сейчас работаю над новой книгой рассказов, названия к которой еще не придумал. Кроме художественных произведений я пишу очерки по социологии литературы, в которых анализирую общественные основы литературного творчества. Уверен, что такой анализ, в сочетании с другими методами исследования, весьма полезен для критического осмысления литературного процесса. Своими очерками я стремлюсь развенчать ценности, превозносимые косной традиционной критикой, и внедрить новый подход, опирающийся на тройственную связь: писатель—творчество—общество.

2. Делу мира может служить лишь такое литературное произведение, где перед читателем в высокохудожественной форме изобличаются зло и несправедливость, жертвой которых становится человек. Книга может сыграть решающую роль в понимании человеком той или иной проблемы, она может помочь ему найти себе место в борьбе за справедливое дело. Писатель-революционер не имеет права пассивно взирать на проявления агрессии, эксплуатации и неравенства. Долг гражданина обязывает его бороться. Долг писателя воодушевляет его на создание книг, созвучных идеям духовного прогресса.

ЛЮЧЕ Д'ЭРАМО (Италия)

1. Я смотрю на нынешние проблемы так, как если бы это были конфликты многовековой давности, по возможности бесстрастно. Этим я пытаюсь создать

определенную «утопическую» дистанцию, чтобы подойти объективно к окружающей и одновременно самовыражающей меня реальности, у которой морально я в плену. Я стремлюсь смотреть на настоящее глазами будущего. В свете этого воображаемого мира будущего, в котором человек освободится не только от экономической эксплуатации, но и от внутренних духовных ограничителей, я пытаюсь распутать некоторые сложные узлы современного общества. Таким образом, я пишу, чтобы понять.

У меня сердце рассказчика: я воспринимаю все через истории, жесты, образы, ощущения — иными словами, меня интересует, *как* происходят события. Мое внимание привлекает не только то, *как* социальные и экономические изменения предопределяют изменения в поведении людей, но и *как* человеческие замыслы могут повлиять на определенную ситуацию и ее изменить. Мысли и ощущения меняются с течением времени. Сравнивая ситуации в разных странах, различия между эпохами и классами, я лучше понимаю всю гамму настроений и в моем собственном мире — в Западной Европе: скрытая тяга к насилию, в которой проявляется и разъедающее души социальное соперничество, обостренное постоянным страхом потерять работу, а также неуверенность в будущем у молодежи, живущей во времена чудовищной гонки вооружений.

Роман, который я сейчас пишу, доводит все эти темы до крайности, до грани безумия. В нем я рассказываю историю трех путешественников, кочующих по Европе наших дней в поисках... Впрочем, нет, я не могу пока открыть, что же они ищут.

2. Искусство и литература способны внести лишь малый вклад в непосредственную борьбу за мир, но они могут заставить людей задуматься, вызвать у них желание действовать. Отвечая на такие вопросы, легко впасть в риторику. По моему мнению, искусство не предлагает готовых решений, но добавляет в общее суждение о проблеме еще одну грань — фантазию и тем самым дает читателю возможность лучше понять умозаключения автора.

Оставшись наедине с раскрытой книгой, читатель может остро и четко составить свое суждение о происходящих в романе вымышленных событиях. И в сущности это уже очень много — радость от прочтения доброй книги, раздумья над ней вызывают у человека желание отстоять мир. И если это желание распространится широко вокруг, то понемногу, быть может...

Michel d'Ersmo

ОТТО ШТАЙГЕР (Швейцария)

1. Я считаю важной задачей писателя показать в своих произведениях сегодняшние проблемы, конфликты, предрассудки и страхи людей, довести их до сознания читателя. При этом не следует, разумеется, забывать, что писатель не может предлагать решений. Он человек, как и всякий другой, его занимают те же вопросы, его мучают те же страхи.

В своих произведениях я и пытаюсь столкнуть читателя с этими проблемами современности. Заинтересовавшись действием романа, он знакомится с людьми (лучше и ближе, чем в жизни). Он живет вместе с ними, познает, как вершится их судьба, одни его привлекают, другие отталкивают. В любом случае (я так надеюсь) это заставляет его размышлять. В этом я и вижу одну из главных задач писателя: заставить читателя задуматься над проблемами. Сейчас я работаю над романом, где хочу показать, как мелки и смехотворны эгоистические цели, за которыми человек часто гонится всю жизнь,— почести, собственность, тщеславие и т. д.

2. Ныне людей сильнее всего гнетет боязнь новой мировой войны. Она неотступна: она постепенно вырастает — по крайней мере у нас — в боязнь жизни. Все больше молодых людей страшатся своего будущего. Они впадают в безразличие. Они говорят: «Нет смысла стараться что-то делать. Все равно мы ведь не пожнем плодов наших усилий. Раньше над нами разразится катастрофа».

Ясно, что эта боязнь жизни в той или иной форме находит свое отражение и в литературе. Никогда прежде в немецкоязычных странах не появлялось столько антивоенных книг, сколько в период между первой и второй мировыми войнами. Но они не смогли предотвратить возникновение национал-социализма и тем самым второй мировой войны. Поэтому писатель — если он не пустой мечтатель — не может ожидать, что одним своим произведением он вырвет людей из безразличия и летаргии. Для этого нужно нечто большее, чем роман. Но он может на своем скромном месте и своими скромными силами содействовать строительству мира. Неважно, увидит ли он результат своих стараний. Пусть он делает свое дело и не заботится об успехе.

Otto Stiger

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС (Коста-Рика)

История не знает такого тесного переплетения судеб разных народов, какое наблюдаем ныне мы, кому выпало на долю жить в XX веке. Все, что происходит в одном уголке планеты, сразу же или почти сразу вызывает отклик во всех остальных ее уголках. Любое событие или факт из области политической, экономической, научной, идеологической, военной затрагивает и меняет жизнь всех народов земли, вторгаясь в эту жизнь. Цены на нефть, устанавливаемые ОПЕК, победа ангольского народа, документ, подписанный в Санта-Фе [1], борьба партизан Центральной Америки, строительство гигантского газопровода в Советском Союзе, лазерный луч и его использование, наивный протест группы «Битлз», ухудшение условий международного обмена, голод, безработица, цены на золото, освоение космического пространства, торговля наркотиками, олимпийские рекорды, гуманизм фильма «Дерсу Узала» — все это прямо или косвенно имеет отношение к жизни каждого из четырех миллиардов обитателей нашей планеты.

Что же объединяет эти факты и события, столь несхожие не только на первый взгляд, но и по своей сути? Острейшее, достигшее сегодня небывалого накала противоречие между силами мира, гуманизма, свободы, социальной справедливости и социализма, с одной стороны, и силами смерти, угнетения, эксплуатации и империализма — с другой.

Вот почему не будет преувеличением, на мой взгляд, утверждать, что борьба за мир (особенно с появлением ядерного оружия) стала главным и решающим фактором современной действительности. Ныне властно звучит веление времени: спасти от гибели род человеческий, сохранить жизнь на земле.

Лишь в том случае, если удастся победить силы войны, империализма и эксплуатации (в сущности, это одно и то же), восторжествует гуманизм Дерсу Узала. Если же возобладают силы, несущие смерть, к чему тогда чудесный дар Дерсу Узала, дар слияния с природой,— ведь природы не будет, не будет великолепных таежных лесов Дерсу.

Если мы победим силы войны, еще более глубокий смысл приобретут неисчислимые жертвы, принесенные героическим народом Вьетнама в борьбе за освобождение. Но эти жертвы окажутся бессмысленными, если, в случае начала термоядерной войны, в первые же ее минуты превратятся в пепел все жители Вьетнама.

Если будет применено нейтронное оружие, останутся невредимыми стадионы, но на них никогда не появятся ни соревнующиеся спортсмены, ни зрители-болельщики. Иначе говоря, на карту поставлено не только само существование рода человеческого, но и (как это ни чудовищно и абсурдно) тысячелетние усилия человечества, направленные на покорение природы, на создание общества во имя того, чтобы сделать нашу планету подлинным домашним очагом — просторным и светлым — великой человеческой семьи.

Впервые в истории мы столкнулись со столь сложным клубком противоречий, политических, экономических, идеологических, которые взаимодействуют и влияют (в большей или меньшей степени) на разрешение главного противоречия нашего времени — между силами мира и силами войны.

Разумеется, все сказанное выше не означает, что не может быть иной, отличной от нашей, точки зрения по поводу этих проблем. Речь, конечно, идет не о немногочисленной, но могущественной группе, служащей силам войны. Мы имеем в виду лишь тех, кто на стороне сил мира.

Вполне понятно, что не каждый сальвадорский партизан имеет ясное и четкое представление о том, что, героически сражаясь за хлеб для своих детей, школу для своей деревни и свободу для своей страны, он вместе с тем борется и за разрешение главного противоречия наших дней.

То же самое можно сказать и о бастующих рабочих Буэнос-Айреса, Токио или Детройта, добивающихся повышения зарплаты. Сознательно или нет, но все они вносят свой скромный вклад в общую борьбу — это те капли, которые сливаются в ручьи, а ручьи наполняют реки, а реки, в свою очередь, сливаются в могучие потоки, впадающие в единый великий океан...

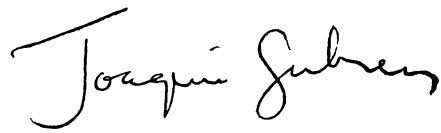
Пожалуй, то же самое можно сказать и о моих книгах. В них ничего нет о войне. Вслед за Гёте я хотел бы повторить, что не написал ни строчки о том, что не было мною пережито. Оба народа, которые я считаю родными,— коста-риканский и чилийский (я жил и работал в Чили) — за последние сто лет не знали войны.

В двух моих романах, «Пуэрто-Лимон» и «Умрем, Федерико?..», поднята тема эксплуатации, которой подвергают наши страны транснациональные банановые компании. Роман «Мангровые заросли» рассказывает о мучительном процессе обретения сознания женщиной. В центре повести «Кокори», написанной для детей,— мальчик-негр с берегов Карибского моря и его трудные поиски правды жизни. Роман «Вспомни, брат» посвящен истории группы чилийских студентов, время его действия — 1948—1955 годы, период жестоких репрессий на их родине. И, наконец, повесть «Листок на ветру». Речь в ней идет о человеке «надломленном и заблудшем»,

[1] Имеется в виду документ, разработанный так называемым «Комитетом американских экспертов в Санта-Фе» и положенный в основу империалистической политики администрации Рейгана в Латинской Америке на 80-е годы. *(Прим. ред.)*

как бы назвал его Пабло Неруда, сохранившем единственную мечту после того, как все остальные рухнули, столкнувшись с действительностью нашей Америки, жестокой и страшной. Надеюсь, мои книги — те же скромные капли, которые вместе с миллионами других сливаются в ручьи, а ручьи наполняют реки, а реки, в свою очередь, сливаются в могучие потоки...

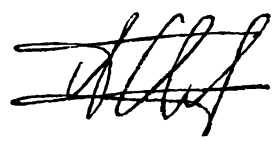
Вот и все.



АНДРЕ СТИЛЬ (Франция)

Современность задает вопросы. Большинство моих романов представляют собой ответы на вопросы, которые она ставит. Писать о современности — не обязательно означает предпринимать для этого какие-то особые усилия. Необходимо лишь писать о том, что вас волнует глубже всего, пусть и не до конца осознанно. Если писатель не равнодушен к своему времени, оно столь же естественно проникает в его сердце, как аромат и красота дерева или цветка, любовь женщины или друга. Даже личное горе не может заставить писателя уклониться от этого пути, что, без сомнения, легко заметить по двум моим последним книгам: «Врач-чародей» и «Сердечный человек».

Точно так же, сколь бы скромным ни был сюжет книги, сколь отдаленным ни казался бы он от решительного протеста против войны, все, о чем пишет влюбленный в мир человек, уже сражается за жизнь против смерти. Это выявляется гораздо сильнее, если в определенный момент писатель почувствует, что его долг состоит в том, чтобы всеми доступными ему средствами включить роман или стихотворение в самую необходимую борьбу — борьбу за мир. Писатель — избранник народа, его избирателями выступают читатели. Он обязан исполнять свой долг, и люди лучше понимают писателя, когда он — и в жизни, и в книгах — говорит с ними о мире. Трусостью является именно приятие войны, а не страстное утверждение мира.



АЙИ КВЕИ АРМА (Гана)

1. Мои читатели — африканцы и представители других континентов, поддерживающие борьбу народов Африки за национальное освобождение и социальную справедливость. Памятуя об этом, я стремлюсь способствовать росту самосознания африканцев, касаясь в своих книгах прошлого и будущего наших народов, поднимая проблемы современности, предлагая пути их решения.

В настоящее время заканчиваю роман о передовых людях Африки, ищущих ответ на важнейший вопрос: как создать социальную систему, способную противостоять внутренней и внешней реакции, и положить конец угнетению. Фабула романа опирается на ряд древних преданий.

2. Думаю, прочный, незыблемый мир можно установить на нашей планете только при условии полного взаимопонимания между народами. Произведения искусства и призваны способствовать такому взаимопониманию. А из него, в свою очередь, должно вытекать уважение справедливых устремлений каждого народа и непримиримое отношение к вредным предрассудкам, порождающим несправедливость и угнетение.

При ответственном отношении к литературному творчеству писатель может донести до читателя любой страны все богатство души и культуры своего народа. И чем больше это богатство, чем крепче культурные связи между народами нашей планеты, тем реальней станет перспектива всеобщего мира.

МАНУЭЛ ФЕРРЕЙРА (Португалия)

1. Я живу в западном мире, где человеку все еще не обеспечены элементарные условия существования (пища, жилье, охрана здоровья, образование).

Эта проблема не может быть решена без глубокого социального переустройства. В капиталистическом обществе неравенство во всех его обличьях ощущается крайне остро. Живущим в нем необычайно трудно реализовать себя во всей полноте. Вот почему в недрах этого общества идет непрекращающаяся ожесточенная борьба: по одну сторону — те, кто сознательно или бессознательно защищает установленный порядок (а вернее — беспорядок), добытые привилегии, по другую — те, кто жаждет обрести свое место под солнцем, борется за социальную справедливость. По одну сторону — те, кто хочет сохранить старое или допускает лишь самые незначительные уступки времени, по другую — борцы за новое, за коренную перестройку системы, уверенные, что именно таково необходимое условие уничтожения механизма экономической эксплуатации и идеологической агрессии.

Писатель, осознающий противоречия капиталистической системы, остро чувствующий ее бесчеловечность, берясь за перо, не может не проникнуться высочайшей ответственностью. Лично я стремлюсь, чтобы мои книги — независимо от того, поднимают ли они европейские или африканские темы,— давали представление об этой противоречивой социально-экономической реальности, отражая тревоги и чаяния людей эпохи, в которую мы живем.

Убежден, что литературное произведение должно отвечать определенным требованиям — без этого ни один роман, рассказ или драма не станут подлинно художественными созданиями. Я противник голой памфлетности, демагогии, я — за настоящую литературу. Одного только благого намерения автора недостаточно, чтобы родилось истинное произведение искусства. Но если писатель — как гражданин — понимает, что общество преображается и развивается по законам диалектики, тогда он — как художник,— объективно рисуя жизнь, следуя жизненной правде, сумеет отразить в своих произведениях самые насущные проблемы наших дней.

В последние годы я посвятил себя историко-культурным исследованиям португалоязычного региона Африки. Эти исследования вылились в эссе, антологии поэзии, снабженные комментариями и примечаниями. Руковожу также изданием журнала «Африка», веду курс португалоязычных африканских литератур на филологическом факультете Лиссабонского университета. Кроме того, на моем письменном столе — ряд работ, посвященных Африке. Не говорю уже о том, что в связи с моими «африканскими занятиями» мне приходится откликаться на множество просьб, нести множество обязанностей. В силу этого все меньше времени остается для творческого труда. Никак не удается закончить давно начатый роман — по замыслу он должен отразить португальскую и одновременно африканскую действительность с эпохи Великих географических открытий и становления колониализма вплоть до периода вооруженной борьбы и национального освобождения бывших португальских колоний.

2. Второй вопрос затрагивает ряд сложных проблем. Достижение счастья на земле требует соединения многих усилий (и сколько бы их ни было, ни одно не окажется лишним), усилий тех, кто верит, что счастье возможно и должно быть завоевано. Точно так же и мир — высшее благо человечества — может быть обеспечен лишь благодаря совместным действиям всех людей доброй воли, проникнутых гуманизмом, наделенных чуткой совестью. Выступление какого-либо выдающегося лица, высказывание государственного деятеля, международная встреча на высоком уровне, кампания через посредство «масс-медиа», мощная манифестация, серьезно подкрепленная декларация мирных принципов, десятки тысяч подписей под воззванием против размещения ядерных установок, разъяснительная работа, статьи в газетах, интервью,' комментарии, заявления — каждое такое действие или мероприятие, взятое в отдельности, мало что может изменить. Но все эти (и многие другие) действия, слитые воедино, могут — и должны! — стать решающими в деле сохранения мира.

Проще всего было бы сказать, что литературное произведение само по себе не в силах сохранить мир. И все же нельзя отрицать, что литературе принадлежит важное место в ряду тех факторов, которые помогают людям осознать, что ныне речь идет даже о том, уцелеет ли вообще человечество.

Каким же образом литературное произведение может внести свой вклад в дело мира? На мой взгляд, самыми различными и подчас неожиданными способами. Литературное произведение (прежде всего стихотворение или поэма, обращенные непосредственно к читательскому сердцу), воспевая мир или напоминая об ужасах войны, предупреждает тем самым о нависшей над всеми опасности конфликта, способного охватить всю планету... Но, думается, достаточно и того, чтобы литературное произведение (пожалуй, роману здесь принадлежит особая роль), с его сложной организацией, с его специфическими, тонкими возможностями, просто изображало или воспевало человеческую любовь, тепло дружбы, братство между людьми — этим оно убеждает читателя в том, что прогресс и торжество счастья мыслимы лишь в условиях мира и гармонии, что жизнь человеческая озарится радостью и верой в будущее лишь тогда, когда будет обеспечено мирное сосуществование. Это значит, что книга, при

всем бесконечном разнообразии оттенков ее смысла и звучания, может стать весьма весомым вкладом в борьбу за сохранение мира на земле.

РАУЛЬ ЛАРРА (Аргентина)

1. В произведениях, над которыми я сейчас работаю, проблемы современности отражаются через призму проблем национальных.

Аргентина, как и другие страны Латинской Америки, стоит перед важнейшей национальной задачей: добиться экономической независимости. На мой взгляд, эта задача тесно связана с вопросом о мире. Независимость страны во всех областях и сохранение мира — основные вопросы, которые сейчас волнуют меня. В своих романах, написанных по большей части в биографическом жанре, я старался создавать образы военных, которые защищают национальное достоинство и способствуют индустриальному развитию страны, например: «Москони, генерал нефти», «Савио, аргентинец, который закалял сталь», «Генерал Бальдрич и защита аргентинской нефти», «Хорхе Ньюбери и завоеватель воздушного пространства».

В этих книгах исследуется современная эпоха и ставятся социальные проблемы. Кроме того, несколько месяцев назад я опубликовал «Et cétera» — книгу литературных и прочих воспоминаний. Стремлюсь, чтобы национальный дух всегда пропитывал мои произведения.

2. Считаю, что произведение подлинной литературы должно говорить простым людям о той опасности, которую несет современный империализм. Воздействуя на национальное сознание, скажем, народов Латинской Америки, оно может разоблачать агрессивный характер империализма англо-американского, чью антигуманную, жестокую сущность снова обнажила недавняя война Англии против Аргентины на Мальвинских островах.

ЖАН БРИЕР (Гаити)

Тому, кто хочет составить представление о состоянии общества, следует обратиться не только к экономистам, но и к писателям.

Писатель, где бы он ни находился,— свидетель своего времени. Более чем кто-либо другой он должен рассказывать о том, что пережил. К этому обязывает его призвание.

Историк описывает былое, пользуясь архивными документами, которые излагает в соответствии со своим восприятием действительности и идеологией. Он говорит о фактах, которых сам не пережил, о событиях, которые знает по слабому отзвуку, доходящему до него в свидетельствах той эпохи.

Писатель живет и сам творит историю. Например, нынешнее поколение может почерпнуть подробнейшие сведения о сопротивлении советских людей гитлеровскому нашествию из исторических книг. Но живую правду об этом сопротивлении, правду во плоти и крови, можно найти в произведениях советских писателей — поэтов и романистов, которые на фронте или в тылу пережили трагедию войны. Взгляд писателя на свое время, острота, с которой он воспринимает проблемы этого времени, выводы, которые он делает, осмысливая жизненные коллизии своего народа и свои собственные, являются необходимыми кирпичами здания исторической ПРАВДЫ.

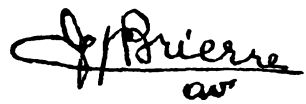
Я писатель-изгнанник. Я воспеваю свою утраченную родину, пытаюсь вспомнить прошлое, нарисовать профили мучеников, расставить вехи на кладбище наших потерь, понять, как мог постыдный натиск варварства сломать хребет мужеству и гордости целого народа. Мой протест — это крик души, крик непокорности. А если моим вдохновением и завладевают мечты, ведь сердце не может постоянно быть на военном положении, то неизменная глухая горечь в сердце бойца превращает интимное лирическое стихотворение в симфонию о едином для всего человечества стремлении к свободе и справедливости.

Сейчас я пишу воспоминания, рассказы — «Голоса утраченной родины».

Произведение искусства, разоблачает ли оно, протестует или обвиняет, воспевает ли красоты природы, жизнь, осмысливает ли сигналы, доходящие до нас из вселенной,— в любом случае отражает насущнейшую потребность художника вырваться из своего одиночества и сообща трудиться ради установления такого порядка ве-

щей, при котором был бы упразднен закон джунглей, в человеке исчезло бы звероподобное, отношения между людьми строились бы на основе любви, солидарности и справедливости.

Ни звериный рык, ни жажда крови, ни песнь массовому убийству не могут воплотиться в настоящее произведение искусства. Оно как дыхание весны, которое посвящает нас в радость общения с природой, заставляет оберегать полевой цветок, родник, птицу, учит величию и мужеству Мира.



АНХЕЛЬ АУХЬЕР (Куба)

1. Уверен, что в наше время творческий работник не может не касаться важнейших проблем, стоящих перед человеком — представителем современного общества, даже если он намеренно поставит себе целью их избегать. Что касается меня, живущего чаяниями своего народа кубинского писателя, которому дороги революционные преобразования в его стране, то в моих творческих планах эти проблемы являются решающими и определяющими. В моих стихах неизбежно находит отклик готовность нашего народа отразить агрессивные поползновения империалистического правительства США, не прекращающиеся с 1959 года и участившиеся в последнее время. Необходимо подчеркнуть, что направлены они не только против Кубы, но и против Никарагуа, стран Карибского бассейна и Центральной Америки, уже освободившихся или продолжающих борьбу за национальное освобождение. И это лишь часть общей военной угрозы со стороны империализма, нависшей сейчас над человечеством. Со своей стороны, и наша борьба против зловещих планов США в отношении упомянутых стран является лишь частью общей борьбы всех народов за мир.

Если говорить о моих очерках, то и в них звучит тема борьбы, которая, несомненно, не может не присутствовать сегодня в творчестве каждого честного художника.

Наряду с работой над новой книгой стихов и биографическим исследованием о Николасе Гильене (в связи с 80-летием поэта, отмечавшимся в июле нынешнего года), в последние месяцы я много занимался и организационными вопросами — принимал участие в подготовке к III съезду Союза писателей и деятелей искусств Кубы, вице-президентом которого имею честь состоять. На этом форуме мы обсудили насущные вопросы современности, говорили об ответственности творческой интеллигенции перед своим временем. Кубинские писатели подтвердили, что разделяют позицию наиболее прогрессивного отряда своих коллег во всем мире, так как выступают за мир и социализм.

2. Думаю, что сегодня самым насущным требованием времени является мир и что люди творческого труда — будь то писатель или художник — постоянно должны работать на благо человека и его будущего, а значит — на благо мира. Именно об этом говорится в резолюции III съезда Союза писателей и деятелей искусств Кубы: «Если искусство, включая литературу, имеет какой-нибудь смысл, именно сейчас пришло время доказать это. Если искусство означает нечто большее, чем предмет роскоши, если оно существует, чтобы утолять жажду знаний, заражать стремлением к совершенству и гармонии, заставляющим радостно биться человеческие сердца, то именно теперь настал час доказать, что это так. Недостаточно присоединиться к публичным заявлениям, сколь благородными они ни были бы. Нужно, не жалея сил, убеждать людей, предупреждать их об опасности, поднимать на активную борьбу за своевременное предотвращение катастрофы, которая превратила бы земной шар в гигантскую Хиросиму и была бы трагичной в своей бессмысленности жертвой, принесенной на алтарь тьмы, опустошения, смерти.

Поэзия слова и музыки, язык красок и пластики, свет и тень, пространство и время должны сегодня, пока еще не поздно, выступить в защиту жизни, без которой они не могут существовать».

ИРВИНГ СТОУН: «ФУНКЦИЯ ИСКУССТВА — СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ОСМЫСЛЕННОЙ...»

ВОПРОС: Мистер Стоун, вы известны как автор биографических романов. Среди тех, что переведены на русский язык, «Жажда жизни» — о Винсенте Ван Гоге, «Моряк в седле» — о Джеке Лондоне, «Муки и радости» — о Микеланджело, «Греческое сокровище» — о Генрихе Шлимане. Как видим, вас можно с полным правом назвать писателем, пишущим на исторические темы. В чем связь того, о чем вы пишете, с современной действительностью? Ответ на этот вопрос тем более интересен, что тема состоявшейся советско-американской дискуссии была сформулирована так: «История и современность».

ОТВЕТ. Ответ заключается в том, что я всегда писал художественные биографии, но никогда не писал о живых людях. Результаты жизни живых еще подлежат оценке, а я пишу о тех, которые уже сделали свое дело, внесли какой-то вклад.

Моя первая книга была о Винсенте Ван Гоге. В те времена это имя было известно, может быть, двум сотням американцев и сотням двум европейцев.

Самым популярным художником в Америке был тогда Максвелл — как его звали? Да, Максвелл Париш: идиллические картиночки с мужчинами и женщинами; невозможно было отличить женщину от мужчины: ни признаков пола, ни реализма, ничего.

После выхода в свет моей книги Музей современного искусства, который планировал выставку Ван Гога на 1940 год, решил устроить ее немедленно — настолько большой возник интерес.

Выставка состоялась в 1936 году. Ее возили в Филадельфию, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско, и почти везде я выступал на открытии.

Можно сказать, что книга о Ван Гоге способствовала росту интереса к живописи и новой ее оценке. Сентиментальная, слезливая, барочная живопись, вся эта старая живопись, в которой нет ни правды, ни реализма, ни настоящего ви́дения жизни, уступила место картинам Ван Гога, Сезанна, Гогена, Тулуз-Лотрека, Ренуара, Дега и других — всей школе импрессионистской и постимпрессионистской живописи.

Смею утверждать, что, когда вы пишете об истории и заставляете ее оживать, в живой современности создаются условия, которые изменяют вкусы людей, делают их более зрелыми. А если меняются вкусы в отношении живописи, они меняются и в отношении литературы, театра, танца, архитектуры. Иными словами, человек обретает более зрелый взгляд на мир. Поэтому, создавая книги об истории, я пытался дать новую перспективу; это был взгляд из современности.

ВОПРОС. Вы очень точно определили жанр, в котором создаете свои произведения,— художественная биография. Разрешите в этой связи привести сделанное вами однажды признание: «Даже располагая бесконечно обширной документацией, невозможно проникнуть в сокровенный мир человека... без помощи художественного воображения романиста».

Те, кто читал ваши книги, знают, что правда искусства достигается в них умелым, мастерским сочетанием исторической достоверности с художественным вымыслом. Над чем вы сейчас работаете? Это тоже будет художественная биография?

ОТВЕТ. Да, я работаю над биографическим романом. Работаю над ним уже два с половиной года. Два года ушли на сбор материалов, на исследовательскую работу, преимущественно во Франции, но и в Англии тоже. Теперь я вернулся к себе в Калифорнию, мой стол завален десятью тысячами страниц — это все заметки, полки заставлены справочными материалами. Получилось так, что вначале я написал о художниках-постимпрессионистах, а теперь пишу об импрессионистах. Это Дега, Ренуар, Писарро, Сислей и другие, это замечательные люди, которые пришли в живопись до Ван Гога, Гогена и Сезанна. Яркий, увлекательный период в истории искусства. И хотя в моей книге нет главных героев, но все-таки можно сказать, что помимо главных героев я еще даю портреты художников 30-х годов прошлого века во Франции, тех лет, с которых и началась революция в искусстве. Это Коро, Милле, Добиньи и дюжина других. Они сейчас мои любимцы, а рядом с ними вы обнаружите и Гогена, и Сезанна, и всех остальных, кто совершал революцию в искусстве Франции, которая затем распространилась повсеместно и перестроила отношение к искусству, сообщила новый взгляд на мир. В этом и заключается цель искусства — в перестройке взглядов человека, стимулов человека, с тем чтобы он мог более зрело оценить действительность, чтобы он мог с большей эмоциональностью подойти к тому, что несет искусство человечеству сегодня.

ВОПРОС. Таким образом, в вашем новом романе будет много героев?

ОТВЕТ. Очень много! Тридцать — сорок героев я считаю главными. Конечно, в центре будет один, а все остальные будут так или иначе связаны с ним.

ВОПРОС. Обычно ваше внимание привлекает личность яркая, нередко противоречивая, крупно заявившая о себе своим делом. Делом, которое сообщает смысл бы-

тию. Ваш последний роман «Происхождение» — о Чарльзе Дарвине. Кто же будет на сей раз этим одним, главным героем?

ОТВЕТ. Как раз этого я и не хочу пока говорить! Мне еще предстоят года два работы, а я никогда не называю главного героя, пока рукопись не завершена. Вот встретимся через год — я, может быть, расскажу больше.

ВОПРОС. Вы сказали: «Цель искусства — в перестройке взглядов человека...» Сегодня, когда нет вопроса насущней, чем сохранение мира на земле, каким образом, вы полагаете, литература может содействовать этому? И что по силам здесь писателю?

ОТВЕТ. Функция искусства — сделать жизнь осмысленной. Если смысл жизни в том только, чтобы работать, есть, спать, иногда — заниматься любовью, то все это не столь уж важно, и человек не станет бороться за сохранение такой жизни. Меня поразило, что на писательской встрече в Киеве и советские и американские писатели были весьма красноречивы, все говорили о необходимости мира и ограничения вооружений. Однако никто не предложил выработать какую-то программу действий, направленных на предотвращение угрозы войны и гонки вооружений. Но если нет программы, то я не понимаю, каким путем мы собираемся запретить это оружие. Поэтому я не спал всю ночь перед заключительным заседанием нашей писательской встречи и предложил программу действий.

Может быть, я наивен, может быть, я идеалист, но, как бы там ни было, суть моей программы в следующем.

Должны быть гарантии ненанесения первого удара. Советский Союз уже дал эти гарантии. Мое правительство, к сожалению, пока такой гарантии не дает.

Во-вторых, должно быть заморожено производство всех видов ядерного вооружения.

Советский Союз уже заявил об этом, а правительство Соединенных Штатов — нет.

Но замораживать производство имеет смысл только в том случае, если немедленно начнется сокращение ядерных вооружений в течение ближайших трех—пяти лет.

Ну и как же нам добиться этого сокращения? Сокращения до уровня безопасности, необходимого, чтобы иметь возможность обороняться от других стран, располагающих ядерным оружием. На свете есть три страны, располагающие ядерным оружием, помимо СССР и США. Это обстоятельство тоже надо принимать во внимание.

Необходимо незамедлительно установить партнерство между Советским Союзом и Соединенными Штатами, основанное на взаимном доверии и подкрепленное соответствующими юридическими документами, предусматривающими полную свободу проверки и осмотра с обеих сторон.

Мое следующее предложение заключается в создании объединенного советско-американского комитета для наблюдения за производством ядерного оружия в мире, который должен сообщать обо всем, что будет обнаружено.

И последнее — я предлагаю печатать на всех языках списки всех ядерных вооружений, имеющихся у всех стран мира, а также сообщения обо всех исследованиях в этой области, обо всем оружии, которое находится в процессе изготовления. Если бы мы могли в течение трех—пяти лет следовать этим курсом, я думаю, что нам удалось бы уменьшить опасность ядерной войны.

ВОПРОС. А как может произведение искусства, литературы, ваша собственная книга, например, способствовать сохранению мира?

ОТВЕТ. Не знаю. Не знаю, каким образом мои книги могут содействовать этому. Но полагаю, что я приехал в Киев на эту писательскую встречу, чтобы вместе с советскими писателями и моими американскими коллегами на этой замечательной встрече выполнить наш писательский долг, самую важную его часть — назвать те проблемы, которые угрожают людям ядерным истреблением, и попытаться выработать программу, способную продвинуть нас вперед, чтобы наши страны, Советский Союз и Америка, шаг за шагом, год за годом достигли периода спокойствия и избавили наши народы от смертельного страха. Этот страх существует и в Соединенных Штатах, и здесь, в Советском Союзе. Страх ощущался все четыре дня, пока шла наша встреча в Киеве: и русские и американские писатели говорили о страхе перед всеобщим уничтожением. И я подумал, что это мой долг — наметить простую программу для начала, которая затем может быть разработана, уточнена, изменена, но по крайней мере мне хотелось положить хоть какое-то начало. Конечно, можно сказать, что это не дело художника, но я не понимаю, почему художник не может иметь права предложить программу достижения «ядерного мира», а не катастрофы.

ВОПРОС. Скажите, пожалуйста, хотя бы в нескольких словах, каковы ваши впечатления от встречи советских и американских писателей?

ОТВЕТ. Начну чуть издалека. Я впервые побывал в вашей стране в 1962 году в рамках программы культурного обмена, подписанной Госдепартаментом США и Министерством культуры Советского Союза. Я обнаружил, что за эти годы произошло множество поразительных перемен. Скажу лишь о самых простых вещах. Одежда на людях лучше по качеству и по покрою. Больше товаров; может быть, не все есть, что хотелось бы, но товаров явно больше, а очереди явно меньше. Люди, особенно молодежь, показались мне стройнее, они в лучшей форме, чем двадцать лет назад. Одна из самых важных перемен — люди на улицах, особенно молодежь, улыбаются, смеются, болтают, веселятся, ходят в обнимку с таким видом, будто все прекрасно,— как оно и есть на самом деле. Двадцать лет назад было не так — тогда выражение лиц было по большей части озабоченным.

Я отметил также очень интересную вещь в подходе СССР к религии. Люди знают о своей религии как о странице в истории культуры, относятся к ней как к историческому прошлому, ей уже никогда не возродиться в качестве реальной силы. В то

же время церкви бережно сохраняются, в них все великолепно выглядит, они открыты для всех — как и должно быть.

А что касается встречи, то она прошла в атмосфере дружелюбия, теплоты и гостеприимства. Я четвертый раз в СССР, встречаюсь с советскими писателями — и никогда не было иначе.

СТАДС ТЕРКЕЛ:

«В ВЫЯВЛЕНИИ РАНЕЕ СКРЫТОГО И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ ЛИТЕРАТУРЫ»

ВОПРОС. Писатель и современность. Для человека, в известной мере знакомого с вашим творчеством, мистер Теркел, эта проблема возникает сама собой. Если взять произведения, которые знакомы читателям «Иностранной литературы»,— «Улица Разделения: Америка», «Работа» (последняя вышла отдельным изданием) или те, что еще незнакомы,— все они, говоря словами одного из американских рецензентов, «свидетели конфликтов современности». В них сгусток проблем, которые волнуют в США людей разных характеров, разных социальных слоев. Как вы пишете в своей недавней автобиографической книге «Разговариваю сам с собой. Воспоминания о моей эпохе», задача ваша — передать «неровный пульс нашего века». По форме это обычно строго документальное повествование, часто— своеобразные интервью, когда автор, сам оставаясь «за кадром», дает слово лишь тем, с кем ведет беседу. Но именно он цементирует рассказ, обладая даром вызывать человека на разговор. Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве, о целях, которые преследуете.

ОТВЕТ. Прежде всего каким образом отражается современность в моем творчестве?

Мой подход к литературе — можете звать это историей или журналистикой — заключается в том, чтобы уловить настроения, чувства большинства. Я, конечно, говорю о своей стране, Соединенных Штатах.

Мне интересны люди, которых, как правило, не слышат,— безымянное большинство. Мы обыкновенно знаем, что думают знаменитости, и всякий знает, что это такое,— эти люди на виду: политические ли деятели, киноактеры, рок-певцы или писатели.

А я стараюсь узнать, что думают простые, незнаменитые люди, те, кто трудится и кем движется земля И кто сегодня чувствует, что не может высказаться, у кого нет прав — и нет возможностей. Многие из них настроены фаталистически: а что я могу?

Я же вижу их совсем не так, как они видят себя: я вижу, как необыкновенны эти обыкновенные люди. Я точно знаю, что в каждой общине, в каждой группе людей есть человек, частица этой группы, он не элитарен, этот человек, он просто всех знает, его все зовут по имени, и есть у него какая-то способность смотреть вовнутрь вещей. И этот человек — мужчина или женщина — может выразить чувства членов группы, хотя сами они выразить эти чувства не могут. Есть такое английское слово — inchoate. Это значит — не умеющий выразить себя. А этот человек умеет, умеет выразить, что чувствуют другие.

Моя первая книга называлась «Улица Разделения: Америка» — о людях, живущих в большом американском городе, в Чикаго. Большом типичном американском городе тех времен. Сейчас все так переменилось — к лучшему или к худшему, не знаю.

Второй была книга воспоминаний о Великой американской депрессии.

Третья называлась «Работа» — книга о разных профессиях.

За ней последовала книга воспоминаний — беседы с самим собой и, наконец, «Американская мечта — утраченная и обретенная», о которой я расскажу в другой раз.

В этих книгах отражение современной жизни. Но не только ее поверхности. Глубоко-глубоко, в самой глубине, куда не добираются ни газеты, ни даже телевидение, есть такая штука: опрос общественного мнения. Что вы думаете о взрывах расовых конфликтов? Я — за них, я—против. Что вы думаете об узаконенных абортах? Я — против, я — за! Это все полная чепуха. Необходимо знать, что представляет собой человек, который отвечает на эти вопросы. И самое главное — что именно заставило его ответить на этот вопрос так, а не по-другому. Почему он так ответил? Что толкнуло? Что за человек?

Вот это, по-моему, и есть отражение современной жизни, потому что нет у меня никаких сомнений насчет того, что не только в Соединенных Штатах — во всем мире большинство людей не имеет возможности высказаться и понимает это. Очень многие. И это порождает в них ощущение беспомощности. Но вот в Америке — я говорю об этой стране, потому что я ее знаю,— иногда, кое-как, кое-где удается заставить этих людей говорить. И они это делают охотно.

Но что самое прекрасное и что приносит самое большое удовлетворение — я иногда получаю письма, или меня останавливают на улице, и мне говорят: «Знаете, я прочитал «Работу», и я больше никогда не буду разговаривать с официанткой как раньше,— я теперь знаю, как ей живется, и больше с ней так говорить не буду. И с телефонистками больше не буду ругаться». Значит, этого человека задело за сердце — он понял, что такое жизнь другого человека.

И в этом смысле, думаю, что мне как писателю повезло.

ВОПРОС. А над чем вы сейчас работаете?

ОТВЕТ. Надеюсь, что это вам покажется интересным,— я работаю над книгой о второй мировой войне.

Так вот, эта вещь для меня — как бы продолжение того, что я писал о трудных временах Великой депрессии. Сходство еще и в роли, избранной президентом,— а президент сделал тогда много доброго — был объявлен «новый курс», у людей появилась работа, начался расцвет искусства и театра, музыки, живописи, началось усиленное строительство дорог — все это было частью «нового курса». Миллионы людей получили работу, делалось очень много, электрифицировались деревни, но все-таки даже после окончания депрессии у нас оставалось без работы десять миллионов человек. Десять миллионов! Даже одиннадцать! Война, которая последовала за депрессией,— война, о которой молодые американцы почти не знают. У вас в Советском Союзе об этой войне знают все, потому что она обошлась вам в двадцать миллионов жизней. Мы потеряли 400 000 солдат — молодых и здоровых людей, но все равно это не двадцать миллионов И еще — огромная разница в количестве жертв среди мирного населения.

Почему я взялся за эту книгу? Хочу восстановить тот период. Мы почти утрачиваем чувство истории, и это меня очень тревожит. Мы почти не знаем прошлого, а не зная прошлого, легко повторить старые ошибки.

Как говорил известный философ Джордж Сантаяна: «Если забываешь прошлое, обрекаешь себя на то, чтобы прожить его снова в будущем».

Большая часть американских военных воспоминаний субъективна. Я опять-таки говорю об Америке, потому что знаю эту страну. Я напоминаю Америке о «хорошей» войне.

«Хорошая» в двух смыслах: это была война против фашизма и последняя война с целью, которую поддерживали народы: остановить Гитлера, остановить фашизм. Но хороших войн не бывает, поэтому слово «хороший» приобретает иронический оттенок.

Хорошая, потому что все остальные были сомнительными. Я пишу обо всем: американские японцы в концлагерях, итальянские события и роль Муссолини, женщины, вынужденные делать мужскую работу в Америке, формирование совершенно нового облика Америки.

Я пишу и о том, что потом наступили времена Маккарти, началась «холодная война». И, конечно, о бомбе.

И все это — и мелкие события, и такое событие, как высадка в Нормандии, будет как бы панорамой. Но приезд в СССР добавляет другое измерение. В книге много портретов. Среди них моложавая немка, живущая сейчас в США, в молодости она жила в Гамбурге или Франкфурте. Ее воспоминания.

Священник, французский священник в Чикаго, работает в бедном приходе, а мальчишкой он участвовал в Сопротивлении в маленьком французском городке.

Конечно, приехав сюда, я разговаривал с участниками Сталинградской битвы — поворотного события второй мировой войны, во всяком случае на европейском театре войны. Я видел людей, которые пережили блокаду Ленинграда.

Понимаете, для меня эти беседы как бы вставные, неамериканские главки моей книги.

Вот вы меня спросили, что может сделать литература, чтобы предотвратить войну. А что может быть эффективнее книги того типа, о которой я вам рассказываю?

Но помимо вклада в борьбу за мир, мне эта книга любопытна еще по одной причине — она как вызов: почему люди ведут себя вот так, а не иначе? Чего они хотят добиться? И опять-таки мы говорим о безымянных миллионах — они меня интересуют. В моей книге почти нет знаменитых людей, то есть они, конечно, есть, появляются, когда они мне нужны по ходу событий. Например, я пишу об актрисе Джоан Кроуфорд — судьба этой женщины «подошла» к моей теме. Это же касается и других, имена которых известны. Я очень люблю Брехта, люблю это его стихотворение, где он спрашивает: кто построил Фивы о Семи Вратах? А в скобках спрашиваю я: а пирамиды кто построил? В учебниках истории говорится, что пирамиды построили фараоны. Ерунда, они и пальцем не шевельнули — пирамиды построили безымянные рабы. Дальше он спрашивает, а когда Цезарь завоевал Галлию, разве не было в армии поваров? А когда строилась Великая китайская стена, куда ходили каменщики есть? В учебниках истории написано: 1588 год был великим годом для Англии — сэр Фрэнсис Дрейк разбил «Непобедимую армаду».

И Брехт говорит: мы читаем, что король Испании Филипп II плакал, когда тонули корабли армады. А что, ничьи больше слезы не пролились? Вот это — «ничьи больше слезы не пролились» — и есть суть всех моих книг. Вот об этом я и пишу.

Мне нравится моя работа. Я люблю расспрашивать людей, видеть, как они раскрываются навстречу искреннему интересу к себе. Люди раскрываются, а ты чувствуешь себя Колумбом, открывающим новые земли. Люди говорят то, чего раньше не говорили. Как иногда человек, которого никогда не записывали на магнитофон, вдруг просит послушать запись. Включишь, он послушает и говорит: а я и не знал, что я так говорю! Это просто откровение для человека, но это откровение и для тебя!

ВОПРОС. Вы впервые участвуете в советско-американской писательской встрече, и, насколько известно, это ваш первый приезд в Советский Союз. Может быть, вы скажете несколько слов о своих впечатлениях?

ОТВЕТ. Я действительно впервые здесь, поэтому я могу говорить о первых впечатлениях. Прежде всего — ваша молодежь. Не знай я, что я в Советском Союзе, я мог бы подумать, будто я в Чикаго,—та же молодежь, тот же внешний вид, жизненная сила и веселье. Я думаю, что еще никогда так не сближалась молодежь разных стран, как в наше время. И понятно: век коммуникаций — телевидение, радио, популярная культура, рок, кино... И именно поэтому воинственная болтовня, которая всегда бы-

ла безумием, сейчас больше чем безумие, она за пределами безумия, сейчас этому слова не подберешь. И не из-за ракет с ядерными боеголовками — в этой войне не будет победителей, невозможно выиграть современную войну: вот в чем суть безумия. Но дело еще и в том что молодое поколение сейчас сплочено теснее, чем какое бы то ни было другое поколение. Вот почему так чудовищны разговоры о том, что нам придется воевать против *них*. Вы говорите: «они» о нас, а мы говорим: «они» о вас. А между тем в нашем словаре уже не должно быть места такому слову — «они». «Они» не должны непременно означать противника.

Общее впечатление от пребывания в вашей стране — впечатление дружелюбия и гостеприимства.

И я вот что хочу подчеркнуть — нам оказывает гостеприимство Союз писателей, писатели, люди с весом. Их отношение к нам понятно, но вот эти женщины в нашей гостинице, у которых мы берем ключи,— до чего же они сердечны и милы! Мы для них не люди Запада — просто люди. И все эти разговоры о русской мрачности, замкнутости — какая ерунда! Ты к ним по-дружески, и они к тебе с тем же. Это нормальная человеческая реакция.

ВОПРОС. А что вы скажете о писательской встрече?

ОТВЕТ. Встреча? Это был свободный, приятный и оживленный обмен мнениями. Я лично не большой поклонник встреч. Я предпочитаю знакомиться с людьми на улицах, разговаривать с ними один на один. Такого рода знакомства могут дать больше представлений об обществе, чем дискуссии за столом. Конечно, я горжусь тем, что оказался вместе с известными американскими писателями, с крупнейшими советскими писателями, но мне становится скучно, когда одна сторона доказывает свою правоту, а другая отвечает доказательством своей правоты.

Эйнштейн сказал (я буду свободно цитировать): мир совершил огромный скачок в области науки, квантовый скачок в ядерную физику, скачок в компьютерную технику... Но мир не совершил скачка в мышлении. Ни в социальном мышлении, ни в культурном, ни в других аспектах. Поэтому пока еще никто не запретил странам нападать друг на друга, и это может привести к катастрофе. Мы должны совершить этот скачок.

Я — за обмен мнениями. Но мне бывает скучно, когда писатели встречаются, чтобы обмениваться уже известными формулировками, которые слышал раньше.

К счастью, возможно и другое — как мы с моим другом Анатолием вчера! Он повел меня в музей, и это было прекрасно И интересно быть у него в комнате, и видеть все эти разбросанные бумаги, и чашку с чаем, не чашку, собственно, а стакан, и там же бегают малыши и стоит старое кресло-качалка... Прекрасно!

ВОПРОС. Когда стало известно, что на писательской встрече будет Стадс Теркел, наш автор, мы обрадовались, но, учитывая основную тему встречи, несколько удивились: имеет ли Стадс Теркел отношение к истории? Впрочем, конечно имеет, поскольку Теркел — историк современности. Что вы сами об этом думаете?

ОТВЕТ. Не знаю. Я и сам не знаю, кто я. Непонятный человек — журналист, радиокомментатор, может быть, в какой-то мере и историк. Хотя не историк в полном смысле слова. История — дело серьезное. Конечный результат моей работы покажет, кто я.

В любом случае произведение литературы должно обнажать то, что прежде было скрыто. В выявлении ранее скрытого и заключается смысл литературы.

Мне хочется спросить себя: а что такое искусство? И что это такое — быть художником? Артистом?

Возьмем Билли Холлидэй — она артистка. Знаете почему? Она поет песню и вызывает у вас ощущение, будто поет ее впервые. И пускай она вся в коммерческом искусстве, но она поет и раскрывает и себя, и своих слушателей.

Этим артист отличается от исполнителя. Исполнитель может быть очень профессионален, очень вышколен, но обмануться невозможно — он исполняет вещь в тысячный раз.

В искусстве должен быть миг откровения. И это я люблю.

ВОПРОС. В продолжение того, что вы сказали, хотелось бы задать еще один вопрос: как вы начали писать в вашей нынешней манере и почему? Было ли что-то в вашей жизни, послужившее толчком к этому, а если было, не помните ли вы, что именно подтолкнуло вас?

ОТВЕТ. Ну, это было чистой случайностью. Я изучал право, работал диск-жокеем на радио, был спортивным комментатором, работал на телевидении. В литературу я вошел благодаря одному американскому издателю по имени Андрей Шифрин. Это — один из лучших издателей страны. Это он напечатал Константина Паустовского. Он много печатает — и все прекрасные книги. Так вот, этот Андрей Шифрин увидел парочку моих интервью, которые я вначале брал для радио, и предложил мне сделать книгу «Деревня Якми», репортаж о китайской деревне. Потом Шифрин сказал: а как насчет репортажа из американской деревни? Он имел в виду Чикаго. Так появилась «Улица Разделения», о которой мы с вами говорили Он же подсказал мне мысль написать «Тяжелые времена» — о депрессии. Я сначала сказал ему, что он сумасшедший, но книгу потом написал. И он же подсказал книгу о профессиях. И я опять сказал: да ты спятил! Но книгу написал. Андрей Шифрин и я — мы все эти годы были вместе. Он такой — умеет подсказать. А мне необходима стимуляция. Я пишу случайно и не умею планировать. Получал редакционные задания в «Вашингтон пост» и в «Нью-Йорк таймс», во времена «нового курса» работал с писателями, был актером, работал на радио. Писал о чикагских гангстерах. На этом задании меня чуть не убили. Потом — опять телевидение. Вот так — одно за другим...

Беседы вела И. ЗОРИНА

САВВА ДАНГУЛОВ

«В КОРОТКОМ ПУТЕШЕСТВИИ, ИМЯ КОТОРОМУ ЖИЗНЬ...»

Художник. Творчество. Время

Неверно полагать, что монопольными обладателями того, что вошло в наше сознание под названием современности, являемся только мы, живущие в дне нынешнем. У наших предков тоже была эта привилегия. Если есть тут наше преимущество, то только в том, что день нынешний, возможно, многосложнее дня вчерашнего. И суровее. Казалось бы, вот он, на расстоянии вытянутой руки, день нынешний, а на поверку — отнюдь не близко. Не простая задача — постичь этот день. И тем более определить свое место в нем. Всем определить. И писателю.

Вечная тема: современность и писатель. Если для писателя есть нечто такое, что лежит в глубинах жизни, что непросто опознаваемо и куда как трудно постижимо, то это — день нынешний.

Редакция журнала «Иностранная литература», следуя своей давней традиции, родившейся едва ли не вместе с журналом, обратилась к зарубежным писателям, среди которых большинство — ее авторы, с вопросами, обнимающими все ту же тему: современность. Редакцию тут можно понять: в высшей степени насущно сделать это предметом разговора с большой писательской аудиторией, представляющей разные социальные категории, творческие манеры и уж наверняка разные языки и страны. Разговор, начатый «Иностранной литературой», тем более необходим, что, как предполагается, даст возможность проникнуть в суть того что собой представляет время, в котором мы живем, время определенно тревожное и ответственное. Стоит ли говорить, как много может сделать коллективный писательский разум в постижении современности, в нем и знание жизни, и интеллект, и способность видеть жизнь в ее реальном свете. Благодарная задача — проникнуть в суть этих писем, постичь их ведущую мысль, определить тенденцию, нет, не только социальную, но и творческую, а заодно и засечь температуру общественной обеспокоенности, а может даже и тревоги, столь характерной для наших дней. Не знаю, есть ли в мире институты общественного мнения, проводящие опрос писателей. Если их нет, то анкета журнала могла бы такой институт заменить. Во всяком случае, в том, что поведали участники анкеты, есть вопросы, имеющие прямое отношение к формированию писательского сознания, к существу процесса, идущего в творческой сфере художника, к его восприятию мира и происходящих в мире событий. Конечно, в связи с тем многообразием голосов, которое обнаружила анкета, уместно высказать и наше мнение, которое, быть может, в одних случаях совпадет, в других — нет с мнением тех или иных писателей; анкета подготовила спор, во всех отношениях плодотворный. Различие социальных и эстетических позиций, на которых стоят писатели, участвующие в форуме, придало тем большую значительность вопросам, по которым у них обнаружилась общая точка зрения,— и тем более важно эти вопросы рассмотреть.

Итак, современность. Что это? Португалец Фернандо Намора связывает с понятием современности «ошеломляющую путаницу противоречий», а чех Иржи Кршенек восклицает: «Коварное слово «современность». Точно вняв им, писатель из ГДР Стефан Хермлин строит свою концепцию современности. «Я считаю, что современ-

ных проблем в собственном смысле слова нет,— утверждает он.— При ближайшем рассмотрении оказывается, что они существовали всегда. Прошлое никогда не исчезает. Преодоление темных сторон его — непрестанная задача искусства, и в ней корень гуманизма... Что это значит. «сохранение мира на земле»? Мира на земле нет... если выражаться точно, надо говорить о сохранении мира в Европе и установлении его на земле».

Оставим Хермлину его любовь к парадоксам — как ни симпатичен прием, к которому обратился писатель, истина тут может и не выиграть. Конечно же, наше время привело в движение такие силы, каких прошлое не знало, и по одному тому день нынешний никак не похож на вчерашний.

Мне много ближе определение, которое дал самому пониманию современности болгарин Любомир Левчев. Знаю Левчева и выскажу предположение, что острота мысли, которая есть в его ответе, характерна для него. Книга его стихов, изданная «Прогрессом» два года назад, мне показалась во многом новаторской, утверждающей современную художественную мысль. В ней, как мне кажется, поиск формы, откровенный, объединился с завидно глубоким философским началом.

«То, о чем я пишу,— это непрерывная и очень долгая личная исповедь,— заметил в своем ответе Левчев.— Через мое сердце, как и через сердце любого человека, вместе с кровью течет современность с ее страшными порой проблемами, взывающими к ответственности... Главное для писателя — учить людей человечности. Но при этом нельзя скрывать от них правду, ужасную правду о реальной опасности гибели цивилизации в термоядерном огне. Надо укреплять веру в то, что человек не бессилен перед угрозой войны и, следовательно, обязан взять на себя свою долю всеобщей ответственности за будущее...»

Как мне кажется, Левчев, дав определение современности очень личное и вместе с тем неодолимо всеобщее, подвел разговор к главному: что может писатель?.. Ответ поэта не вызвал сомнений: надо «учить людей человечности...» и не «скрывать от них правду». Ответ этот исполнен и веры в силу художественного слова — оно, разумеется, не всесильно, но способно действенно служить человеку.

Однако, быть может, поэт, определяя возможности литературы, обременяет ее задачами, которые ей не свойственны? Возможно, существует и иное мнение?

«Не думаю, чтобы роман как жанр годился для решения «жизненно важных проблем»...— не без полемической строптивости свидетельствует английский прозаик Джон Фаулз — полемический укол адресован редакции, это ее он цитирует.— Моя собственная работа кажется мне скорее описанием личного восприятия жизненно важных социальных проблем, чем попыткой взяться за их разрешение...— продолжает Фаулз.— Говорят, мир не будет знать покоя, пока не станут править им философы. Полагаю, художники лучше справились бы с этой задачей».

Не иначе приоритет, отданный художникам перед философами, объясним цеховыми пристрастиями — простим Фаулзу это, однако смысл реплики в ином. Как ни приятен ее общий тон, в ней выражена, как нам кажется, тенденция, которую сам писатель и определил точнее всего: да по силам ли роману влиять на дела насущные! Мнение Фаулза не столь категорично, чтобы останавливаться на нем специально, но оно не единственно. Среди тех, кто откликнулся на призыв «Иностранной литературы», есть писатели, склонные своеобразно толковать саму необходимость вторжения литературы в решение жизненных проблем,— пожалуй, характерно тут мнение француза Алена Боске.

«Литература — творение мира по самой своей природе, поскольку призывает к мягкосердечию, учит мечтать, пробуждает все, что есть в человеке самого ценного, воздействуя на его воображение. Хорошая книга — как прекрасный отрывок из Моцарта или Бородина. Стоит ли задаваться вопросом, почему она побуждает к миру,— просто факт этот очевиден... произведение искусства должно создавать атмосферу мира и взаимопонимания, никого не поучая. «Три сестры» настраивают на мир, и Чехову нет необходимости впрямую говорить о нем. Красота — союзница мира всегда».

Боске так симпатично рассказал о призвании литературы, да при этом в союзники прекрасного призвал такие милые нашему сердцу имена — Моцарта, Бородина, Чехова, что, честное слово, не очень хочется ему возражать, но возражать, наверное, следует, ибо речь идет о столь насущном предмете, как защита мира: надо ли ограничиваться тут «Тремя сестрами» — вот вопрос! Согласен с Боске: тем, кто грозит миру ядерным апокалипсисом, противостоят и чеховские «Три сестры», но обратиться в данном случае только к бессмертной чеховской пьесе — не значит ли сделать виновников войны анонимными?.. Может быть, много полезнее и для дела мира, и для судеб человечества приблизить литературу к существу разговора и при этом не пренебрегать средствами, которые исконно были свойственны ей, когда ей противостояло нечто антигуманное? Не убежден, например, что литература не должна обращаться к такому действенному средству в борьбе со злом, как сатира. Оттого, что Гоголь и Бальзак сражались со злом, не скрывая имен его носителей, написанное ими не перестало быть литературой. Все зависит от предмета, о котором у писателя идет речь,— не думаю, чтобы Чехов, имея в виду того же Хоботова, написал свою «Палату № 6» менее гневно.

Конечно же, Боске прав, когда говорит, что литература должна влиять на положение дел в мире непрямолинейно. Сказав, что «прямолинейное, грубое толкование задач искусства сегодня... нигде уже не популярно», он недалеко ушел от истины. Но, очевидно, неверно иное: положение дел в мире сейчас столь серьезно, что отказ от прямой борьбы с конкретными носителями зла не способствует тому, чтобы доброе начало восторжествовало. Конечно же, позиция Алена Боске гуманна, но она, мне кажется, недостаточна.

Значение форума «Иностранной литературы», наверное, состоит и в том, что в

процессе разговора, творческого по своей сути, даже в том случае, когда писатели не знают друг друга и элемент прямого единоборства мнений отсутствует, спор, а поэтому поиск истины, имеет место. Не ведаю, известно ли швейцарскому писателю Адольфу Мушгу творчество Алена Боске, но позиция швейцарца, изложенная им в его высказываниях по проблемам, затронутым и французом, мне, например, ближе. Мушгу, подобно Боске, противна морализирующая литература, «прямолинейно и грубо» стремящаяся решить проблемы, которыми озабочен современный мир, но Мушг, в отличие от Боске, понимает, что у литературы миссия боевая.

«Быть тесно связанным со временем — значит показывать, что ему угрожает, точно видеть людей, как тех, кому угрожают, так и тех, кто угрожает. И толку не будет если передоверить надежду фразе, ибо когда побеждает фраза, надежда гибнет... Писатель может — и должен — выступать за мир, точнее — за широкое разоружение, за демонтаж всех угрожающих жизни машин... Просто морализирующая или идеализирующая литература в эстетическом плане — деревянное железо... Литература — это фантазирование на темы всевозможных конфликтов... Для меня, как для Ибсена, писать — значит все еще «представать перед судом», но тяжба идет уже не только о смысле индивидуальной жизни, а о шансе коллективного выживания».

Хочется повторить вслед за Мушгом: «Литература — это фантазирование на темы всевозможных конфликтов». Великолепно сказано. Совершенно очевидно, что сумму проблем, о которых идет речь, удастся постичь тем полнее, чем активнее, а может быть, и независимее будет сознание художника. А что есть активность сознания как не свобода? Свобода в выборе темы и жанра, в своеобычности и полноте мысли, исследующей явление, в творческом методе, к которому писатель обратился, во взглядах писателя, наконец. Японец Ясуси Иноуэ убежден, что его откликом на проблемы сегодняшнего дня будет роман о Конфуции. Две с половиной тысячи лет, которые отделяют нас от Конфуция, писателя не смущают. Он так и говорит: «Хочу попытаться возродить Конфуция для современности...» Ну что ж, наверное, это обещает нечто, чего сегодняшняя японская литература пока не знала,— писательский талант способен отыскать новое и в седой древности. Кстати, и в сфере формы.

Но продолжим нашу мысль об активности и свободе сознания: наивно думать, что современность всеядна,— ничто не может быть столь нетерпимым и принципиальным врагом архаики, как современность. Конечно, все стили хороши, когда речь идет о собирании сил но нельзя рассчитывать на внимание современника, не учитывая поиска, которым отмечен нынешний день искусства Почти полтора столетия назад когда по русским просторам пролегла «чугунка» и изумленный россиянин впервые рассмотрел свое изображение на волшебной пластине дагерротипа урок органического вторжения фантастики в реалистическую прозу преподал Гоголь. Тем больше прав у сегодняшнего читателя требовать от литературы подлинной новизны стиля. Можно понять итальянца Луиджи Малербу, который утверждает: «Для себя лично, как и для других писателей, я считаю наиболее важным творческий процесс, тот вклад, который мы вносим в созидание необъятного здания коллективного воображения. Из этого кладезя фантазии, сознательно или подсознательно, беспрестанно черпают вдохновение все, кто пытается отыскать луч надежды в окружающей нас мрачной действительности». Но справедливости ради следует сказать, что писатель созидает земли, которых нет в природе, не только для того, чтобы у его героев, помышляющих о бегстве от грешной жизни, был больший простор в выборе путей. Фантастика, вторгающаяся в мир земного, нередко обостряет восприятие этого земного, способствует драматизации сюжета, сообщает характерам и положениям контрастность, а в итоге делает произведение в большей степени зримым. И это так типично для современной литературы, что фантастика, как мне видится, утрачивает суверенность,— все больше писателей, отнюдь не фантастов, не могут устоять перед соблазном взять на вооружение инструменты этого жанра.

Наверное, явление, о котором я говорю, свойственно не только литературе, но и иным искусствам — театру, кино, живописи... Дело отнюдь не в мистическом начале, как пытаются объяснить некоторые критики, когда у живописного полотна возникает второй план, как бы материализующий мысль... Художник точно обретает дополнительную возможность взглянуть на своего героя изнутри, обогатить его душевный мир, сообщить ему нечто такое, что делает его образ содержательней. Я наблюдал, как смотрят такую картину. При любых прочих данных она не оставляет зрителей равнодушными. Мы недооцениваем удельный вес работы, которую осуществляет деятельная наша повседневность, формируя эстетические воззрения и вкусы современника. Если есть момент, затрудняющий восприятие произведения, то это скорее излишняя архаика, а не чрезмерная новизна — не помню случая, чтобы элемент условности сделал произведение непонятным.— тут, как мне кажется, у нашего современника, особенно у молодежи, есть резерв возможностей, не до конца нами осознанный.

Мне интересно было в этой связи высказывание аргентинца Хулио Кортасара, для которого названная проблема является и элементом собственного писательского поиска.

«Я писатель, в основном обращающийся к вымыслу,— признается Кортасар.— Моя работа идет главным образом в сфере воображаемого, и я искренне считаю, что мне много легче выдумывать, чем описывать то, что уже существует. Но хотя большую долю моих произведений составляют рассказы и романы «фантастического» плана, это вовсе не означает что я не обращаю внимания на все, что окружает меня в мире Я как раз считаю, что фантастическое лишено всякого литературного интереса, если оно не возникло из самой действительности,— действительность ча-

сто содержит элементы, которые может заметить и опознать только воображение».

Когда Кортасар говорит о том, что воображение является для него средством «опознания» действительности, он, конечно, имеет в виду человека. Если искусство — это мышление в образах, то изучение человека нашего времени остается главным в постижении современности. «Искусство есть непосредственное содержание истины, или мышление в образах»,— подчеркивал Белинский. Формула эта жива и сегодня. Конечно, образ, созданный художником, отражает его отношение к действительности тем полнее, чем полнее в его создании участвовали его сознание, талант, интеллект, знание человека вообще, и в немалой степени человека современного.

Наш современник — фигура принципиально новая, вызванная к жизни многосложной действительностью, в которой участвуют явления, минувшим временам неизвестные,—тут и великое социальное противоборство миров-антагонистов, и невиданный прежде взрыв научного могущества человека, породивший техническую революцию, в частности и столь своеобычный фактор, как выход человека за околоземное пространство. Да только ли это? Как никогда прежде актуальна сегодня известная максима Маркса о том, что характеристика человека, как она давалась у древних, в наше время недостаточна.

Можно понять швейцарца Отто Штайгера, который, говоря о психологии молодого современника, обращается к наблюдению во всех отношениях знаменательному. «Ныне людей сильнее всего гнетет боязнь новой мировой войны. Она неотступна, она постепенно вырастает — по крайней мере у нас — в боязнь жизни. Все больше молодых людей страшатся своего будущего. Они впадают в безразличие. Они говорят: «Нет смысла стараться что-то делать. Все равно мы ведь не пожнем плодов наших усилий. Раньше над нами разразится катастрофа». Вывод: «...писатель — если он не пустой мечтатель — не может ожидать, что одним своим произведением он вырвет людей из безразличия и летаргии. Для этого нужно нечто большее, чем роман».

Мне могут возразить: это — недуг, а он не характерен. Ну что ж, быть может, недуг, но недуг времени, переставший быть патологией и обретший свойство характера. Диверсия, предпринятая врагами мира, имеет последствия. Можно допустить, что объединенными усилиями людям удастся отвратить ядерную катастрофу. Но вот чего отвратить уже нельзя: наивно думать, что подготовка ядерного апокалипсиса не оборачивается травмой духа, особенно для наших молодых современников. Наверное, явление это еще попытается объяснить наука, но писатели, поистине первые гонцы времени, стремятся запечатлеть его в произведениях, дав ему свое объяснение.

«Сейчас я пишу роман,— говорит итальянец Малерба,— в котором стараюсь найти объяснение для других, и прежде всего для себя самого, тому несвойственному, как мне кажется, прежним временам, а в наши дни прямо-таки чудовищно распространенному чувству, которое упрощенно можно было бы назвать «желанием убивать».

Будь писатель последователен, он сумел бы добраться до первоистоков явления, которое заинтересовало его, и нашел бы в себе силы понять его, не закрывая глаза на то, что связывает это явление со временем, человеком, обществом,— не иначе это тот самый случай, когда постижение человека помогает нам объяснить время, а постижение времени — человека.

Существует мнение, что сегодняшний день не может быть предметом исследования в произведении литературы. Сторонники такой точки зрения полагают, что наша мысль консервативна: она обретает наибольшую силу, когда ее отделяет от события, на которое она нацелена, известная дистанция. Все, кто в своем творчестве обратил внимание на актуальную современность, активно не приемлют этого мнения. Они полагают, что у дня нынешнего, каким он возникает в сознании литератора, есть свое обаяние, своя неотразимая привлекательность. Он, этот день, согрет живой кровью злободневности. Интерес к сегодняшнему дню определен самими условиями бытия: когда речь идет о дне нынешнем, ты даже не свидетель, ты — самовидец. От прошлого тебя отторгает стена времени, от сегодняшнего дня тебя ничто не способно отторгнуть: день этот — дело, которое ты творишь ежечасно.

Можно не разделять мнения писателей, которые считают, что у литературы нет иной задачи, чем летописать день нынешний, но понять их можно — их приверженность тому, что дарит современность, определена самим взглядом на литературу. Они считают, что писатель имеет право на книгу, если черпает свои наблюдения из живой действительности, если он сам свидетель и участник происходящего,— только в этом случае в сфере его произведения окажется нечто, чего прежде люди не знали.

Именно таким мне видится мой друг, словацкий драматург Ян Солович. Из тех наблюдений, которые у меня были (а я встречал Соловича и в Москве, и в Братиславе), у меня создалось впечатление о нем как о человеке, который живые связи с современной словацкой действительностью умеет сочетать с достаточно активной творческой работой. Мне показалось, что Солович хорошо знает современную драматургию, следит за поиском, своеобразно преломляя его в своем творчестве. Пьеса Соловича, которую я видел в театре Ермоловой, пьеса столь же метафоричная, сколь и жизненно-конкретная, показала мне, что драматургия этого писателя, не утрачивая связей с современным театром, торит свои пути. Случилось так, что моя пьеса шла в том самом словацком театре, который ставил и пьесы Соловича,— у драматурга были свои отношения с актерами и зрителями, мне показалось, что этот контакт был и широк, и для писателя перспективен.

Впрочем, в своем ответе «Иностранной литературе» Солович как раз об этом и говорит:

«Прекрасно, когда люди не остаются без-

различными к тому, что видят, слышат, читают, когда они задумываются над интересующими их вопросами, хотят глубже изучить проблему, высказывают свою точку зрения. В таких контактах со зрителями, в возможности непосредственного влияния на их мысли и поступки я вижу важную часть своей работы... Я не смог бы написать пьесу, на которую зрители или читатели прореагировали бы только через десять лет, то есть если бы только через десять лет они смогли понять, что такого глубокомысленного хотел сказать им автор... В слове скрыта самая большая энергия, известная человечеству,— энергия человеческого духа. Слово создавало культуру, оно приводило в движение народы, борющиеся за равноправие и братство. А сегодня, в эпоху небывалой спекуляции словом, мы, писатели, призваны вернуть ему первоначальный смысл и силу...»

Не хочу противопоставлять авторов, пишущих на темы сегодняшнего дня, всем остальным, но, как свидетельствуют мои наблюдения, их представление о пути, который они избрали, нерасторжимо со взглядом на жизнь в литературе как на миссию служения людям — вот так, например, я понял американца Патрика Д. Смита.

«За годы своих занятий литературой я не написал ни одного «придуманного» произведения. Все пять моих романов основываются на событиях реальной жизни... Сегодня писатели охотно создают произведения, которые, как они знают, будут распроданы и принесут им славу и богатство, и очень немногие пишут о людях растоптанных, отчаявшихся и обездоленных. Я знаю, что, публикуя романы, повествующие о человеческой несправедливости и разрушении природной среды, я никогда не буду обласкан славой, осыпан деньгами и удостоен литературных премий, ибо подобные произведения, кажется, давно вышли из моды. Было время, и, может быть, оно снова придет, когда наша литература служила отражением действительности. Но сейчас я часто чувствую себя странником, одиноко бредущим по каменистой дороге, ведущей в никуда».

Среди писателей, которых отличает внимание к страдной повседневности, наверное, следует назвать и имя Денизы Левертов — ее ответ на вопросы «Иностранной литературы» убедительно свидетельствует об этом:

«На многие из недавно написанных мною стихов легла тень атомной катастрофы, под угрозой которой мы живем, и даже те стихи, что, казалось бы, не имеют отношения к этой теме, окрашены чувством тревоги. Я работаю сейчас над либретто для оратории композитора из Бостона Ньюэлла Хендрика. Она будет посвящена борьбе с тиранией в Сальвадоре. О том, что происходит в Сальвадоре, говорится и в двух моих более коротких поэмах...»

Некоторые считают что слишком далекий уход в историю чреват деформацией правды. Не очень уверен, что эта формула близка истине, но скажу о другом: злободневность определенно располагает к точности. Немалый труд — в потоке жизни остановить взгляд на проблеме, в которой преломилось бы нечто значительное, что волнует людей и необходимо им.

«Я только что завершил работу над романом «Адам и Ева»...— пишет Ян Козак.— Я попытался отобразить в романе борьбу человека за личное и одновременно за общественное счастье, борьбу за их единство, за диалектическое их слияние. Это оптимистическая книга, хотя в ней не обойдены острые, постоянно возникающие в обществе конфликты,— их преодоление и является, в сущности, постоянным долгом, уделом человека... Вот почему я попытался дать возможность этим моим двум героям, товарищам по жизни, у которых за спиной немалый жизненный опыт, бороться за свою любовь, за свое личное счастье в условиях полной вовлеченности в дела современности...»

Для писателя, уважающего себя, лучший читатель — тот, который знает проблему не хуже автора. Обратив книгу к современности, автор как бы призвал в судьи весь народ. Стоит ли говорить, что разговор со столь широким читателем способен принести удовлетворение автору, только если он дарит удовлетворение читателю. Немалое достоинство такого разговора — проблемность. В ней, в этой проблемности,— и столкновение интересов, и неукротимость принципиального мнения, и, разумеется, конфликт во всей своей первозданности.

Вряд ли правомерно мнение, что обращение писателя к притче является формой ухода от действительности. Наоборот, немало примеров, когда притча помогает поставить современную проблему, сообщая произведению своеобычие, а проблеме глубину. Поэтому обращение к притче, как мне представляется, не отторгает произведение от действительности, а сближает с нею. Кстати, наши наблюдения свидетельствуют что писатели, взявшие на вооружение притчу, как правило, хорошо знают современные проблемы, знают жизнь в ее самых характерных проявлениях. Японец Кэндзабуро Оэ, широко известный в нашей стране своими романами-притчами, пример тому. Публицистика Оэ обращена к грешной земле и напрочь лишена отвлеченности, в ней все актуально, как может быть актуальна огненная для Японии тема предотвращения новой Хиросимы.

«Перо японского публициста,— свидетельствует Оэ,— призвано показать, какие мучения принесло миллионам людей облучение, вызванное ядерными взрывами. Жертвы бомбардировки, по сей день гибнущие от лейкемии и рака, наследственное проявление лучевой болезни у детей— рассказать об этом всему миру гуманный долг каждого японского писателя... В Европе и Америке антиядерное движение, движение за мир приобретают сейчас общенародный характер... Вот почему, хотя опасность катастрофы велика, ввиду мощи антивоенной борьбы ситуация все же не представляется мне безнадежной»

Ответ Оэ в высшей степени значителен и в связи с общественной позицией писателя. Мне представляется, что Норман Казинс, известный американский публицист, историк и общественный деятель, имел в

виду как раз таких писателей, как Оэ, когда говорил:

«Если художник или писатель как личность сделает открытый и принципиальный выбор в пользу мира, он (или она) тем самым ответит самому насущному велению времени».

Вторжение писателя в мир актуальных проблем почти всегда заканчивается тем, что он преодолевает рубеж, для иных непреодолимый, отделяющий его от живой жизни, и становится участником борьбы. Мне неведомо, что конкретно подсказало Оэ выбор этого пути и как это произошло, но одно для меня бесспорно: в первосути этого решения заложено и сильное национальное чувство. Будущий историк, размышляющий о путях становления нашего современника, должен будет признать: сам труд литератора не отторгает, а сближает его с тем непреходящим, что составляет национальное своеобразие,— поэтому острейшая проблема суверенности нередко становится для писателя ключевой. Как ни отлична отчая земля аргентинца Рауля Ларры от родной земли японца Оэ, их сближает одна боль.

«В произведениях, над которыми я сейчас работаю, проблемы современности отражаются через призму проблем национальных,— говорит Ларра.— Аргентина, как и другие страны Латинской Америки, стоит перед важнейшей национальной задачей: добиться экономической независимости... Считаю, что произведение подлинной литературы должно говорить простым людям о той опасности, которую несет современный империализм. .»

Есть нечто закономерное в наших симпатиях к литературам сражающегося континента — я говорю о Латинской Америке. Как известно, Гаити — не на континенте, но огневое дыхание соседней земли передалось и ему. Вот прочел вслед за Ларрой гаитянца Жана Бриера и вспомнил его великого земляка Алексиса в его последний приход на Пятницкую. Ничто не предвещало трагического конца... Написал и подумал: а может, предвещало? Никогда не видел чернокожих аристократов, а тут вот увидел: была в нем некая изысканность. Она, эта изысканность, была во всем — в его гордом лике, в манерах, исполненных простоты и строгости, в ярко-белом костюме, который приятно облегал его фигуру, в его блистательном французском... Когда смотришь на фотографию человека, которого уже нет, тебе кажется, что рассмотрел на его лице нечто такое, что хочется назвать обреченностью... К воспоминанию о последней встрече с Алексисом примешивается именно это чувство: кажется, что в тот июньский полдень поэта уже коснулась тень трагедии, происшедшей еще до того, как закончилось лето... Быть может, у этого наблюдения есть свое объяснение: было известно, что Алексис, революционер и патриот, враг диктатуры Дювалье, едет едва ли не на смерть.

Бриер говорит о себе: «Я писатель-изгнанник». Может, поэтому его слово о призвании писателя отмечено акцентами, какими может быть отмечено лишь слово человека, сражающегося против деспотии зла,— мне это слово показалось сильным.

«Писатель живет и сам творит историю. Например, нынешнее поколение может почерпнуть подробнейшие сведения о сопротивлении советских людей гитлеровскому нашествию из исторических книг. Но живую правду об этом сопротивлении, правду во плоти и крови, можно найти в произведениях советских писателей — поэтов и романистов, которые на фронте или в тылу пережили трагедию войны. Взгляд писателя на свое время, острота, с которой он воспринимает проблемы этого времени, выводы, которые он делает, осмысливая жизненные коллизии своего народа и свои собственные, являются необходимыми кирпичами здания исторической ПРАВДЫ.

Я — писатель-изгнанник. Я воспеваю свою утраченную родину, пытаюсь вспомнить прошлое, нарисовать профили мучеников, расставить вехи на кладбище наших потерь, понять, как мог постыдный натиск варварства сломать хребет мужеству и гордости целого народа. Мой протест — это крик души, крик непокорности. А если моим вдохновением и завладевают мечты, ведь сердце не может постоянно быть на военном положении...»

Наверное, самое значительное, что показал форум «Иностранной литературы»,— это попытка отыскать разные грани явления, именуемого современностью. Полагаю, что исследование, к которому обратились писатели, должно заинтересовать и ученых, профессионально занимающихся этой проблемой. Особый интерес представляет вопрос, во многом кардинальный: как видят наш трудный век писатели, живущие по одну и по другую стороны рубежа, разделившего мир. Разумеется, этот рубеж существует, но он не может быть непреодолимым. По-своему точно это объяснил Патрик Д. Смит, к мнению которого мы уже обращались:

«Нужно понять, что в конце концов мы не такие уж разные: мы одинаково любим и мучаемся, нам знакомы счастье и горе, повсюду мы наблюдаем, как подрастают наши дети и как они уходят из дома, унося с собой частичку нас самих; и все мы живем и умираем, все мы братья и сестры в коротком путешествии, имя которому жизнь. Если каждый осознает это, тогда никому не придет в голову причинять вред другому. Подлинная литература как раз об этом и должна говорить с людьми».

Нельзя не согласиться с мнением поляка Юлиана Кавалеца, смысл реплики которого можно определить так: состояние войны смертельно для художника — потому что смертельно для жизни. «...Тишина, сосредоточенность, спокойно текущее время — все, что нужно для интеллектуального созидания, в конечном итоге и есть мир...» Кавалец прав и в том, что «настоящий художник по природе своей — враг всего, что нарушает покой, что убивает жизнь, он должен быть и он является противником войны». Но формула Кавалеца, быть может, нуждается в дополнении: чтобы в нынешнем жестоком мире усилия литературы были действенны, она должна опираться на силу, способную отстоять мир,— опыт истории нас учит и этому. И уж коли речь зашла об опыте истории, быть может, уме-

стно было бы напомнить эпизод, который воссоздал в своем ответе «Иностранной литературе» соотечественник Юлиана Кавалеца — Войцех Жукровский: «Самый крупный современный польский писатель Ярослав Ивашкевич так описал январский вечер, когда фронт прошел через его усадьбу: «В комнату вошли советские солдаты, внеся с собой запах мороза и гари, они выпили по рюмке и, не мешкая, отправились дальше, в погоню за отступающими немцами, растворившись в метели. Мы были спасены, худшее осталось позади, я вернулся к письменному столу и написал еще три страницы нового романа».

Есть в этом коротком отрывке с морозом, метелью и чаркой водки настроение январского вечера и, пожалуй, очень точное представление о храброй и бескорыстной сути русского солдата. «...Мы были спасены...» — сказал Ивашкевич, вот такто...

Раз речь зашла о том, кто в современном мире олицетворяет истинное миролюбие и какую силу нужно считать подлинной хранительницей мира, следует обратить внимание на общий мотив многих писем, присланных как мы могли это заметить, со всего мира, притом от людей, представляющих разные социальные и всякие иные категории: хранительницей мира является та самая сила которая в годы войны повергла фашизм. в послевоенные годы помогла отстоять суверенность едва ли не половине земного шара и в нынешнюю жестоко трудную пору несет вахту мира — я говорю о Союзе Советских Республик.

«Вряд ли можно отрицать, что искусство и литература — идеальные средства воздействия на человеческое общество ради установления мира во всем мире»,— вот мнение Эрскина Колдуэлла У старого писателя и знание проблемы, и понимание того, какими нелегкими тропами пришло человечество в день нынешний. Сейчас, наверное, немногие помнят, что Колдуэлл был вместе с нами в трудное лето сорок первого года. Вспоминаю то время, и на память приходит ветреный рассвет на Кузнецком и наскоминдельская «эмка» с Колдуэллом и Маргаретой Броукуайт, отправляющаяся к стенам Смоленска, за который уже шли бои,— необыкновенная эта поездка запечатлена Колдуэллом и его спутницей в книге «Все брошено на Смоленск», изданной на родине писателя кажется, в том же сорок первом. Как-то уже на Пятницкой — а Колдуэлл был не раз гостем «Иностранной литературы» — напомнил писателю это июньское утро и увидел как он посуровел а потом просиял «Есть воспоминания которые прибавляют тебе силы, есть воспоминания...» — сказал Колдуэлл.

Вот мы и подошли к главному вопросу, который с завидным единодушием поставлен участниками форума,— ни единое писательское слово не обошло этой проблемы. писатель и перспективы жизни на земле, писатель и мир Может показаться, что единодушие это внешнее, оно улетучивается по мере того, как раскрывается смысл писательских раздумий Полагаем, что это мнение неверно, хотя различия в подходе к проблеме существуют. Какие различия?

Высказывается мнение — оно имеет хождение в некоторых писательских кругах на Западе: в том, что мир оказался накануне ядерной катастрофы, виноваты политические деятели. На взгляд итальянца Луиджи Малербы, надо обратить внимание на политических деятелей, так как «именно они из добрых или злых побуждений, в целях нападения или защиты своими решениями могут поставить под угрозу существование всего человечества».

У этого утверждения есть своя тенденция, обнаженная: противопоставить художникам политиков. Всех политиков, а они, как известно, бывают разные.

Но это не все.

Не ясно ли, что разговор смещен в столь своеобразную сферу, чтобы утвердить иную мысль, более общую: в равной мере виноваты обе стороны. Нам представляется подобное утверждение несправедливым, противоречащим истине И оно, это утверждение, опровергается другими участниками. Например, ответ на утверждение Малербы содержится в реплике Джеймса Олдриджа.

«Я выхожу из себя,— пишет английский писатель,— когда вполне, казалось бы, здравомыслящие люди — особенно писатели,— начинают разговоры о том, что вина за нынешнюю мировую ситуацию лежит на всех, что все общественные системы порочны и что переселиться на другую планету было бы идеальным выходом из положения...»

Мне было интересно, что сказал об этом именно Олдридж: я знаю писателя с далекой военной поры, когда он представлял у нас английскую прессу Вспоминаю те годы и вижу Олдриджа в транспортном «Дугласе», идущем во фронтовой Севастополь. До Севастополя еще часа полтора лету и у Олдриджа есть время рассказать о средиземноморской вахте — он летчик-истребитель... «Там был свой конвой и своя охрана судов...» — говорит он, и его загорелая рука касается пшеничных волос — в его лице видится мне нечто есенинское...

С тех пор прошли немалые годы. и к золоту волос обильно примешалась другая краска, но Олдридж не забыл дороги в Россию. Естественно, что наши беседы были обращены к воспоминаниям о войне, но нередко эти воспоминания смыкались с положением дел в современном мире — должен сказать, что так, как эта проблема известна Олдриджу, ее знают немногие. В дни писательского съезда у меня была большая беседа с Олдриджем, в ходе которой он неоднократно повторил, что возвращение к теме войны — это для писателя не просто дань воспоминаниям. «Надо понять. самые лучшие книги в защиту мира — это честные книги о войне»,— сказал он в тот раз.

У теории о равной вине одной и другой стороны есть психологическая основа: коли виноваты обе стороны, к кому взывать? Характерна реплика Курта Воннегута. Он предпослал ей несколько строк о новом романе — история драматическая и куда как современная. Двенадцатилетний мальчик, отец которого коллекционирует оружие, убивает из ружья, взятого из коллекции,

женщину, случайно оказавшуюся на траверсе пули... «Само по себе существование оружия может превратить нас в невольных преступников»,— замечает писатель, и это верно. Но надо ли из этого делать вывод, что в мире образовалась некая фатальная сила, которая неодолимо влечет нас к гибели? А между тем такое впечатление создается, когда мы дочитываем ответ Воннегута. Вот как он заканчивает свой ответ:

«К сожалению, менее всего можно ожидать, что доступ к контролю над орудиями войны во всех странах получат те, кто подвержен влиянию искусства и литературы. Простые солдаты, будучи посланы защищать неправое дело, теперь не смогут прекратить бойню, даже если откажутся убивать сами. Массовым истреблением займутся уже не солдаты. Посему искусство будет способно лишь успокаивать и развлекать нас, в то время как люди, подобные машинам — с помощью машин же,— будут решать, что случится дальше. А случится нечто ужасное».

Картина, нарисованная Воннегутом, достаточно безнадежна. Но она безнадежна именно потому, что отдает людей во власть фатальной силы, неодолимо влекущей человечество к гибели. Даже не верится, что это мрачное заключение принадлежит человеку, который начал письмо достаточно оптимистично: «...я продолжаю... выступать за разоружение — иными словами, за то, чтобы жизнь продолжалась как можно дольше».

Так вот, может быть, от этих слов Воннегута и надо идти: «чтобы жизнь продолжалась». К счастью, для большинства писателей, участвующих в форуме, именно эта мысль является главенствующей. Но, возможно, тут уместно остановить внимание читателя на одном выступлении. Мы имеем в виду Ирвинга Стоуна, которого вопросы анкеты застали в Киеве, куда писатель приехал для участия в советско-американской встрече литераторов.

«Меня поразило,— заметил Ирвинг Стоун,— что на писательской встрече в Киеве и советские и американские писатели были весьма красноречивы, все говорили о необходимости мира и ограничения вооружений. Однако никто не предложил выработать какую-то программу действий, направленных на предотвращение угрозы войны и гонки вооружений. Но если нет программы, то я не понимаю, каким путем мы собираемся запретить это оружие. Поэтому я не спал всю ночь перед заключительным заседанием нашей писательской встречи и предложил программу действий.

Может быть, я наивен, может быть, я идеалист, но, как бы там ни было, суть моей программы в следующем.

Должны быть гарантии ненанесения первого удара. Советский Союз уже дал эти гарантии. Мое правительство, к сожалению, пока такой гарантии не дает...»

Нет, писатель не наивен — он все понял правильно: предложения его можно корректировать, но в них есть нечто такое, что действительно отражает добрую волю человечества, стремящегося к миру. Не знаю, успел ли он познакомиться с тем, что показали ответы литераторов на анкету «ИЛ», но его мнение в какой-то мере совпадает с их мнением.

Итак, вопреки скепсису, который выражают многие, когда речь идет о возможностях литературы, верх берет суждение, за которым вера в могущество художественного слова, в его способность формировать человека и его представление об идеале. Убежден, что в интересах людей не развенчивать их веру в вечные духовные ценности, а укреплять ее. Вот она, истинная Красная книга человечества; все, что сотворил людской гений на своем многотысячелетнем пути к прогрессу, должно оберегаться — от этого выиграет жизнь на земле.

Литература, как мне кажется, относится к этим ценностям.

Мне глубоко симпатичны слова кубинца Мануэля Кофиньо, который отождествил литературу с тем прекрасным, что дарует жизнь. «Даже в период, когда здравомыслие, казалось, терпит поражение, литературное произведение покажет читателю, что в мире есть любовь, неизмеримые духовные ценности, щедрость дружбы и братства; что красота живет и в сумерках, и простая прелесть золотистого лимона радует глаз даже в серый вечер...»

Писательница из ГДР Криста Вольф в своем слове, отмеченном заметной сдержанностью тона, связывает внешние проблемы нового мира с внутренними, не обходя нашей повседневности и ее трудностей,— я вижу в этом достоинство писательского мнения.

«Литература никогда прямо не воздействует на общественные процессы, а если воздействует, то очень редко,— но она может сделать очень многое косвенно — благодаря влиянию, оказываемому ею на чувства и мысли читателей.. Может быть, литература могла бы способствовать крушению мифа о народах-врагах, которым ныне в значительной мере обосновывается на Западе необходимость гонки вооружений. Разоблачая как можно точнее и основательнее конфликты и противоречия собственного общества, укрепляя доверие людей к себе и друг к другу, литература могла бы противодействовать чувству обреченности, убеждать, что человеческие взаимосвязи, в которых мы живем, поддаются улучшению и заслуживают сохранения...»

Наверное, правы те, кто утверждает: в мире действует могущественная сила разобщения людей — социального, расового, национального. Наш мятежный век обострил этот процесс, сшибив в смертельном единоборстве силы-антагонисты. Однако это единоборство революционно, а поэтому и плодотворно. Ничто не способно в такой мере содействовать великой гуманистической задаче единения людей, как революционное преобразование. Но у преобразования, о котором идет речь, свои сроки — близкие и, быть может, неблизкие. А пока человечеству необходимо единение — без него, этого единодушия в главном, ему не возобладать над опасностью, признаки которой зримо встали над миром.

Жизнь дает нам немало примеров способности литературы противостоять разобщению, сберегать связи. Не об этом ли

качестве литературы говорит западногерманский писатель Герд Фукс?

«Творчеству в области литературы и искусства меньше всего должна быть свойственна позиция отчужденности, ибо художник призван показать человека во всех его социальных и исторических связях, показать, как в каждой новой исторической ситуации он проявляет себя по-новому, не отрешенным от окружения, а неотделимой частицей его. Как говорил Сартр, если литература не является всем, то она недостойна внимания... Большую часть того, что народы знают друг о друге, они знают благодаря литературе. Она способствует тому, чтобы уменьшить разобщенность между отдельными людьми и целыми народами. Вера в это — пусть многим она кажется утопической — привела Гёте к понятию «мировая литература», которому соответствует и понятие «гражданин мира». Писатель, в отличие от солдата, не переходит границ, чтобы установить новые...»

Когда речь идет о столь насущном деле, как спасение человечества, надо видеть союзников и в лице тех писателей, чьи творческие принципы быть может нам не близки. Не могу в этой связи не обратиться к мнению столь авторитетного мастера современной литературы, как Арман Лану. Давний автор «Иностранной литературы», чей роман «Майор Ватрен» помнит, конечно, читатель журнала, Лану едва ли не в каждый свой приезд в Москву был гостем журнала. Уже теперь, обратившись памятью к этим встречам, я не мог не заметить, что любимым «коньком» писателя в этих беседах был всесильный XIX век, как он дал себя знать в становлении литератур — русской и французской. Сам отличный мастер, для которого первозаповедью был реализм Толстого и Флобера, писатель воздавал должное действенности великой школы, сделавшей эпоху в литературе.

Тем характернее слово Армана Лану, с которым он обратился к «Иностранной литературе»,— больше чем кто-либо Лану имел право говорить о приоритете традиции, которой остается верен, однако он заметно обошел эту тему, сделав акцент на ином. Следует правильно понять писателя: когда Лану говорит о «сюжете», выдуманном или историческом, он, конечно, имеет в виду не только сюжет, распространяющийся на историю и вымысел,— в поле зрения писателя и спектр стилей и творческих манер.

«...Каков бы ни был сюжет твоего произведения, выдуманный или исторический, только искренностью и правдивостью описания можно достичь подлинного гуманизма...»

Мысль Лану своеобразно развила в своей реплике американка Джойс Кэрол Оутс.

«Самые серьезные писатели,— отмечает она,— всегда пишут о жизненно важных политических и социальных вопросах своего времени даже в том случае, когда их работа носит сюрреалистический характер или «фантастична»...

Наблюдение Оутс имеет прямое отношение к предмету нашего разговора: особенность форума «Иностранной литературы» как раз в том и состоит, что он собрал под знаком борьбы за мир писателей, исповедующих разные творческие принципы, в том числе и таких, чьи взгляды на литературу отстоят на почтительном расстоянии от наших. Смысл собирания сил, кстати отвечающий самой природе такого журнала, как «Иностранная литература», очевидно, надо видеть и в этом.

Мне хотелось закончить статью таким эпизодом. Монгольский писатель Сэнгийн Эрдэнэ в ответе журналу рассказал, что степная стезя привела его в войлочную юрту скотовода, одним из сыновей которого был знаменитый Гуррагчи — храбрый юноша, облетевший вместе с нашим Джанибековым земной шар. По словам Эрдэнэ, сын скотовода, побывав у отца, сказал ему: «Мы, люди, живем на маленькой планете...», и в словах этих, как мне почудилось, была и великая нежность к Матери-земле, и неодолимая тревога за ее судьбу, и, конечно же, за судьбу человечества. Признаться, в моем сознании эти слова монгольского юноши соотнеслись с репликой Патрика Д. Смита, который, говоря о призвании человека, помянул «короткое путешествие, имя которому жизнь...». Конечно, человек всемогущ, как, наверно, неоглядна наша прекрасная планета, но сегодня больше чем когда-либо мы можем сказать: и у планеты, и у людского могущества есть свои границы, при этом сам человек сегодня указал на их относительность... Тем более самоотверженным видится подвиг людей в защиту мира.

◆

ДАНГУЛОВ САВВА АРТЕМЬЕВИЧ (род. в 1912 г.).

Советский писатель — прозаик, драматург. Автор романов «Дипломаты» (1966), «Кузнецкий мост» (кн. 1—3, 1971—1979), «Затрещина в Рапалло» (1980), повести в рассказах «Тропа» (1960), книги повестей и рассказов «Учитель словесности» (1974), документальной книги поисков «Пятнадцать дорог на Эгль» (1975), пьес «Признание» (1970) и «Неподкупный Горчаков» (1973), книги литературных портретов «Художники» (1981).

Среди книг

Издано в СССР

УВИДЕТЬ НЕПРИВЫЧНОЕ В ПРИВЫЧНОМ

СССР: знакомый и неизведанный. Зарубежные авторы: Макс Леон, Виктор и Елена Перло, Алекс Ла Гума, Гарольд Гриффин, Петер Шютт, Эмма Смит, Мухаммад Назир, Борис Крумов, Монтсеррат Роиг, Людо ван Эк. Москва, «Прогресс», 1982.

И по сей день в книжных лавках западных стран пылятся в ожидании покупателя объемистые фолианты и широкоформатные альбомы, запечатлевшие на старинных гравюрах или выцветших от времени фотографиях старую, «святую» Русь. С пожелтелых страниц на вас угрюмо смотрят призраки прошлого: насупившийся городовой, закоченевший от холода нищий с безнадежно протянутой рукой, обитатель печально знаменитой Хитровки в живописных лохмотьях, убогие и калеки на церковной паперти. Попадаются и умилительные картинки: деревенская красавица в кокошнике, усталая от долгого позирования, семейное чаепитие за самоваром, маленький продавец кваса на пустынной городской площади. Вот как характеризовал ту эпоху журнал «Будильник» в 1884 году: «В Москве тихо, как в сундуке. На улицах ездят извозчики, в домах играют на фортепьянах, в редакциях скрипят перьями... Кругом сон, бред, почесыванье...»

Но если вы спросите книготорговца, что можно найти в его магазине о сегодняшней жизни в СССР, он или смущенно разведет руками, или, порывшись на полках, предложит вам очередной образец «литературной» продукции, в искаженном свете рисующей действительность нашей страны.

И хотя с первых же дней существования советской власти немало художников, приезжавших к нам из-за рубежа, стремились донести до своих соотечественников правду об увиденном — вспомним хотя бы не утратившую и по сей день своей революционной значимости и неувядаемой с годами притягательности книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир»,— намеренная дезинформация и откровенная ложь, распространяемая об СССР буржуазной прессой, образуют прочный заслон, сквозь который нелегко пробиться достоверным и честным свидетельствам о советской действительности.

Новый сборник из серии «Свидетельства об СССР», изданный «Прогрессом» к шестидесятилетию образования нашего государства (всего в этой серии уже вышло сорок книг), включает фрагменты из книг десяти зарубежных авторов: среди них и болгарский писатель Борис Крумов, и французский журналист Макс Леон, около двадцати лет проработавший в Советском Союзе, и уже знакомая нам благодаря роману «Только раз в жизни» английская писательница Эмма Смит (см. «ИЛ», 1982, № 4, 5), и давний друг нашей страны западногерманский публицист Петер Шютт, и южноафриканский писатель Алекс Ла Гума, многие произведения которого переведены на русский язык, и канадский поэт Гарольд Гриффин, и другие художники слова, хорошо известные у себя на родине и в Советском Союзе.

Рассчитанные на зарубежного читателя, эти книги интересны и нам. Привычное и само собой разумеющееся предстает в них в непривычном свете — увиденным со стороны. Доброжелательный и вместе с тем внимательный взгляд путешественников высвечивает множество факторов и перемен в нашей жизни, которые мы не всегда замечаем в повседневной текучке.

Этот сборник открывает нам нашу собственную родину и переносит нас в ее самые отдаленные края и районы. Собранные воедино свидетельства зарубежных писателей помогают зримо представить беспредельную протяженность нашей территории и ее неисчерпаемые богатства, постичь политические, экономические и социальные сдвиги, произошедшие в нашем многонациональном государстве за годы советской власти, оценить многообразие существующих у нас человеческих характеров и при этом неповторимо типические черты, свойственные в целом советским людям.

Итак, мы отправляемся в путь, а роль наших гидов будут исполнять зарубежные литераторы. Не случайно, что, пускаясь в путешествие по Советскому Союзу, писатели стремятся разглядеть за сегод-

няшним днем наше давнее или совсем недавнее прошлое — чтобы лучше уяснить масштаб достигнутого и разобраться в природе человеческих отношений, сложившихся в стране, где проживает более ста наций и народностей.

Очевидно, что испанская писательница Монтсеррат Роиг не читала «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, которая потрясла даже советских читателей, испытавших на себе все ужасы войны. М. Роиг не скрывает, что, собираясь посетить Ленинград, очень мало знала об этом городе, однако, пристально всматриваясь в его сегодняшний лик, на котором как будто уже затянулись раны, нанесенные войной, она поняла, что «каждый из жителей Ленинграда носит в сердце свою блокаду, у каждого из них в безымянных могилах Пискаревского кладбища покоятся близкие, каждому есть о чем рассказать...». Совершая мысленно свое путешествие в исстрадавшийся и осажденный город, беседуя с пережившими блокаду людьми, М. Роиг сумела оценить солидарность, сплачивающую советских граждан, их жизнестойкость, способность на взаимопомощь, неистребимую тягу к духовной жизни. «Любовь к книгам спасла нас... Книга... делала сильнее перед лицом тяжелейших испытаний»,— приводит писательница слова ленинградки Александры Косс.

О военных страницах нашей истории в трагическом опыте советского народа, своей кровью оплатившего победу над фашизмом, напоминает сегодняшним поколениям и англичанка Эмма Смит, приезжавшая в СССР для изучения жизни сельских детей. Побывав в Белорусской ССР, она осознала, что в нашей стране, в отличие от стран Запада, война не отодвинулась в глубь воспоминаний. Напротив, война все еще присутствует в жизни каждого белоруса. «Но столкновение со злом — могучим, реальным злом, уничтожившим четвертую часть населения республики,— не разрушило души оставшихся в живых,— отмечает писательница.— Каким-то таинственным образом эти люди превратили опыт страданий в глубокое понимание жизни, понимание того, что прекрасной или ужасной ее делает отношение человека к человеку. Они уверены в том, что и сейчас и во все времена человечности их детей должна учить сама человечность».

После Белоруссии Эмма Смит провела четыре недели в Сибири. И хотя белорусскую деревню Вертелишки и сибирское село Калтук, где она также знакомилась с жизнью местных детей, разделяют тысячи километров писательница приходит к выводу, что удаленность в пространстве в Советском Союзе не имеет большого значения: «Все советские люди связаны друг с другом невидимой нитью — единой моральной позицией. Связаны представители разных поколений жители городов и сел находящихся на разных меридианах связаны павшие и живые. Подобное восприятие прошлого настоящего и будущего как реальности мне как каждому другому человеку с Запада, почти недоступно. Но в Советском Союзе оно представляется всем столь же естественным, как восход солнца».

Сибирь с ее невиданными по своему размаху стройками влечет к себе многих путешественников. Американцы Виктор и Елена Перло, проехав этот край из конца в конец, не равнодушным оком посторонних наблюдателей обозревали кипевшую вокруг них жизнь, а включались в нее как непосредственные участники захватившего их трудового процесса. С восхищением и гордостью рассказывают они о неисчерпаемых созидательных способностях советского человека и его стремлении к первооткрывательству. Углубленно изучая экономику Советского Союза, Виктор и Елена Перло вникали также и в бытовые условия жизни строителей и колхозников. Их интересовало, как складываются отношения в семьях между супругами, между родителями и детьми, в какой степени мужья помогают женам по хозяйству и т. д. На страницах их книги «Динамичная стабильность: советская экономика сегодня», богатой цифрами и схемами, оживает и множество портретов людей разных национальностей, с которыми им довелось встретиться.

Психологию советских граждан, их повседневную жизнь внимательно изучал также бельгийский писатель Людо ван Эк, известный у нас благодаря роману «Это было в Дахау», который отражает горький опыт писателя, бывшего узником этого концлагеря. Его книга о Советском Союзе, названная автором «Обо всем понемногу», представляет собой запись бесед с жителями разных городов нашей страны, их рассказы о своей жизни, о планах на будущее.

Совершив продолжительную поездку по СССР и побывав в Средней Азии и Сибири, западногерманский публицист Петер Шютт излагает свои наблюдения ярко и одновременно с мягким лиризмом, не забывая отметить сердечное гостеприимство советских людей.

Перед нами вырисовывается сегодняшний день Москвы и Ленинграда, Сибири и Якутии, Средней Азии и Дальнего Востока, Закавказья и Прибалтики, увиденный глазами зарубежных писателей. Обширна карта, отражающая маршруты путешествий наших друзей, и также обширно и внушительно созданное ими многокрасочное художественное полотно, запечатлевшее жизнь наших республик с ее проблемами, трудностями, радостями и успехами.

Не раз бывавший в Советском Союзе Алекс Ла Гума предупреждает читателей, что будет говорить в своей книге конкретным языком фактов, однако вдумчивый анализ этих фактов позволяет ему сделать вывод, который подтверждает все материалы сборника: «...с победой Октябрьской социалистической революции в России в 1917 году началась новая эра в мировой истории... Многонациональное Советское государство продемонстрировало всему миру свои преимущества над капитализмом. Оно смогло в короткий исторический период разрешить исключительно сложный национальный вопрос, устранить экономические общественно-политические причины социальных и национальных противоречий, оставленных в наследство эксплуататорами. Оно сдружило и сплотило все нации и на-

родности. Их единство и всесторонний расцвет стали объективным законом социализма».

С. НИКОЛАЕВА

БУНТ ПРОТИВ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Герд Фукс. Мужчина на всю жизнь. Перевод с немецкого Н. Литвинец. Москва, «Прогресс», 1981 [1].
Дороте Летессье. Поездка в Пемполь. Перевод с французского Т. Ивановой. «Иностранная литература», 1982, № 3.

Наверное, я не очень ошибусь, если скажу, что одна из самых беспокойных проблем современной западной прозы — женская эмансипация. В ней кроется много всяческих следствий и потрясений не только на сегодняшний день, но и — что особенно важно — на будущее.

Лишний раз напоминают об этом два недавних романа — «Мужчина на всю жизнь» западногерманского прозаика Герда Фукса и «Поездка в Пемполь» француженки Дороте Летессье таящие в себе знаменательное сходство. В каждом из них предстает жизнь рабочей семьи с ее заботами, бедами, тревогами. Но своего рода нервом, отзывающимся на все эти болевые точки, оказалась в них именно семейная жизнь.

По странному совпадению схожи имена героинь в обоих произведениях — Марион и Маривон. Но, конечно, сходство между романами куда более основательное: ведь оба они свидетельствуют о глубинных процессах жизни западного общества. Мы уже свыклись с тем, что в западной литературе семейное неблагополучие характерно для среды всяких коммерсантов-бизнесменов, где часто меняют жен соответственно возрастающему достатку: чем более преуспевает мужчина, тем более красивую и молодую жену способен он приобрести. А рабочая семья всегда считалась оплотом стабильной жизни общества, да и правящий класс был заинтересован в ее укреплении — и чтобы восполнять рабочую силу, и чтобы усиливать страх перед возможностью ввергнуть семью в нищету.

Но социальные катаклизмы современной буржуазной жизни коснулись и семьи вообще — ведь она и впрямь является ячейкой общества. С незаурядной силой предстало это у Фукса.

Перед нами — образцовая модель семьи: муж, жена, двое детей. Токарь Хайнц добросовестно работает, после работы отдыхает дома, преимущественно перед телевизором, жена занимается хозяйством. И вдруг — удар: его увольняют в связи с рационализацией производства, и семейный быт, казавшийся незыблемым и единственно правомерным, сразу начинает расползаться. Ведь глава семьи, перестав приносить деньги в дом, утрачивает главное мужское назначение — быть кормильцем. К тому же, находясь целые дни дома, он всем только мешает в маленькой квартирке. Но еще более болезненно чем неожиданную утрату достатка, Хайнц переживает моральную ущемленность: как же так, он, добросовестный работник, добропорядочный гражданин, оказывается ненужным обществу. И его охватывает страх перед будущим, перед жизнью. Страх, который засасывает все глубже и глубже. Сохранить семью находит в себе силы Марион. Вопреки запрету мужа — ведь, по его взглядам, это он должен содержать жену — она нанимается работницей в упаковочный цех, благо дети уже не требуют непрерывного внимания. И теперь она содержит семью.

Вот от этого толчка развертывается контрапунктная интрига: Хайнц все больше опускается и, даже несмотря на кое-какие заработки, все равно не чувствует себя устойчиво, спивается, стремясь забыться. И все больше отходят от него дети, в глазах которых он утрачивает моральный авторитет.

А Марион, напротив, возвышается Хотя она смертельно устает на работе, она чувствует все-таки себя человеком, а не вещью, непременной принадлежностью домашнего обихода; ее выбирают профсоюзным уполномоченным, она получает водительские права и теперь даже в воскресных поездках за город независима от мужа.

Короче, в ней пробуждаются дремавшие в домашнем однообразии стойкость, самоуважение, энергия И хотя, как это часто бывает в искусстве, фигуры отрицательные выглядят колоритнее, сочнее, чем фигуры положительные (в описании Марион кое-где появляется даже риторика: «В ней росло самосознание»), путь героев прочерчен зримо, убедительно, волнующе.

Но перед нами не назидательная сказочка и не поучение на тему, как плохо не работать и как облагораживает человека труд. Здесь разворачивается драма, драма утраты и обретения человеческого достоинства. И как всякая драма, она имеет свои пики, свои кульминационные узлы, в которых эти расходящиеся линии мужа и жены пересекаются, схлестываются. Например, когда Хайнц получает наконец снова работу по специальности, он тут же требует, чтоб Марион уволилась, а она, уже познавшая освобождение от жизни взаперти, отказывается. Или когда Марион, до того холодно принимавшая супружеские ласки, вдруг осознает, что Хайнц — ее единственный мужчина, мужчина на всю жизнь, и пробует объяснить, что ей, кроме его помощи по дому, требуется еще и любовь. Но это уже переполняет чашу его терпения, меру его уступок — и он уходит из дому, а она впадает в долгий период депрессии, отчаяния, тоски.

Логика нравственного падения ведет Хайнца все ниже и ниже, к случайным связям, к пьянству, к апатии. А Марион, пережив период душевной опустошенности, снова встает на ноги. Роман кончается на забрезжившей полоске света: Хайнц все-таки звонит Марион и просит о встрече. Та соглашается увидеться с ним на отдаленной автобусной остановке. «Как будто им предстояла прогулка». Эта фраза — последняя в романе, и каждый волен поверить и в то, что Хайнц вернется и будет

[1] Впервые этот роман был опубликован в «ИЛ», 1981, № 3.

принят, и в то, что у Марион все уже перегорело, и она эта сознает.

Так вдруг связываются воедино работа, семья и чувство человеческого достоинства: «И если у него не было права на труд, то, значит, не было и права заботиться о себе быть ответственным за себя, быть самим собой быть человеком».

А в «Поездке в Пемполь» вырывается на сутки от работы у заводского конвейера, от семьи Маривон. Невмоготу стало ей каждодневное беличье колесо: завод, дом, завод дом. Она, такая молодая и уже бесконечно усталая хочет почувствовать себя свободным человеком да и просто человеком — чтобы окружающие видели в ней не работницу-замарашку, а красивую молодую женщину. И чтобы муж не воспринимал ее как предмет домашнего обихода, чтобы он почувствовал, что она женщина и нуждается в заботе и внимании. Ведь и Марион мечтала чтобы Хайнц любил ее.

И вот воспользовавшись больничным листом она едет в пустой осенний курортный городок. Ее странствия изложены ею самой, и в отличие от строгого аналитического описания у Фукса, в романе Летессье ощущается открытый эмоциональный накал, даже некоторая взвинченность: здесь нет контрапункта, здесь сольная партия.

У Фукса работа раскрепощает женщину, дает ей чувство собственного достоинства, хоть и не скрывает он, как нестерпимо трудно бывает порой его героине. Здесь же работа истощает — и нетрудно убедиться, какими различными эпитетами сопровождают разговор о труде оба автора. Однако и Маривон не помышляет бросить работу!

И у обеих женщин сходная модель жизни рабочего человека: «Трудиться во имя хлеба насущного, иметь дом, мужа, детей во имя любви, приобрести машину и какую-нибудь мебель во имя благополучия или того, что им называется». И эта минимальная программа оказывается для них неимоверно выматывающей, ведущей к охлаждению в семье, отупению и усталости.

Действие в «Поездке в Пемполь» тоже разворачивается на своеобразном пересечении двух повествовательных потоков. Вырвавшись на свободу, Маривон все время воображает себя то кинозвездой, то богатой, ухоженной женщиной, то даже предметом газетной сенсации: «Чудовищное преступление Маривон Т.». И в то же время она все время вспоминает: а что в этот час делают подруги по цеху и что она делала бы в этот час; заводская жизнь так въелась в душу, что от нее не избавиться, даже уехав отдыхать. И контрастное сплетение мира воображаемого и мира ежедневного, отдающее томительной горечью, определяет настроение всего романа — первого крупного произведения фабричной работницы Дороте Летессье. Как и в большинстве первых произведений молодых авторов, непосредственные жизненные впечатления еще доминируют над художественной отточенностью, но правда уловленных ситуаций и реалий побуждает нас быть снисходительными к художественным огрехам и некоторой претенциозности.

Если роман Фукса начинается с «вдруг», то роман Летессье заканчивается таким «вдруг».

Быстро уставшая от ничегонеделанья (ведь ей привычно ее беличье колесо), стосковавшаяся по мужу (он тоже для нее мужчина на всю жизнь), она торопится домой и, не дожидаясь попутных машин, последние километры идет пешком. Войдя в дом, Маривон видит записку: «Мне тоже необходимо несколько дней отдыха и раздумий. Малыш у твоей матери. Целую». Вот чем кончился ее бунт против повседневности, ее «интерлюдия в прочно запрограммированной жизни».

Будь я социологом, я бы выделил две идеи, так сближающие эти произведения разных писателей разных стран. Мужчина на всю жизнь — все-таки самая естественная форма отношений между любящими друг друга людьми, самая надежная форма семейной жизни, хоть она и стала в последнее время такой неустойчивой. А эмансипация со всеми ее драмами — это объективный процесс, от него никуда не спрятаться, к нему надо приноравливаться.

Но я критик и не могу не отметить: в обоих произведениях за сугубо бытовыми, честно воссозданными картинами ясно просвечивает значительная и глубоко тревожащая проблема, реализованная в художественной плоти реалистического описания. И эта тревога не дает авторам опуститься до натуралистического описания, а воспроизведение быта не позволяет им воспарить в сферы декларативно излагаемых идей. Оттого картина получилась резкой и впечатляющей.

А. БОЧАРОВ

Издано за рубежом

КАРЛО БЕНЕДЕТТИ: О СИБИРИ И СИБИРЯКАХ

Carlo Benedetti. Dalla Siberia. Milano, Editrice "Aurora", 1981.

Карло Бенедетти. Из Сибири. 1981.

«Вокзалы мелькают за окном один за другим, неожиданно возникая на фоне пейзажа, который не назовешь иначе как полярным. Не видно ни деревьев, ни растительности, вокруг нас царство льда, и с трудом различаешь линии рельсов — кажется, что мы несемся по снежной пустыне. В конце нашего стремительного путешествия нас ждет город Норильск, которым советские люди по праву гордятся как символом романтики, первооткрывательства, прогресса, цивилизации, проникающих в бескрайние пространства Заполярья» — это строки из книги итальянского журналиста Карло Бенедетти, написанной им в результате неоднократных поездок по

Сибири. Мы попросили Карло Бенедетти рассказать, как возникла его книга «Из Сибири» и как она была встречена в Италии.

Книг об СССР на Западе выходит немало, но далеко не все авторы стремятся показать читателям Советский Союз в истинном свете. Как правило, вашу страну рисуют такой, какой ее хотят видеть, и поверхностные представления зачастую не имеют ничего общего с действительностью. Я читал почти все, что выходило о Советском Союзе на Западе за последние десять — пятнадцать лет. В большинстве случаев это воспоминания людей, которые здесь жили, поэтому в их книгах можно встретить русские выражения и бытовые реалии, которые авторы используют специально, чтобы продемонстрировать, как хорошо изучили они Россию. Достаточно иному путешественнику хоть раз попробовать борщ, как он проникается уверенностью, что уже все знает о жизни в СССР. Бывает, что и ваша пресса всерьез воспринимает таких знатоков. Как-то газета «Советская Россия» опубликовала интервью с гражданином из Соединенных Штатов, который рассказывал, что смог объяснить водителю такси, как проехать на нужную ему улицу, проявив при этом знание дорожных знаков и употребив слово «кирпич». Можно знать, что такое «кирпич», но при этом не знать, что такое СССР. Можно знать, что такое спагетти, но это еще не значит, что вы знаете Италию.

Я много лет работаю в Советском Союзе, и с самого начала моей главной мечтой было не только понять Россию и СССР в целом, но и суметь рассказать о людях, которые населяют ваше огромное государство. Иногда тем, кто приезжает к вам с Запада, хочется, чтобы все у вас было, как у нас. У итальянцев даже есть выражение «как у нас». Почему, например, нет баров, нет спагетти? Правда, сейчас в Москве открыли две пиццерии, хотя, откровенно говоря, они не имеют ничего общего с итальянской пиццей. Но не это важно. Россия и не должна быть похожа на Италию, а русские — на итальянцев, СССР — это другая страна, и изучать ее нужно такой, как она есть.

С чего же начинать? Ведь итальянцы очень мало знают о вас. Для многих из них вся Россия умещается в Москве. Им трудно понять, что русский язык — один из многих языков, на которых говорят в СССР, потому что в Италии существует только один язык и его диалекты. Когда я рассказываю, что на Украине говорят по-украински, даже образованные люди спрашивают: «Это что — диалект?» И то, что вам кажется совершенно естественным для итальянцев все равно что открытие Америки. В том, что итальянцы так мало знают о Советском Союзе, не только их вина. Итальянская пресса делает все, чтобы «закрыть» от Италии вашу страну и обойти молчанием все, что у вас происходит. Например, о запуске космического корабля с французским космонавтом газеты дали лишь информацию в три-четыре строки, и все. Ведь это первый представитель Западной Европы, первый француз, который полетел в космос на борту советского корабля, построенного с участием и французской техники, тем не менее такое важнейшее событие итальянское телевидение и пресса не сочли сколько-нибудь знаменательным. Я только что был в Италии и, разбирая дома старые книги, наткнулся на учебник географии, выпущенный в пятидесятые годы. О вашем государстве там сказано следующее: «Россия — страна, где живут татары и ортодоксы». Вот на каком уровне еще не так давно у нас изучали Россию — ведь по этому учебнику обучалось целое поколение. Вам это покажется смешным, но когда итальянцы, обладающие примерно такими познаниями об СССР, собираются ехать в вашу страну, они, независимо от времени года, готовятся к этой поездке, как к путешествию на Северный полюс или на Аляску. Потому что для них Россия — это снег, а снег — значит горы, значит, нужно одеваться как в горы и запасаться альпинистскими ботинками. Многие итальянцы даже не слышали, что такое БАМ, Академгородок, для них Москва — это уже Сибирь.

Кстати, недостаточно и той информативной литературы, тех брошюр, которые вы сами издаете на иностранных языках, это капля в море. И не всегда та информация, какая нужна в данный момент. Кроме того, вы не всегда подаете эти материалы в выгодной для вас форме. На Западе и у нас, в Италии, любят дискуссионный подход к проблеме, читатель сам должен решать: «да» или «нет», «за» он или «против». Помимо достижений в области науки и техники у вас очень много интересного происходит в области литературы и искусства, каждый раз, когда я бываю на художественных выставках, я вижу массу замечательных вещей, к сожалению, вы сами не всегда широко и искусно пропагандируете свои успехи.

Но мне пора переходить к моей книге. Работая корреспондентом газеты «Унита», я имел счастливую возможность объехать вашу страну из конца в конец и побывать во всех республиках. Но больше всего меня потрясла Сибирь. «Открывать» Сибирь мне помогала и ваша литература. Русские и советские писатели дали мне для понимания вашей страны в прошлом и настоящем несравненно больше, чем социологические и философские исследования. Я перечитал всех ваших классиков, особенно Пушкина, Лескова, Салтыкова-Щедрина, а среди писателей советского периода — Шукшина, Астафьева, Распутина, Белова, Маркова, Айтматова, Сулейменова, Искандера, Думбадзе — ну, это самые известные, хотя я многое почерпнул также из книг писателей, представляющих малочисленные северные народности,— Рытхэу, Санги. С большим удовольствием читаю журналы «Дружба народов», «Сибирские огни», «Звезда Востока», короче говоря, все, как у вас их называют, «периферийные» журналы, хотя это выражение мне не нравится ни по-русски, ни по-итальянски. Я всегда нахожу в этих журналах для себя много интересного и заношу в свою картотеку и досье. Так я готовился и к поездке в Сибирь, поэтому когда я наконец впервые попал туда, то заранее знал, что меня ждет

в Иркутске, в Новосибирске или Академгородке.

Во время моих поездок по Сибири я, конечно, изучал ее историю, экономику, культуру, но в первую очередь меня интересовали люди: кто строит Сибирь? И я открыл для себя — вам это, наверное, давно известно,— что существует сибирский характер. Существует, как у вас говорят, сибиряк. Это можно заметить даже встречаясь с сибиряками в Москве. Скажут: «Я из Тулы», «Я москвич», но если человек из Сибири, он скажет: «Я сибиряк», не важно, из Иркутска он или из Томска. Понять сибирский характер мне помогли встречи с Василием Шукшиным. Я о нем писал тысячу раз и помню, как главный редактор газеты — а по-итальянски фамилия Шукшин может быть и женского и мужского рода — говорил мне: «Опять ты про свою Шукшин...» У него возникло подозрение, что речь идет не только о талантливой, но и об очень красивой женщине-писательнице.

Ну вот я уже подошел совсем близко к моей книге о Сибири. Почему же именно о Сибири, а не вообще об СССР, например: «СССР сегодня», «СССР завтра», «СССР вчера сегодня и завтра»? Все это уже было. В том числе и книга «Русские», которую выпустили в Америке. Но СССР — это не только русские и не только Россия. Я решил написать книгу о Сибири, потому что если увидишь собственными глазами и поймешь, что происходит в Сибири, то почувствуешь пульс всей страны. Побывав в Сибири, я убедился — и мне хочется повторить слова Ломоносова,— что это действительно будущее России. И не только в области экономики. Это будущее человечества потому что Сибирь — единственный край в мире, где строят города. Ни в одной газете мира я не читал, что где-либо еще строятся города. Строятся новые районы, новые железные дороги — это повсюду. Но где строятся новые города? Я два месяца провел на БАМе, и меня ни на минуту не покидало чувство, что я живу в другом мире. И дело не только в огромных пространствах. Я был свидетелем первых шагов БАМа. Я видел, как гигантскими машинами рубят лес. Это что-то фантастическое! Впервые я попал туда зимой и дорогой нам служила замерзшая река. Меня это ужасно пугало: вдруг что-нибудь сломается, вдруг мы провалимся, а ведь я не умею плавать! И я думал: «Мама миа, что я здесь делаю зачем мне эта Сибирь, ведь я мог бы сидеть сейчас в тепле, у себя на родине?!»

Я жил, как все. В палатке, в вагончике. У нас был вертолет, который перевозил вагончик с места на место и чтобы он не качался в воздухе к нему привязывали огромную березу. У нас — это у меня и двух сибиряков — Леонида Шинкарева и Владимира Васильева (первый в то время работал корреспондентом «Известий» в Иркутске, а второй — в отделе печати МИДа). Они-то и показали мне этот край и если бы вы знали какой там лес, какие там места. Три дня я прожил в маленьком зимовье с охотником-эвенком Вокруг — тишина В первую ночь я никак не мог уснуть из-за жары — так грела маленькая печка. И я решил, что уж лучше умереть от сорокаградусного мороза, чем от жары. Надел тулуп, шапку и уселся у входа в юрту рядом с огромной собакой, которая чутко вслушивалась в ночное безмолвие. Не знаю, может быть, мои друзья подшутили надо мной, но они сказали, что здесь встречаются волки, так что, смотри, будь осторожней. Поэтому я не спускал глаз с собаки, и стоило ей повернуть голову, поворачивался в ту же сторону.

Больше всего мне понравилось, что старого эвенка совершенно не удивило появление итальянца в его зимовье, он воспринял это как нечто само собой разумеющееся, никакого внутреннего землетрясения — пришел так пришел. И те три дня, что я прожил у него, мы с ним прекрасно ладили и понимали друг друга.

Свою книгу я решил назвать «Из Сибири» и сам написал к ней предисловие. Обычно предисловие пишут другие и пересказывают то, что есть в книге. Я же использовал предисловие как обращение к читателю, в котором постарался разъяснить, что это такое — советский человек. Я назвал его Иваном Петровичем Сидоровым. И рассказал, какую он получает зарплату, сколько у него детей, какая у него квартира. Я из тех западных журналистов, которые живут в обычных панельных домах, в каких живут миллионы советских людей. Поэтому мне легко было описать квартиру, где живет сейчас Сидоров, но я рассказал и о тех условиях, в которых он или его родители жили до революции. Здесь же я, конечно, сообщил и о других переменах, произошедших в России за последние шестьдесят пять лет. Я счел нужным специально остановиться на периоде, предшествовавшем принятию вашей Конституции, постарался передать, как шло ее обсуждение, сколько человек принимало в нем участие, какие изменения были внесены в результате этого обсуждения. Затронул я и вопрос, как советский человек относится к своей стране. Я пишу: сам он часто не замечает, как многое меняется вокруг него, потому что привык, что каждый месяц приносит какие-то перемены. Его не удивляет, что русские женятся на грузинках или татарках, и точно так же он не замечает и других важных социальных сдвигов, которые происходят в вашем развивающемся обществе. И хотя СССР — уже давно индустриальное государство, мой Иван Петрович не отдает себе отчета в том, как по-особому любят землю в вашей стране. Почти каждый сохранил у вас любовь к деревне, к природе, к своим корням. Достаточно наугад открыть любую газету, и вы наверняка найдете там материал о необходимости беречь природу Для нас, людей Запада, асфальт — самый естественный вид, открывающийся из окна у вас же каждый старается что-то посадить у себя под окном, возле дома, хотя этой зелени и цветов-то всего два-три месяца.

Пишу я и о том, какое значение имеют для Ивана Петровича книги тех писателей, которых вы называете «деревенщиками»,— Абрамова, Можаева Залыгина, Астафьева, Белова, Распутина, Шукшина Каждый раз, когда в Сибири я попадал в квартиры ра-

бочих или инженеров, рядом с классиками на полках непременно стояли пять или шесть книг этих авторов. Значит, эти книги читают, значит, эти книги нужны.

В этом же предисловии я говорю и о том, как важна политика мирного сосуществования для всей вашей страны и для развития Сибири в частности. Чтобы использовать сибирские богатства, нужны огромные средства. Ведь Сибирь — это не Италия и не Франция. Для самого простого и неграмотного итальянского крестьянина посадить зерно — это две секунды работы. Посадил, и завтра будет хлеб. В Сибири же условия совершенно другие, там требуется техника, причем самая современная. Чтобы добывать нефть газ, нужно строить железные дороги, нужно строить газопровод. Тюмень, Уренгой — еще недавно эти названия звучали для итальянцев примерно так же, как Марс и Луна. Сейчас, когда речь идет о строительстве газопровода и для Италии, слово Уренгой уже входит в употребление.

В последнее время я много читаю о строительстве газопровода, и мне часто встречаются слова: «Мы будем сами, своими силами и т. д.». Вот в этом и проявляется русский, сибирский характер. Это не самоуверенность, нет. Так говорят люди, которые действительно способны сделать все своими руками.

В начале книги я поместил небольшую карту, на которой указаны города: Москва, Новосибирск, Тюмень, Норильск, Тайшет, Иркутск, Хабаровск — маршруты моих путешествий и маленький справочник, который оказался очень полезен итальянским читателям. Вы, наверное, будете смеяться, если я скажу, что в этом справочнике объяснил значение таких слов, как БАМ, Госплан, ТПК, Транссибирская магистраль и т. д.

Каждую главу я начинал с эпиграфа. Почему? Это не случайно. В качестве эпиграфов я использовал цитаты из произведений Маркова, Евтушенко («Братская ГЭС»), Маяковского (помните «Я знаю — город будет...»?), Виктора Кина, которые помогают понять особенности русского, сибирского характера, представить себе дух созидания, строительства новой жизни, который царит в Сибири, в вашей стране.

Я уже говорил, что главное для меня — это люди, живущие и работающие в Сибири. Поэтому, рассказывая об Академгородке, я, может, не совсем правильно воспроизвел по-итальянски названия его институтов, но постарался как можно ярче обрисовать ученых, которые в них трудятся.

Когда я был в Тюмени, там строилась железная дорога. Среди болот... Невыносимо трудные условия, но двадцатилетние парни работали в этих условиях несмотря на сорокаградусные морозы. Я не люблю, когда говорят, что это и есть романтика. Конечно, романтика, но я не верю, что можно любить сорокаградусные морозы, попробуйте рубить лес при такой температуре, и вы забудете о романтике.

Норильск... Хабаровск... Иркутск... Последняя часть книги посвящена Иркутску. Я считаю, что если Москва — столица СССР, то Иркутск можно назвать столицей Сибири. Это настоящий столичный город, здесь есть театр, выходят свои газеты и журналы. Я не сравниваю Иркутск с Флоренцией, это никому не нужно, я просто рассказываю, что я собственными глазами видел в этом так называемом провинциальном городе.

В Иркутске я встретился с Распутиным, который произвел на меня незабываемое впечатление. Сдержанный, молчаливый, но если он что-то говорил, каждое слово было к месту. К сожалению, в то время я еще не читал его книг, но уже знал произведения Вампилова. Не случайно, что и Распутин, и Вампилов из одного города — Иркутска. Там же я познакомился с Марком Сергеевым, который пишет о декабристах. Он много рассказывал мне о Вампилове. Моя книга была ограничена социологическими рамками, но некоторые мои встречи с писателями в нее все-таки вошли.

Как встретили книгу «Из Сибири» в Италии? Мне было очень приятно, что первая рецензия, которая на нее появилась в «Паэзе сера», была написана Аугусто Ливи, который был в свое время корреспондентом этой газеты в Москве и хорошо знает вашу страну. Он сказал, что в своей книге я даю ключ к пониманию друзей. Были и другие рецензии, книгу читают студенты, журналисты, люди, интересующиеся вашей страной и специально изучающие ее. Когда я бываю в Италии, мне говорят: «Ты не старался приукрасить советскую действительность, ты показал жизнь в СССР правдиво, со всеми ее трудностями и проблемами, но, читая твою книгу, чувствуешь, что она написана с любовью». Я этого и не скрываю.

И еще — не знаю, как это воспринимать, как критику или как комплимент — мне говорят: «Закрывая твою книгу, думаешь: это сейчас, а что же дальше?»

Дальше будет новая книга, которую я пока условно назвал «От Балтийского моря до Тихого океана». И география ее будет более протяженной, и круг проблем шире. События, даты следуют одни за другими. И нужно своевременно рассказать о них и разъяснить их важность итальянским читателям. Вот, например, в этом месяце вы празднуете шестидесятилетие образования СССР. Но прежде чем браться за перо и писать об этой годовщине, нужно осмыслить: уже шестьдесят или всего шестьдесят лет?.. Много это или мало?.. И что означает эта дата для вашего государства, для всего человечества.

Беседу вела Н. ПОПОВА

ГИМН ЕДИНСТВУ

Roger Bordier. La grande vie. Paris, Albin Michel, 1981.

Роже Бордье. Большая жизнь. 1981.

«Роже Бордье — один из самых значительных, оригинальных и талантливых романистов наших дней»,— писал французский журнал «Эроп». Эту справедливую оценку необходимо до-

полнить, подчеркнув, что почти все романы писателя, согретые добрым лиризмом, рассказывают о жизни и борьбе трудящихся Франции и проникнуты нерушимой верой в творческую силу народа.

Новый роман Роже Бордье «Большая жизнь» критиками разных политических и эстетических ориентаций единодушно расценен как крупное, яркое явление в сегодняшней французской прозе. Писателю, действительно, удалось создать огромную фреску и воскресить один из наиболее драматичных и прекрасных периодов в истории современной Франции — эпоху Народного фронта тридцатых годов. Следуя традициям Гюго и Золя, Бордье убедительно доказал, какие неисчерпаемые возможности открываются сегодня перед художником, если он обращается к показу жизни народа, переломных, решающих моментов в его истории. Анри Бонье, литературный обозреватель газеты «Депеш дю Миди», писал: «В «Большой жизни» события 1936 года воссоздаются так же, как война 1914—1918 годов в «Огне» Барбюса».

Бурная история Франции тридцатых годов нашего века врывается в роман с первых же страниц. Страна никак не может оправиться от тяжелых последствий великой депрессии, словно в чехарде сменяют друг друга эфемерные кабинеты министров, процветают аферисты вроде пресловутого Александра Стависского, поднимают голову профашистские организации, чьи вдохновители идеологически ориентируются на германский нацизм, не утихает резкая полемика коммунистов с социалистами, профсоюзное движение расколото, к радости «двухсот семейств», фактически правящих Францией. Неспокойно и во всей Европе: не скрывают своей агрессивности итальянские фашисты, нацисты, пришедшие к власти в Германии; даже далекие от политики люди понимают, что фашизм — это война.

Таков социальный фон романа Роже Бордье, в котором он изображает будни и праздники разветвленного семейства Обеспэнов, чьей родиной является деревня Сэгль, раскинувшаяся на живописном берегу Луары. Глава клана Обеспэнов — «матушка Бассют» — мать троих сыновей, старший из которых по прозвищу Боб-Тонтон содержит в Париже бистро с заманчивой вывеской «У венгерской королевы». Ее племянница, которую в семье прозвали «пастушкой», вышла замуж за сына богатых судовладельцев и живет в Гавре. Шумный, стремительный Париж, медлительная луарская провинция, романтичный портовый Гавр — такова география «Большой жизни», где писатель во множестве колоритнейших подробностей, достоверно, словно в любительском фильме тех лет, запечатлел повседневное существование своих героев.

По замыслу автора, семейство Обеспэнов должно олицетворять лучшие демократические, революционные традиции народа Франции, его гуманный, жизнелюбивый и поэтический дух. Оно свято хранит заветы своего прадеда — бунтаря Гаспара Жюля Казимира, чтя его память ежегодным праздником, на который съезжаются в родную деревню все члены семьи. В мрачные времена Второй империи Гаспар в самый разгар ярмарки влез на столб, где висел приз смельчаку — кубок с выгравированным на нем фригийским колпаком,— и кричал, не боясь жандармов: «Долой тиранию, да здравствует коммуна Сэгля, да здравствует Виктор Гюго, кюре в огонь, да здравствует Республика!» И с тех пор на каждом празднике, что устраивает семейство Обеспэнов, ходит по кругу этот кубок-реликвия и провозглашается тост «За здоровье народа!»

Именно народ предстает в романе решающей силой истории. Выразителен образ скромного учителя Антуана Обеспэна, коммуниста, который с увлечением изучает богатую революционную историю Франции, особенно Парижскую Коммуну. Каждой весной он совершает паломничество в Париж и возлагает цветы к «Стене коммунаров». «Народ —поэт»,— убежден Антуан; недаром жена его брата Луи всякий раз просит от ее имени принести букетик фиалок на могилу поэта-коммунара Жана Батиста Клемана, автора любимейшей песни простых французов «Время вишен». Однако народ не только поэт, но и борец. Перед глазами Антуана неотступно стоят чудовищные картины расправы версальцев с коммунарами: «Сколько ненависти, низости, глупости, невежества. Сколько преступлений и смертей.— Но он верно оценивает непреходящий урок Коммуны: — Такое поражение и такая вера». Народ, рабочий класс верили в Парижскую Коммуну, потому что видели в ней «обещание будущего». В полном соответствии с логикой своего художественного замысла — воссоздать историческую память французского народа — писатель посвящает Парижской Коммуне проникновенные лирические страницы.

О пестрых, сменяющих друг друга, как в калейдоскопе, событиях первой половины тридцатых годов, которые привели к созданию «Народного фронта свободы, труда и мира»— так назвал его Морис Торез,— Роже Бордье рассказывает, применяя «двойную оптику» повествования. Его герои прямо участвуют в событиях, как, например, друг Боба-Тонтона мясник Клотэр, поддавшийся на шовинистическую пропаганду и отправившийся вместе с фашистскими молодчиками «штурмовать» 6 февраля 1934 года Палату депутатов. Этот путч бесславно провалился, Клотэру сильно намяли бока, и он будет горько сожалеть о своей авантюре. Или как железнодорожник, профсоюзный активист Тома, который пережил огромное счастье, приняв участие 12 февраля 1934 года в грандиозной «демонстрации единства», когда коммунисты и социалисты вместе вышли на улицы Парижа отстаивать демократические свободы, преградив путь фашизму. Или как все они без исключения с волнением и надеждой следят за парламентскими выборами мая 1936 года — победа на них коалиции левых сил, собственно, и привела к образованию правительства Народного фронта, самого крупного массового движения, которое знала Франция в двадцатом столетии. Роже Бордье с виртуозным мастерством рисует массовые сцены, с искренним лиризмом передает «необъятное счастье» и энтузиазм

народа, который пережил великую радость и ощутил силу собственного единства. Народный фронт действительно стал праздником народа, когда простые люди Франции — в том числе и герои романа Бордье — почувствовали уверенность, что отныне они «будут жить большой жизнью».

Но писатель вводит в произведение своего рода «хрониста» больших и малых дел той эпохи. Это — адвокат Поль Шантавер, либеральный буржуа, утонченный эрудит и краевед коммуны Сэгль, который ведет свои «Записи», изо дня в день, из месяца в месяц фиксируя все происходящее, рисуя портреты политических деятелей тех лет, тщательно изучая прессу. Страницы, написанные Полем Шантавером,— в книге они выделены шрифтом — представляют собой как бы развернутый исторический комментарий к событиям эпохи Народного фронта: ведь герои романа Бордье не знают того, что видит автор с высоты нашей современности.

«Эта книга появилась вовремя»,— подчеркивал в «Юманите» Андре Вюрмсер, рецензируя «Большую жизнь». Сегодня, когда во Франции пришло к власти социалистическое правительство, в котором участвуют и коммунисты, страна переживает период перемен. Их масштаб, разумеется, совсем иной, нежели в эпоху Народного фронта. Но миллионы французов так же страстно спорят, обсуждая пути в будущее, как и их соотечественники времен Народного фронта. Роман Роже Бордье — это весомый аргумент в этих дискуссиях в пользу народа, настоящий гимн единству.

Роже Бордье не стремится приукрашивать историю — это сильная сторона его честной книги. Да, Народный фронт просуществовал только два года, и много возможностей было упущено. Силам демократии не удалось сделать главного — предотвратить вторую мировую войну. Фашизм и война принесли людям неисчислимые страдания, и боль утрат человеческие сердца будут чувствовать всегда. Но война не могла отнять мужества, веры, стойкости, убежденности миллионов, что правое дело победит. Единство народа в борьбе против фашизма и войны, которое возникло в эпоху Народного фронта, явилось одной из основ героического движения Сопротивления, одним из источников великой победы над фашизмом. И в глубоком понимании этого — актуальность романа Роже Бордье.

Критик Андре Лод в еженедельнике «Нувель литтерер» упрекнул Бордье за то, что его герои чересчур «однолинейны», что все они «великодушны, добры, исповедуют гуманистическую мораль». Но характер народа, как его изображает Бордье, отличает не «однолинейность», а цельность. Писатель убежден, и эта убежденность озаряет каждую страницу его книги, что народ добр, щедр душой и с оптимизмом смотрит в будущее, которое он хочет видеть мирным, наполненным созидательным трудом и счастьем. Короче говоря, народ стремится к Большой жизни.

Как уже говорилось, новый роман Роже Бордье вызвал множество откликов во французской прессе, и мы познакомим наших читателей с опубликованной в «Юманите диманш» статьей Шарля Ароша, включающей фрагменты беседы критика с писателем.

ЛЕВ ТОКАРЕВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА

Между Роже Бордье и его романами существует полное сходство: ведь он принадлежит к тем писателям, которые рассказывают какой-либо сюжет лишь тогда, когда он освоен ими до мельчайших подробностей. Но мы вовсе не склонны утверждать, что рассказчик непременно выступает двойником автора и все исторические события 1930—1936 годов, о которых повествует «Большая жизнь», почерпнуты писателем из его биографии.

Подобно каждому хорошему романисту, Бордье — прежде всего творец в изначальном смысле этого слова, и, пытаясь передать социальную атмосферу, воссоздать жизнь людей во времена Народного фронта, он стремится к правдивости, неизменно согретой его глубоким поэтическим чувством. Все дело здесь в стиле и языке писателя, столь же ярких, как и содержание романа, душу которого они выражают.

Роже Бордье обрел себя в поэзии, как и герой романа, его alter ego, маленький Пьеро, который ходит со своим дядей Бобом-Тонтоном на рыбалку, проявляя ненасытную любознательность крайне чувствительного мальчика, и ждет по вечерам возвращения матери с завода.

— Пьеро во многом похож на меня,— признается Роже Бордье.— Я, как и он, жил в деревне, неподалеку от города, где был небольшой заводик, на котором работали мои родители. Мне хотелось рассказать об одиночестве ребенка, ожидающего того мгновенья, когда завод отпустит его мать и когда, оторвавшись наконец от станка, она сможет приласкать и своего сына. Детские страхи порождают бунтарскую силу, тревогу и смелость. Преодолевая одиночество, заполненное чтением, я чувствовал, как во мне зарождается мир, которому присущ совершенно особый язык. Позднее я понял, что это зовется поэзией.

Именно этот мир воплотился в «Большой жизни» — книге, где Бордье полностью осознал свои социальные корни и проявил все свое мастерство романиста.

Бордье — наблюдатель, который живым, проницательным взглядом внимательно присматривается к движению современности. Однако писатель не намерен делиться своими наблюдениями в излишне усложненной манере. Во время беседы он не раз подчеркивает, что его роман представляет собой сагу о семье, живущей в период всеобщего ликования, каким был Народный фронт 1936 года.

— Я старался держаться рамок повседневности. Разумеется, в романе рассказано о событиях того времени, о которых часто вспоминают: 6 февраля, 12 февраля, сменяющих друг друга правительствах и т. д. У каждого моего героя свой неповторимый путь — это пережитый и перечувствованный им личный опыт. «Большая жизнь» не является ни историческим романом, ни романом-мифом, стоящим над обстоятельства-

ми и противоречиями действительности. В ней показана будничная жизнь мужчин и женщин, которую определяет общество, переживающее изменения. Это роман о преображении Франции. Я давно мечтал рассказать об этом счастливом и сложном периоде французского народа, возродить историческую память, в которой живет Народный фронт.

Роже Бордье хотел — и ему это удалось — соединить историю с романом, и в «Большой жизни» эта связь нигде не нарушается, поскольку писатель не только точно изображает места действия, но и верно передает сам дух, стремительный пафос движения, составившего эпоху в жизни народа.

Вполне оправданно, что в романе множество персонажей, это — художественная необходимость. Ведь они, хотя и являются людьми одного возраста, сильно отличаются друг от друга своим отношением к событиям. Среди них — участники войны 1914—1918 годов и те, кто не воевал. Боб-Тонтон, сбившийся с пути юноша, в меру анархист и антимилитарист, подобно многим его сверстникам, был отправлен служить в «африканские батальоны», те самые, что возбуждали любопытство его юного племянника Пьеро. Он воевал на передовой. С войны Боб-Тонтон вернулся совершенно другим человеком, он сам не понимает, как смог выбраться из этого ада. Отныне его больше не интересует ничего, кроме маленького бистро, что он содержит возле «чрева Парижа», ежегодного праздника в родной деревне и рыбалки.

— Я не представляю себе героя романа вне социальной среды,— говорит Роже Бордье.— Меня абсолютно не интересует литература, описывающая человека без профессии, на которого никогда не влияют условия общественной жизни. В моем последнем романе я более, чем когда-либо прежде, стремился изображать социально обусловленные человеческие характеры.

По мнению Бордье, железнодорожник Тома — он также принадлежит к любимым персонажам писателя — лучше всего помогает читателю представить, как в ту эпоху развивался рабочий класс. Тома, не связанный с какой-либо партией,— рабочий активист, который обретает себя в борьбе. Именно благодаря борьбе и голосам таких людей, как Тома, смог одержать победу Народный фронт.

Коммунистом в романе является только Антуан, каждый год совершающий паломничество к «Стене коммунаров». Но и другие герои из народа, еще не сделавшие окончательного политического выбора, действуют не менее активно.

Так, народ в борьбе сотворил свою радость. Стремясь поведать об этой радости, Роже Бордье изображает огромное социальное движение, в котором народ обретает свои корни, в котором политика с ее бесчисленными аспектами и этика социальной справедливости слились воедино.

В романе «Завтра лето» Роже Бордье от своего имени процитировал фразу Поля Элюара: «Я стремлюсь занять свое место под солнцем в зримом хоре будущего».

В романе «Большая жизнь» писатель выбрал один отрезок прошлого Франции — Народный фронт — и включил его в поток истории, в ту атмосферу праздника, в которой люди, что борются и изменяются в этой борьбе, обретают самих себя.

ШАРЛЬ АРОШ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

80-ЛЕТИЕ ДИМФНЫ КЬЮСАК

В этом году отмечается 80-летие известной австралийской писательницы Димфны Кьюсак, умершей в октябре 1981 года.

Димфна Кьюсак вступила в большую литературу в 1936 году, опубликовав свой первый роман «Юнгфрау». К тому же времени относится и ее первая пьеса «Небо красно поутру» — об ирландских политических ссыльных в Австралии.

С тех пор почти за полвека напряженной литературной жизни писательницей были созданы, в частности, романы: «Азартная игра» (1951), «Скажи смерти «нет!» (1951), «Жаркое лето в Берлине» (1961), «Черная молния» (1964), «Солнце — это еще не все» (1967), пьесы, в том числе «Тихоокеанский рай» (1956).

Для творчества Димфны Кьюсак характерна отчетливо выраженная антифашистская, антивоенная, антирасистская направленность, бескомпромиссность, смелость и честность, социальный и гражданский пафос.

Подчеркивая именно эти особенности незаурядного таланта своей соотечественницы, старейшая австралийская писательница Катарина Сусанна Причард незадолго до смерти писала: «Она обладает умением подхватывать темы социальной важности, животрепещущего или общераспространенного значения, которое настоятельно требует своего воплощения, тревожа ее мысль».

К перечню произведений Димфны Кьюсак следует добавить роман «Обгоревшее дерево», который, по словам самого автора, явился решительным выступлением против «домашнего» расизма — дискриминации аборигенов в Австралии.

Произведения Димфны Кьюсак завоевали большую популярность у нее на родине и в других странах. Только в СССР произведения Димфны Кьюсак вышли общим тиражом более двух миллионов экземпляров. Писательница неоднократно посещала Советский Союз. Ее дружеское отношение к нашей стране отчетливо проявилось в книге путевых заметок «Отдых среди русских» (1964), получившей высокую оценку зарубежной критики.

На снимке: Димфна Кьюсак с мужем на Красной площади в один из своих приездов в Москву.

БОЛГАРИЯ

ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА

Премии Союза болгарских писателей за 1982 год удостоены два поэтических сборника и три прозаические книги.

Оригинальный по своему замыслу сборник М. Шопкина «До второго сигнала» состоит из стихотворений, посвященных болгарским поэтам, погибшим в борьбе за национальное и социальное освобождение народа. В этом списке и великие поэты: Христо Ботев, Никола Вапцаров, Христо Смирненский, и молодые поэты-антифашисты. Болгарская критика считает этот сборник высшим достижением в творчестве М. Шопкина, ярким доказательством зрелости его таланта.

Второй поэт, удостоенный премии, — Б. Геронтиев. Имя, сравнительно недавно появившееся в болгарской поэзии, но уже привлекшее к себе внимание. В сборник «Воспоминание о вине» вошли наиболее удачные стихотворения двух первых книг Б. Геронтиева и новые стихи, объединенные общими для его лирики мотивами, главный из которых — раздумья современного человека, озабоченного тем, как сохранить сегодня лучшие духовные качества болгарского народа.

Третий из награжденных — замечательный поэт Андрей Германов, лирика которого, как сказал на вечере, посвященном его памяти, председатель Союза болгарских писателей Л. Левчев, «остается бесценным достоянием болгарской литературы». Присуждение А. Германову (посмертно) премии СБП за его единственную публицистическую книгу «Парни в домотканой одежде» — еще одно выражение восхищения его талантом, который в полной мере проявился и в этой автобиографической книге, где он рассказывает о своих юношеских годах, об участии в движении трудовых бригад — первых строителей социалистической Болгарии. И несмотря на то, что это были трудные годы, книга А. Германова, как подчеркивает журнал «Пламък», «исполнена светлого жизнеутверждающего пафоса».

Светлое начало отличает и книгу молодой писательницы Екатерины Томовой

«Забытые небом», где собраны рассказы крестьян-долгожителей. Это, пишет журнал «Септември», не просто документальная запись бесед со стариками, но настоящие художественные произведения, полные драматизма, колоритных образов, ярких характеров. В них нашло свое отражение национальное самосознание, народная философия, проникнутая верой в бессмертие человеческой души, верой в добро и правду.

В области детской литературы премия СБП присуждена прозаику Димитру Ярымову за книгу «Чудные дела», в которой автор увлекательно рассказывает детям о связи человека с природой.

В области драматургии премии удостоен драматург Милко Милков за пьесу «Вся правда о святом Георгии», воссоздающую одну из страниц национально-освободительной борьбы болгарского народа.

БРАЗИЛИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ «СИНЕМА НОВО»

Кинематограф Бразилии, выпускающий ежегодно более ста фильмов, уверенно завоевывает зрителя не только в Латинской Америке, но и в Европе. Бразильское государственное предприятие по производству фильмов ЭМБРАФИЛМЕ на последнем Каннском фестивале потеснило продукцию многих европейских фирм. Бразильцы продали в Канне двенадцать своих картин, среди которых — лента Л. Хиршмана «Смокингов они не носят», отмеченная призами и наградами нескольких международных смотров, в том числе «Большой Коралл» фестиваля Нового латиноамериканского кино в Гаване. Картина Хиршмана дала прессе многих стран повод заговорить о возрождении славы бразильского «синема ново» 50-х годов.

Фильм, в основу которого положена одноименная пьеса Джанкарло Гуарниери, впервые поставленная в Бразилии в 1956 году, представляет собой попытку по-новому осмыслить «вечные проблемы» рабочего класса крупнейшей латиноамериканской страны.

Это рассказ о сегодняшнем дне Бразилии, о конфликтах и проблемах реальных, наболевших. В центре повествования — забастовка рабочих одного из заводов Сан-Пауло. По оценке критики, Л. Хиршман, теоретик кино и последователь творческого метода Сергея Эйзенштейна, создал настоящий документ эпохи. «Человек необычайно одаренный,— пишет о бразильском режиссере критик кубинского журнала «Боэмия» Асусена Исабель,— Хиршман показывает людей такими, какими они являются в жизни. В дни суровых испытаний и в дни радости они воплощают лучшие черты бразильского народа. С искренностью и мужеством Л. Хиршман раскрывает истоки непримиримого конфликта между рабочим классом и капиталом; он обличает эксплуатацию и попрание элементарных человеческих прав в «дегуманизированном» мире, где все призвано охранять привилегии немногих в ущерб интересам большинства».

Фильм Л. Хиршмана достойно продолжает линию социального кинематографа Бразилии, анализирующего — и решающего — в доступных ему формах важнейшие проблемы Латинской Америки.

На снимке: кадр из фильма «Смокингов они не носят».

(Журнал «Боэмия»)

ВЕНГРИЯ

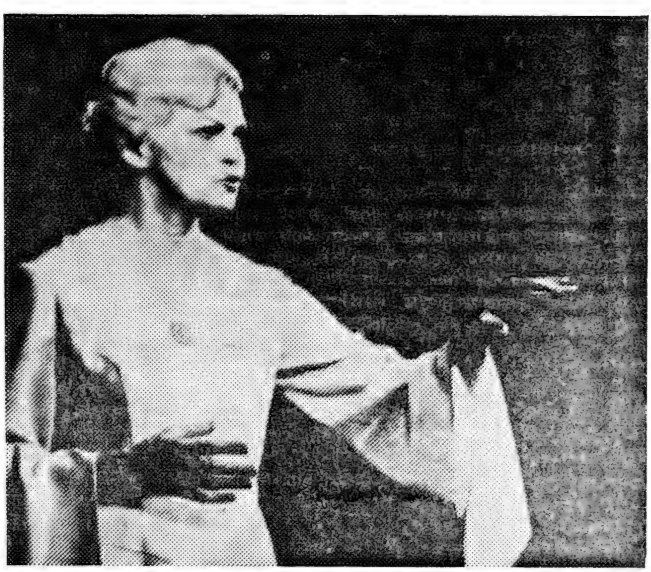
ВСТРЕЧА С АНДРИЕННЕ ЯНЧО

Андриенне Янчо, заслуженная артистка Венгерской Народной Республики, лауреат премии имени Марии Ясаи, нашла себя в особом сценическом жанре — декламации. Актриса высокой духовной культуры и огромного обаяния, она по праву считается непревзойденным интерпретатором прежде всего фольклора.

Но недавно актриса выступила на сцене Литературного театра имени Радноти с развернутой композицией по произведениям известных венгерских писателей, поэтов, мастеров культуры.

На снимке: Андриенне Янчо.

(Журнал «Театр»)



В композицию вошли отрывки из романа Маргит Кафки «Цвета и годы», стихи Шандора Вёреша, Михая Бабича, Леринца Сабо, Яноша Араня, Золтана Экея, воспоминания замечательной актрисы XIX века Марии Ясаи.

В течение целого вечера Андриенне Янчо как бы рассказывает просто и задушевно о предназначении человека, о великолепии жизни с ее радостями и огорчениями. Прекрасна жизнь, если ты ее творец, если ты «влюблен в свою работу до самой старости».

Журнал «Синхаз» называет эту композицию Андриенне Янчо моноспектаклем. Интерпретация литературных произведений, интонация спектакля настолько захватывают публику, что она уходит со спектакля, пережив настоящее душевное потрясение, подчеркивается на страницах журнала.

По роману Вилли Бределя «Твой неизвестный брат» на студии ДЕФА создан одноименный фильм (режиссер — Ульрих Вайс).
На снимке: Уве Коккиш и Енни Грёльман в главных ролях фильма.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ГДР

ЮБИЛЕЙ ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

Пресса Германской Демократической Республики широко откликнулась на семидесятилетие Эрвина Штриттматтера. Большие статьи, посвященные писателю, поместили на своих страницах «Нойес Дойчланд», «Берлинер цайтунг», еженедельник «Зоннтаг», газеты «Дер морген», «Националь-цайтунг». Много материалов опубликовано в ведущих литературных журналах «Нойе дойче литератур», «Зинн унд форм». «Веймарер байтреге».

Рассказывая о жизни и творчестве Штриттматтера, газета «Нойес Дойчланд» пишет: «Искусство Эрвина Штриттматтера — это искусство видения... И в больших романах, и в маленьких рассказах он по-новому открывает читателю то, что казалось давно известным, он делает значительным то, что казалось незначительным... В своей особой манере, то серьезно, то с улыбкой, Штриттматтер пишет и о настоящем времени, и о прошлом... У него очень большой круг читателей и в нашей стране, и за рубежом».

«У Эрвина Штриттматтера дар народного писателя. Он любит и знает жизнь деревни, тесно связывает ее с картинами природы, в его творчестве много фантастических и поэтических моментов, а также глубоких философских раздумий».

К юбилею писателя был приурочен выход в издательстве «Ауфбау» новой книги «Подлинные истории всех видов» с послесловием Эвы Штриттматтер. Это как бы продолжение лирической книги миниатюр «Побуждения к творчеству», отрывки из которой были опубликованы в седьмом номере журнала «Иностранная литература» за 1982 год. В 1983 году выйдет автобиографический роман Штриттматтера «Лавка», главы из которого были напечатаны в журнале «Нойе дойче литератур».

ИТАЛИЯ

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ВИТТОРИО ГАСМАНА

В этом году Витторио Гасману исполнилось 60 лет. Почти 40 из них отданы театру, 35 — кино. Количество сыгранных им ролей превышает 200. Один из крупнейших актеров страны, Гасман широко известен и за ее пределами. Советский зритель помнит его по фильмам «Горький рис» Джузеппе де Сантиса, «Обгон» Дино Ризи, «Пустыня Татар» Валерио Дзурлини, по американо-итальянскому фильму «Война и мир» (Анатоль Курагин) и другим. На Московском кинофестивале 1981 года с успехом демонстрировался фильм Марио Моничелли «Гостиничный номер», где Гасман неожиданно предстал перед советским зрителем как блистательный комический актер (до этого его знали главным образом как трагика). Свой юбилейный год актер встречает в зените славы.

На спектаклях с Витторио Гасманом зрительный зал всегда переполнен. Выстраиваются очереди и на его лекции о театре (Гасман — создатель и руководитель театральной школы во Флоренции). Огромной популярностью пользуется его книга воспоминаний.

Самым ярким событием юбилейного для него года стала роль шекспировского Отелло. Перевод пьесы сделал сам Витторио Гасман, режиссер спектакля — Альваро Пиккарди.

Отелло Гасмана — одинокий трагический герой среди комедиантов, он не может приспособиться к «низости» окружающих. Яго в исполнении Джулио Броджи лишен всякого романтическо-

На снимке: Витторио Гасман в роли Отелло.

(Газета «Унита»)

го ореола, дьявольских чар. Это своего рода преступник-бюрократ, который тщательно готовит и методично проводит в жизнь свой гнусный план. Кассио — воплощение посредственности, «тряпичная кукла» — становится правителем Кипра.

Актуальность и современность такой трактовки шекспировской драмы с энтузиазмом встречена зрителем.

МОНГОЛИЯ

«АНТОЛОГИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ДРАМЫ»

Выход в свет «Антологии монгольской драмы», выпущенной в честь 60-летия победы Народной революции, стал событием в литературной жизни страны. Это первый сборник пьес за годы народной власти, представляющий историю развития этого литературного жанра.

В нем поэтапно представлены крупнейшие произведения монгольской драматургии, начиная с пьесы основоположника современной монгольской литературы Д. Нацагдоржа «У трех печальных холмов», которая занимает центральное место не только в драме, но и во всей монгольской литературе. Пьеса положена на музыку и уже в течение многих лет с неослабевающим успехом идет на сцене Государственного театра оперы и балета.

Среди девяти пьес, вошедших в сборник, пьеса «Темная власть» современника Д. Нацагдоржа — Буяннэмэха, писателя, сделавшего многое для развития монгольской литературы. Эта пьеса с успехом шла на фестивале народных театров в Москве в 1932 году.

Пьеса Ши Аюуша «Ровно восемнадцать» вписала также яркую страницу в литературу 30-х годов. Пьеса явилась откликом на политику партии в отношении контрреволюционно настроенных лам, в ней рассказывается о классовом расслоении среди духовенства, о трудной судьбе молодого ламы, принявшего решение отказаться от духовного сана и вступить в активную борьбу за революционные преобразования в стране.

Талантливым представителем 40—50-х годов явился другой автор сборника Ч. Ойдов. Его пьеса «Семь небылиц», созданная на фольклорном материале, рассказывает о народном герое, ловком и умном, умеющем провести любого глупца и богача. Ему же принадлежат талантливые пьесы «Путь», «Свет зари», «Монхоо — искатель счастья».

В 50-е годы в драме произошел поворот от историко-революционной темы к теме современности, героями их стали строители нового общества: «Врачи» Л. Вангана, «Руки» и «Я никуда отсюда не поеду» Ч. Лодойдамбы и Э. Оюун.

Большим вкладом в современную монгольскую драматургию явились пьесы Д. Намуача, с успехом идущие на сценах монгольских театров: «Борьба», «Новый путь», «Жизнь и цена жизни» и другие, отличающиеся широким диапазоном тем и художественных средств.

Одним из ведущих драматургов последнего десятилетия был замечательный поэт, прозаик, публицист, переводчик Ч. Чимид. Его пьеса «Интенданты», недавно поставленная на сцене Государственного театра им. Нацагдоржа, глубоко трактует тему народной революции, подчеркивает простоту и человечность народного вождя Сухэ-Батора.

Газета «Утга зохиол урлаг» отмечает, что появление «Антологии монгольской драмы» имеет неоценимое значение для театральных деятелей, критиков, литературоведов, широкого круга читателей.

ПОЛЬША

«ЗНАМЯ И КРОВЬ»

В связи со 100-летием польского рабочего движения в Польше вышел сборник песен пролетарских поэтов «Знамя и кровь». В сборник включены четыре песни. Первая — всемирно известное «Красное знамя» Болеслава Червеньского (1851—1888), ставшая гимном борющегося пролетариата; ее пели на мотив «Марсельезы», она была переведена на многие языки (немецкий перевод сделала Роза Люксембург). Вторая песня — «Варшавянка» Вацлава Свенацкого (1848—1900), обессмертившая имя ее автора и ставшая любимейшей песней революционного пролетариата Польши и России. Владислав Броневский называл ее первым гимном в польской пролетарской поэзии.

Ценным наследием революционной поэзии является «Кандальная мазурка» видного революционера Людвика Варынского (1856—1889), написанная им в тюрьме. Следуя традиционной форме революционной песни, Варыньский написал ее на мотив популярной народной мелодии. Четвертая песня принадлежит Густаву Эренбергу. Полная сарказма, она направлена против имущих классов, которых поэт называет предателями родины.

Как отмечает газета «Трибуна люду», в сборнике впервые представлены так полно и объемно лучшие песни польского пролетариата. Достоинства этого сборника определяются еще и тем, что он снабжен подробными комментариями, редкими иллюстрациями, копиями документов, фотографиями первых издателей песен и их авторов. Здесь же представлены переводы песен на другие языки.

С большим успехом на неделе польского кино в Москве прошла комедия молодого режиссера Юлиуша Махульского «Ва-банк». Действие фильма происходит в двадцатилетие между двумя мировыми войнами. В нем рассказывается история человека, который в условиях буржуазной Польши пытается сохранить свое человеческое достоинство и противостоять злу олицетворением которого является мошенник-банкир. Добро побеждает, зло наказано. Фильм, как отмечает пресса,— несомненная удача молодого режиссера. Этому способствовало блестящее исполнение главной роли Яном Махульским, отцом режиссера.
На снимке: Ян Махульский.

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

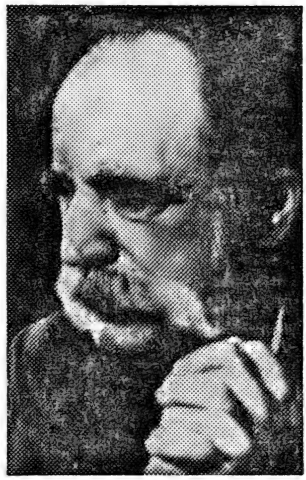
ПЕРВЫЙ ТОМ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ЕСЕНИНА НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ

Есенин — один из самых читаемых в Румынии русских поэтов нашего века. Еще в 1934 году ряд его стихотворений перевел Захария Станку; в 1937 году сборник стихотворений Есенина на румынском языке выпустил ясский поэт, переводчик русской литературы Джордже Лесня.

Поэзия Есенина продолжала привлекать все новых переводчиков. На протяжении последних десяти лет ею занимался поэт и переводчик Иоаникие Олтяну. В 1981 году издательство «Дачиа» выпустило первую книгу его переводов, включающую произведения Есенина 1911—1920 годов. Из 157 помещенных здесь стихотворений и поэм до сих пор лишь 48 были известны румынскому читателю.

«Поэт Иоаникие Олтяну дал нам превосходный перевод, если под словом «превосходный» понимать, что каждое переведенное произведение звучит так, словно оно было написано на румынском языке»,— пишет в газете «Ромыния литераря» один из старейших румынских критиков Шербан Чокулеску, в свое время откликнувшийся на переводы Станку и Лесни.

Во второй том, который готовится к печати, войдут стихотворения Есенина 1921—1923 годов, а в третий — драматические поэмы, статьи и письма. Румынский читатель получит полное представление о великом поэте, творчество которого вдохновило, как утверждает Иоаникие Олтяну, «целую плеяду румынских лириков».



На снимке: Уильям Сароян в последние годы жизни.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

Сарояна висят на стене его студии рядом с портретами выдающихся деятелей культуры Армении.

«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ САРОЯНА В АРМЕНИЮ»

Под таким заголовком американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» сообщила о том, что в конце мая 1982 года в Армению был доставлен прах известного американского писателя Уильяма Сарояна. «Теперь он будет лежать на «второй родине» писателя, рядом с композитором Комитасом, художником Сарьяном, поэтом Аветиком Исаакяном», — писала газета.

Сароян трижды посетил Армению: в 1935 году в возрасте двадцати шести лет, когда получил свой первый писательский гонорар, затем в 1960 и 1978 годах, в последний раз незадолго до своей смерти. Газета приводит в этой связи слова одного из его героев: «Хоть ты и родился далеко отсюда, а чувствуешь себя так, словно родился и жил здесь». На протяжении всей своей жизни писатель размышлял (вместе со своими героями) о том, что же делает его, родившегося в городке Фресно, штат Калифорния (по желанию писателя часть его праха похоронена во Фресно, другая — в Армении), жившего в Нью-Йорке и Париже, армянином.

Известный мастер фотографии Ихандикян дважды снимал Сарояна, во время второй и третьей поездки в Армению. Теперь портреты

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ»

Издательство «Галлимар» завершило полное издание «Человеческой комедии» Бальзака. Эта работа была начата более десяти лет назад. В 1976 году вышли в свет первые два тома «Человеческой комедии», а совсем недавно вышел последний, двенадцатый том.

Собрание включает тысячи страниц основного текста, набросков, введений, примечаний и комментариев. И весь этот титанический труд, как отмечает газета «Монд», за сравнительно короткий срок проделала группа из тридцати специалистов под руководством Пьера-Жоржа Кастекса. Естественно, возникает вопрос: какова же цель этого переиздания? Зачем столько комментариев к давно известным текстам? Ведь язык Бальзака, за исключением, быть может, отдельных слов, и сегодня вполне понятен каждому французу. Но знание эпохи, отмечает газета, знакомство с черновиками и набросками всегда помогают лучше понять и оценить писателя. Поэтому ученые, работавшие над переизданием, сделали попытку воссоздать полный текст «Человеческой комедии», собрав все черновики, наброски и варианты, снабдив эту массу материала обширными комментариями, примечаниями и указателями. Сколько же обитателей насчитывает мир Бальзака? Указатели дают ответ: пять тысяч или немногим больше. Способность писателя выстраивать сюжеты была поистине феноменальной.

Ученые составили биографии не только главных действующих лиц «Человеческой комедии», был собран материал и о персонажах относительно незначительных, которым в романе отведено не так уж много места.

И теперь, когда завершена эта кропотливая работа, потребовавшая десяти лет, необходимо, пишет газета, поблагодарить ученых, подготовивших издание, за тот вклад, который они внесли своим трудом не только во французскую, но и во всю мировую литературу.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕСЯЧНИК КНИГИ

Как показывают все опросы населения в течение последних двадцати лет, почти половина французов не читает и не покупает книг. На книжном рынке сложилось неблагополучное положение, они требуют от издательств выпускать главным образом книги «массового спроса», рассчитанные на самые невзыскательные вкусы, но приносящие прибыль, что снижает общий уровень литературы.

Правительство в 1979 году разрешило устанавливать произвольные цены на издания, в зависимости от конъюнктуры, что нанесло ущерб издателям и авторам, но обогатило крупные торговые фирмы. Одним из первых декретов нынешнего правительства в июне 1981 года было установление единой цены на книгу, независимо от того, где и кем она продается. Это способствовало защите издательств и авторов от произвола трестов по продаже книг.

В целях улучшения издательского дела и привлечения читателей к покупке серьезной литературы министр культуры Джек Ланг объявил о развертывании в национальном масштабе широкой кампании, посвященной пропаганде чтения. В рамках этой кампании, которая длилась немногим более месяца, в библиотеках и книжных магазинах проходили встречи писателей с читателями. По телевидению и во многих кинотеатрах шел фильм режиссера Жака Деми, пропагандирующий чтение. Был принят ряд правительственных мер по оказанию финансовой помощи некоторым издателям и отдельным авторам. Но главным событием месячника стал Салон Книги — грандиозная выставка-продажа французских изданий в «Гран Палэ» в Париже. Более ста двадцати тысяч человек посетили салон, где выставляли свою продукцию 750 издателей.

Газета «Монд», давая положительную оценку Сало-

ну, советует на будущий год пригласить для участия в нем наиболее известных иностранных писателей, чьи книги переводились на французский язык.

ФРГ

НОВЫЙ ФИЛЬМ ВЕРНЕРА ХЕРЦОГА

«Сумасшедший фильм о сумасшедшем замысле» — так характеризует журнал «Шпигель» новую работу Вернера Херцога, одного из самых известных режиссеров современного западногерманского кино.

Уже сами съемки фильма, длившиеся несколько месяцев в тяжелейших условиях среди девственных перуанских лесов и обошедшиеся в 14 миллионов марок, породили легенды.

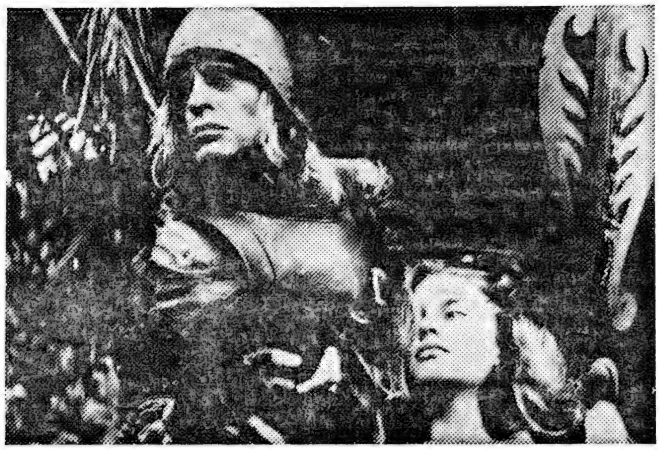
Фильм называется «Фитчаральдо» — по имени главного героя. Фитчаральдо — один из тех предприимчивых авантюристов, которых в начале века погнала в перуанские джунгли «каучуковая лихорадка». Но этот искатель счастья, уже потерпевший множество неудач, одержим теперь другой, поистине безумной идеей: страстный поклонник оперы, он хочет здесь, в дикой глуши, создать театр.

Ради этого Фитчаральдо жертвует всем, тратит и свое состояние, и деньги своей подруги. После многих безуспешных попыток он использует последний шанс: покупает участок труднодоступного леса и старый негодный пароход, который должен служить помещением для театра. Доставить пароход к нужному месту вверх по бурной опасной реке невозможно, поэтому Фитчаральдо решает перетащить его прямо через горы. Местные индейцы, слывущие охотниками за головами, помогают ему, считая, что участвуют в религиозном действе.

«Любой другой режиссер снял бы такую сцену в ванне или в студии, по крайней мере сделал бы огромный макет парохода из картона или пластика», — замечает журнал «Шпигель». Но Херцог словно решил подчеркнуть безумие замысла своего героя: по ходу съемок перетаскивался настоящий пароход. «Никакие трюки не могли бы это имитировать, — пишет в еженедельнике «Ди цайт» Ульрих Грайнер; — потные лица индейцев, их речь, звучащая, как таинственная музыка, пароход, постепенно поднимающийся в гору... Все действительно было так, но это отнюдь не делает фильм реалистичным, напротив, он производит впечатление бреда».

Все усилия в конечном счете заканчиваются крахом: установленный на реке пароход сносит бурным течением вниз, на прежнее место. Но до этого Фитчаральдо успевает пережить мгновение триумфа: он устраивает оперный спектакль. Изумленные индейцы слушают «Пуритан» Беллини, и в этом контрасте между итальянским бельканто, кулисами, оперными декорациями и дикостью амазонского пейзажа есть, пишет «Шпигель», какое-то сюрреалистическое величие.

Журнал называет Фитчаральдо «Сизифом оперы», ссылаясь на известную работу Камю о Сизифе, прославляющую героизм безнадежного и даже абсурдного акта. Он называет фильм «притчей о безумии искусства». Иного мнения придерживается рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Вольфганг Вюркер. Он сравнивает Фитчаральдо с конкистадорами, которые завоевывали некогда эти земли, не щадя местных жителей. Видимо это почувствовали и участвовавшие в съемках индейцы, которые не раз проявляли враждебность по отношению к группе Херцога, а однажды даже подожгли его лагерь. Об этом рассказывает документальный фильм, снятый по ходу работы участницей группы Ниной Гладенц.



На снимке: кадр из фильма «Фитчаральдо».
(Журнал Шпигель»)

ШВЕЦИЯ

КУРСЫ В БРЕДШЕ

За последнее время в рабочих кругах Швеции чрезвычайно возрос интерес к театру. Число самодеятельных театральных коллективов в стране непрерывно растет.

А совсем недавно в г. Бредшё (он находится в Бергслагене — известном еще с XIII века районе добычи железной руды) при Бруксвикском народном университете были созданы годичные курсы, готовящие руководителей таких коллективов.

По свидетельству журнала социал-демократической партии «Социалистиск форум», первые слушатели этих курсов не собираются стать профессиональными актерами или режиссерами. Они преследуют иную, более социально значимую цель. «Мы смотрим на культуру в целом и на театр в частности не только как на продукт определенного общества, но и как на средство преобразования этого общества. Мы хотим создать свой, рабочий театр в противовес театру буржуазному, коммерческому».

В соответствии с этой важной целью строится и учебная программа курсов. Она состоит из двух разделов: театральные дисциплины и дисциплины общественные. На занятиях, имеющих непосредственное отношение к театральному искусству, слушатели курсов знакомятся с режиссурой, актерским мастерством, техникой речи, основами хореографии, сценографией и даже с работой осветителей. Руководит этими занятиями опытный профессиональный режиссер Бенгт Польсон.

Изучение театральных дисциплин неразрывно связано с практикой: все нелегкие театральные премудрости слушатели курсов постигают, ставя ими же самими инсценированное произведение шведского писателя Руни Рагнестама «Пока не рассвело». Интересно, что будущие руководители рабочих театров сами делают для своего выпускного спектакля костюмы и декорации. В дальнейшем устроители курсов планируют приглашать на преподавательскую работу актеров и режиссеров знаменитого «Берлинер ансамбль» из ГДР.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1982 год

№ 1—12

К 60-летию образования СССР

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ ВРЕМЕНИ (Зарубежные писатели о Советском Союзе), № 12.

Цесарец Аугуст — Встреча с В. И. Лениным. В стране марийцев. На Урале. На Волге (Перевод с сербскохорватского Александра Романенко), № 12.

Сахни Бхишам — Духовное родство (Перевод с английского М. Загота), № 12.

Раб Жужа — В Стране Огня (Фрагменты книги. Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 12.

Ларра Рауль — По следам Ермака (Перевод с испанского Н. Булгаковой), № 12.

Жан Раймон — Размышляя о примере Советского Союза (Перевод с французского Л. Токарева), № 12.

Стиль Андре — Впечатления юбилейного года (Перевод с французского Л. Токарева), № 12.

Манолова Наташа — Сентиментальные мемуары (Отрывок из книги. Перевод с болгарского О. Басовой), № 12.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Амаду Жоржи — Военный китель, академический мундир, ночная рубашка. Повествование во имя надежды (Роман. Перевод с португальского Юрия Калугина), № 8, 9.

Арагон — Рассказы разных лет (К 85-летию со дня рождения. Перевод с французского Мориса Ваксмахера и Н. Дубининой. Предисловие В. Седых), № 10.

Арма Айи Квеи — Целители (Роман. Перевод с английского Андрея Сергеева), № 1, 2, 3.

Бройн Гюнтер де — Бранденбургские изыскания. Повесть для любителей истории литературы (Перевод с немецкого Е. Кацевой), № 1.

Валетас Костас — Орден (Рассказ. Перевод с греческого Е. Колесова), № 5.

Воиску Элени — «Энтерпрайз» (Рассказ. Перевод с греческого Т. Кокуриной), № 5.

Вулпешть Ион Ликэ — Поет металл в твоих руках (Рассказ. Перевод с румынского Ж. Портной), № 3

Гангопадхайя Шунил — Телеграмма и др. рассказы (Перевод с бенгали С. Цырина), № 8.

Голев Владимир — Воспоминания о старом доме (Фрагменты книги. Вступление и перевод с болгарского А. Крузенштерна), № 8.

Грин Грэм — Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой (Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова), № 6.

Делибес Мигель — Кому отдаст голос сеньор Кайо? (Роман. Перевод с испанского и вступление Л. Синянской), № 1.

Джонс Джеймс — Только позови (Роман. Перевод с английского Г. Злобина. Послесловие Михаила Дудина). № 7, 8, 9.

Иоанну Йоргос — Коврик у двери (Рассказ. Перевод с греческого Е. Кричевской), № 5.

Канафани Гассан — Умм Саад (Повесть. Перевод с арабского И. Ермакова), № 12.

Капоте Трумэн — Самодельные гробики (Документальный рассказ об одном американском преступлении. Перевод с английского Г. Ерофеевой), № 9.

Карпентьер Алехо — Концерт барокко (Повесть. Перевод с испанского Р. Линцер), № 4.

Кейроль Жан — История одного дома (Роман. Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой), № 12.

Кортасар Хулио — Записки в блокноте и др. рассказы (Перевод с испанского А. Борисовой), № 5.

аль-Куайид Юсуф — Война на земле Египта (Повесть. Перевод с арабского В. Кирпиченко). № 6, 7.

Летессье Дороте — Поездка в Пемполь (Роман. Перевод с французского Тамары Ивановой), № 3.

Лочин Сономын — Исповедь двух героев (Роман. Перевод с монгольского Г. Матвеевой), № 4.

Мазилу Теодор — Превратности благополучия (Рассказ. Перевод с румынского С. Косенко), № 3

Маня Норман — Свитер (Рассказ. Перевод с румынского С. Флоринцевой), № 3.

Матееску Константин — Одиночество (Рассказ Перевод с румынского Л. Десятниковой), № 3

Нгуен Минь Тяу — Выжженный край (Главы из романа. Перевод с вьетнамского И. Зимониной. Вступление Нгуен Динь Тхи), № 12.

Несвадба Йозеф — Грудные дети. Фантастическое чтение для молодых родителей (Перевод с чешского Е. Аронович), № 2.

Отеро Лисандро — Генерал на коне (Повесть-памфлет. Перевод с испанского Юрия Дашкевича), № 7.

Патадзис Сотирис — Камеры молчания (Рассказ. Перевод с греческого Т. Кокуриной), № 5.

РАССКАЗЫ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 9.

РАССКАЗЫ ГРЕЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Послесловие Виктора Соколюка), № 5.

Рединг Йозеф — Рассказы последних лет (Перевод с немецкого С. Фридлянд), № 2.

РУМЫНСКИЕ РАССКАЗЫ (Вступление Михаила Фридмана), № 3

Сакони Карой — Потом пришли четверо. Inter arma (Рассказы. Переводы с венгерского С. Солодовник и Ю. Гусева), № 9.

Самаракис Антонис — Улица Стадиу. Канун Нового года (Рассказ. Перевод с греческого Виктора Соколюка), № 5.

Син Михай — Каждый выполнит свой долг (Рассказ. Перевод с румынского А. Зимелева и С. Косенко), № 3.

Скармета Антонио — Восстание (Повесть. Перевод с испанского Юрия Павлова. Вступление С. Мамонтова), № 11.

Смит Эмма — Только раз в жизни (Роман. Перевод с английского Л. Огульчанской и Ф. Флорич. Послесловие Джеймса Олдриджа), № 4, 5.

Уотерхаус Кейт — Конторские будни (Роман. Перевод с английского Андрея Кистяковского. Послесловие Георгия Анджапаридзе), № 10.

Урикару Эуджен — Охота (Рассказ. Перевод с румынского А Старостиной), № 3.

Хермлин Стефан — Вечерний свет (Перевод с немецкого Г. Громана), № 11.

Чак Дюла — Баллада о жаждущих хлеба и зрелищ. Наследство. Талисман (Рассказы Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 9.

Штриттматтер Эрвин — Миниатюры (Перевод с немецкого Э. Львовой), № 7.

Ярош Петер — Тысячелетняя пчела (Главы из романа Перевод со словацкого Нины Шульгиной), № 5, 6.

СТИХИ

Аккрокка Элио Филиппо — Златоглавый Киев. Божья коровка на пальце (Перевод с итальянского Евг Солоновича), № 12.

Бабич Михай — Сафо далекие дни отзвенели и др. стихи (Перевод с венгерского Н. Горской), № 6.

Боланд Ивен — Конь войны Велосипедист с охапкой цветов (Перевод с английского Г. Кружкова), № 1.

Буитраго Хиль Хаиме — Из книги «Не снимая башмаков» (Перевод с испанского Павла Грушко), № 8.

Верешмиклош — Песнь любви. Скорбь и надежда (Перевод с венгерского Льва Беринского), № 10.

Галсан Тангадын — Поклон Алтаю (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 5.

Гарсиа Лавиана Гаспар — Озеро и народ. Куплет. Искренность (Перевод с испанского Павла Грушко), № 8.

Гойтисоло Хосе Агустин — Стихи из новых книг (Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Густафсон Ларс — Теплые комнаты и холодные и др. стихи (Переводы с шведского Алексея Парина и Наталии Булгаковой. Вступление Алексея Парина), № 4.

Дашбалбар Очирбатын — «На моей ладони — города, деревни...» (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 5.

Диего Элисео — Стихи последних лет (Перевод с испанского Павла Грушко), № 8.

Ивашкевич Ярослав — Из стихотворений последних лет (Переводы с польского Н. Астафьевой и В. Британишского. Вступление В. Британишского). № 6.

Иву Леду — Первый урок и др. стихи (Перевод с португальского Владимира Резниченко), № 5.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ КЛАССИКИ XX ВЕКА (Вступление Е. Малыхиной). № 6.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 10.

ИЗ ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление А. Саруханян), № 1.

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ЛИРИКИ, № 5.

ИЗ ПОЭЗИИ НИКАРАГУА, № 8.

ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Т. Соколовой-Делюсиной), № 7.

Ийеш Дюла — Весенний урок и др. стихи (Перевод с венгерского Н. Горской. Предисловие О. Россиянова), № 11.

Карденаль Эрнесто — Сомоса открывает памятник Сомосе на стадионе Сомосы. Эпитафия. Крестьянки из Куа (Перевод с испанского Павла Грушко), № 8.

Киёока Такаюки — Неприятные обстоятельства и др. стихи (Перевод с японского Т. Соколовой-Делюсиной), № 7.

Кинселла Томас — Поэт Эган О'Рейли в старости без крова. Ночной прохожий. «Я должен лечь со всеми, и уснуть...» (Перевод с английского Г. Кружкова), № 1.

Кусано Симпэй — Дождь и др. стихи (Перевод с японского Т. Соколовой-Делюсиной), № 7.

Мбери Антар С. К.— Черные старухи и др. стихи (Перевод с английского Владимира Орла. Вступление Г. Злобина), № 2.

Монтегю Джон — Пересаженная речь и др. стихи (Перевод с английского Г. Кружкова), № 1

Ратко Йожеф — Конец лета. Останься с нами, бедность (Перевод с венгерского Марка Сергеева), № 10.

Самора Дайси — Из книги «Вспененный поток» (Перевод с испанского Павла Грушко), № 8.

Скала Иван — В эту минуту (Поэма. Перевод с чешского. Маргариты Алигер), № 9.

Стефанова Лиляна — Глаза и др. стихи (Перевод с болгарского Вл. Солоухина), № 2.

Сурэнжав Шаравын — Гнев. «Время расставило сети...» (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 5.

Такамура Котаро — Живое и др. стихи (Перевод с японского Т. Соколовой-Делюсиной), № 7.

Тоот Арпад — На мосту. Под маской. В Аквинкской корчме (Перевод с венгерского Н. Горской), № 6.

Уоррен Роберт Пенн — Из книги стихов «Пока еще здесь» (Перевод с английского Андрея Сергеева), № 4.

Уташи Йожеф — Видящий море (Перевод с венгерского Марка Сергеева), № 10.

Хини Шеймас — Реквием повстанцам 1798 года и др. стихи (Перевод с английского Г. Кружкова), № 1.

Явуухулан Бэгзийн — Роща у реки Толы. Цвета планеты. Зимняя ночь (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 5.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Сэлинджер Дж. Д.— Тедди (Рассказ. Перевод с английского С. Таска. Послесловие А. Зверева), № 10.

Фриш Макс — Синяя Борода (Повесть. Перевод с немецкого и послесловие Е. Кацевой), № 11.

Хандке Петер — Женщина-левша (Повесть. Перевод с немецкого И. Каринцевой. Послесловие Н. Литвинец), № 2.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Акутагава Рюноскэ — Миниатюры (К 90-летию со дня рождения писателя. Вступление и перевод с японского В. Гривнина), № 10.

Андерсон Шервуд — Рассказы (Перевод с английского Н. Волжиной. Вступление А. Старцева), № 3.

Баради Субраманья — Чернь и др. стихи (К 100-летию со дня рождения. Перевод с тамильского С. Северцева. Вступление Вит. Фурники), № 12.

Вальтер фон дер Фогельвейде — Любовная лирика (Перевод с немецкого и вступление Вильгельма Левика), № 11.

Мореас Жан — Стансы (Перевод с французского и вступление М. Кудинова), № 7.

КРИТИКА

Аверинцев С.— Две тысячи лет с Вергилием (Перечитывая классику), № 8.

Анастасьев Н.— Как стать кумиром (Массовая беллетристика в США), № 9.

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Ответственность таланта. Слово — писателям мира № 4—12.

Богданова И., Богданов Ю.— История и современность в творчестве Петера Яроша, № 5.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ V ВСТРЕЧИ СОВЕТСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Ирвинг Стоун: «Функция искусства — сделать жизнь осмысленной...» **Стадс Теркел:** «В выявлении ранее скрытого и заключается смысл литературы» (Беседы вела И. Зорина), № 12.

Гулыга Арсений — Поиски пути (Заметки с Международной книжной ярмарки во Франкфурте), № 7.

Дакруб Мухаммед — Арабская новеллистика сегодня (Фрагмент из книги «Новая литература и революция». Вступление и перевод с арабского Э. А. Али-заде), № 3.

Дангулов Савва — «В коротком путешествии, имя которому жизнь...» (Художник. Творчество. Время), № 12.

Джонстон Чарльз, Кугультинов Давид — Диалог о Пушкине (Диалог подготовлен с участием В. Исакович), № 1.

Засурский Я.— О некоторых формах идеологического воздействия на литературу в США, № 8.

Зверев А.— Тупик (К вопросу об американском постмодернизме), № 6.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА, № 8.

Иорданский В.— Поиск прошлого (О творчестве Айи Квеи Армы и его романе «Целители»), № 2.

Кин Ц.— Порочный круг насилия (Люче д'Эрамо и ее роман об итальянских террористах), № 7.

Книпович Е.— Память (У истоков писательского движения за мир), № 6.

Ландор М.— Трагический герой Фолкнера (Тяжкое наследие американских веков в романе «Авессалом, Авессалом!»), № 1.

Лихачев Дм.— Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и мир, № 10.

Прожогина С.— Обвинение (Капиталистический Запад в творчестве франкоязычных писателей-североафриканцев), № 11.

Сопоставляя точки зрения, № 1.

В ТОЖДЕСТВЕ С СУДЬБОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ (Отклики зарубежных деятелей культуры на книгу Л. И. Брежнева «Воспоминания»), № 1, 2.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Федоренко Н.— Неразделимость жизни и творчества (К проблеме героя в современной болгарской литературе), № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Балашова Т., Серебрянникова А.— Поэтическое кредо Рене Шара, № 5.

Дашкевич Юрий — Мятежное сердце Жоржи Амаду, № 10.

Млечина И.— Мир и война Макса Вальтера Шульца, № 2.

Рушкис Вал.— Рассказ о друге (В гостях у Сары Лидман), № 11.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Карякин Ю.— «Взорвать воображение третьих лиц...» (О романе Кэндзабуро Оэ «Записки пинчраннера»), № 5.

Ракша Ирина — Триединство времени, № 9.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ПОСЛЕДНЯЯ ПЬЕСА ГАРСИА ЛОРКИ (Вступление и перевод с испанского Н. Малиновской), № 4.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Витана Гунасена — ...В сокровищницу нашей культуры (Перевод с английского М. Салганик), № 3.

Перера Сирил — Из опыта переводчика (Перевод с английского И. Дорониной), № 3.

Петров Валерий — Размышления над переводами Шекспира (Перевод с болгарского Н. Глен), № 11.

Потапова Вера — Сегодня... или полторы тысячи лет назад (Лирический комментарий), № 4.

СОЗВУЧИЕ ТРАДИЦИЙ (Русская и советская литература в Шри Ланке), № 3.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Аухьер Анхель — «Чистый, прозрачный, живой голос надежды...» (К восьмидесятилетию Николаса Гильена. Перевод с испанского Вероники Спасской), № 8.

Ваксмахер Морис — Цветы мы еще принесем (К 60-летию со дня рождения Жака Стефена Алексиса), № 4.

Кери Ласло: «Быть причастным к благородному и нужному делу...» (25 лет журналу «Надьвилаг». Интервью подготовила И. Зорина), № 10.

Станева Надежда — Дневник с продолжением (К 75-летию Эмилияна Станева), № 3.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Веселицкий А.— Мария Корти, № 10.

аль-Хамиси А. (Беседу вел Анатолий Агарышев), № 2.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

А. З.— «Панорама», № 10.

Бурташов Феликс — Путь к свободному завтра, № 11.

Вагапова Н.— Должен ли фестиваль менять свое лицо?, № 2.

Ванников Ю.— Культура в изгнании, № 10.

Давыдов Ю.— Внутренняя жизнь и чуточку о Гёте, № 5.

Дмитриев В.— «Прощай, доктрина Монро», № 2.

Желоховцев А.— Юбилей Лу Синя в КНР, № 2.

Замойский Л.— Бомба, интеллигенция, народ, № 1.

Ливергант А.— «Мы с вами одной культуры...», № 7.

Луговая В.— В защиту литературы и труда писателя в США, № 4.

Матяш Н.— Свободная трибуна, № 3.

Мулярчик А.— Судьбы «литературного истеблишмента» в США, № 5.

Мяло К.— Тяжелее свинца, № 8.

Померанцева Е.— «Факел», № 10.

Ротенберг Т.— Гений и злодейство, № 8.

Салганик М.— «Люблю Люси», или Колонизация культуры, № 4.

Фадеев С.— Детектив: «за» и «против», № 9.

Шварц А.— Джон Леннон — цена популярности, № 6.

ПУБЛИЦИСТИКА

Арнольд Уильям — Фрэнсис Фармер. В мире теней (Перевод с английского Н. Толкуновой. Послесловие Андрея Толкунова), № 3.

Григореску Иоан — Современные этюды (Из тетради документалиста. Перевод с румынского Е. В. Степанян), № 2.

ЗАПАД: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, № 3, 4, 5.

Ито Такэси — 6 августа 1945 года — Хиросима обвиняет (Фрагменты книги. Перевод с японского Б. Раскина), № 10.

Кондрашов С.— В Аризоне, у индейцев (Из американских записок), № 1.

КОНТАКТЫ КУЛЬТУР, № 5.

Лорент Ганс-Петер де — Охота за ведьмами (Главы из книги. Перевод с немецкого Евг. Факторовича. Послесловие Алексея Григорьева), № 11.

Маурер Гарри — Без работы. История безработных — из первых уст (Перевод с английского В. Воронина и Н. Киямовой. Вступление М. Лапицкого), № 4, 5.

Урнов Дмитрий — Дороги, где проходят времена (Из английского дневника), № 5.

Ухов Д.— Рок-музыка. Взгляд из 80-х, № 4.

Федоренко Н.— ...Мечи на орала, № 4.

Федоренко Николай — Димитров: живой и в бронзе (К 100-летию со дня рождения), № 7.

Федоренко Николай — Токийские размышления (Литераторы Японии в антиядерном движении), № 9.

Фредериксен Томас — Дневник гренландца (Северяне о себе. Перевод с датского Л. Горлиной), № 4.

ЧЕМ ЖИВ ПИСАТЕЛЬ. Французские зарисовки: интервью нашего специального корреспондента Евгении Стояновской (Андре Вюрмсер, Натали Саррот, Мадлен Риффо, Пьер Мустье, Эрве Базен, Грэм Грин, Андре Стиль, Арман Лану, Владимир Познер, Робер Андре, Андре Ремакль), № 8, 9, 10.

Шахназаров Георгий — Вызов Жан-Жака Серван-Шрайбера, № 6.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Болдуин Джеймс — Записки сына Америки (Глава из книги. Перевод с английского Ю. Родман. Послесловие А. Зверева), № 2.

Гурницкий Веслав — Песочные часы (Фрагменты книги. Перевод с польского Б. Стахеева. Послесловие Е. Василькова), № 6, 7.

АНТИРУБРИКА

Аполлинер Гийом — Рассказы (Перевод с французского и вступление Льва Токарева), № 5.

Брайнхольст Вилли — Готова ли ваша жена, когда она говорит, что готова? Хорошо ли вы выполняете поручения своей жены? (Перевод с датского Норы Киямовой), № 2.

Ганчев Марко — Про мое поколение и др. стихи (Перевод с болгарского Сергея Никольского), № 7.

Гомес де ла Серна Рамон — Грегерии (Перевод с испанского Натальи Малиновской), № 10.

Грей Лен — Милая старушка из Крикет Крик (Перевод с английского Виктора Вебера), № 10.

Делафилд Э. М.— Британский характер (Перевод с английского Татьяны Чистяковой), № 11.

Изгю Музаффер — Чемпион по оплеухам (Перевод с турецкого Радия Фиша), № 11.

Кэрролл Льюис — Охота на Змеря (Перевод с английского и вступление Владимира Орла), № 10.

Нгуен Туан — Сон. Прекрасное расположение духа (Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева), № 1.

Нолан Уильям Ф.— Ну и денек! (Перевод с английского Владимира Волина), № 7.

Рудольф Станислав — Экзамен по старославянскому языку (Перевод с чешского Н. Шахуриной), № 6.

Таунсенд Уорнер Сильвия — Как мы праздновали коронацию. Как я покинула флот (Перевод с английского **Инны Левидовой**), № 8.

Хосе Арреола Хуан — Истинно говорю вам... (Перевод с испанского Ростислава Рыбкина), № 8.

Эдвард Лир — король нонсенса (Перевод с английского и предисловие Сергея Таска), № 3.

Эрнст Хайно — Студент 1984 года (Перевод с немецкого Евгения Колесова), № 7.

НАШИ ГОСТИ

Вержховская Г.— Нуно Браганса, Жоао де Мело (Португалия), № 10.

Злобин Ал.— Роберт Лаури (США), № 11.

Карельский А.— Криста Вольф и Герхард Вольф (ГДР), № 7.

М. С.— Кришна Шринивас (Индия), № 3.

Незабытовская Т.— Умашанкар Джоши (Индия), № 3.

Савельева Л.— Писатели Югославии, № 4.

Салганик М.— Утпал Датт, Хабиб Танвир и Виджей Тендулькар (Индия), № 6.

Феонова В.— Сулейман Лаек (Афганистан), № 1.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Апчинская Н.— Жан Карзу, № 3.

Дьяков Л.— Сальватор Роза, № 2.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Бочаров А. — Бунт против повседневности (Герд Фукс. Мужчина на всю жизнь. Дороте Летессье. Поездка в Пемполь), № 12.

«БЮЛЛЕТЕНЮ» — ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, № 11.

Ваксмахер Морис — Антология любовной лирики (Песнь любви. Лирика зарубежных поэтов), № 2.

Васильева Лариса — На двух языках (Английская поэзия в русских переводах. XIV—XIX века), № 2.

Гёльдлин Мишель — Федор Михайлович в Веве («Советская литература». Достоевский и современность), № 10.

Долматовский Евг.— На злобу дня — против ночи! (Янко Есенский. Стихи), № 1.

Ельцов В.— Анатомия обывательщины (Эндре Фейеш. Кладбище ржавчины), № 3.

Желоховцев А.— Литература островной республики («Сингапурская мозаика». Перевод с китайского), № 4.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ: О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА И ПРОБЛЕМАХ ИЗДАНИЯ, № 2.

Каралашвили Р.— Знакомство с homo austriacus (Австрийская новелла XX века), № 9.

Лапин И.— Песнь великой ярости (Мануэль Скорса. Траурный марш по селению Ранкас и др. романы), № 9.

Львов С.— Основательность и широта (Новелла ГДР. 70-е годы), № 7.

Маркова В.—Бессмертная птица народной песни (Датские народные баллады), № 1.

Маркова В.— Дорожная тушечница (Ихара Сайкаку. Новеллы), № 4.

Николаева С.— Увидеть непривычное в привычном (СССР: знакомый и неизведанный. Зарубежные авторы), № 12.

Озеров Лев — Защита поэзии (И. Р. Бехер. О литературе и искусстве), № 3.

Паттерсон Джемс — Гордые птицы поэзии Конго (Из современной поэзии Конго), № 5.

Попов И.— «Да» Карла Сэндберга (Карл Сэндберг. Избранное), № 4.

Попов И.— Пусть не гаснет Трубка Мира!.. (Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате), № 11.

Суровцев Юрий — «Ощутить себя вместе со всеми...» (Мигель де Унамуно. Избранная лирика. Из современной испанской поэзии), № 1.

Суровцев Ю.— Жизнь многоликая и бесконечная... (Луис Гойтисоло. Поверка), № 7.

Топоров Виктор — По ту сторону дерева (Новые голоса. Стихи современных французских поэтов), № 10.

Турбин В.— Чужестранец в России (Мицос Александропулос. Сцены из жизни Максима Грека), № 8.

Урнов Д.— Литература о литературе (Писатели Англии о литературе. Сборник статей), № 6.

Фоняков Илья — Сын Хорватии (Мирослав Крлежа. Избранное), № 5.

Ярославцев Геннадий — В дальний полет на большой высоте (Из монгольской поэзии XX века), № 6.

Издано за рубежом

Анастасьев Н.— Расширение художественных горизонтов (Курт Воннегут. Тюремная пташка), № 6.

Арош Шарль — Историческая память народа (Роже Бордье. Большая жизнь), № 12.

Арош Шарль — Расследуются преступления инквизиции (Мигель дель Кастильо. Ночь указа), № 2.

Белов Сергей — Гольф, любовь и абсурдный мир (Уокер Перси. Второе пришествие), № 1.

Белов Сергей — ...Вещь послушная (Пол Вестман. Уолтер Кронкайт), № 6.

Белов Сергей — Сказка-ложь (Эрик Сигел. История Оливера. Мужчина, женщина и ребенок), № 9.

Карло Бенедетти: о Сибири и сибиряках (Карло Бенедетти. Из Сибири. Беседу вела Н. Попова), № 12.

Бэр Иоаким — Будь щедрым (Ирвин Шоу. Хлеб по водам), № 10.

Бэкман Владимир — Необычная антология (Парус-Puri-Purje-Segel. Морская тематика в поэзии на четырех языках), № 8.

Волин Владимир — Нестареющий старейшина, № 2.

Иорданский В.— Когда арена — народное воображение (Рашид Буджедра. Тысяча и один год ностальгии), № 4.

Иорданский В.— Дневник заключенного из камеры № 16 (Нгуги ва Тхионго. Задержанный. Тюремный дневник писателя), № 11.

Левидова И.— Историческая трагедия и трагический фарс (Колин Джонсон. Да здравствует Сандавара!), № 9.

Литвинец Н.— Начало отсчета, начало пути (Герд Фукс. Час ноль), № 5.

Малевич Олег — Аппассионата под гильотиной (Индржих Вихра. Моя аппассионата), № 5.

Малевич Олег — Роман о мужестве и любви (Яромира Коларова. Вода!), № 8.

Матяш Н.— Итог или начало (Хосе Доносо. Соседний сад), № 11.

Мотылева Т.— Эстетика Сопротивления (Книги об искусстве и литературе немецкой антифашистской эмиграции), № 10.

Николаева Н.— Книга-путеводитель (Манфред Гстайгер. Новая романдская литература), № 2.

Николаевская А.— Кингсли Эмис ловит слонопотамов (Кингсли Эмис. Игра в прятки по-русски), № 7.

ОТКРЫТИЕ РОМАНДСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ, № 3.

ПИСАТЕЛИ О СЕБЕ И О СВОИХ КНИГАХ. Говорит Бернар Клавель. № 7.

Попова Н.— Сны Коринны (С. Коринна Биль. Двойной праздник. Гости Москвы), № 3.

Попова Н.— Детство, окрашенное войной (Фредерик Эбрар. Комната Гёте. Анн Кюнео. У порога Дня), № 8.

Разговоров Никита — Окольные пути истины (Мишель Гёльдлин. Ветер умирает в полдень), № 3.

Смирнов Г.— «Маленькие бродяги» Джанни Родари (Джанни Родари. Маленькие бродяги), № 5.

Солонович Е.— Слова, предназначенные всем (Тонино Гуэрра. Мед.), № 10.

Солоухин Вл.— Преодоление пространства (Блага Димитрова. Пространство), № 4.

Токарев Лев — Путешествие во времени (Иллюстрированная энциклопедия кантона Во. Том VII), № 3.

Токарев Лев — Гимн единству (Роже Бордье. Большая жизнь), № 12.

Фурника В.— Книга индийского критика (Равиндрадас Т. С. Критические заметки), № 1.

Чугунов К.— Возможно ли невозможное? (Урсула Холден. Грошовые узы), № 2.

Чугунов К.— Без экзотики (Гарри Нараин. Простые люди. Рассказы), № 4.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ, № 3, 6, 8.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

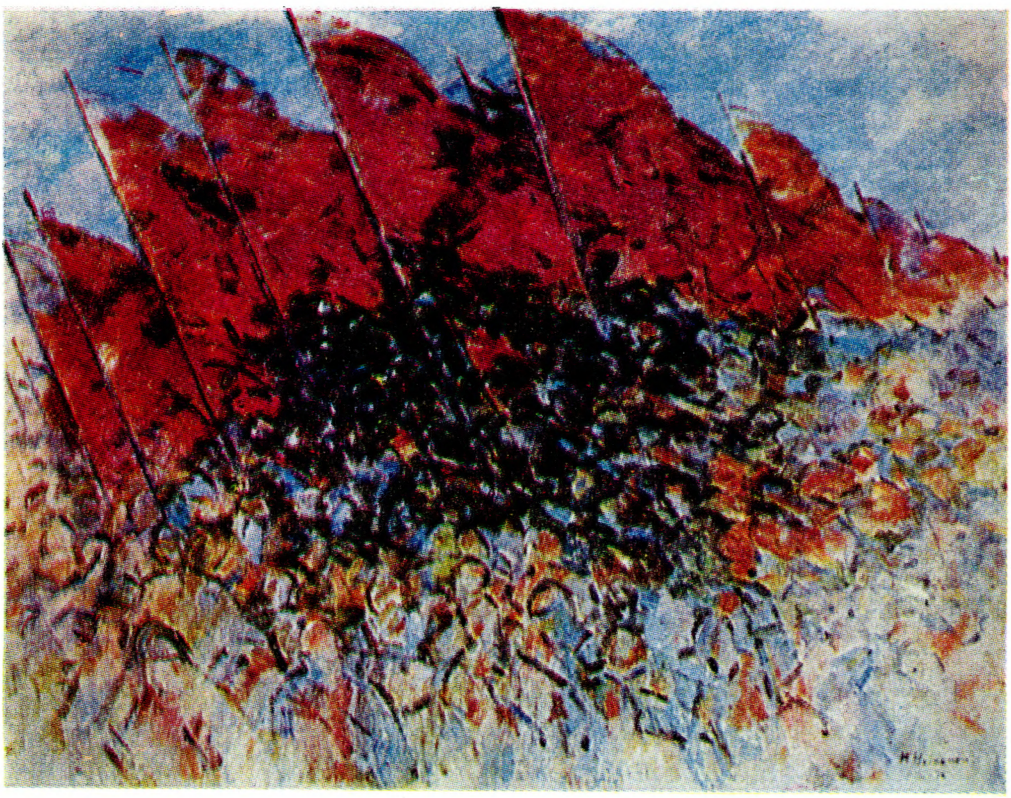
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 01.10.82. Подписано в печать 25.11.82. А 08384. Формат 70×108$^{1}/_{16}$.
Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч-изд. л. 29,5

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 3405.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



М. ХЕЙНОНЕН (Финляндия). Знамена. Масло.

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394